

ISSN 0130-7673

ЖО В Ы И М И Р

4

ЖО В Ы И
М И Р

1982

4



1982



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Жизнь человека, стихи	3
ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ — Набережная Надежды. Современные челнинские картины	5
АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ — Три стихотворения	124
ПАМЯТЬ — В. Татаренко, Рустем Кутуй, Сергей Каратов, Д. Нечаенко, стихи	125
РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — Потоп, роман. Перевела с английского Е. Гольшева	128
ВЛАДИМИР МИХАНОВСКИЙ — Из цикла «Часы», стихи	177
ЮРИЙ ПОЛЯКОВ — Воспоминания о райкоме, стихи	178

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

З. ШЕЙНИС — Страницы жизни Коллонтай	179
--------------------------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЧТО С АМЕРИКОЙ? Диалог В. И. Кобыша и Г. А. Арбатова	195
ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ — Междущарствие, или Хроника времен Дэи Сяопина	205

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ — «Нигилизм» и нигилизм. О некоторых новомодных трактовках творческого наследия Писарева	229
--	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

В. Косолапов. Наша многонациональная литература.

Александр Борщаговский. Длинною в жизнь.

Г. Петрова. Постпроизводственные приключения инженера Холина.

Политика и наука

263

Ю. Аммиантов. Новое о российско-финляндских революционных связях.

Эрнст Генри. Тон эпохи.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Владимир Дагуров.— **Юрий Лобанцев.** Дальний свет. Стихи и поэмы. ✦

Б. Львов-Анохин.— **Юрий Мочалов.** Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. ✦

Б. Исаев.— **Ю. П. Шарапов.** Рукою Владимира Ильича. О ленинских пометках на книгах, журналах и газетах. ✦

А. Грунт.— **Е. Н. Городецкий.** Советская историография Великого Октября. 1917 — середина 30-х годов. Очерки

269

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

АПРЕЛЬ

Исполнен мир восторга.
Мчат льдины кое-где.
Но тонкая в ось мерка
С полудня на воде.
Снежок недавний стоял,
Заголубел зенит,

И длинноногий стайер
Вдоль сквера семенит.
Мальчишки близ асфальта
Гоняют мяч... У них
Пока что нет офсайда
И сложностей иных.

* * *

Свое еще не отлюбя
И ожидая в жизни смуту,
Не отпускала от себя
Она его ни на минуточку.

Предчувствуя его уход
Или предвидя долю вдовью,
Его любила целый год
Захватнической любовью.

ОБЛАКО

Вспоминается сквозь сон —
Как смеялась, что болтала,
Бесперывный сладкий звон
Телефона и бокала.

Он ушел — хватило сил
Жизнь начать ему сначала.
Ни один не позвонил,
Ни одна не забежала.

Мужа верные друзья
И ее друзьями были.
Не какие-то князья:
Что давала — ели-пили.

Не осталось ничего —
С прошлым прочно распростилась,
Ибо облако его
Вместе с ним переместилось.

* * *

Не ушла, но сказала: «Уйди!» —
С этой точки отсчета
Позади и уже впереди
Словно выжжено что-то.

«Уходи!» — прозвучала над ним
Наивысшая сила.
Навсегда этим словом одним
Жизнь ему занозила.

* * *

Там, где люди не спеша
Выходили на прогулку,
Продвигался не дыша
По вечернему проулку.

— Что, вернулся? — свой вопрос
Выбросила как антенну.

Вдруг увидел, в землю врос,
Будто стукнулся о стену.

— Не хочу тебя, вралья,
Не люблю и не ревную...—
Словно зонд из корабля
Прямо в сферу неземную.

* * *

Многое мы без разбору
Памяти нашей суем.
Вспомнил о вас в эту пору
В доме вечернем своем.

И почему-то при этом
Смутно болит голова.

Поздним и мрачным приветом
Долго шумят деревья.

И, утомившись от боли,
Снова беру пиранал —
Все, что от вас поневоле
В жизни своей перенял.

* * *

Хоть вы причитали
В тоске и печали
Близ тесных могил —
Он глаз не открыл.

Хоть лили вы слезы,
А он не воскрес
Под сенью березы,
Под синью небес.

ЖЕНА

Он умер, а его жена
Жива-здоровая.
Из растворенного окна
Глядит сурово.

Жестока эта полоса
И мысли эти.
Но раздадутся голоса:
Приедут дети.

И жизнь пойдет с их жизнью
в лад —
Им карты в руки.

Потом еще смягчится взгляд:
Приедут внуки.

И все как будто ничего.
Родные лица.
И лишь с отсутствием его —
Не примириться.

Ах, молодые, напрямик
Шагали двое...
Как повернется мой язык
Назвать вдовою?

СТАРЫЙ ПЕРЕУЛОК

На воротах барельеф.
Зимний холод.
То ли кошка, то ли лев —
Нос обколот.
Вечер. Тени от колонн.
Светлый портик.
Не сказать, что слишком он
Дело портит.

Дверью грохает подъезд.
И, согретый,
Выйдет парень, как поест,
С сигаретой.
Источает свежий снег
Запах йода.
Чей-то голос, чей-то смех...
Время чье-то.

ИСКУССТВО

Высок и свободен
По залам сияющий свет.
Средь прочих полотен —
Художника автопортрет.

Пред грозною Летой
Вполне беззащитна душа.
А кисть его в левой
Руке. Вероятно, левша.

Не тешьтесь забавой.
Иной в этом вовсе резон:

Ни лишнего посула,
Ни собственных обид.
Ушибся — мать подула,
И сразу не болят.

И вновь небес полоска,
Безоблачная синь...

Шла чуть свет, как, бывало, вы,
Ощущая: движенья ловки, —
Встретить девочку из Москвы
На автобусной остановке.

Как неделю и год назад,
Посредине воскресной рани,
Рассекая совхозный сад,
Что пред нею лежал в тумане.

Кисть держит он в правой,
Но в зеркале он отражен.

Как чисто и грустно
Музейное светит окно.
Святое искусство,
И вправду прекрасно оно.

В нем отзвуки века,
В нем долго стоит тишина.
В нем жизнь человека
Как в зеркале отражена.

Святая заморозка,
Венец анестезий.

Наука всем наукам.
А день плывет, звеня.
И коротко над ухом —
Смычковый звук слепня.

С ветки яблоко сорвала,
Оглянувшись по-молодому.
Тут же сторожу соврала,
Что оно у нее из дому.

И сквозил перед нею день,
А за ним еще дни другие —
В смутных отзвуках деревень,
В неизведанной ностальгии.

ФЕОДОСИЙ ВИДРАШКУ

★

НАБЕРЕЖНАЯ НАДЕЖДЫ

Современные челнинские картины

Человек, впервые попавший в Набережные Челны, будет ошеломлен: перед ним встает город XXI века. Город будущего и завод будущего со светлыми, просторными цехами, образцовой чистотой и порядком, ультрасовременной техникой и оборудованием. И, естественно, люди будущего всегда окружали новомирцев в дни их пребывания в Набережных Челнах. Прекрасным парадоксом является то, что они одновременно люди настоящего, люди из плоти и крови, жизнерадостные и энергичные. Мы горды тем, что «Новый мир» раскрывает перед читателем трудовые подвиги наших грузей на берегах Камы.

Сергей Наровчатов.

1

Тон большинства телеграмм деловой. Но порой телеграммы или безмерно торжественны, или крайне безжалостны.

Первый секретарь горкома собрал Совет бригадиров. Готовилось последнее наступление перед сдачей второй очереди КамАЗа. Разрабатывалась стратегия, устанавливались сроки, выяснялось, что необходимо для того, чтобы закрепить решение Совета постановлением бюро, придать ему законную силу приказом присутствующего здесь начальника стройки Евгения Никаноровича Батенчука. Совет бригадиров — высший рабочий орган стройки, надежная опора партийного штаба.

Советы бригадиров горком собирал в самом начале, когда бригад насчитывалось не более сотни, собирает их и сейчас, спустя почти десять лет, когда их свыше полутора тысяч. И это не столько традиция, сколько необходимость.

Заседание Совета уже подходило к концу, когда в зал осторожно вошла заведующая общим отделом горкома Раиса Петровна Романова, прошла к столу президиума и положила перед Беляевым раскрытую папку с единственным листком бумаги.

Сидевший неподалеку от первого секретаря бригадир Виктор Филимонов — он был членом бюро горкома — заметил, что Беляев, пробежав глазами листок, вздрогнул, замер, а на высоком лбу внезапно выступила испарина. Между тем начальник управления механизации сообщал, кому какая техника выделяется на период предстоящего ударного времени, призывал беречь машины, обращаться с ними так, как это делают в бригаде Наурбиева.

Когда все высказались, Беляев встал — Филимонову заметно было, с каким трудом он сдерживается, пытается быть собраннее, даже спокойнее, чем обычно. — снял очки, вытер платком лоб. Спросил:

— Все ли мы предусмотрели?

— Все разве предусмотреть? — вопросом на вопрос ответил начальник строительства. И добавил: — Но пока все.

— Все так все, — поставил точку Беляев. — Но, как это у нас принято, попрошу посоветоваться и в бригадах, отработать все до мелочей, поговорить с каждым человеком, определить каждому задание. Завтра в восемь утра у главного конвейера автосборочного — совет секретарей парторганизаций.

«НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ГОРКОМ ПАРТИИ БЕЛЯЕВУ РАЙСУ КИЯМОВИЧУ РАИС МАТЬ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛО ЗАБОЛЕЛА ОТЕЦ».

Двадцать градусов ниже нуля для Челнов — дело почти обычное. Такой мороз был и в тот день. До аэропорта Бегешево двадцать одна минута езды. На двадцать второй Беляев уже был в вертолете. Потом потянулись мучительные минуты ожидания, пока эта медлительная машина преодолевала триста километров, отделявших его от тяжело заболевшей матери Кариме.

Отец встретил его словами:

— Обширный инфаркт. Так врачи говорят... Очень ждет тебя. Как только стало плохо, попросила: «Вызови Райса».

Сын осторожно открыл двери палаты, мать шепнула, еще не увидев его:

— Приехал, сынок... Я чувствовала, что ты приближаешься... Отпустило немного, только вот левая рука обессилела...

Все короче свидания сыновей со своими матерями, после того как покинут они родительское гнездо. Учеба, работа, дела, собственные семейные заботы...

А матери ждут.

Раис Беляев думает об этом, уже возвращаясь в свои Челны. Врачи уверили его, что самое страшное миновало, а сейчас нужен покой, только покой, ничего нового пока не придумано.

«Самое опасное миновало».

Это в какой-то мере обнадежило Беляева. Яростно грохочут винты вертолета, остались где-то далеко внизу длинные хвосты дымов из печных труб, светляки фонарей на столбах. Там его деревня, его родной дом и мать, ожидающая вести, как добрался сынок до своих Челнов, до жены своей Фаи, до сыновей своих, до ее, Кариме, внучат Айрата и Айдара, которых она не видела с самого лета. Раис пытается представить, сколько таких матерей в стране, проводивших своих детей на Каму, в эти Челны, ждущих от них писем и добрых слов. Сто? Двести тысяч? Наверное, больше. Все матери одинаковы и все одинаково беспокоятся о своих детях. Поговорить бы с комсомольцами об этом...

На прощание мать спросила: «Сынок, а ту лестницу починили?» Она не забыла, что в старом здании горкома партии на второй этаж вела шаткая, с прогнившими перилами лестница, и ей было страшно подумать, что сын однажды может упасть с нее. «Мы в новом здании, мама, поправляйся и приезжай к нам, покажем тебе наш новый город и новый завод, наш новый партийный дом посмотришь. Вокруг него партийные березы растут». По лицу матери пробежала легкая, только сыну заметная улыбка: «Как это «партийные» березы?» «А мы их своими руками посадили в ленинский субботник».

Вертолет сильно качнуло, будто его чем ударило. Поначалу Раису показалось, что где-то распахнулось окно, потому что холод пронзил внезапно, жестоко. Мгновенно окоченели ноги, потом и все тело. Свитер, пальто совершенно не грели. Будто издали услышал виноватый голос летчика:

— Попали в ураган, Раис Киямович, отказала отопительная система... Видимость ноль, что делать — не знаю.

«Что делать — не знаю...» Сколько раз за десять челнинских лет приходилось Беляеву слышать подобное. И не только слышать, а идти на зов, помогать, самому искать ответ, советовать, решать, брать ответственность на себя. Он не имел права не знать. От него требовалось, чтобы он знал все.

Позже он часто вспоминал то положение, в котором оказался в вертолете, и все время спрашивал себя: а правильно ли поступил? где грань между возможным и невозможным, кто покажет черту, которую человек не должен переступать, в каком бы он положении ни оказался? Ему запомнился рассказ одного летчика о том, как семьдесят человек оказались под автоматом бандита, требовавшего изменить курс самолета. Этот летчик выступал перед большой аудиторией, и в зале раздался голос, вызвавший гул одобрения: «А почему из тех семидесяти никто не кинулся обезоружить бандита?» И тогда летчик спросил: «А в вас когда-нибудь стреляли? В упор?» Да, трудно принять решение, когда на тебя направлен автомат и когда жизнь твоя может быть оборвана в одно мгновение...

Замерзая в вертолете, Беляев думал об одном: разве можно погибнуть так нелепо, разве можно смириться с мыслью, что жизнь твоя кончилась? И он принял неожиданное и для себя и для летчика решение. Дерзкое, отчаянное, оно спасло и его и летчика.

— Чай с медом и липовым цветом. Все, что может выгнать простуду, Фаечка, быстро... Маму врачи спасут, ты спасай меня. Я замерз в вертолете.

Фая взялась готовить отвары. Раису, конечно, после такого вылезаться бы как следует, но разве его удержишь? Вот уже дотянулся до телефона, звонит Стекольникову, второму секретарю:

— Как, все в порядке? Оповестили?.. Хорошо, в восемь утра у главного конвейера. Без изменений.

Был поздний вечер, когда заглянул Евгений Никанорович. Он узнал о случившемся с матерью Беляева, зашел на минутку поддержать соседа и вдруг обнаружил его в такой страшной простуде.

— Сейчас все наладим, Раис Киямович.

Батенчук применил только одному ему известную сибирскую процедуру, и Беляев не заметил, когда заснул.

— Главное, проспать все это дело, — сказал Евгений Никанорович, прощаясь с Фаем.

Батенчук и Беляев...

Когда они познакомились, когда впервые поздоровались, протянули друг другу руки? Когда это было? Один за другим возникают вопросы, а склонившийся Евгений Никанорович глядит на него небольшими голубыми глазами... Эти глаза всегда добрые, их взгляд облегчает боль, будто нежно снимает ее, переносит на себя. Батенчук могуч, косая сажень в плечах. Однажды одна древняя старуха, выходя из его кабинета, повернулась, как к алтарю, к обитым дерматином дверям, перекрестилась и шепнула: «Дай бог тебе здоровья, плечи он тебе дал, чтобы и эту стройку нести и наши заботы... Спасибо за помощь». Не помнит Беляев, как звали ту старуху и чем помог ей Евгений Никанорович, а запомнил только ее слова. Сейчас Батенчук пытался переложить на себя его, Беляева, боль. А может быть, и переложил уже, потому как стало легче и пришел сон... А когда проснулся, протер глаза — снова увидел на табуретке около кровати улыбающегося Евгения Никаноровича:

— Вот и все... Только на работу не вставайте, справимся без вас. На сколько же лет старше Беляева Батенчук? На десять? На двад-

цать? Беляев мог в любое время заглянуть в учетную карточку, узнать все и не гадать, но он никогда не заглядывал. Не хотел. Он чувствует в Батенчуке своего ровесника и говорит ему «ты». А вот Батенчук на «ты» не переходит. Может, из уважения к должности, а может, не хочет придавать их отношениям налет фамильярности. А Беляев не может называть его на «вы». Батенчук — и вдруг «вы»! Нет! Дядя Женя, Евгений Никанорович, Батя, Батенчук, Женя, наконец. «Ты» и больше ничего. Ты — брат, отец, старший товарищ, друг и самое-самое — сосед! Кому еще посчастливилось на белом свете иметь в трех шагах от своего порога такого соседа? Никому.

— Фая, Женя ушел?

— Ушел...

— А что он тебе говорил?

— Ты же знаешь, что он говорит мне всегда...

— Опять пристаёт со своей любовью?

— А ты как думал...

— Смотри у меня...— Раис встает и берет дневник.— Вот у меня тут записано: «Сегодня Батенчук объяснялся в любви моей жене...»

— Это когда было?— спрашивает Фая.

— В семьдесят втором году.

— Вот видишь. А сейчас восьмидесятый.

— Не имеет значения.

— Не дури давай, ложись. А то сейчас позову его.

Фая знает — раз муж заговорил о любви, значит, лечение пошло впрок и он может приступать к работе.

— Иди ложись!— приказывает Фая.

Он же берет трубку трезвонящего телефона.

— Соскучился! С самого вечера не говорил. Что мне с тобой делать, Раис?

Беляев прикрывает рукой микрофон и, улыбаясь, шепчет:

— Терпеть.

А через несколько минут он уже ехал на автозавод. Ему болей-некогда.

Кто первым придумал емкое слово совет, Раис не знал. В одном популярном словаре выяснил, что «совет» толкуется как согласие и дружба, но почему-то рядом в скобках пометка «устаревшее». Раис Беляев уверен, что если бы издавался в Челнах толковый словарь, то у многих слов появились бы новые значения, обретенные здесь за эти годы. Совет бригадиров, совет бригады, совет секретарей парторганизаций. Жить в совете, плечо к плечу, не кивать друг на друга, нести на плечах груз общей ответственности. На сегодняшнем совете секретарей парторганизаций у главного конвейера, где решалась судьба его первой и второй ниток, Беляев еще раз убедился, насколько правильно поступил горком, когда в 1972 году решил создать на решающих участках советы партийных секретарей. Множество больших и малых организаций, собранных на одной строительной площадке, их неравное по опыту и умению работать с людьми руководящих способных были бы нагородить столько межведомственных барьеров, что — будь ты Беляев, Иванов, Петров или кто угодно — никогда не разберешься. Объединенные партийные советы крушили и крушат эти преграды, презрительно называемые межведомками. Ведомство здесь одно — партия, и она исходит только из общих интересов. После всяких прикидок, обсуждений, споров, столкновений выработывалось решение, а Раис еще долго прокручивал происшедшее, анализировал все, что говорили люди, все, что говорил он сам. Какой длины получилась бы лента, если бы на ней удалось записать все раздумья Беляева за эти годы? Ею, наверное, можно было бы опоясать земной шар по экватору. Эта лента порой включается не последовательно, события в его памяти возникают выборочно, подчиняясь не-

домой логике. Но одно можно сказать твердо и определенно: что бы ни всплывало в памяти первого секретаря горкома, оно служило решению проблем сегодняшнего дня. Впустую ничего не прокручивалось. Для этого в Челнах нет времени.

После совета Раис поехал в колхоз, а на обратном пути, уже вечером, оставил машину и пошел длинной дорогой к тому месту, где десять лет назад подъемный кран опустил в засыпанную снегом, несконченную рожд двухметровый железобетонный блок. Кто-то старательно вывел охрой: «1969, здесь будет построен Камский автомобильный батыр 1974».

Никто уже не укажет точного места, где был опущен тот блок. Говорят, закопали, где сейчас корпуса литейного завода. Хорошо, что осталась фотография. И неплохо бы разыскать тот блок. Огородить скромно, обсадить цветами и беречь его как памятник, как хранят священный камень в Мекке. Пусть приходят сюда первопроходцы и молча вспоминают о том, что и как было тут в самом начале, что происходило позже. Беляев назвал бы его камнем молчания. Драгоценный челнинский камень. Хотя это самый обыкновенный блок из армированной смеси цемента с гравием.

Чего только не видел этот блок, сколько бы он мог рассказать!

Но Раис знает и может сказать о КамАЗе больше. Никто, кроме Раиса Беляева, не знает о КамАЗе столько. Он знает о КамАЗе все. И мучается мыслью, что многое из того, что знает он, уйдет и кто расскажет о затраченной здесь духовной энергии, о юных сердцах, рвавшихся сюда, чтобы строить «город и завод будущего»? Кто сконцентрировал эту духовную энергию, чтобы и она, как энергия мускулов, давала потом свои плоды? Эх, размечтался ты, Беляев, испорченный ты романтикой человек... «Раис, Раис,— сказала бы Фая,— иди домой и отдохни немного». А он летит куда-то, и ему снова снятся голубые сны, он опять окутан сонмом тех мечтаний, с которыми вышел один в черное поле десять лет назад. Он рассказывал тогда своему другу о широкой набережной и о бесконечных бульварах, вдоль которых встанут высокие-высокие деревья все в белой кипени цветения: «Ты слышишь, как пахнет черемуха?»

Яркий свет оторвал от мыслей. По бетонке один за другим шли грузовики. Шли не быстро, двигатели работали ровно, без надрыва. Перед поворотом фары на мгновение выхватывали Беляева из темноты, ослепляли, и он то и дело хмурился. Бетонка стала продолжением главного конвейера автосборочного, а Беляев стоял, призадумавшись: скоро по триста машин в сутки будет сходить с конвейера. Дорога станет тесной... Вдруг одна машина притормозила, и два снопа света обрушились на Беляева, затем круто ушли в сторону, медленно, буква за буквой вырывая из темноты три слова лозунга, уже давно стоящего на развилке двух главных дорог КамАЗа — одной, ведущей к новому городу, другой — к заводским корпусам:

«СЛАВА СТРОИТЕЛЯМ КАМАЗА!»

Беляев не спеша шагал по одному ему известной дороге к берегу Камы, где когда-то мечтал о запахе черемухи над степью. Легкий ветер еще не рассеял дизельную гарь проехавшей мимо автоколонны. Нет, нет, он должен сделать все, чтобы давняя мечта стала явью.

— Раис Киямович, вас разыскивают по рации,— сказал догнавший его водитель,— звонил дежурный, Евгений Никанорович тоже просит...

Он не стал вызывать по радиотелефону горком, позвонил с дороги жене, попросил не беспокоиться, предупредил, что едет сейчас к себе.

Инструктор, который дежурил сегодня в горкоме, работал в аппарате недавно. Он увидел принесенную ему телеграмму, красную полосу на ней со словом «правительственная» и, еще не прочитав ее, встре-

вожился. Принялся звонить, спрашивая Беляева. Телеграмма была из Казани, и в ней сообщалось, что намеченное на той неделе заседание бюро обкома откладывается.

— Ты у кого принял дежурство? — спросил Беляев.

— У секретаря.

— У Раи?

— Да.

— Она тоже еще не все знает. Но со временем научится и она, и ты научишься различать очень важное и очень срочное от не очень важного и не очень срочного... Что смотришь так испуганно? Тебе сколько лет?

— Двадцать четыре.

— Десять лет назад было четырнадцать...

— Я в седьмом классе был, Раис Киямович, когда здесь все началось...

— И тоже мечтал... В четырнадцать лет хорошо мечтается...

— А я помню, как вы к нам в школу приходили, рассказывали о КамАЗе, а нам не верилось.

— А как ты думаешь, все сделали, что обещали тогда?

— Обещали построить заводы, город... Все построено.

— Мы еще кое-что обещали тогда построить, мы обещали построить жизнь. Многие тогда писали о нас: строится жизнь. Она и сейчас продолжает строиться, но так ли мы ее строим? Ты вот в отделе пропаганды работаешь. Не возникает ли на беседах в кружках ваших этот вопрос: так ли мы строим жизнь?

Инструктор горкома, выдвинутый из комсомольских работников, хорошо знал, что если тут же не ответить на вопросы Раиса Киямовича, он секунду подождет и ответит сам. Правда, не дай бог, когда он ждет ответа и повторит вопрос. Но сейчас был не тот случай.

— Ну ладно, дежурь дальше. До утра или до двенадцати? Как?

— Рая сказала до двенадцати, но если надо до утра...

— Не надо до утра. Иди домой. Серьезные люди ночью спят... Если кто позвонит по этому телефону, — Беляев указал на белый аппарат с гербом Советского Союза на диске, — скажи, что я дома или у Батенчука.

— А у меня к вам лишь один вопрос, Раис Киямович, неделовой. — Батенчук пропустил Беляева в прихожую, где вкусно пахло жареной рыбой. — Нужно было кое-что решить на строительстве дамб в верхнем бьефе, и рыбаки-подледники несколькими глубинными окуньками угостили. Ушицы попробуем, да и жареный окунь неплох. Прошу к столу. Фая уже здесь. — Хозяин взял со стола обыкновенную медицинскую грелку. — Тут кое-что было для вашего полного исцеления. Сейчас попробуем. Женщины там греют с медом.

Людмила Васильевна принесла небольшую белую кастрюлю. Сняла крышку — и задымилось ароматное вино темно-гранатового цвета.

— Чувствуете запах зацветающего винограда? — спросил Батенчук. — Или не видели, как цветет виноград? Точно такой аромат плывет тогда над виноградными плантациями. Я, когда строили Краснополянскую станцию, выходил весной в пору цветения винограда и дышал молодостью... А это мне секретарь парткома связистов подарил, вы его знаете.

— Мугурияну?

— Да. Хороший человек.

— А грелка при чем?

— Э-э-э! Это целая наука, оказывается. Посмотрите.

На одной стороне была приклеена этикетка, как на винных бутылках молдавского винпрома: аист с гроздью винограда в клюве. Батенчук пояснил:

— У Мугурияну знакомый шофер есть, так ему иногда шлют из дома такое вино в грелках. Забавный парень! Как-то прихожу в сборочный, конвейер стоит, шоферы кучей вокруг этого парня, а тот им молдавские побасенки травит. Краем уха и я услышал. Однажды, говорит, Колумб на полпути к Новому Свету посреди океана на крохотном островке заметил человека в странном головном уборе — в такой островерхой шапке из мерлушки. А дело было в разгар тропического лета. «Что за чудо?» — думает Колумб. Только высадился на берег, а ему навстречу парень: пустые мешки через плечо, из карманов пачки долларов торчат. «Так у индейцев не было долларов», — вставляет один образованный слесарь. «Ну какая разница, доллары, не доллары, главное, деньги из его карманов торчат, понимаешь?» Колумб, говорит он дальше, интересуется, что за человек, мол, откуда. А тот объясняет: из Молдавии, ездил индейцам грецкие орехи продавать...

Батенчук не смог рассмешить Беляева. Тот пребывал в тревожном состоянии, и деликатный Батенчук хоть и догадывался, в чем дело, но не стал допытываться.

А сам Раис не смог бы толком объяснить причину поселившейся в его душе тревоги. Это была тревога не только за здоровье матери. Еще до ее болезни он часто задумывался о том, что не всегда и не во всем за эти десять лет проявлял необходимую настойчивость, уступал там, где уступать не имел права. Он, испытав вместе со всеми все трудности и лишения этих десяти челнинских лет, построив вместе со всеми этот город и заводы, не мог вздохнуть полной грудью и сказать, что он доволен всем сделанным. Сегодня в ночном поле он не почувствовал запаха цветущей черемухи, как т о г д а. Висит над степью и над городом облачко дыма от сгорающего в дизельных моторах топлива, а конвейер, пуск которого ожидался как праздник — да это и будет по-настоящему великим праздником, — уже начинает подчинять себе все. Существуют рассуждения, что это должно быть именно так. Нет, так не будет! Человеку должно быть здесь подчинено все! А знает ли Беляев, как это сделать?.. Чтобы как-то оправдать свое безучастное отношение к веселой истории, рассказанной Евгением Никаноровичем, произнес будто для себя:

— Сегодня мне показали сводку: в Челнах уже триста тридцать тысяч человек...

Набережные Челны

В городе на Каме построено 4,5 миллиона квадратных метров жилой площади. На 1 января 1982 года в городе прописано 372 тысячи человек.

2

А поначалу, то есть когда только все должно было начинаться, не насчитывали Челны и десятой доли этого числа. И если исключить коллектив КамГЭС, организации, созданной здесь многие годы назад совсем не для строительства КамАЗа, в Челнах и десяти тысяч человек не набиралось. Раис Беляев приехал принимать район у работавшего тогда первым секретарем человека, привыкшего к своему почти забытому цивилизацией району, где, кроме построенного еще в прошлом веке элеватора на левом берегу Камы, почти ничего и не было. Район находился в стороне от большой промышленности Татарии, представлял стране только немного хлеба... Бревенчатый дом в центре той поселка, то ли города выделялся больше своей вывеской, чем видом. А на вывеске той Раис Беляев прочитал: «Набережночелнинский горком КПСС» и удивился: разве ж это город, чтобы им руководил целый горком?.. В том же бревенчатом горкомовском доме в двух

комнатках ютился подведомственный до сегодняшнего дня ему, Раису Беляеву, горком комсомола. Беляев приезжал раньше в Челны в ином качестве — областное начальство, первый секретарь обкома комсомола. Но тогда он не задумывался над этим вопросом и не мог предположить, что доведется прийти сюда не гостем на несколько часов или на день, а руководителем, главным уполномоченным партии. Когда утверждали на бюро обкома, предупредили: никаких особоуполномоченных ЦК ни на стройке, ни потом на комплексе заводов не будет — ты там все. Беляев понимал, что руководство усиливает акценты, что оно, конечно, не оставит его в тяжелую минуту одного.

До пленума, когда его ввели в члены горкома, а затем избрали первым секретарем, будущая стройка виделась Беляеву как-то изда-лека. Он не мог еще полностью представить себе, какая предстоит ему ответственность. А вот когда секретарь Татарского обкома партии Михаил Трофимович Троицкий предоставил слово единогласно избранному первому секретарю горкома, тридцатичетырехлетний Раис Беляев понял, что все его разговоры и все его раздумья о будущей работе кончились. Самое ответственное наступило сейчас, в эту минуту. От него многого ждут. На него надеются. Ему верят.

Не было для первого секретаря тайной то, что сюда приедут люди со всех концов страны, поднятые с родных мест романтикой, ма-нящим заревом разворачивающейся великой стройки. Немного понадо-билось ему времени и для того, чтобы увидеть и понять, что в Челны прибывают и люди со сложными биографиями. Они стремились в Челны как к надежному спасательному кругу. (Настанет час, когда Раис емко и образно назовет построенный город На б е р е ж н о й Н а д е ж д ы.) И он с первого дня учил себя сложной науке смотреть правде в глаза, не уходить от трудностей, какими бы они непреодолимыми ни казались. Откровенность, прямота, честность, бескорыстие и беззавет-ность стали его девизом. Этому он учил и своих товарищей. И шли в горком люди, твердо убежденные в том, что им помогут. Беляев по м о ж е т. Имеется один неоспоримый, подтверждаемый докумен-тами факт, который сам по себе красноречивее любых слов: на всех партийных собраниях и конференциях за двенадцать лет работы в Челнах при тайном голосовании на выборах в партийные органы Раис Киямович Беляев не получил против ни единого голоса.

Такое только зарабатывается.

3

— Поезжай на Каму и займись живым делом, ты же это любишь. Только работа уведет тебя от всего случившегося... Надо работать, чтобы не оставалось времени думать о своем, работать до полного истощения физических сил — и тогда свалишься, уснешь, все выключится... Ей-богу. Послушай меня...

Виорел Мугуряну разумом понимал все это. И его товарищ, у которого он сидел сейчас в кабинете в здании ЦК партии в Москве, тоже знал, что Мугуряну человек крепкий, испытанный и то, что он старается ему втолковать, это просто слова. Мугуряну уже принял решение уехать из Молдавии, и его ничто не удержит, вот только нужно помочь ему прибиться к берегу, где обстановка сама заставит работать, не даст времени для самоистязаний, ведь в горе губит прежде всего уход в себя.

— Хорошо, я поеду туда. Помоги билет достать.

— Туда транспорта пока никакого, с Казанского вокзала доедешь до Казани, а там уж посмотришь...

— Ладно, не заблужусь...

С товарищем, работающим сейчас в ЦК, Мугуряну учился вместе в партийной школе, два года жил с ним в одной комнате, делили, как

пелось в то время в одной популярной песне, «и счастье, и горе, и хлеб, и табак». В трагические дни, когда утасала в московской клинике дочь Иленуца, Виорела Андреевича взял к себе этот товарищ. Сейчас он, зная о нем все, пытался представить себе, как у него сложится жизнь дальше, ведь Мугурияну еще отнюдь не старик. Сказал вместо напутствия:

— Товарищи из промышленного отдела говорят, что в Челнах очень толковый человек избран сейчас первым секретарем, ты с ним познакомься. Лучше всего, пожалуй, и начни прямо с него. Хочешь, я ему позвоню?

— Не надо звонить, ты обо мне не беспокойся... Ведь я к тебе зашел просто так, мне ничего не надо...

Вот этим «мне ничего не надо» и отличался Мугурияну от того Виорела Андреевича, каким его знали до несчастья с дочерью. Он словно бы хотел подчеркнуть этими словами, что не нуждается ни в чьих заботах, что эти заботы беспокоят его, тревожат, напоминают о случившемся, о тех страшных днях. Его собеседник помнил слова Мугурияну перед отъездом в Кишинев после похорон дочери: «Я уже никогда ничего не смогу делать». Он пытался уговорить его, успокоить, но сам знал, что никакие утешения не помогут и все то, что они, его товарищи, делали, скорее всего делали потому, что так надо, так принято. Но видно было, что Виорел Андреевич не на грани отчаяния. Он еще в те дни, сразу после похорон дочери, сказал: «Покончить со всем этим (он имел в виду свои душевные страдания) можно, только покончив с собой вообще. Но мне эта мысль противна». И то, что он сейчас сидел перед своим товарищем в ЦК, означало, что жизнь брала свое и, кто знает, может быть, она вернет прежнего Виорела Мугурияну — энергичного, заводного, романтического. Пусть едет в Челны.

...Когда объявился в Набережных Челнах Ницэ Марин, Мугурияну обрадовался, но тут же подумал, что, наверное, у того тоже что-то стряслось: ведь ни с того ни с сего не отпраившись в такую дальнюю даль. Но прежде чем приехать сюда, Ницэ прислал письмо, в котором интересовался, нужны ли шоферы, как платят, есть ли общежитие. Ответ он ему дал телеграфом: приезжайте, общежитие есть, шоферы нужны, заработки хорошие. Но он отправил ему еще и письмо — длинное и немного похожее на жалобу.

«Я уж и не помню, который раз сочиняю письмо для вас, — начал Мугурияну. — И все откладывается не потому, что времени для этого нет, а просто потому, что когда хочешь сказать человеку очень многое, то коротко как-то не получается. И все же, начиная это письмо, даже не знаю, когда закончу. Речь идет о том, что я еще очень плохо представляю себе, что здесь происходит. Существует цель, имеется конкретное решение, определены сроки и что-то уже делается. Но человеческий ум, ум одного человека (в данном случае я говорю о своем уме), не в состоянии объять все происходящее здесь. И в этом тоже причина моего молчания. Представьте себе квадрат, каждая сторона которого десять километров (можно легко прикинуть, сравнивая с площадью нашего Кишинева. Только наш Кишинев, как известно, начал строиться пятьсот лет назад и застраивается до наших дней, а здесь все должно быть готово за пять-шесть лет!). Так вот в этом огромном квадрате — я прилагаю нарисованную мной схему — перемальвается вся земля, иногда на глубину до двадцати метров, а местами и глубже. Характеры людей, здесь проживающих и приезжающих сюда, перемальваются тоже. Здешних людей, волею судьбы оказавшихся в этом квадрате, гораздо меньше, чем тех, которых влечет сюда романтика великой, до сих пор невиданной в истории нашей земли стройки. Но каждый приехавший превращается сразу в маленькую капельку, незаметную росинку. Сколько их, этих росинок, растворится в океане будущего КамАЗа? Я говорю «будущего» потому, что то

огромное, о чем пишется и говорится ежедневно в печати и по радио, существует лишь на бумаге. И даже не всегда на бумаге, а только еще в извилинах чьего-то мозга. Если исписать сотни тысяч страниц рассказами о том, что здесь делается, и предположить, что кто-нибудь возьмет все это и прочтет, то он все равно не сумеет в полную меру представить себе настоящую картину. Чтобы понять, представить ее, надо самому приехать, посмотреть и почувствовать.

Вчера под колесами грузовика, в кабине которого я оказался, погиб человек. Было темно, лил страшный дождь, шофер остановился у перекрестка и слегка подал назад, чтобы повернуть направо. А в этот самый миг, когда он чуть подал назад, с высокого откоса прямо под задние колеса свалился парень лет двадцати пяти. Как выяснилось позже, он был пьян... А ведь приехал на грандиозную стройку и планы у него тоже, наверное, были грандиозные. Но этого теперь никто уже не узнает, какие у него были планы... А еще несколько дней назад на собрании комсомольского комитета стройки распекали корреспондента, осмелившегося написать, что, кроме дворцов бракосочетания, асфальтированных дорог и роскошных домов, в великом городе великого завода будет и свое кладбище...

Пишу я вам об этом для того, чтобы хоть несколькими штрихами показать не только величие совершающегося, но и трагедии, которые порою случаются. Ваш приезд обрадовал бы меня. Вам могут показаться непривычными условия здешней жизни, но поживете немного и поймете, что другого при наших условиях, вероятно, и не придумать. Хотя кто знает.

Относительно условий оплаты. Здесь, конечно, заработки во много раз выше, чем при строительстве на улице Роз. Признаюсь, такие большие деньги в руках еще совсем зеленых парней и девчат немного пугают. Бывает, что молодой парнишка к концу месяца положит в карман пятьсот, а иногда и шестьсот рублей. Куда их девать? Это тоже вопрос не из самых простых. С вашей квалификацией и добросовестностью заработать здесь можно много. Одним словом, приезжайте. А жить, если захотите, будете со мной в одной комнате. Тут можно потесниться, и для одной кровати место вполне найдется...

— Что это вы уже третий вечер все сочиняете и сочиняете? — спросил сосед по комнате, командированный из Москвы специалист по тепловым электростанциям.

Мугуряну не любил, когда ни с того ни с сего вмешивались в его дела даже таким, казалось бы, безобидным образом. Он или не ответил бы, или сказал бы что-то совсем безобидное, не подойди тот специалист вплотную с явным намерением взглянуть в написанное.

— Ну-ну, что вы тут все строчите?

— Письмо своему товарищу пишу...

— Три вечера подряд?

— Что поделаешь, быстрее не умею,— попытался Мугуряну уйти от явно напрашивавшегося грубого ответа.

— Строчить три дня письмо! — воскликнул специалист. — В то время как для любого послания отсюда достаточно одного-единственного слова: «кавардак»! Напиши это слово, заклей конверт и бросай в ящик. И все будет правильно.

— А вы приезжали к нам и до этой командировки? — спросил Мугуряну с явным нажимом на к нам.

— Не имел чести... И считал бы огромным везением, если бы эта первая командировка оказалась и последней...

Мугуряну не стал ни спорить, ни возражать. За год он насмотрелся на всякого рода командированный люд, хлынувший из столицы и из других крупных городов. Большинство испытывало гордость оттого, что они имеют отношение к этой стройке, старалось помочь чем можно. Иные же терялись и признавались, что они ровно ничего не понимают в том, что происходит здесь, пожимали плечами и

торопились в обратную дорогу долой. Третьи — немногочисленные, но очень самоуверенные — произносили это распространенное обобщение («кавардак») и тоже убирались восвояси. Основная же масса людей приехала сюда работать. К ним относил себя и Виорел Мугуряну. Он не затевал ни с кем спора, не пытался доказывать правоту КамАЗа тем, кому, по его убеждению, было глубоко безразлично, будет этот КамАЗ когда-нибудь построен или нет. По опыту своего малого строительства на улице Роз он знал, какое непростое это дело — строить. И как-то заметил для себя, что вся история нашей страны есть история одних строек. Чтобы избавиться от любопытства назойливого командированного, он прошел на кухню. Там стояли две заправленные кровати для вновь прибывающих гостей, но маленькое пространство у плиты было свободно и он мог заняться ужином. С того уже очень давнего времени, как умерла мать, Виорел Мугуряну готовил себе сам.

Командированные мужики говорили о женах, о доме; и по тому, как они говорили об этом, можно было сразу же определить, откуда они приехали: «А сейчас бы к моей Марье, да на блины с грибной икоркой да со сметаной...», «А я бы шанежки с картошечкой...», «А я бы пельмени с медвежатиной...», «А вы далму когда-нибудь пробовали?», «А перемечи?». Это все говорили мужики, вспоминая дом и вкусную еду. А если кто уткнется в тетрадь или книжку или уйдет просто так на кухню, как Мугуряну, значит, хвастаться ему по этой части нечем.

Сегодня у него был сложный день: вызвал Беляев и предложил новую работу.

— Мы присмотрелись к вам и хотим просить перейти на гидростанцию...

Об этой гидростанции Мугуряну уже много слышал, да и видна была на берегах Камы больше гидростанция, чем КамАЗ. Оказывается, что в определении места, где строить КамАЗ, сыграла немалую роль именно эта гидростанция, да и строит ведь КамАЗ организация, призванная поначалу строить электростанцию. Был проект, создали управление строительства, построили небольшой поселок, который называется КамГЭС. Главная улица в поселке — улица Гидростроителей, и здесь пока что вся жизнь камазовцев, называют ее то улицей Горького, то Невским проспектом... Да, но что общего у него, Виорела Мугуряну, с гидростроительством? Что он в этом понимает? Вот на днях пошел на берег Камы провести свободный час с дочкой. В Молдавии он никогда не рыбачил, а здесь приноворился. Хорошо одному человеку оказаться один на один с водой — ты молчишь и ни о чем ее, эту воду, не спрашиваешь, и она молчит. Лишь скроется грузило и замрет поплавок, пока какая-нибудь заблудившаяся рыба не клюнет, на свою беду, приманку... К тому камскому берегу, куда он вышел в тот день порыбачить, прибило видимо-невидимо кругляка, бесчисленные плоты отличнейшего леса — целое столботворение, как сострил, заметив удивленный взгляд Мугуряну, сосед-рыбак. Потом сказал: «Все это от КамГЭС, от гидростанции».

И сейчас, когда ему предложили идти на гидростанцию, почему-то прежде всего Мугуряну увидел эти горы пропадающего без пользы леса. И только это ли? Ну а что ответить Беляеву? С ним в первые месяцы работы на КамАЗе Виорел Андреевич не сталкивался, хотя и вспоминал совет своего товарища из ЦК — «иди к Беляеву»; но зачем он ему, Беляеву, зачем проситься на беседу к человеку, если у тебя к нему нет дела? И все же к тому, что говорили на КамАЗе о Беляеве, он прислушивался, дважды наблюдал за тем, как тот ведет партийный актив, как общается со своими товарищами. А сейчас он чувствовал устремленный на него острый взгляд секретаря горкома. Он не требовал, не предлагал, а просил, Мугуряну понимал, что если

он сейчас откажется, то Беляев не рассердится, не обидится и не за- таит недоброе. Но имел ли он, Мугуряну, право отказываться? Беляев смотрел в упор. Чувствуя нерешительность Мугуряну, сказал:

— У вас же есть опыт строительства... Не такого объекта, конечно, но на каждой стройке тот же цемент, то же бесформенное железо, кирпич и всякая известь. С этим справляются специалисты разных профилей... Но главный материал стройки доверен нам, и мы, партийные работники, несем за него полную ответственность. Гор- ком предлагает вам работу с людьми, партийный комитет ГЭС.

И Виорел Мугуряну не смог отказаться...

Когда он все же дописал письмо и отправил его Ницэ в Кишинев, в том письме уже были и строки о том, как он, Мугуряну, осваивает совершенно незнакомую, новую для себя профессию гидростроите- ля. Он звал Ницэ на Каму, сообщал ему не только об условиях рабо- ты, но описывал также красоту и величие тех мест, где предстояло быть КамАЗу и Нижнекамской ГЭС.

— Виорел Андреевич,— сказал Ницэ, с трудом стягивая с себя кирзовые сапоги,— сегодня на переправе услышал молдавские голо- са. Снова приехала целая бригада.

Мугуряну всегда радовали вести из Молдавии. Он не мог ото- рваться мыслью от родных мест, от улицы Роз. Он иногда настраи- вал свой портативный приемник на волну Кишинева, надевал науш- ника, чтоб не мешать товарищам по общежитию, и слушал. Те, кото- рые жили с ним давно в этом номере в доме 2/3 по улице Гидростро- ителей, знали, что если этот невысокий, с непокорной шевелюрой человек улыбается, сидя на кровати в наушниках, значит, снова свою молдовеняску слушает. Когда же он узнавал, что на стройку приеха- ли молдаване, радовался, как ребенок,— значит, и его маленькая республика шлет сюда своих людей, участвует в этом великом деле. Спрашивает у Ницэ:

— Большая бригада?

— Много, студенты, целый отряд...

— Есть знакомые?

— Я как раз об этом хотел вам сказать... Ксения, дочь Маши, Марии Гавриловны... Помните? Такая же говорливая, за пять минут переправа узнала все молдавские новости...

Мугуряну не стал больше спрашивать ни о чем.

Помнит ли он, Виорел Мугуряну, Ксению? Эту живую, подвиж- ную, как ртуть, говорливую девочку, подругу его Иленуцы? Он ничего не сможет ответить сейчас Ницэ Марину. Он только не сомкнет глаз в эту ночь, потому что одна мысль, что подруга его дочери здесь, не даст уснуть.

— Такая распутица,— ворчит Ницэ,— видал я распутицы в Мол- давии, но со здешними не сравнится ничто.

Видя, что Мугуряну никак не реагирует на его слова, будто его совсем и нет в комнате, Ницэ уже понял, что он не должен был го- ворить о Ксении, вернее, должен был сказать, что она здесь, но не задавать глупый вопрос, помнит ли Виорел Андреевич Ксению. Как же он может ее не помнить, когда она столько лет жила душа в душу с Иленуцей, а когда Виорел Андреевич уезжал, то оставил Ксении все ее вещи. Пытается еще раз отвлечь Мугуряну, вывести его из молчания:

— Хорошую устроили мойку для сапог. Как поставили ее, сразу же чище стало в подъезде... Ребята узнали, что вы ее придумали, и шутят: «За каждый чистый сапог молдаване огреют тебя кружкой вина».

Слово «огреют» бытовало в общежитиях, где жили молдаване, те часто получали из дому хитрые посылки с грелками. Но и на это ничего не сказал Виорел Мугуряну.

Поужинали молча, прислушиваясь к барабаниющим по стеклам крупным каплям дождя. Дождь шел уже вторую неделю и не отдыхал даже ночью. Ницэ вымыл тарелки, поставил их в буфет, достал сухие портянки и снова натянул кирзовки. И лишь когда надел широкую брезентовую куртку, Мугурияну поднял глаза:

— Вы же только с работы...

— Пойду и в ночь, сменщик заболел... И вообще говорят, что здесь двое работают за троих...

Мугурияну открыл дверь на балкон. Дождь хлестал крупными теплыми каплями, и он увидел как наяву дорогу между Кишиневом и Страшенами, когда их с Марией Гавриловной Липатовой застал там такой же дождь... Сколько прошло с тех пор лет? Тогда он спешил успеть хотя бы к окончанию репетиции в театре, потому что в тот вечер Иленуца пробовала себя на главную роль в пьесе «Мечта». Вот она, его дочь, выходит из-за пелены дождя и идет по двору между двумя общежитиями в этом городе со странным названием Набережные Челны. У единственного дерева между домами, у одинокого тополя, качающегося сейчас подобно гигантскому венуку, она исчезает, и раздается голос:

— Виорел Андреевич, я возвращусь завтра к вечеру.— Ницэ заметил стоявшего под дождем на балконе Мугурияну и крикнул ему.

Мугурияну же стоял еще долго под дождем, подставляя лицо теплым струям, и наблюдал, как сверкающие молнии соперничают с прорезающими мглу прожекторами, фарами движущихся автомашин, кранов, тракторов, бульдозеров, со вспышками электросварки, прислушивался, как небесный гром смешивается с грохотом подъемных кранов, лебедок, бульдозеров. Подобно тому как воздух, ворвавшийся в легкие с первым криком новорожденного, запускает на полную мощность и на всю жизнь крохотный моторчик, называемый сердцем, так прибывшие сюда первые землепроходцы запустили сердце будущего города и завода. И оно уже билось. А он, Виорел Мугурияну, всего лишь клеточка этого гигантского организма, вышел из общежития и пошел под дождем по маленькой тропинке к Каме. То тут, то там вдоль тропинки светились низкие фонари и у каждого — юная сосенка и табличка с надписью: «Дорогие товарищи, давно здесь живущие, приехавшие, приезжающие и уезжающие тоже. Эти сосенки посадили дети первых строителей КамАЗа, чтобы они очищали воздух для ваших легких, привлекали птиц и укрывали от посторонних глаз влюбленных. Берегите их и посадите в Челнах свое дерево!»

Говорили, что эту надпись сочинил Раис Беляев.

4

Бей, барабан!

Бей, барабан, бей...

«Бей, барабан!» Эти два слова Раис услышал в своем родном завожском селе, еще когда не ходил в школу. Он с любопытством и завистью глядел тогда на барабанщика с красным галстуком, который гордо шагал впереди отряда, двумя волшебными палочками выбивая четкую дробь.

Но однажды летом, в воскресенье, раздались тревожные, редкие, как выстрелы, удары большого барабана. Раис знал: большой барабан бил только на 1 Мая и 7 ноября, когда взрослые собирались перед сельсоветом. А потом колхозный оркестр — труба, кларнет, гармошка и барабан — играл «Интернационал». Раиса учили словам этой песни, но он их еще не понимал: «Вставай, проклятьем заклейменный...» Что это такое?

После того воскресенья в оркестре инвалид-барабанщик остался один, а кларнетиста, гармониста и трубача забрали на фронт. Где-

то пока еще далеко от Волги, даже от Москвы пока далеко, шла война с фрицами, и большой барабан звал на войну.

Бей, барабан!

Теперь Раису слышалось, что барабан зовет бить врага, фашиста. И душа мальчика кричала: бей его, барабан, бей! Пусть скорее вернутся домой кларнетист, гармонист и трубач...

Но ни трубач, ни гармонист, ни кларнетист не вернулись с войны. Вместо них пришли в разные дни три бумажки, которые назывались похоронками. А в тот великий день, когда горящая труба на высохшей березе у избы-читальни сказала, что пришла победа, барабанщик вышел из дому и выбил на своем барабане радостную дробь. Из лавины громopodobных звуков складывались два слова, и Раис слышал их очень четко: мы победили! мы победили!

...Наступали октябрьские праздники 1970 года. Раису Беляеву предстояло впервые в жизни подняться на трибуну в качестве главного лица и приветствовать проходящих мимо челнинцев — старых, которых было мало, и новых, для которых Челны не стали еще родным домом.

На улице Гидростроителей уже свалили машину теса, рейки, брусья — все необходимое, чтобы соорудить трибуну для начальства, значит, для него, Раиса Беляева. Но он задумал другое. Он знал, что готов эскиз будущего города. Он знал, где пройдет главная улица нового города. И решил провести демонстрацию по той улице. И когда в чистом поле появился самосвал и сбросил на землю деревянные щиты, мало кто обратил внимание на это. А это была будущая трибуна. Пять ковров из домов соседнего татарского села взял Раис, чтобы украсить ее. Из своего университетского альбома вынул любимую фотографию: молодой Ленин, студент Казанского университета, — и попросил разыскать Ситдикова. Когда тот явился, как всегда обвешанный фотоаппаратами, вспышками и экспонометрами, Беляев спросил:

— Слушай, Камиль, ты умеешь хранить тайну?

— Это моя профессия, — ответил Ситдиков то ли в шутку, то ли всерьез.

— Я тебя вот о чем попрошу. Увеличь эту фотографию, насколько позволяет твоя аппаратура, и отдай мне ее в руки.

— В чем же тут секрет? — удивился фотограф. — Ленин, молодой Ленин.

— Все правильно, молодой... Так увеличить можно?

— Конечно. А для чего?

— Ты вначале сделай, а потом узнаешь...

...Работники горкома, исполкомовцы, только что начинающие складываться коллективы строительных организаций. Небольшой духовой оркестр. Беляев посмотрел на часы, взглянул на прикрепленный к телеграфному столбу громкоговоритель-колокол.

— Через три минуты.

Когда зазвенели куранты Спасской башни в Москве и «колокол» на основном столбе перед бревенчатым домом горкома партии в Набережных Челнах разнес их перезвон над речкой Челнинкой, ударил в барабан красавец татарин, загремела медь духового оркестра, и Раис Беляев с огромным красным бантом на отвороте пальто шагнул вперед. Он вывел колонну в поле и зашагал напрямик к трибуне с увеличенным портретом молодого Ленина. Поравнявшись с ним, остановился и подал дирижеру знак, по которому оркестр на мгновение смолк и тут же заиграл «Интернационал». Звуки медных труб сливались с могучими голосами. Они цели на будущем проспекте будущего города гимн, под раскаты которого Ленин повел Россию на свержение самодержавия. И слышались сейчас в словах этого великого гимна поручение и наставление ему, Беляеву, и всем,

кто шел за ним в этот день 7 ноября 1970 года: «Мы наш, мы новый мир построим!» Строительство нового мира продолжается, и ему, еще молодому коммунисту, доверено сплотить для него людей. И снова по знаку, понятному только дирижеру и Беляеву, оркестр заиграл революционный марш, и колонна двинулась дальше, к Каме. Повалил снег, со стороны реки задул, как нередко бывает в их местах, ветер, кидая хлопья снега в лица упрямо шагавших людей. И сквозь завывания ветра слышался лишь размеренный бой барабана.

Бей, барабан!

Бей, барабан, и напоминай, что барабаны революции будут греметь над этой степью и что на их зов соберутся тысячи и тысячи людей. Шагая во главе сегодняшней немногочисленной колонны, Беляев мысленно видел могучий людской поток, устремляющийся сюда, он слышал, как порывы ветра полощут знамена Октября, его подымал сейчас призывный клич красных конников, он чувствовал устремленные на него взгляды героев первых пятилеток, слышал победное «ура» штурмующих рейхстаг. А самое, самое главное: он знал, что все эти герои, с которыми он знаком по книгам и рассказам старших, идут в одной колонне с ним, они помогают и будут помогать ему.

Бей, барабан, бей!

КамАЗ нужен стране, как нужны были победа над Врангелем и строительство Днепрогэса, как нужны были богатства горы Магнитной и голубая лента Волго-Дона, как победа в Великой Отечественной, покорение целины и полет Гагарина.

Бей, барабан!

Стране нужен КамАЗ.

А пока перед ними только снежное поле да широкая Кама. И пронизывающий, колючий, беспощадный степной ветер.

5

— Где Евгений Никанорович?

Помощник Батенчука, услышав голос Беляева, отвечает:

— Не знаю...

Как ненавидит Беляев эти слова «не знаю». Кто и где бы их ни произносил. Они, как он убедился, прикрывают безделье, равнодушные, за ними прячутся от ответственности. Ведь деловые люди не задают вопросов, на которые нельзя ответить. И Беляев выпалил все это в телефонную трубку.

— Вы правы, Раис Киямович, но я действительно не знаю, где Евгений Никанорович. Обычно он сообщает по радиотелефону, где находится в данное время, а на этот раз ничего не сообщил. Возможно, случилось что-то непредвиденное...

Но Беляев уже повесил трубку и не услышал объяснений.

— Людмила Васильевна, где Евгений Никанорович?

Невозмутимый голос жены Батенчука отвечает привычно:

— На работе, где ж ему быть...

Да, она права. Батенчук на работе. Десять километров направо, десять налево, итого сто квадратных километров, — вот производственная территория Батенчука, чего же он, Беляев, набросился на помощника, толком выслушать не захотел, а затем стал беспокоить семью; и в самом деле, где ж еще может быть Батенчук как не на работе, извините, Людмила Васильевна.

А Батенчук в это время был в больнице. Шофер горкома видел, как машина начальника строительства на полной скорости въехала во двор больницы. Может, случилось что? Беляев набрал до половины номер телефона главврача больницы и тут же отказался от наме-

рения звонить — Батенчук в больницу зря не поедет, надо узнать, что случилось. И Беляев мчится в больницу — не дай господи, чтобы...

— Услышал, что заболела Филяшина, вот и заглянул в больницу, Раис Киямович... А что такое?

Раис рассказывает Батенчуку, что из Москвы прилетает очень высокое начальство, из обкома сообщили, просили быть готовыми к встрече.

— Хорошо все обдумайте, доложите бюро. Васильева я предупредил. Нужно вести серьезный, солидный разговор.

Евгений Никанорович воспринял известие о приезде очень высокого столичного гостя с присущим ему спокойствием. Он ждал этого приезда и был к нему готов. Никакой суеты, никаких эмоций: ну приезжает начальство, а почему бы ему и не приезжать, ведь сколько накопилось больших и малых вопросов. Такое событие, размышляя Батенчук, это все равно что весенние воды — все лишнее, все плохо закрепленное смоят, унесут. Он еще раз все взвешивает, прикидывает, как вести предстоящий разговор. Беляев прав — случай редкий, от умения объяснить, что требуется стройке, от того, как они подготовятся, как сформулируют, поставят вопросы, будет многое зависеть в судьбе завода, будущего города, в жизни будущих здешних горожан. Беляев слушает Батенчука и восхищается его памятью — как он все помнит! Вот вроде незначительный случай: пошел человек в больницу посетить больную Филяшину. А кто такая для Батенчука Филяшина? Дочь, сестра, соседка? Ни первое, ни второе, ни третье. Галина Филяшина — бригадир штукатуров. Вспомнил, как стыдил Батенчук одного из своих замов. У того шофер ногу повредил и попал в больницу. А зам не знал даже, в какой больнице лежит этот шофер. «Для вас же не новость, что на стройке народ прибывающий. Здесь у всех и мамы, и папы, и дяди, и тети, и жены, и сестры-братья далеко. Человек может чувствовать себя не одиноким лишь в том случае, когда о нем заботятся. И мы, руководители, должны проявлять эту заботу даже в мелочах...» «Я им еще зубные щетки покупать буду», — огрызнулся зам. «Зубные щетки — это тоже нужное дело. И если вы принесете в больницу своему шоферу зубную щетку — это тоже ведь забота... Мы для рабочих — все. Иначе не пойдет... — Зазвонил один из многочисленных аппаратов, и Евгений Никанорович поднял трубку. — Наконец-то прибывают семьдесят поваров из Казани. И, может быть, кто-нибудь из них забыл дома зубную щетку... — Батенчук нажал нужную кнопку и сказал: — Поваров разместить в плавучей гостинице и накормить как следует».

Шесть часов утра для Беляева — время уже позднее. Как правило, он вставал с рассветом и до выхода успевал уже прикоснуться к горячим точкам строительства, зайти то в одну, то в другую столовую, заглянуть в магазины, поликлиники, в загс, роддома. К восьми утра, к официальному часу начала работы на стройке, он уже был, как говорили хорошо знавшие его, «набит фактами по самым очкам». И от того, насколько эти факты радовали его или возмущали, зависело то, как он поведет очередную партийную пятиминутку. И, как он ни пытался перенять у Батенчука спокойствие, рассудительность, осторожность, если собранные факты горели, бушевали в его сердце огнем возмущения, то языки пламени вырывались наружу и на головы виновных обрушивался гром.

В день приезда из Москвы высокого начальства Раис Беляев принял всю громадность возложенной на него ответственности. Он почувствовал эту тяжесть почти физически и не раз после очередной подготовки к партийным пятиминуткам видел себя придавленным этой тяжестью. И тогда он слышал — в который уже раз! — совет авторитетного лица: «Не пытайтесь взваливать на себя все, делите тяжесть с другими, научитесь делать это». Он пытался научиться, но

поначалу таскал все сам. Внешне Беляев не давал никакого повода, чтобы о нем можно было бы сказать: устал Беляев, переутомился. Да и сам он пытался быть собраннее, взвешивать слова, не бросаться ими. В Казани на прежней работе, в поездках по республике, да и в Москве до Челнов он встречался в основном со знакомыми людьми, будь то или его начальники, или его подчиненные, коллеги по работе, знаменитости хозяйства или культуры. Он чувствовал себя среди них равным, и любая трудность, какой бы запутанной ни казалась, преодолевалась без особых осложнений. Здесь же возникло то, с чем он до избрания первым секретарем не сталкивался: росло число не только незнакомых ему проблем, но и незнакомых людей — от самого высокого московского гостя до самого рядового труженика стройки. И если прежде, в Казани, по мере того как он работал, число незнакомых людей уменьшалось, то здесь с каждым днем незнакомых людей становилось все больше. Люди приезжали отовсюду, говорили на разных языках, и из них нужно было создать коллектив. Его беспокоила еще одна особенность здешней обстановки. Он заметил, что назначаемые командиры стройки мало озабочены так называемыми мелочами жизни. Обветренные и обожженные, обломанные и закаленные на других стройках, они не такое видали. Нет жилья? Чепуха! Не привезли вовремя белье в общежития? Подумаешь, какая важность! Рабочим негде помыться? Подумаешь, проблема! Речка недалеко... Беляев не упрекал их за это. Каждая стройка связана со своим временем, а у каждого времени свои трудности. Но многие командиры не понимают одного: прибывающая на стройку семидесятых годов современная молодежь — это дети, родившиеся после пятидесятого года, не знающие тягот послевоенного времени, карточной системы и всех связанных с этим нехваток и ограничений. Восемнадцати-двадцатилетние парни и девушки семидесятых требуют к себе особого внимания и особого подхода. Кто будет работать с ними, кто сделает из них настоящих строителей будущего города и работников будущего предприятия, будущих граждан для грядущего века? И если стройка в руках знающих и крупных руководителей, а для будущих заводов уже сейчас готовятся командиры, то для людей главный командир и отец он, Раис Киямович Беляев, хотя и ему от роду всего тридцать пять лет.

Старые набережночелнинские горкомовцы, как и работники других городских учреждений, приняли Беляева с той боязнью, с которой встречают любое вновь назначенное начальство, — как оно себя поведет, захочет ли работать со старыми кадрами, не подыщет ли новых. Это были справедливые и вполне естественные опасения. Беляев знал об этом и, для того чтобы не держать людей в напряжении, сказал откровенно на первом же совещании, что у него нет никаких секретов, никаких тайных намерений: «Начинается совершенно новая работа, незнакомая для всех нас, это ясно как дважды два. Ни вы, ни я ни городов новых не строили, ни автозаводов не пускали. Времени для учебы не дано. Всему надо научиться с ходу. Попробуем пока в таком составе, впряжемся и потянем вместе. Я не скрываю от вас: не включено, что некоторым тягость может оказаться не по плечу. И тут надо проявить коммунистическую честность и сказать об этом сразу, не дожидаясь, пока надорвешься или воз пойдет впереди коня. Никто обижен не будет, всем работы хватит, но надо быть готовыми, если понадобится, уступить место другим. Это я отношу и к самому себе. А пока давайте работать, мы не только коммунисты, а работники коммунистического штаба. Пусть вас не пугает этот военный термин. Пока здесь стройка, город будет на особом положении и горком — штаб. Будем же чувствовать себя бойцами нашей партии. Надо быть готовыми к тому, что обычный ритм работы будет нарушен, придется не так часто пользоваться выходными, да и ночи для нас, наверное, станут покороче... Я прошу

вас взять в руки карандаш и подсчитать, сколько людей пройдет по этой земле, пока осядут те, которые составят население будущего города с его заводами и всем, что нужно для такого города... Всех этих людей пока должны принять, обласкать, накормить и дать крышу над головой мы с вами. Этот человеческий материал — мой, секретарей горкома, заведующих отделами, инструкторов, всех партийцев, которые в пути к нам и из которых мы создадим будущие партийные организации. В городе будет триста тысяч человек... Прикиньте, сколько и чего для них нужно... Пока что вокруг — одно поле».

Он пытается найти бумаги с тезисами этой своей первой речи перед работниками аппарата горкома. А из ненаписанного дневника всплывает то, чего не стерло ни время, ни бурные события...

...Он вышел на берег Камы ниже того места, где в могучую реку вливается узкий поток под названием Челнинка. Там строятся глубокая пристань для «метеоров» и «ракет». Работа идет медленно, еле-еле, будто никто не ожидает никаких новоселов, а двух плотников, перебирающих сваленный как попало лес, послали сюда просто для того, чтобы не слонялись без дела по городу.

— Если вы будете так работать, сколько лет пройдет, пока в аша стройка будет готова?

Два молодых татарина опустили длинный сосновый брус, взглянули удивленно. Спросили одновременно:

— А ты кто такой будешь?

— Я Беляев.

— Беляев? Ну и будь здоров... У нас такого начальника нет.— И снова взялись за брус.

Беляев подумал, что ребята правы — кто он им, на самом деле? И от них ли ему ожидать ответа на сорвавшийся с языка глупый вопрос? Он прошел по берегу к старой пристани. Туда как раз направлялся на своих подводных крыльях белый, как лебедь, сверкающий на солнце «метеор». Что ж, посмотрим, кто прибывает сегодня и как их встречает его город.

Старая челнинская пристань была построена еще до войны, к ней два-три раза в неделю причаливал, если случались на борту пассажиры, колесный теплоход с высокой трубой.

Пожилая женщина, дежурная по пристани, сидела на табурете, вязала, мелькая спицами. Совсем недавно вязание для нее было чем-то вроде часов: довяжет чулок — значит, вот-вот причалит колесный. Начало стройки нарушило этот «график». Особое беспокойство причиняли ей «ракеты» и «метеоры», которые стали прибывать так часто, что из-за них не то что чулок связать — чаю как следует не выпить. И люди — откуда только народ берется? Прет и прет без остановки — день и ночь, день и ночь. Все это она рассказывает странному человеку в очках, то ли приехавшему с этими, что на подводных крыльях, то ли вышедшему из машины, что остановилась высоко на берегу, у продуктового ларька. Он подождал, пока она приняла концы с «метеора», посмотрел, как сходят люди по сильно шатающемуся трапу, и только тогда стал интересоваться: как, мол, давно ли вы тут работаете и как собираетесь жить дальше? А как жить дальше? Как все. Говорят, что на стройке этой будет тьматьюмущая работы, а денег станут платить видимо-невидимо...

Между пристанью и челнинским берегом Камы то ли овраг, то ли выкопанная для чего-то канава. Прошедший ливень наполнил ее водой, и прибывшие на «метеоре» пассажиры переходят канаву по узкой доске. Держа в руках чемоданы, узлы, мешки, авоськи, они шагают осторожно, балансируют, как цирковые канатоходцы. Беляев ступил осторожно на доску и удивился, как до сих пор еще никто не слетел с нее. Перебрался благополучно и шагнул вместе с цепоч-

кой новоселов по тропинке к длиннющей лестнице — ступенек сто или даже больше. Лестница, видно, сработана добротнo, из пятидесятки, но время поработало и некоторые ступеньки прогнили, а давно не крашенные перила почернели и шатаются. От неожиданного многолюдья лестница скрипит во всю свою длину, и по берегу раздается этот печальный скрип о помощи.

Впереди Беляева шагает паренек. Он тащит два громадных чемодана, через несколько ступенек оставляет их, все время оглядываясь, чтобы никто не забрал его вещи, подбегает к такой же молоденькой, как и он, девчонке, отбирает у нее третий чемодан, берет ее под руку и помогает одолеть эту оказавшуюся не под силу ей, беременной, высоту:

— Иди, родненькая, иди, осталось совсем немного...

Беляев услышал это «родненькая», сердце у него забилось, он опередил молодую пару, подхватил чемоданы и, обернувшись, бросил парню:

— Возьми третий и шагай с родненькой осторожно, я буду ждать вас там, наверху.

Наверху, на самом видном месте, как сторожевая башня, стоял покосившийся дощатый ларек в облупившейся краске непонятного цвета. Чья-то неумелая рука написала на обратной стороне куска обоев: «Добра пажалаяват!» Беляеву захотелось прикрыть от глаз приехавших и этот ларек и убожество лозунга, но как это сделаешь? Он почувствовал, как приливает кровь к щекам и они горят, а сжатые кулаки становятся влажными. Это всегда случалось с ним в минуты крайнего возмущения.

Паренек подошел к закрытому окошечку ларька и робко поступал. Раздался сердитый женский окрик:

— Чего стучишь? Не видишь, что обеденный перерыв?!

— Мне немножечко воды... Для жены...

Беляев посмотрел на часы и не сказал ни слова, понимая, что сейчас он ничем не сможет помочь. Было без пяти два.

— Через пять минут откроют... Подождем немножечко...

Через пять минут окошечко действительно открылось, полная женщина, что-то дожевывая, показала свое лицо и спросила:

— Ну чего?

— Попить водички...

— Водички! Она там, в Каме.

— А что есть?

— Вот это.— И выставила грязную банку с мутной желтой жидкостью.

— А перекусить что найдется?

— Вот.— Женщина показала небольшой брусок сала, густо посыпанный красным перцем. Добавила: — Только хлеба нет.

Парень взял банку, взболтнул, попросил открывалку. Этого нехитрого инструмента у буфетчицы не было, и Раис Беляев полез в карман, достал перочинный ножик, протянул парню. Густой мандариновый сок оказался трехлетней давности — Беляев по этикетке разобрал — и кислый, как уксус...

После этого случая по стройке разнесся слух, вызвавший острый интерес к личности нового первого секретаря горкома. В разных вариантах рассказывали, как Беляев вызвал к себе заведующего отделом пропаганды горкома и председателя райпотребсоюза. На столе красовалась закупоренная банка мандаринового сока, брусок густо обсыпанный перцем сала, два стакана. Беляев попросил вошедших сесть, осторожно открыл банку, взболтнул, и от одного поплывшего по кабинету запаха приглашенные догадались, что их ждет.

— Угощайтесь,— произнес Беляев, нарезая на обрывке газеты тяжело поддающееся ножу старое сало с черными прожилками.—

Выпейте и закусите. Прошу, прошу, угощайтесь... Вкусно, не правда ли?

Вечером того же дня в общежитие в доме 2/3, где уже давно жил Виорел Мугуряну, заглянул нежданный гость. С тех пор как его перевели на гидростанцию, Мугуряну почти и не видел Беляев. Он представлял себе объем его работы, и даже если и возникала иногда мысль о необходимости встретиться с ним, старался отложить это на более позднее время. В канун приезда высокого московского начальства, в суматохе подготовки к его встрече Мугуряну попытался в силу своих способностей «прибраться», как говорится, перед приездом гостя. Но ни гость, ни его сопровождающие на гидростанцию не заглянули. Начатая когда-то как очередной объект пятилетки, строительством КамАЗа она отодвинулась на второй план, и задача Мугуряну состояла разве что в том, чтобы поддерживать нетлеющим бушевавший когда-то огонь строительства Нижнекамской ГЭС. Ему хотелось поговорить с Беляевым, Батенчуком, доказать несправедливость и неразумность замораживания миллионов средств, но еще ни знаний, ни опыта, ни прав он не заработал для того, чтобы поднимать эту проблему. Решались дела поважнее, и смысл подобного разговора ему пока что не представлялся ясным. Хотя состояние дел на ГЭС беспокоило и волновало постоянно...

Беляев впервые попадал в такое «привилегированное» общежитие. Это были самые обыкновенные малогабаритные трехкомнатные квартиры: две отдельные, совсем крошечные комнатки и одна общая. В отдельных комнатках теснились по две и по три койки, в общей — четыре кровати и диван. Стояла кровать и на кухне. Так выглядели камазовские «люксы», куда селили только по особому распоряжению заместителя начальника стройки по быту. Мугуряну жил в самой маленькой комнате, где стояли две койки — третью никак уже нельзя было поместить. Между койками — тумбочка, в общей комнате — телевизор.

— Комфорт! — взглянув на телевизор, произнес Беляев.

— Для нынешних условий действительно комфорт, — попытался оправдать такую тесноту Мугуряну. — И мы не все тут собираемся одновременно — кто в ночную смену, кто поздно приходит, вот только для тех, которым приходится на кухне спать, всегда беспокойство. Но мы график составили, кому ночевать там. Один раз в десять дней получается. Пустяк.

— Мне хотелось с вами обсудить один вопрос, — начал Беляев после внимательного осмотра «люкса». И он рассказал Мугуряну о сегодняшнем посещении пристани, о пареньке с беременной женой. — Паренька этого, я прямо оттуда позвонил, устроили хоть на ночлег по-человечески, потом комсомол с ним разберется, но ведь не всем попадается на пути первый секретарь горкома, а как бы так сделать, чтобы каждый приезжающий чувствовал себя желанным, знал, что его ждут, чтобы его встречали не этим, простите, мандариновым соком с салом... Батенчук в Москве, вот приедет — и соберем всех партийцев и всех командиров стройорганизаций, поговорить надо. Как вы думаете?

Мугуряну согласился, что надо наводить порядок, но на душе у него было совсем другое. Не очень-то хотелось ему идти к Беляеву с этим вопросом, но тут, раз уж сам Беляев заглянул, решился:

— Раис Киямович, просьба у меня к вам большая. Трудно мне здесь, мало чего я в гидростроительстве понимаю, мне бы очень хотелось попросить вас дать мне дело более подходящее моим знаниям, что ли... У меня здесь зам хороший, он более компетентен, чем я, в этих гидроделах...

— А что бы вы хотели?

— Закручивается сейчас пригородная зона, там мне больше по

душе, я просто окажусь там более полезным, давно хотел попросить... Если можно, конечно...

— Подумаем, решим. Я вас понял. ГЭС действительно у нас отодвигается, а на пригородной нужны знающие и опытные люди. Вы ведь из Молдавии? Ваш опыт может оказаться полезным.— Заметив книжку с аистом на обложке, спросил: — А что эта птица на этикетках с молдавским вином означает?

— Есть такая легенда, Раис Киямович, про аиста... Если желаете, будет время — загляните...— И протянул ему книжку.

6

В той книжке рассказывалось, что был когда-то на свете огромный богатейший край, слава о котором разнеслась по всему миру. Самые могучие и гордые цари посылали в тот край своих гонцов и купцов, чтобы те своими глазами увидели самые высокие горы и самые обширные моря, самые рыбные реки и самую колосистую пшеницу, отведали бы самый сладкий виноград и самое хмельное вино, самые ароматные яблоки и самые крупные вишни. Говорила еще молва, что в недрах того края таятся несметные сокровища. Засылали цари в тот благословенный край лазутчиков и соглядатаев, чтобы все разузнать, все тайны выведать. И сообщали гонцы, купцы, лазутчики и соглядатаи своим правителям, что они собственными глазами видели, как велики богатства того края, какие там красивые, трудолюбивые и смелые люди, как они согласно и мирно живут и работают. И озлобились заморские цари. И свели воедино свои полчища, дабы разграбить тот край и поработить его добрый мирный народ.

Наступили долгие годы войны. Горели поля, угонялись стада, зарастали бурьяном сады, и становилась дикой виноградная лоза, гибли трудолюбивые люди той земли. Народ был обескровлен до того, что осталась только небольшая дружина, да и та оказалась отрезанной от остальной земли в высокой неприступной крепости. И тогда ожесточившиеся военные предводители приказали вырыть вокруг осажденной крепости широкий и глубокий ров, отвести от нее все источники, повернуть текущую под стенами крепости реку в сторону, уморив осажденных жаждой. Осажденные просили небо, просили ветры принести хоть самую малую тучку, обронить на землю хоть несколько капель воды, но небо оставалось глухим к их мольбам. Зачахла и высохла трава, оголились деревья, и не стало в той крепости ни единой былинки, на которой могла бы сохраниться хоть капля утренней росы. Обессиленные воины уже с трудом натягивали луки, и все меньше и меньше обрушивалось на головы врагов смертоносных стрел. За месяцы осады поредела и вражеская рать, но ее старшины понимали, что защитникам крепости неоткуда ждать помощи, что они обречены и час победы близок.

...Наступал конец еще одной звездной и холодной ночи. Около серпа месяца, торчащего рогами вверх — признак того, что еще четыре недели не упадет на землю ни капли дождя, — сверкала яркая утренняя звезда. И в этот предутренний час в осажденной крепости собрались вожди, чтобы принять последнее решение: или сдаться на милость победителя, или погибнуть всем. Не успели вожди сказать свое последнее слово, как из-под самого звездного купола раздались странные звуки, будто десятки трещоток пересекали небо. Над крепостью пронеслась стая ширококрылых длинноногих птиц.

Не взошло еще солнце, когда над крепостью снова появились эти же птицы. В красных клювах они несли по грозди спелого винограда, бросали его осажденным и улетали. Воины делили между собой ягоды с живительным соком, а аисты несли все новые и новые грозди... И обрели силу и надежду защитники крепости, и посыпался на головы врагов дождь отравленных стрел...

Прошли годы и годы. Вновь зазеленели луга, зацвели сады, и снова разбогател тот край. Самый уважаемый вождь, который вывел людей из крепости и разбил врагов, распорядился, чтобы каждый житель края поставил на своем дворе столб, а на столбе укрепил колесо для гнезда птицы-спасительницы — аиста. И развелось в том краю красивых большекрылых птиц видимо-невидимо. Они не улетали в жаркие страны, потому что зим в том краю не было, а прудов с лягушками и мелкой рыбой было устроено столько, сколько виноградных гроздей бросили аисты умирающим от жажды воинам. Пока вождь был молод и полон сил, он колесил по стране от границы до границы и строго взыскивал с тех, кто не заботился о птице и об умножении богатства страны.

Обеспокоенные новым ростом могущества края, соседи искали новые пути к его разорению, и они нашли среди придворных одного льстеца, который принялся усыплять знаменитого вождю хвалебными, услаждающими слух речами, а собранные им художники рисовали и приносили во дворец яркие картины, на которых народ изображался в праздничных нарядах, за обильно уставленными разными яствами столами, всюду цвели сады и играли музыканты. Вождь постепенно привык к тому, что вокруг царит всеобщее благополучие и праздник, и все реже выходил за пределы дворца. В один прекрасный день тот льстец принес ему небольшое круглое зеркало. «Стоит вам только пожелать, ваше величество, и вы увидите любой уголок вашего обширного и богатого царства». И в том волшебном зеркале замелькали, будто ожив, картины придворных художников.

Так шло время. Вождь тяжелел телом, но в волшебном зеркале он видел себя молодым, красивым и надеялся, что ни старость, ни дряхлость никогда не посмеют коснуться его. А когда все же хотелось выйти ему из дворца, ему тут же у лестницы расстилали ковер-самолет, подымали высоко в небо, а оттуда его земля казалась цветущей, зеленой и полной благополучия. После такого путешествия над родным краем вождю было приятно возвращаться во дворец и брать в руки волшебное зеркало. И он восхищался, когда видел в том зеркале самого себя, парящего на ковре-самолете.

Но вот со временем стал замечать он тревогу в глазах приближенных, лишь льстец, тот самый, который принес волшебное зеркало, ходил радостным и все восхищался: «Какие чудесные картины! И все благодаря мудрости вашей, ваше величество». Однажды вождю показалось, что в волшебном зеркале все меньше и меньше видно добрых, прекрасных птиц — аистов. Куда подевались аисты?

В далекой деревне жила старая-престарая мать того вождя. Занятый мыслями о себе, непрерывно думая о своем величии и о своем бессмертии, зачарованный становящимися все более живописными картинами волшебного зеркала, он уже мало заботился о судьбе своего народа. Горели леса, а волшебное зеркало показывало могучие, шелестящие на ветру дубравы; заливали дожди созревающие хлеба, а волшебное зеркало показывало уже зерно, убранный под надежные укрытия; губила младенцев неизвестная и неизлечимая болезнь, а волшебное зеркало показывало цветущих детей, резвящихся под присмотром таких же цветущих молодых матерей... Когда-то любящий сын, а сейчас будто околдованный, вождь позабыл даже о существовании своей старой матери. Но не забыла мать о своем сыне. Дождливой и холодной осенью, когда хороший хозяин и собаку не выгонит на улицу, она отправилась в путь. Остановившись на ночлег у добрых людей, слушала рассказы об их житье-бытье, видела их слезы. Во дворец к сыну ее долго не впускали, пока не заметил старуху такой же, как она, древний человек, один из тех немногих воинов, переживших осаду в крепости и спасенных чудесной птицей аистом.

Поначалу, занятый волшебным зеркалом, вождь и не обратил внимания на вошедшую вместе со старым воином странницу. Мать же

узнала сына, хоть и прошла с тех пор, как они не виделись, бездна времени. «Как ты живешь, сынок?» Из далекого детства прилетел к вождю этот ласковый голос и эти ласковые простые слова, от которых он отвык. Кто осмелился бы назвать его сыном, кроме родной матери? «Мама, подойди сюда, посмотри!» И он подвел ее к волшебному зеркалу, откуда лились ласкающие слух мелодии и где сменялись картины одна прекраснее другой. «Послушай меня, сынок,— начала мать.— В древних преданиях нашего народа, в мудрых его сказаниях говорится, что один только раз за жизнь целого поколения выпадает на землю золотой дождь. Пора золотого дождя на нашей земле давно миновала, и осталось лишь его отображение в твоём волшебном зеркале. Ты подумал, откуда пришло в твой дом это зеркало? Как ты мог допустить, чтобы тебя отделило от народа и от его судьбы это простое стекло?.. Не я, твоя мать, родившая тебя, задаю тебе этот вопрос. Нет! Об этом тебя спрашивает весь твой народ».

Никогда еще вождь не слышал обращенных к нему таких суровых слов. Гневаться, похвалить, карать, сурово требовать ответа — это было его непререкаемое право. А кто бы осмелился гневаться на него? А мать, видя, что сын молчит, и не зная, что творится у него в душе в эту минуту, начала снова: «Когда ты был совсем маленьким и в краю нашем продолжали еще веселиться от радости, что родился наследник твоего великого отца, мы купали тебя в серебряной лохани и радовались, что у тебя на правой щеке такая же звездочка-родинка, как и у меня. Моя звездочка не погасла от старости, лишь скрылась в этих морщинах, а ты свою звездочку видишь хоть иногда в густоте своей седой бороды? Видна ли она, эта звездочка, в заслонившем весь мир твоём волшебном зеркале?» «Ты достаточно горьких слов сказала мне, моя родная мать. С тех пор как погиб отец в то безводное лето и я спас народ, я все делал для его блага и процветания...» Мать прервала его: «Народ спас не ты, мой сын, а птица аист и мужественные воины. Ведомо ли тебе, что делается сейчас на нашей цветущей когда-то земле? Я знаю: ничего тебе неизвестно, у тебя доброе сердце, и оно не могло бы тебе позволить сидеть во дворце, когда горе гуляет и преград ему, видимо, никто ставить не собирается...» — «О чем ты говоришь, мать?» — «Подожди, сынок, со своими вопросами. Послушай меня, может быть, последний раз в жизни. Век человеческий короток, и я не знаю, что будет со мной, когда солнце этого дня уйдет к закату... Так слушай. Я давно собиралась к тебе, но мои годы не давали подняться с места, ведь так далек путь до вашего величества! Но стали говорить мне люди о тревожных полетах аистов, о том, что подгнили старые столбы с колесами для гнезд, а новых никто не ставит. Закружился аист и над моим жилищем. В предрассветный час, задолго до восхода солнца я услышала такой же треск, как в то утро в окруженной врагами крепости. Вышла на порог и удивилась: на небе стоял такой же рогатый месяц, как тогда, и рядом с ним утренняя звезда. Послышался шум крыльев, и передо мной опустился старый аист. Он осторожно положил передо мной на ступеньку вот это.— Мать достала из глубокого кармана обычный грецкий орех.— Я не знала, что и подумать, когда аист заговорил человеческим голосом: «Я птица, которая помнит о том времени, когда ваш народ чуть не погиб от жажды, окруженный злыми людьми. Я часто летаю над любимым краем и вижу, как он день ото дня разоряется и беднеет. Сходи к своему сыну, отнеси ему этот орех. Скажи ему, что его приближенные разорили вокруг дворца все наши гнезда, а нас и близко к нему не подпускают. Отнеси ему этот орех и скажи, что он волшебный, что внутри его спрятана могучая сила, которая поможет когда-то любимому народом вождю обрести прежнюю силу, заслужить прежнюю любовь народа». И птица улетела. А я вот пришла к тебе».

Вождь взял из рук матери орех и в тот же миг заметил, что волшебное зеркало погасло. «Что мне с этим орехом делать?» — спросил

он мать. «Аист сказал, чтобы ты с этим орехом в руках начинал каждый подаренный тебе день. Чтобы ты с орехом в руках начал обход своих владений и увидел бы, чем занимаются твои приближенные, увидел, как на самом деле живет твой народ, и подумал, что надо делать дальше. А когда все сделаешь, принесешь мне орех, за ним прилетит аист».

И мать ушла.

Напоминание об аистах, прилетевших однажды с виноградом в клювах, вернуло вождя к тому далекому времени. И в самом деле, почему он забыл об этом? И кто позволил обижать аистов? Ведь он сам перед дворцом поставил столб с колесом, распорядился, чтобы и всюду: на перекрестках дорог, в долинах, селах и на городских площадях — везде на самых видных местах стояли бы такие столбы. Кто посмел ослушаться его?! Он открыл ладонь и посмотрел на принесенный матерью орех. Ничего особенного — простой грецкий орех, продолговатый, коричневый, твердый.

«Когда отправишься в поездку по краю, непременно возьми орех с собой, без него ты ничего не увидишь», — сказала на прощанье мать.

Он так и сделает. Он спрячет его в потайной карман у самого сердца — о нем никто и знать не будет — и отправится в путь. Вспомнил еще слова матери: «Начни с самого порога, пройди по всем службам, по всему своему двору, отсюда начни, а потом иди дальше».

Стоило достать из кармана орешек и крепко зажать его в кулак, как он тут же ощутил неведомый раньше прилив сил, живее забилось сердце, окрепли ноги, появилось желание выйти к людям.

Сначала он перешагнул порог конюшен. Когда-то они были чистые, выбеленные, из их ворот не выбегали, а вылетали лоснящиеся от сытости, нетерпеливые кони, сейчас же стены их покосились, обвалилась крыша и на спины исхудавших, грязных лошадей лилась струями мутная дождевая вода. Грязь, не вывозимая годами, распространяла мерзкую вонь, под ногами хлюпала отвратительная жижа. А пьяные конюхи спали вповалку в такой же грязной, как конюшни, людской. На кухне, отсюда, как он помнит, плыли когда-то аппетитные запахи, было пусто, несколько старых кухарок, заметив его, разбежались кто куда. Под столами грызли кости лохматые тощие псы, а кошки вылизывали грязную посуду... Стоявший у главных ворот столб, на котором когда-то каждый год семья аистов выводила птенцов, подгнил, а колесо с остатками гнезда валялось неподалеку в бурьяне. Вождь понял, что запустение начинается отсюда, от его дворца, и разгневанный отправился в путь наводить порядок...

Здесь страничка была оборвана.

7

«От I съезда Советов Челнинского кантона т. Ленину

Мы голодаем, на наших руках умирают дети, умирают старики, умирает молодежь, но мы надеемся, что брат-крестьянин урожайных мест и рабочие городов в помощи нам не откажут, а советская власть эту помощь организует. Мы Европе* заявляем, что, холодные, голодные, мы завоеванное в Октябре никогда и никому не отдадим».

Это уже не легенда, а документ.

— Ты только послушай, Фая! Слышишь, что писали Ленину отсюда, ты посмотри, какой интересный документ! Мы его при входе в главный музей нашего города выставим!

Фая уже успела привикнуть к таким нередким восторгам мужа, когда он чему-то радовался — документу ли, встрече ли с хорошим человеком, ветке цветущей сирени или тому, что у младшего сына прорезался еще один зуб. И ему была необходима в такие мгновения

поддержка близкого человека, чтобы с ним, с этим близким человеком, мог он разделить сейчас же это мгновение радости, восторга. О, разыскать бы хоть одного из подписавших это письмо крестьян и сделать все для него, глубокого старика, наверное, чтобы он дождал до того часа, когда взметнется ввысь новый город, а с главного конвейера автозавода сойдет и отправится на Красную площадь первый автомобиль.

— Как ты думаешь, это может быть?

— Что? — спрашивает Фая.

— Все то, о чем я сейчас подумал?

— Может, может, — смеется Фая. — А о чем ты подумал, если не секрет?

«Если не секрет»... Жена, считает Беляев, — это тот человек, от которого не может быть никаких секретов. У него с женой все общее и нет ничего частного, ничего обособленного, отдельного. Он убежден, что все должно быть именно так. А если этого единства не было с самого начала, если мужа и жену объединяют только крыша, кровать и общие дети, тогда это не единый организм, а случайная связь, сосуществование, которым не завещана долгая и тем более слаженная жизнь. По крайней мере Беляев думает так. Это его личный кодекс семейных отношений, принятый им и Фаей много лет назад, еще до женитьбы. Рассказывая жене о трудностях, что порой возникали в его работе, он чувствовал, как ему становится легче, словно эти трудности делились на двоих, пополам. Он радовался, когда во взгляде, в возгласе одобрения, в возникшем у нее вопросе, в совете он чувствовал поддержку и силу своей жены. И он обретал, как принято говорить, новые силы — ими делилась с ним Фая. В его открытом лице, широкой улыбке и добрых глазах светилась эта объединенная сила двоих. Инженер по образованию, Фая понимала, какая тяжесть легла на плечи мужа. Подчас ей казалось, что она понимает это гораздо глубже, чем сам Раис. Она не хотела, чтобы Раиса раздавило это бремя. И помогла ему по долгу друга.

Набережные Челны...

Уже говорилось и писалось о том, что союзный госплан изучил до семидесяти вариантов размещения крупнейшего в мире комплекса для выпуска крайне необходимых стране машин, пока не была найдена эта точка на «караванной дороге» между металлургическими гигантами и районами добычи топлива. Известно и то, что к проектированию и строительству КамАЗа было привлечено двадцать пять министерств и ведомств, восемьдесят проектных институтов, свыше ста пятидесяти строительно-монтажных управлений. Время диктовало необходимость ускорения темпов на всех этапах работы, то есть проектирование, рассмотрение и утверждение проектов должны были идти одновременно со строительством. Страна отпускала на это миллиарды рублей. Но эти миллиарды и эти проекты должны были быть освоены десятками тысяч людей, движущихся в Челны своим ходом — поездами, самолетами и пароходами — со всех концов страны. И если одни, те, что решали, где быть городу и заводам, какими они должны быть, что там должны делать, давно и по праву считались сложившимися коллективами с вполне определенными планами и задачами, а некоторые из них считали даже, что их работа уже закончена, то других, тех, которым предстояло строить и пускать КамАЗ, еще необходимо было сплотить, создать из них коллектив, армию, объединенную единым стремлением, подчиняющуюся единой воле. Беляев понял это сразу. И его счастье, что это поняла сразу и его жена. «У нас семейных конфликтов по этому вопросу не возникало», — скажет первый секретарь горкома одному кинодеятелю, приехавшему на КамАЗ за конфликтами. «Жизни без конфликтов нет», — нравоучительно изрек тогда столичный кинодеятель, повертелся дня три среди шума и лязга стройки и уехал за конфликтами...

Конфликты, конфликты...
Настоящие и ненадуманые.

Разве они лежат на поверхности? Сколько их возникает каждый день, каждый час! И если каждый возводить в проблему, когда же секретарю горкома, партийным работникам, руководителям стройки заниматься прямым делом? Хорошо, если бы конфликтов вообще не было. Но это, увы, невозможно. «Единогодушие только на кладбище», — изрек кто-то очень давно. Все ли согласятся, без внутреннего протеста примут, например, продуманную им схему партийного руководства сложнейшим механизмом стройки?

...За длинным столом заседаний в кабинете первого секретаря в новом здании горкома партии сидят командиры стройки и секретари парткома, партийные вожаки. В отличие от суровых, бесстрашных взглядов командиров стройки в глазах у партийных вожаков — молодых и еще малоопытных — чувствуется некоторая растерянность: они уже успели соприкоснуться с огромной, не оформленной в коллектив людской массой. И, по сути, речь первого секретаря будет обращена к ним.

— Мне, товарищи, хотелось бы познакомить вас с партийным штабом стройки, с теми, кому вместе с вами, при помощи вашего умения, ваших знаний, энергии и совести предстоит выполнить то, что нам поручено. Не буду перечислять ничего, потому что у каждого из вас имеются задания от министерств, ведомств, имеются конкретные указания начальника стройки Евгения Никаноровича Батенчука. Вы, естественно, можете рассказать мне о Евгении Никаноровиче больше, чем я. Мы с ним знакомы недавно, но, скажу откровенно, впечатление такое, что я знаю уже этого человека всю жизнь. Многие из вас приехали вместе с ним, и в этом я вижу залог прочности руководящего ядра стройки. Потому что, какими бы широкими ни были плечи Батенчука, всего он один не сделает. Его плечи крепки, когда их сила будет множена на силу ваших плеч...

Беляев посмотрел на сидящего первым от его стола Евгения Никаноровича и заметил, что тот сжал кулаки, нахмурился, явно волнуется. Оглядел присутствующих — сидят тихо, не толкают друг друга, не переглазываются. Беляев представляет секретарей горкома, членов бюро, секретарей парткома. Они встают по очереди, их рассматривают внимательно. Вопросов нет. Сейчас Беляев скажет самое главное, из-за чего созвал сегодня это совещание.

— Больше из прочитанного, чем из пережитого я усвоил одно: на каждой крупной стройке, в любом громадном деле есть свой батя. Это, наверное, от крупных партизанских соединений пошло, от войны. Батя — и отец, и брат, и родная мама. У него в руках и нож, и хлеб, и оружие. Все зависит от него, как он пожелает, так будет. Хочу, чтобы меня правильно поняли все здесь сидящие. Именно чтобы правильно поняли. У меня лично с Евгением Никаноровичем самые прекрасные отношения — и деловые и товарищеские. Он мой сосед. А что означает в жизни хороший сосед — не мне толковать вам об этом. Так вот. На этой доверенной нам всем стройке никакого бати не будет. — Беляев остановился, прислушался: все молчат, ждут, даже дыхания не слышно. — Здесь коллективный батя — партийная организация стройки, горком партии. Здесь штаб. Сюда все нити, здесь будет решаться все — судьба стройки и судьба каждого из нас. И это надолго. Независимо от того, кто будет сидеть здесь. — Он указал на свое кресло. — Это не имеет принципиального значения. Центральный Комитет партии поручил нам эту великую стройку, это грандиозное дело, и здесь его, Центрального Комитета, опорный пункт. Это одно общее положение, которое, как мне думается, оспаривать никто не возьмется. А сейчас несколько принципиальных положений, они имеют долговременный характер и потому были самым тщательным образом про-

думаны бюро городского комитета. И я сообщаю это решение вам по поручению бюро. Первое. Мы хотим, чтобы город и будущие заводы строились чистыми руками. А это значит, что отделам кадров всех подразделений было строго указано, кого брать на работу и кого не брать. К нам движется — и порой захлестывает — огромный людской поток. Потребность в рабочих руках огромная, но брать мы можем не всех. ЦК ВЛКСМ объявил стройку ударной комсомольской. Значит, прежде всего необходимо, чтобы основная масса рабочих была комсомольской. Это раз. Затем не брать уволенных с других строек за прогулы, хулиганство, пьянство. Чистый город должен быть построен чистыми руками, я это повторяю. Второе. Мы попросили разрешения ввести на весь период строительства и пуска заводов шестидневную рабочую неделю. Это нужно разъяснить каждому принимаемому на работу. И третье. На весь период строительства и налаживания будущего производства во всех продовольственных магазинах и ларьках будет запрещена продажа водки. Без водки не умрем, а с водкой мы КамАЗ не построим. Это мое твердое убеждение, и оно нашло понимание и поддержку. Эти вопросы нужно объяснять и разъяснять постоянно. Если на собраниях или в частных беседах возникнет вопрос о водке, ссылайтесь на меня, я согласен лично разъяснить это кому угодно...

Расходились задумчиво. Беляева встревожило то, что никто с ним не спорил, никто не задал никаких вопросов. Когда все уходило, уловил в общем шуме голос: «Время покажет». Поверили они ему или нет, поддерживают ли? Вот в чем вопрос. Может, следовало по-иному вести заседание: задавать вопросы, советоваться с присутствующими, а не делать сообщения в тоне приказа?

— Все правильно, — ответил Батенчук на мучившие Беляева сомнения. — Я не стал ни поддерживать вас, ни возражать. Видели, как призадумались? Надо, чтобы все у них переварилось. Уверен, что не все поддерживают, а если спросишь — поставишь их в ложное положение. Пусть все хорошенечко продумают. Полезнее, когда не отвечаешь сразу же на свои собственные вопросы. Придет время, и я скажу все...

С кем бы ни разговаривал Батенчук — с министрами или рабочими, с большими партийными работниками или журналистами, — он всегда подчеркивал, что решающей силой на КамАЗе является партийная организация, молодой и самоотверженный отряд партийных работников. «Я заражаюсь от вас молодостью и, конечно, красотой! — восклицал он. — Когда я вижу столько молодых, образованных, преданных и неутомимых революционеров (он партийных и комсомольских вожakov называл этим возвышенным словом), я становлюсь намного сильнее».

Виорел Мугуряну не мог объяснить себе молчание Батенчука. Но он не видел в этом ничего предосудительного. Беляев не говорил ничего, что могло каким-то образом ущемить авторитет Евгения Никаноровича. Тем более что он сообщил решение бюро горкома, а Батенчук был членом бюро. Но он запомнит сегодняшний день. Он многое слышал о первом секретаре горкома. По стройке гуляла молва, что в горком пришел молодой человек, горячий, как огонь, все знает, во все вмешивается и даже водку запретил продавать.

Слушая сегодня Беляева, Виорел Мугуряну с чувством понятной неловкости вспоминал, как он при первой встрече в горкоме говорил о своем опыте строительства телецентра в столице Молдавии. Но разве то была стройка по сравнению с этой? Мугуряну понял, как нелегко Беляеву уже сейчас и как непросто будет здесь всем. Но из короткого сообщения секретаря, по тому, с какой уверенностью и в то же время с каким волнением говорил он, Мугуряну понял одно: этот человек за-

служивает того, чтобы помогать ему, он заслуживает того, чтобы ему доверяли, этого человека подводить стыдно. Да, вот именно это — стыдно.

8

Своей грандиозностью и огромной популярностью стройка заслоняла маленькие события в личной жизни каждого, равно как и маленькие события в жизни каждого заслоняли порой от человека саму стройку.

«Маленький, незаметный человек на стройплощадке в десять тысяч гектаров! Стань посредине — и от тебя во все стороны по пять километров ровной, пока что ничем не застроенной степи.

Кто ты такой? Откуда и зачем сюда приехал?

Маленький человек на огромной стройке, о которой говорит вся страна...

Кто о тебе позаботится? Кто должен знать все твои нужды?

Маленький, незаметный человек...

Кто обязан сделать все, чтобы о тебе заговорила вся страна, чтобы тебе было хорошо здесь, маленький человек?..

Маленький, незаметный человек! Чем заслужил ты, чтобы тобой еще до рождения занимались все от руководителей государства до меня?..»

Тетрадный листок с этими наивными строками то ли забыл, то ли нарочно оставил на тумбочке Ницэ. Когда-то давно он работал в Кипине с Мугуряну. Сейчас живет вместе с ним в этом общежитии. Мугуряну прочитал и на обратной стороне написал вроде ответа: «Кто этот маленький, незаметный человек на стройке? Ты, Ницэ? Или кто другой? Попробуй назови любого работающего здесь этими словами! Здесь каждый хозяин, и в этом сила и стройки и каждого из нас». Мугуряну проводил иногда со своим соседом по комнате воспитательную работу в письменном виде. Ритм стройки редко позволял вести устные длинные беседы. В свободные минуты нужно было спать.

Ницэ работает сейчас шофером на экскурсионном автобусе стройки. С присущей ему аккуратностью он, что называется, вылизал довольно запущенный автобус Ликинского завода, снял три кресла и на освободившемся месте устроил стол, где аккуратными стопочками всегда лежат свежие газеты и журналы; как только в центральной печати появляются фотографии передовых камазовцев, он их вырезает, наклеивает на картон и развешивает на самых видных местах. В автобусе чистая ковровая дорожка, белые занавесочки, а на ветровом стекле выведенная самим Ницэ броская надпись: «Автобус коммунистического труда». Любопытным Ницэ объясняет: «Я провел общее собрание и присвоил автобусу это почетное звание. Я имею такое право!»

Виорел Мугуряну стоял на самом ветру на бетонной дороге, по которой непрерывным потоком — оттуда, из Набережных Челнов, и сюда, в Набережные Челны, — шли люди. Их привозили и увозили самолеты, и неизвестно было, кого больше — приезжающих или отъезжающих. Среди отъезжающих был недавно и его сосед Ницэ, которого он провожал в Молдавию в отпуск — на свадьбу сестры.

Давно не было на душе у Виорела Мугуряну такой тревоги. Как он после всего случившегося посмотрит Ницэ в глаза? Сможет ли он объяснить ему, что произошло здесь, в этих Челнах, с ним, как перевернулось все в его жизни, пока Ницэ занимался на родине свадебными делами?.. Не сможет он ему объяснить ничего, да и не будет. Вот только куда он повезет его сейчас?

Ницэ он узнал издали по продолговатой бочке с такой же ручкой, как у чемодана. Он делал несколько шагов, останавливался, ставил эту бочку на бетонную дорогу, придерживая, чтобы не переверну-

лась, отдыхал и снова шагал, как-то смешно выставляя бок и стараясь не отставать от группы, как всегда, суетливо спешащих авиапассажиров. Мугуряну кинулся ему навстречу, благо в Бегишеве еще не было запрета встречающим подходить почти вплотную к месту посадки самолетов. Видно, Ницэ не ожидал, что его встретят, потому что, когда Мугуряну взялся за ручку бочки, он вздрогнул от неожиданности.

— А, Виорел Андреевич... Здравствуйте...

По тому, как он произнес эти слова, по его взгляду Мугуряну поняла — Ницэ уже все знает. И, не спросив, как там прошла свадьба, как дела дома, Мугуряну сказал виновато:

— У меня тут, товарищ Ницэ, случилось очень...

— Я все знаю.— И совсем уж неожиданно для Мугуряну улыбнулся, погладил дубовый бок бочонка.— Обмоем. В добрый час!..

Когда подъехали к общежитию в доме 2/3, Ницэ сказал:

— Виорел Андреевич, обо мне не беспокойтесь. Мне уже товарищи подготовили место. Я поживу пока в вагончике.

— Спасибо.

Как только Ницэ узнал о том, что у Виорела Андреевича «появился новый пункт» в биографии, он решил использовать свое служебное положение. И нельзя сказать, что «автобус коммунистического труда» не сыграл в этом определенную роль. В поселке ЗЯБа — завода ячеистых бетонов — освободилась койка в вагончике. По масштабам жилищных возможностей управления строительства вагончик представлял собой комфортабельное жилье самого высокого класса: прихожая с газовой плитой и умывальником, комната налево, комната направо, электричество, радиоточка, кровати с тумбочками возле них, стулья и, если купишь, даже прикроватная дорожка и телевизор. Неподалеку такой же вагончик — баня. Имеются и сантехудобства. А если ты не лентяй и не считаешь, что все сельхозпродукты должны поставлять тебе крестьянство, то ты перед своим вагончиком посадишь сельдерей и всякую петрушку, а лук и сам вырастет даже зимой на окошке этого самого вагончика. Дом на колесах, и в случае необходимости перевезут тебя куда надо. Жаль, огородик с собой, кроме луковиц на окошке, прихватить невозможно. Но говорят, что никуда этот поселок перевозить не будут, а со временем его даже снесут. Нынешняя жизнь по сравнению с жизнью в будущем новом городе покажется существованием при первобытнообщинном строе. Но пока мы вынуждены жить при этом самом первобытнообщинном строе, то можешь завести и поросенка, а если белое мясо любишь, устрой клетушку и разводи цыплят — говорят, из них за лето целые курицы вырастают.

Ницэ всегда настроен на такой иронически-шутливый лад, и какие бы ни возникали ситуации, его ничто уже не переделает. Главное, что он такими рассуждениями никому не приносит никакого вреда — ни себе, ни социализму. Так что, товарищ Ницэ, будь добр, переселяйся в этот вагончик и воспринимай мир таким, какой он есть, без прикрас, но и без надуманных трагедий. Такова жизнь, как говорят французы, а уж они-то знают в этом деле толк. Вот так. И вообще привезенную из родной Молдавии бочку можно было бы и не оставлять у Виорела Андреевича. Правда, он человек серьезный и понимает, что нарушать установленный Беляевым сухой закон в одиночку совсем уж нехорошо...

Так оказался Ницэ в вагончике с огромной, во всю заднюю стенку буквой «Ю». Нужно было отойти метров на пятьдесят, чтобы увидеть, что эта буква только составная в огромном лозунге: «Старожилы приветствуют вас, новоселы!»

— Если серьезно подумать,— говорит Ницэ своему товарищу по комнате,— так у нас с вами по четверти вагончика жилой площади. А если это сравнить с железнодорожным вагоном? Сколько там купе? Двенадцать? По четыре места в одном купе. Значит, мы занимаем по

три купе каждый! И куда мы едем? Мы в коммунизм едем, товарищ. Если не веришь, спроси у Беляева, он все знает. А вообще-то ты хороший человек, сосед. Можно еще по кружке... Давай за Ксению, за жену моего земляка Мугуряну! Во какой оборот принимают дела...

Маленький человек на стройке...

И у малого и у большого человека на этой стройке бывают и большие и малые радости, бывают и большие и малые огорчения. Может быть, это единственное, что не поддается здесь учету.

9

Когда Виорел Мугуряну оставался один, ему становилось страшно, он удивлялся: как же это обошлось без партийного взыскания, без какого-либо серьезного разговора? Хотя что же он совершил такого, на самом-то деле? Это касается лично его. А письмо от бывшей жены? Когда-то, уже очень давно — кажется, прошла с тех пор целая вечность, — у него была жена, которая почему-то дала о себе знать только много лет спустя. Она следит за его поведением. Виорел Мугуряну совершил безнравственный поступок, и она честно предупреждает об этом партийное руководство. Вот когда она о нем вспомнила! Уж столько лет прошло. Но как бы то ни было, письмо от бывшей жены растревожило его душу. А, казалось бы, чего тревожиться, что же такого случилось, чтобы мучить себя, не находить душевного покоя?

...В тот летний день, дождливый и мрачный, когда он узнал, что с отрядом комсомольцев из Молдавии приехала Ксения, дочь Марии Гавриловны, он тут же почувствовал, что здесь, неподалеку от него, ходит то ли его счастье, то ли его беда. Его ни на миг не покидала мысль о Ксении. А потом прогремели два знакомых и родных слова: «Молдовеняска, бзець!»¹ Трубы и кларнеты, скрипки и аккордеоны начали в бешеном, все убыстряющемся темпе мелодию, срывающую всех с мест, словно неожиданный вихрь.

Шел тогда на КамАЗе организованный комсомолом фестиваль союзных республик, и в тот вечер была очередь Молдавии. Сначала два парня в сбитых набекрень серых шапках, схватившись за руки, бросились в толпу, чтобы расчистить место, затем к ним подошли, берясь за руки, другие парни, выхватывая на лету из толпы девушек.

Как это произошло, он не помнит, потому что, растревоженный музыкой и замороженный красочным зрелищем любимой с детства пляски, Мугуряну не заметил, когда к нему подлетела девушка, схватила сильной рукой за локоть и потащила за собой. Ни тяжести в ногах, ни грузности своего чуть отяжелевшего тела Виорел Мугуряну не почувствовал. Он мигом оказался в образовавшей круг цепочке, все более оттеснявшей зрителей к краю площадки.

И звучала огненная молдовеняска.

То, что подлетевшая к нему девушка была дочь Марии Гавриловны Ксения, Виорел Андреевич понял, лишь когда музыканты, вытряхнув из пляшущих всю силу, перешли тут же к «жоку маре»² с платочком. Самая смелая красавица выходит, пританцовывая, в центр круга, достает платочек, осматривается и бросает его на шею нравящемуся ей танцору. Кому из парней не хочется оказаться в кругу с красавицей? Поэтому они выставляют по-молодецки грудь, притопывают, задирают носы, растягивают в улыбке рты до ушей, выкрикивая в такт музыке:

Расстели быстрей платочек,
Поцелуй меня разочек!..

¹ Общий призыв во время праздников в Молдавии, когда парни громким возгласом сообщают, что сейчас грянет танец молдовеняска — молдавская пляска.

² Большой хоровод в медленном темпе.

Красавица накидывает платок на шею самому видному молодцу и тащит его в круг, осторожно опускается на колени, он делает то же самое, и — о, отвернитесь! — они целуются. Встают, танцуют немного вдвоем, затем девушка становится в круг, а парню — очередь самому выбирать красавицу.

Играй, музыка, играй!..

Только тогда узнал Виорел Мугуряну подружку своей дочери, горунью-щебетунью Ксению, когда стал перед ней на колени в кругу танцующих «жоку маре» и должен был, как диктует древний обычай, поцеловать ее в губы.

— Кто сказал, что человеку, которому уже далеко за сорок, противопоказан поцелуй молодой девушки? — спросит Раис Беляев заведующего орготделом горкома, доложившего о письме бывшей жены Виорела Мугуряну. — Ей видится одна грязь, а я этой грязи не усматриваю.

— А что ответить ей, Раис Киямович?

— Отвечать нужно то, что есть: Виорел Андреевич Мугуряну вступил с этой девушкой в законный брак. Она не какая-то «распутная девка», как пишет эта женщина, а законная жена уважаемого на стройке человека. А то, что она на двадцать лет моложе своего мужа, это уж дело не партийное, а чисто семейное... Может, и не стоит травмировать Мугуряну сообщением об этом письме? Сколько лет они уже в разводе? Пятнадцать? Тогда чем же, вы думаете, продиктовано это письмо?

— Она пишет: «Моя забота о моральной чистоте приехавших на Каму...»

— Ну, это уж чистая демагогия. Я, конечно, эту женщину не знаю, но это демагогия. Так что, я думаю, Мугуряну не должен знать о письме.

— Я ему уже рассказал, Раис Киямович.

— Ну и зря, в таких делах торопиться не надо.

А Виорел Андреевич мучился не оттого, что случилось в тот вечер — с молдовеняской, с песнями и давно им не виданным весельем. Встреча с Ксенией оживила загнанную временем вглубь вину перед женщиной, бывшей в молодые годы его женой, матерью его дочери. Обращением с письмом в горком партии она права в одном (и это оправдывает ее): Мугуряну сообщил ей о болезни и смерти дочери уже после того, как урна с прахом Иленуцы была захоронена в кулумбарии московского крематория. И вот сейчас, в дни большого счастья, пришла расплата, подтвердив тем самым давно известную Мугуряну истину, что ни один — вольный или невольный — дурной поступок не остается безнаказанным. Естественно, впрямую, открыто его никто не упрекнет, чтобы не бередить незаживающую рану. А жена имела право сделать это, и она сделала.

В общежитии на улице Гидростроителей немало удивились появлению новой жительницы. Меняющиеся «пассажиры», как называла их дежурная, задерживались недолго, и среди них женщин не попадалось. Иногда заходили знакомые, помогали навести уют, гремели кастрюлями на кухне, но оставаться на ночь — такого никогда не было. Сама дежурная, да и «пассажиры» привыкли к тому, что к Мугуряну никто никогда не заходил. Он всегда подымался по лестнице быстрее, чем, казалось, мог позволить ему его возраст. У дверей он снимал сапоги, вынимал из устроенного им самим укрытия тапочки, переобувался и только тогда заходил в квартиру. Кивком здоровался, если замечал кого-нибудь в прихожей, и уходил в свою комнату.

Точно так же, будто повторяя все эти движения, возвращался

с работы появившийся полгода назад новый постоялец общежития в доме 2/3. Дежурная долго старалась написать правильно его имя: спросила раз, как звать, уточнила и все же вместо «Ницэ» написала «Ница». Но после отъезда Ницэ на свадьбу сестры его место неожиданно-негаданно заняла эта молодая женщина. В первый же вечер, когда собрались в квартире все «пассажиры», она вышла в общую комнату и объявила звонким голосом:

— Чтобы не было никаких вопросов и никаких пересудов — я жена Виорела Андреевича Мугурану и зовут меня Ксения.

10

Над челнинской степью от далекого шишкинского леса у Елабуги за Камой до станции Круглое Поле поплыл дурманящий запах свежее выпеченного хлеба. И на всем этом пространстве, развороченном бульдозерами, изборожденном колесами тяжелых машин и гусеницами экскаваторов, растревоженном гудящим людским потоком, не было существа, которое не почувствовало бы в тот день этого животворящего духа. Он поборол запах бензина и солярки, мазута и керосина, сжигаемых в утробах тысяч и тысяч моторов, и донес до всего живого в Челнах весть о том, что заработал хлебный завод.

Священный запах хлеба насущного!

Когда позвонил Евгений Никанорович и сказал, что в огромных чанах построенного на краю города хлебного завода уже поднялось тесто, а жаркие печи уже испытаны и через пару часов можно попробовать горячую румяную булку, Раис Беляев вскочил с места. Он должен был сказать начальнику строительства что-то очень значительное, очень доброе, но перехватило горло, и он прошептал: «Спасибо!»

Беляев был один в своем рабочем кабинете, подписывал партийные документы, которые через несколько минут вручит новому пополнению челнинских коммунистов. Знакомые лица молодых парней и девчат, недавно стоявших в этом кабинете и принимавших поздравления с приемом в КПСС здесь, в самом юном городе страны. Они сейчас войдут, двенадцать человек, взволнованные, в приподнятом настроении; он должен сказать слово. Что сказать? Как напутствовать?

Он расскажет получающим партийные билеты о хлебе, о том, какие воспоминания пробудил в нем поплывший сегодня над челнинским краем аромат...

Еще не кончилась война. С фронта возвращаются домой лишь те, которые воевать уже не могли — у кого нога покалечена на фронте, у кого рука... Стоят у калиток инвалиды, опираясь на костыли, и смотрят печально куда-то вдаль. Глядя на них, Раис пытается угадать: куда они смотрят, о чем думают?

С наступлением весны сорок пятого года, с ярким мартовским солнцем пробился луч близкой победы. Вернутся домой победители, и надо встретить их родным запахом хлеба...

Шестьдесят километров от родного села Раиса Белева до ближайшей железнодорожной станции. Но именно туда, на эту станцию, пришло неизвестно из каких государственных резервов семенное зерно. Нужно засеять поля, хлеб растить, налаживать порушенную войной жизнь. И нет в селе ни единой машины, ни единой лошади, ни единой пары волов. Начальник станции прислал извещение, что только три дня имеет право держать зерно на складе, спешите, мол, получить, а если нет — пеняйте на себя, мы не отвечаем.

Всех от мала до велика созвал председатель колхоза:

— Надо доставить зерно в самый короткий срок. Если опоздаем на склад, семена могут уйти, мы останемся с незасеянными полями...

Ранним утром вышли из деревни шестьдесят женщин. И как летом сорок первого провожала деревня на фронт своих мужчин, так сейчас провожала она за хлебом своих лучших женщин. У каждой на плече

пустой мешок, в кармане веревка, в руках узелок — у кого с чем: дорожка дальняя, нужна хоть какая-нибудь еда. Идут. Без разговоров, без песен, без слов, каждая наедине со своими думами, со своими заботами, с мыслью о том, что надо принести в деревню то, чего никто, кроме них, принести не сможет.

Давно, еще за чертой, названной «до войны», к полустанку вел проселок. Шли по нему люди, ездили верховые, скрипели повозки, пылили перегоняемые на дальние пастбища отары, а под самую войну даже тракторы «Универсалы» на громадных зубастых колесах тарахтели.

С тех пор как началась война, проселок все больше и больше зарастал густым подорожником, то тут, то там пробивались небольшие побеги ольхи.

У перерезавшего колхозные поля оврага одиноко стояла старая ветвистая береза. Каждой весной любители попариться свежими пахучими вениками обстригали ее почти до самой вершины. За три военных года вновь распушила береза свои ветки — париться в деревне почти некому. Считалось, что если добрались до нее, то позади уже осталась треть пути, до станции еще сорок километров.

Стежки следов по выпавшему за ночь молодому снегу, розовый свет восходящего солнца, алмазные искры, прыгающие на опущенных снегом веточках березы синицы, весенняя песня зяблика. Пахнет оттепелью.

Успеть бы вернуться, пока не растает снег.

Ветер трепал пустой рукав шинели заведующего станционным складом. Временами рукав резко подымался, а котом падал, будто срезанный выше локтя. Завскладом только умолял:

— Быстрее, быстрее, повернул ветер с юга, пойдет дождь. Ох, чтоб не застал вас в пути этот дождь!..

Женщины еще не понимали, что погода резко повернула к теплу, тут ведь как бывает — утром трещат деревья от мороза, а к вечеру задует южный ветер и пойдет настоящий летний дождь.

Так случилось, на их несчастье, и на этот раз. Теплый дождь лил всю ночь, и они сидели на мешках под навесом, грелись друг о дружку, оберегая полученное уже под их ответственность зерно. У кого пятнадцать килограммов, у кого двадцать — каждая сыпала в мешок соразмерно своим силам.

— К утру дождь перестанет, сейчас не осень, когда ложка воды — и бочка грязи. — Завскладом ободрял этими словами больше самого себя, чем женщин.

Но дождь перестал только к полудню. И как только выглянуло солнце, женщины двинулись в обратный путь. Мерзлая земля не принимала в себя растаявший снег и дождевую воду, затопившую все насколько видел глаз. Лишь по телеграфным столбам да по торчащим из воды семенникам подорожника можно было угадать проселок.

Быстрее, быстрее!

Заброшенный ток чуть в стороне от проселка, горький дым прелой соломы, скудное тепло, от которого хоть чуточку согреваются выжатые портянки, — и нескончаемая ночь с холодными мерцающими звездами. Они, эти звезды, вселяют в души продрогших женщин надежду, что наступит солнечное утро, без дождя, и можно будет снова отправиться в путь. А пока нужно устроить мешки в надежное укрытие на случай нового ливня. Все они от борозды, от поля, все они знают, что семена должны быть сухими. Поэтому, едва отогрелись, без всякой команды они «общипали» основание старой скирды, заложили туда мешки, оставив укрытие и для себя. Но старались не поддаваться соблазну уснуть — ведь после такого пути ляжешь на

холоде, уснешь и не встанешь. А село уже вот оно — половина пути пройдена.

У старой березы, у шаткого моста через реку и увидел их, шагнувших под своими ношами, десятилетний Раис Беляев. Он шел из райцентра домой на каникулы...

— Я, ребята, запомнил их лица, я знаю всех по именам. Многие еще живы. Они доказали, на что способен человек, какая сила жизни заложена в нем... Приближались мы к деревне, вода была уже выше колен, дорога угадывалась только по торчащим из воды высоким стеблям прошлогодней травы. Но женщины шли, и никто не потерял ни единого зерна. Сейчас, после стольких лет, я вижу четче и ярче подвиг моих односельчанок. И я часто в нелегкие минуты здесь, на КамАЗе, вспоминаю их. Насколько им было трудней! Я бы всем им памятник поставил вдоль той дороги — шестьдесят женщин, несущих на своих плечах семена будущего победного урожая!.. Ну, кто тут первым по списку сегодня? Петров Иван Петрович. Слесарем, значит?

— Слесарем потом, когда завод пустим, а сейчас на теплотрассе, Раис Киямович.

— Вручаю вам партийный билет, товарищ Петров. Кандидатом, вижу, в армии вступали?

— Так точно.

— Ну вот, даже терминология армейская. Поздравляю вас... Следующий Марин Ницэ Лукьянович. Как правильно, Марин или Марьин?

— Марин.

— Марьин вроде правильнее...— Беляев улыбнулся и перешел на «ты»: — Мне рассказывают об «автобусе коммунистического труда». Это ты, значит? Молодец! Приду и я как-нибудь к тебе. Еще раз поздравляю...

Закончив с вручением билетов, смотрел, как ребята пристраивают во внутренних карманах красные книжечки, и вспомнилось: таким ведь и он был, когда ему — уже сколько лет прошло с тех пор! — вручали партбилет... Оглядел всех снова.

— Я вручил вам, ребята, партийные билеты как символ и знак вашей принадлежности к партии коммунистов... Над стройкой плывет сегодня запах хлеба. Хлеб для народа — это наивысшее партийное дело. И то, что мы здесь делаем, наша борьба за эти «КамАЗы» — это тоже борьба за хлеб...

Набережные Челны

К 1 января 1982 года состоят на учете 20 тысяч членов и кандидатов в члены КПСС и 57 тысяч членов ВЛКСМ.

11

Раиса Романова ставила на партийный учет всех прибывавших в Челны коммунистов. В Татарском обкоме комсомола она была просто Раей, Раечкой, а здесь чернявую тоненькую девушку на шпильках сразу же стали величать по имени и отчеству — Раисой Петровной. Шуточное ли дело — она ответственная хранительница всего умножающегося партийного хозяйства горкома: протоколов, личных дел, отчетов, ведомостей, учетных карточек и контрольных талонов вступающих вновь, многой иной документации. Все сложно и трудно. Но самое сложное сейчас — это вновь встающие на учет. Едут на КамАЗ коммунисты самых разных профессий: водители и слесари, учителя и врачи, бригадиры и...

— Здравствуйте. Вы ставите на учет?

Перед ней стоял высокий красавец лет сорока. Голубые глаза, черная густая шевелюра.

Раиса Петровна берет партбилет. Васильев Лев Борисович...

— Одну минутку, проверю, прибыла ли ваша учетная карточка... Да, прибыла.

Она еще раз сверяет партбилет с карточкой. Последняя запись: «Заместитель министра автомобильной промышленности СССР, генеральный директор Камского объединения по производству тяжелых грузовых автомобилей в городе Набережные Челны». Не робкая по натуре, принципиальная и строгая Раиса Петровна растерялась. Таких начальников до сих пор ей видеть не приходилось, она даже не представляла себе, как они выглядят. И вот он стоит перед ней, смотрит и, возможно, думает: «Не знает девчонка, что делать, подсказать, что ли?» Но Раиса Петровна уже собралась и произнесла обычную фразу:

— Сейчас я дам на подпись Раису Киямовичу, нашему первому секретарю.

Она закрыла на два ключа свой сектор учета и зашагала по узкому коридору старого бревенчатого дома, где тогда помещался горком, к приемной первого секретаря. И тут случился конфуз, о котором Раиса Петровна вспомнит не раз. Тоненький каблук-шпилька проткнул прогнившую половицу, застрял в ней, и она совсем растерялась. Ожидавший своей очереди молодой кудрявый парень пробасил:

— Дайте я вам помогу.— Вытащил туфельку из половицы и посоветовал: — Снимите и вторую, до дверей дойдите босиком, а там наденете... А вообще-то на шпильках тут делать нечего.

— По крайней мере, в этой пятилетке,— подхватил улыбающийся Васильев.

С Беляевым Лев Борисович Васильев не раз виделся в Москве. Но там он, Васильев, был заместителем министра, столичным руководителем, которому поручено возглавить генеральную дирекцию строящегося завода. Беляев в Москве высказал свое мнение о том, чтобы все руководители, большие и малые, имеющие прямое отношение и к стройке и к будущему заводу, становились на партийный учет в Челнах — здесь их работа, здесь должна быть и их партийная организация.

— Раз вы уже прибыли,— говорит Беляев Васильеву,— пора проводить у вас первое партийное собрание. Раиса Петровна, прошу подготовить список прибывших коммунистов по дирекции...

И Васильев и Беляев запомнят на всю жизнь то собрание.

На первом этаже управления КамГЭС находилась небольшая комната с окнами на Каму. Помещение это было выделено сначала под красный уголок, потом тут расположился со всем своим хозяйством партийный кабинет, позже сюда же втиснули редакцию только что созданной многотиражки строительства «Камские зори». А сейчас здесь предстояло провести первое партийное собрание коммунистов дирекции даже в чертежах существующего не полностью Камского автомобильного завода. Разговор общий: о задачах, о необходимости сплочения коллектива (пока что на собрании присутствовало всего двенадцать коммунистов!), о налаживании контактов и «мирного сосуществования» с руководителями стройки.

И вдруг погас свет. Все здание и намеченная несколькими домами улица Гидростроителей погрузились в темноту. Один из присутствовавших загремел коробкой спичек, чиркнул, и все увидели на миг освещенное красноватым крошечным пламенем чье-то озабоченное лицо. Другой старательно освещал помещение ярким роем искр, обильно сыпавшихся из-под зубчатого колесика зажигалки — фитиль

пока никак не хотел воспламениться. Кто-то еще раз чиркнул спичкой, запахло табачным дымом, и тогда раздался голос Беляева:

— Давайте, товарищи, сделаем перекур, пока свет придумаем.

Он так и сказал — «свет придумаем» и сам удивился неожиданно сложившемуся сочетанию слов. Быстрым шагом вышел из комнаты, по стене длинного коридора добрался до парадного входа. На улице тоже крошечная тьма. Раис Киямович кликнул своего шофера, тот отозвался.

— Заводи мотор, — сказал ему Беляев.

«Неужели так быстро закончилось собрание?» — подумал водитель, готовый уже включить скорость и двинуться, куда прикажет хозяин.

— Ты включи дальний свет и направь его вон на тот угол, по первому этажу шарь, а когда увидишь меня в окне, фиксируйся и свети, пока я не выйду...

Беляев вернулся в дом, и маневрирующей машиной водитель вскоре поймал его в открытом окне первого этажа управления КамГЭС. Перекур кончился, двенадцать человек, освещенных парой автомобильных фар, продолжали говорить о судьбе будущего КамАЗа.

Рядом с «Волгой» Беляева стоял новенький «Москвич». На нем ездил кто-то из начальников КамГЭС. Шофер скучал и решил помочь своему товарищу:

— Давай и моими подсветим, чем больше света, тем умнее решение — как думаешь?

Шофер горкома не стал отвечать на этот риторический вопрос, но предложение прибавить свету не отверг.

Когда ударил в окно и уперся яркими кругами в комнатную стену свет автомобильных фар «Москвича», генеральный директор вздрогнул от неожиданности и обрадовался. Оказывается, что поддержка, помощь могут прийти и таким странным образом. Свет родного «Москвича»! Как он нужен был Васильеву именно сегодня, именно в эту минуту, когда он обдумывал то, что должен сказать своим товарищам по партии, приехавшим сюда, на Каму, чтобы начать совсем новое дело. Свети, свети, родной! Спасибо!

«Москвич» для Льва Борисовича Васильева был тем же самым, чем для Батенчука Вилюйская гидростанция и алмазный поселок Мирный, что для Раиса Беляева комсомольские годы в Казанском университете — там, где учился и Володя Ульянов, где прошли его первые схватки с самодержавием. Для Васильева московский завод малолитражек был тем испытанием, которое, как ему казалось, выпадает человеку только раз в жизни. И хотя он приехал сюда уже заместителем министра, высокая должность не отдала его от автозавода, где он чувствовал себя как дома, знал каждый уголок, тонко разбирался в крупнейшем хозяйстве. При нем, при его участии шла реконструкция завода, он провожал в путь с конвейера вместе с ликующими рабочими двухмиллионную машину, при нем вручались самым лучшим первые звездочки Героев Труда, при нем открывали у заводоуправления памятник погибшим на войне... От этих воспоминаний его оторвал усилившийся гул за окном и до того яркий свет, как если бы в один миг вспыхнуло солнце и осветило все. На самом же деле ничего особенного не случилось. У здания КамГЭС всегда стояло много машин — и легковых, и автобусов, и грузовиков, начальники СМУ, главные инженеры, другое строительное начальство ездили на чем попало. И водители этих машин без всяких команд и просьб вслед за «Волгой» и «Москвичом» направили дальний свет на окна КамГЭС. Никто из них, конечно, не знал, что первый секретарь горкома обобщит это в чуть патетических, но полных глубокого смысла словах:

— Мы, товарищи, оказались сейчас по чистой случайности в свете прожекторов нескольких автомобилей. Скоро, совсем скоро,

это время не за горами, мы окажемся в свете прожекторов всей страны. За нами уже следят с надеждой, верят, что не подведем, что справимся со всем, что на нас возложено. Работать на такой ярко освещенной площадке почетно, но и очень ответственно и, прямо скажу, даже жутковато... Будет очень трудно. И мы должны приучить себя к этой мысли...

Заведующая сектором учета принесла очередную стопку поступивших учетных карточек. Беляев перебирает их, просматривает: народ едет знатный, у многих правительственные награды. И — он уже заметил — ни у кого нет записей о взысканиях. Чистые карточки, чистые люди. Партийные организации страны посылают сюда отборных бойцов. Его и всех здешних партийцев задача — помочь им остаться такими же.

— Ясно? — спрашивает он.

Раиса Петровна смотрит недоуменно: откуда ей знать, о чем думал сейчас первый секретарь?

12

В своем «автобусе коммунистического труда» Ницэ был полным хозяином. Сам уж он не знает, когда пришла ему в голову мысль устроить в автобусе фотовыставку. Каждый день то «Советская Татария», то «Знамя коммунизма», а чаще всего «Камские зори» печатали фотографии молодых красивых парней и девушек — передовиков строительства. Попадались фотографии строителей-камазовцев даже в «Огоньке», а иногда и в «Правде». Ницэ еще в школе, когда видел в «Пионерке» фотографии улыбающихся во весь рот школьников, тайно мечтал, что наступит время, когда и его фотографию напечатают. В армии хороших солдат также снимали для газет, и часто он встречал там знакомые физиономии. А сам никак не попадал на страницы, даже в стенную печать — ни за заслуги, ни за грехи. Правда, один-единственный раз промелькнула его фамилия в газете, но тогда он с нетерпением ждал, когда наступит следующий день и люди купят другой номер, где уже не будет его фамилии на последней странице в разделе объявлений о разводе. Странная и обидная история была тогда с этим разводом. Ницэ и до сих пор не может забыть, как мучила его эта капризная Надя и как ему было стыдно упоминание его фамилии в газете. Но неужели только это упоминание и останется? Как-то привык он уже к мысли, что, как бы хорошо он ни работал, все равно слава проходит мимо него. Жалко, но что поделаешь. Сейчас ему доставляет радость помогать шириться славе других. Вот, например, эта галерея портретов. Один умный человек, недавно приехавший из Москвы посмотреть КамАЗ, так и назвал собранные Ницэ вырезки из газет и журналов галереей. Все свободное пространство над окнами, над дверьми он занял фотографиями камазовцев. А над креслами на уровне глаз сидящего человека Ницэ написал встречающиеся в газетах фамилии: Иванов, Величко, Уразметов, Прокопович, Жемаускайте, Лукс, Гогоберидзе, Абдуллин, Карапетян, Ибрагимов, Штейнберг, Липовецкий, Садыков, Турсунов, Урсу... Он набрал свыше семидесяти фамилий — по одной от каждого народа СССР, имеющего своих представителей на Каме. Ницэ еще захотелось иметь в своем автобусе альбом с фотографиями всех знаменитых людей страны, приезжающих на КамАЗ. По тому, как часто стали наведываться на Каму разные бригады из Казани и Москвы, Ницэ заключил, что работы ему будет невпроворот. И еще он задумал одно дело.

«КамАЗ строит вся страна!» Все чаще и чаще появлялись в газетах эти слова, и Ницэ пытался придумать, каким образом можно приобщить всю страну, а значит, и каждую организацию, каждый

коллектив, каждого человека к этому великому строительству.

— Мне нужна помощь нашей организации с улицы Роз,— сказал он вдруг Виорелу Андреевичу.

Мугуряну ехал в кабине автокрана и, увидев стоящий на обочине автобус Ницэ, попросил водителя остановиться.

— Я слышан об этом автобусе, чего это вы прячете его от меня?

— Не спрячешь! — гордо ответил Ницэ.— Мы с ним работаем на виду у всех. Прошу вас, Виорел Андреевич, посмотрите, пока мои экскурсанты котлован под будущий литейный изучают. Посмотрите, как мы с ним работаем.

Ницэ уже второй раз повторял это «с ним», словно хотел убедить своего бывшего начальника, что он с этим автобусом обращается как с живым существом и они — он, Ницэ, и автобус — работают на пару. Мугуряну не мог скрыть своего удовольствия, что его земляка отличает такая любовь и прилежание — иначе не скажешь — к любой порученной ему здесь работе.

Да еще Ницэ выдумщик — его все время посещают какие-нибудь идеи. Вот и сейчас он приглашает Виорела Андреевича в автобус явно с каким-то намерением, Мугуряну догадывается об этом по хитроватому взгляду и интонации его голоса.

«Автобус коммунистического труда» выглядел нарядным, блеснул особой чистотой, которую, когда хотят, могут навести только мужчины. Виорел Андреевич присел осторожно на край обтянутого чехлом сиденья, прошелся взглядом по внутреннему убранству машины, заметил, что в кабине водителя у самого зеркала аккуратно приклеен аист с кисточкой винограда в клюве.

— Это я для своей молдавской души... А если кто спросит, что это такое, я рассказываю им, Виорел Андреевич, ту легенду...

— Молодец, Ницэ, спасибо... Хорошо тут у тебя, но я побегу, брат...

— Виорел Андреевич, у меня к вам такая просьба имеется. Вот тут, у самой кабины, где в нормальных автобусах стоят кассы, я бы освободил место для одного хитрого устройства, как в нашем первом тонвагене, помните?

— Еще бы не помнить!

— Так поможете?

— Чем?

— Вас же уважают там, на улице Роз... Напишите начальству, чтоб выслали нам студийный магнитофон с контрольным агрегатом... Ведь КамАЗ строит вся страна...

— Напишу,— тут же согласился Мугуряну, а о том, для чего понадобился Ницэ этот магнитофон, не поинтересовался, просто сейчас времени не было.

А Ницэ обрадовался, представляя, как он тут все устроит, как пригласит в машину лучших, самых знаменитых работников стройки. Он запишет и всех гостей автобуса, он попытается сохранить звуки этого времени, его голоса, пусть только быстрее дойдет до Кишинева письмом Виорела Андреевича!

Вернулась небольшая, но очень шумная группа иностранцев. Ницэ дал им скребок, щетку, чтобы почистились, не заносили строительную грязь на автобусную ковровую дорожку, раздобытую чуть ли не при содействии самого Батенчука. Старшим среди гостей был седой мужчина, располневший, но очень живой, быстрый. Он все осматривал, задавал вопросы, а ответы записывал в блокнот. Отвечала ему круглолицая белокурая девушка, и Ницэ удивлялся, с какой быстротой говорит она по-французски: пожилой человек с блокнотом еле успевал записывать за ней. Как плохо, что Ницэ не знает этот язык, потому что девушка, видно, рассказывает что-то очень увлекательное: никто не станет за неинтересным человеком записы-

вать, Ницэ хорошо усвоил эту простую истину во время множества поездок по республике с радио-, а потом и с тележурналистами. А о сегодняшней белокурой рассказчице говорят, будто она здесь с самого первого колышка, с той поры, когда не только французы о Набережных Челнах не слышали, а и километров за двести отсюда. Ира ее зовут. Ира Фролова, а официально Ирина Тимофеевна.

— Поедем в сторону Кузнецкого,— прозвучал ее голос по-русски, и Ницэ завел мотор.

За рулем Ницэ не думал ни о чем, кроме дороги с ее спусками и подъемами, поворотами и рытвинами, грязью или асфальтом, со встречным и обгоняющим транспортом. Он как бы сливался с машиной, и происходило это само собой.

13

До чего же нравится Раису Беляеву любоваться с какой-нибудь высокой точки огнями своего молодого, ставшего таким родным города! Миллионы и миллионы золотых точек мерцают во тьме словно звезды.

Звездные тайны манили человека еще в отдаленные времена Птолемея «Альмагеста», манят они и сейчас астрономов, космонавтов и всех, кто не потерял еще способность глядеть в небо и содрогаться при мысли о беспредельности пространства и о том, что человек — пылинка, дерзнувшая познать все это. Тысяча девятьсот лет наблюдали вавилоняне небо, Птолемею лишь подвел итог и оставил в наследие «Альмагест». Со времен его ученой книги минуло восемнадцать столетий! А человек все разгадывает, вглядывается туда. Еще в детстве Раис высчитывал, когда наступит безлунная ночь, радовался, если солнце садилось, оставляя за собой «подметенное» от облаков небо, ждал с нетерпением, когда опустится темнота, уснул все его десять братьев и сестер, отец сядет за проверку учебных тетрадей, а мать займется подготовкой всего, что нужно к следующему дню. Тогда он выныривал из-под одеяла, тихо стаскивал со стула одежду и отворял дверь. Как здорово, что он еще утром смазал петли! Никакого скрипа! У него было излюбленное место на крыше, около самой трубы. Пробирался он туда очень осторожно, стараясь не шуметь. Раису не хотелось, чтобы его обнаружили здесь, это была его тайна, его — и неба. Какое счастье остаться один на один с ним и звездами! Искать там то, чего и сам не знаешь. Мальчик не имел еще никакого понятия об устройстве вселенной, не слышал о звездных туманностях и «черных дырах», не знал, что есть старые, молодые, горячие и холодные звезды, а бесчисленные солнца, подобно сказочным королям, увенчаны коронами. Он не догадывался о спиральных, эллиптических и иррегулярных галактиках, что они сужаются и разбегаются, что их миллиарды, что в них и сейчас рождаются и гибнут новые звезды, происходят взрывы... Все это можно было бы назвать ж и з н ь ю, д ы х а н и е м беспредельности. Однажды друг-одноклассник дал Раису бинокль на один вечер, и он взглянул на небо и не узнал его: исчезли привычные для глаза группы звезд, изменился их порядок, появились иные, незнакомые прежде созвездия, но стоило убрать бинокль — и все небо принимало привычный вид. Не мнилось ему, что когда-нибудь и сам он сможет зажечь где-то в этом пространстве свою галактику, в которой он будет знать точное расположение всех светил.

Когда на улице Гидростроителей росли этажи будущей высотной гостиницы «Татарстан», секретарь горкома не раз наведывался в бригаду Виктора Филимонова.

— Ну как, Виктор, растем?

— Растем, Раис Киямович, как положено...

— Как отсюда, от тебя, здорово видно! — восхищался Беляев.

Был уже поздний вечер, и горели огни стройки и города, чем-то напоминая Раису Беляеву звездное небо, где рождались и умирали галактики. На первый взгляд могло показаться странным, что оптимист и романтик Раис Беляев радовался умиранию — и с нетерпением ждал его — некоторых челнинских галактик. Но это были временные поселки, и отсюда, с высоты строящейся гостиницы, он их хорошо различал. Их много, и жили там почти сорок тысяч человек. По мере того как вспыхивали огни в новых кварталах в настоящих домах, угасали временные поселки. Но они еще есть, и как только вспомнит о них Беляев, вся романтика бесследно исчезает. Вот и сейчас вроде не для этого пришел он в бригаду Филимонова, но вопрос о временных поселках возник сам собой.

— Получил повестку на бюро, Раис Киямович.

— Да. Вернемся снова к проблеме временных поселков... Ночью видишь: горят огни, светло и вроде весело... Но днем по этим поселкам идешь — сердце сжимается... Хотя мы все сделали: и дороги, и вода, и газ, и магазины... Но временное есть временное. Пока последний человек не будет переселен отсюда, мы не будем знать покоя, Виктор... Так что готовься к бюро, заканчивай быстрее гостиницу и снова берись за жилье...

Раис попрощался с Филимоновым и прошел выше, где работала другая бригада.

Башенный кран, вздернутая к самому небу стрела... Если бы не она, ему бы казалось, что он снова стоит сейчас на крыше своего дома и смотрит... Но в отличие от времени, когда он, запрокинув голову, замирал от чувства беспомощности перед тем, что жило, двигалось, светилось над ним тогда, Раис Беляев гордился сейчас тем, что открывалось ему с этой самой высокой точки Челнов, если не считать уходящую в небо трубу теплоэлектростанции. Приходили на память строки рабочего-поэта Жени Кувайцева: «Ночью светло, а днем — темно от скопления машин и пыли...» Да, действительно, ночью светло. Электрические созвездия зажигались одно за другим, и для большинства приезжающих сюда они так же таинственны, как те далекие, небесные, заслоненные сейчас поднявшейся над степью и не оседающей мглой, а Раису они знакомы до самых мельчайших подробностей. Вот, например, эта река огней, что змеится от самой ТЭЦ до старого города. Светит, мигает сейчас, растекаются от нее во все стороны ручейки.

А ведь какие битвы за нее были!

Теплотрасса, сколько же ты выжала соков и сил из людей, пока твои многокилометровые жилы лежали еще на земле — пустые и ржавые!

А корпуса заводов уже стояли под крышами и требовали: тепла! тепла!

А вон там, на самой большой возвышенности в степи, сияет огромное созвездие, именуемое БСИ. Сейчас все знают, что это база строительной индустрии, где производятся панели, двери и окна для новых домов, сварные металлоконструкции и облицовочная плитка — одним словом, все, что потом обретет название «дом», «детсад», «школа» или «цех». Рожденное за эти годы созвездие, растущее и дышащее, как живой организм. Раис знает: чем сильнее разгорится звездная система БСИ, тем скорее угаснут вагонные поселки. Дайте еще немного времени!

Наблюдая звездные россыпи Челнов, Раис видел, как они соединяются друг с другом, сливаются в единый массив энергии и света. Особенно ярко проявлялось это в северной части, где зажигались все новые и новые созвездия — окна, за которыми квартиры, красные уголки, просто комнаты или углы для холостяков и холостячек. Микроміры, составляющие большой мир, знакомый, близкий и род-

ной ему, Раису Беляеву. Окошки-звездочки мигают, за ними тысячи жизней и судеб.

Не тяжело ли тебе, Раис Беляев, чувствовать ответственность за каждого, кто радуется, смеется, плачет или поет за этими окнами?

Ответственность, обязанность, долг и совесть...

Можно что-то делать по обязанности, можно работать, все время чувствуя ответственность. Можно работать по долгу — ты должен это делать, это твой долг. Партийный, государственный, какой хочешь. Долг. Но самая радостная духоподъемная работа — это та, которую ты не можешь не делать, которая не дает тебе спать, поднимает посреди ночи, гонит на простор, за которую не требуешь никакого вознаграждения. Однажды у Беляева возникло сравнение, которое он часто вспоминал потом. Ехал он поездом с юга, состав был длинный — вагонов восемнадцать. Наступал новый учебный год, и все набравшиеся здоровья в теплых, омываемых морем краях штурмовали вокзалы и аэродромы, торопились домой. Раис прикинул, что такой состав везет полторы-две тысячи человек. Сев, они постепенно успокаиваются после предотъездных волнений, некоторое время молчат, потом заговаривают с соседями, знакомятся, делятся впечатлениями, едят, и начинаются обычные дорожные будни: чай, чтение, карты, шахматы, сон, разговоры. Проплывают поля, полустанки, села, а пассажиры глядят на них и думают о доме, о своих — как они там? А во главе состава — тепловоз или электровоз, одна смена машинистов, другая, третья, и они, эти машинисты, отвечают за всех, кого везут. А какое дело едущим до машинистов? Кто они, эти машинисты, какие: пожилые, молодые, женатые или холостые, красивые или не очень, радостны они или печальны — пассажирам все равно, они знают, что их должны довести. Так и здесь. Люди работают на совесть и хотят быть уверенны, что у них должно быть все, что о них должны заботиться. И к этой мысли приучил их не Беляев, не Батенчук и не Васильев — их приучило к этому наше социальное устройство. И оно, по утвердившемуся мнению, должно предусмотреть все. Где будет дом и где будет школа, где магазин, а где кинотеатр, откуда придет тепло и вода, свет и огурец, а также нитки и губная помада... В Госплане Беляеву сказали, что одних нужных человеку вещей планируется свыше семидесяти тысяч наименований! Для чего столько? И кто это все учтет? А человеку, поставившему вон там, за тем светящимся окном, свою первую в жизни табуретку, подавай все, что ему потребуется из этих семидесяти тысяч наименований. А если чего и не найдется тут же, кто тогда виноват?.. Сообщивший Беляеву эту цифру госплановец засмеялся: «Когда чего-нибудь не будет тебе доставать, Раис, в этих твоих Челнах, вали на плановиков и всегда умным окажешься!»

Беляев был снисходительным к госплановцам. И в самом деле: можно ли предусмотреть все? И в то же время кому же и предъявлять претензии, как не им?

А может ли случиться такое, чего никогда никакой Госплан и вообще никто не предусмотрит?

Такое в Челнах случалось. Но об этом немного позже.

14

Судьбы людей, судьбы рабочих, построивших КамАЗ.

Лишь две из них.

Виктору Филимонову известно, каким трудом выращивается дерево. Детство его проходило в деревне. А на «казахстанской Магнитке», в городе Гемир-Тау, где он работал до приезда в Челны, деревьев почти не было. Над стройкой шефствовали комсомольцы крейсера «Киров», и каждую весну приезжали обветренные матросы заниматься, казалось бы, несвойственным им делом — помогать

строить новую Магнитку. Как-то в разговоре возникла идея — не закрепить ли родившуюся дружбу? Идея понравилась, и стали матросы и строители закладывать парк там, где прежде деревья не росли. Выбрали сопку «попредставительней», попробовали копать — ничего не выходит: скала, камень, лопатами не возьмешь. Пустили в ход технику — бульдозеры, экскаваторы, даже отбойные молотки. В приготовленную яму выгружали два-три самосвала привезенного изда-лека чернозема. И все равно не все саженцы сразу прижились, некоторые болели, требовали особого ухода. И ухаживали. А сейчас, спустя полтора десятка лет, бушует в окрестностях города Темир-Тау парк «Дружба». Есть в нем и деревья бригады Виктора Филимонова.

Никто, конечно, в Набережных Челнах не знал о существовании этого парка, а то, может быть, не удивились бы так двое бульдозеристов, когда на них накинудся высокий широкоплечий парень. Он негодующе кричал, угрожая вытащить их из кабины:

— Вы что делаете?! Вы хоть одно дерево за свою жизнь вырастили? Прекратите!

— Брось кричать,— сказал бригадир бульдозеристов Филимонову,— мне нужен план, а не твои зеленые прелести.

Пришлось Виктору на особом строительном лексиконе объяснить необходимость сохранения зеленого друга, благодаря чему уцелела вдоль сдвоенных корпусов 9/11 и 9/12 в поселке КамГЭС тополиная роща.

Тут же, в метре от стены будущего многоквартирного дома, росли два молодых клена. Виктор строго-настроено наказал бульдозеристу не задевать их. Для этого бригада согласилась выполнить часть земляных работ вручную. А когда сдали дом и поселились в нем люди, узнали об уцелевших кленах охочие до эффектных кадров кинооператоры. Поднялись в квартиры на второй этаж, чтобы выбрать место поудобнее для съемки. В одной из квартир оказалась дома лишь старая женщина, приехавшая погостить у работающих здесь детей. Увидав незнакомых людей в кожаных пиджаках, в каких часто показывают на телеэкранах неблаговидных деятелей разного рода, она тут же подумала, что они замыслили недоброе — вдруг высматривают, как подняться по веткам этого дерева на балкон,— и, не дождавшись возвращения детей с работы, срубила клен. Сейчас под одним балконом высокий ветвистый красавец, под другим — пеня, правда окруженный пробившейся от корней порослью.

Можно сказать определенно — когда Раис Киямович Беляев распорядился написать призывы оберегать молодые сосновые посадки в Набережных Челнах, он ничего о Викторе Филимонове и его любви к природе не знал. Разумеется, и Филимонов не знал о Беляеве, когда сажал парк на каменистой сопке в Темир-Тау. Они встретились позже.

Шло партийное собрание в жилищном строительном-монтажном управлении, куда направил отдел кадров прибывшего из Казахстана опытного молодого строителя, члена КПСС Виктора Филимонова. Его избрали в состав партбюро. Присутствовавший на собрании первый секретарь горкома Раис Киямович Беляев подошел к Филимонову:

— Поздравляю вас, молодой человек.— Поинтересовался, как устроился с жильем, где семья, предложил, если какие трудности возникнут или какие вопросы будут, тут же заходить в горком.

Начальник домостроительного комбината Марат Шакирович Бибишев на этом же собрании рассказал Беляеву, что Филимонов и есть тот парень, которому он предложил ехать на учебу в Москву, а тот поначалу заартачился: чего, мол, я, строитель-монтажник с двенадцатилетним стажем, пойду учиться, зачем? Но все же согласился. В Казахстане он строил пятиэтажные дома, здесь предстоял монтаж двенадцатиэтажных.

В столице будущим челнинским высотникам монтировать дома не довелось, они попали на завод, стали изготавливать панели для своего будущего города, отправлять их водным путем, а потом встречать на месте, в Челнах.

Въезжающего сейчас в город Набережные Челны на проспекте имени Мусы Джалиля встречают три двенадцатизэтажных дома. Второй от начала проспекта по праву можно было бы назвать домом Филимонова. Сам Виктор, сколько бы раз ни проезжал мимо, вспоминает о том, что этот дом буквально выловлен его бригадой из камской воды. Не было грузовой пристани, и плавучие краны подымали панели с баржи, а Филимонов и его ребята работали по пояс в воде, ловили их, цепляли к стропам стоящего на берегу «сухопутного» крана, грузили на панелевоз, отправляли на площадку и сами же разгружали. 24 июля 1970 года приступили к монтажу.

Рассказывая об этом как о далеком прошлом, делясь воспоминаниями с приезжающими на Каму гостями, Виктор Филимонов говорит не без улыбки:

— Мы строили первые в Челнах высотные дома, будучи далеко не первозразрядными высотниками. Бригада собралась из водителей, бульдозеристов, крановщиков, просто из ребят, пожелавших стать строителями. Мы строили и учились. И, может быть, именно поэтому в бригаду постоянно наведывался первый секретарь горкома партии. Он интересовался абсолютно всем — и как нам работает, и как питаемся, и как устроены с жильем, знал всех ребят по имени и отчеству. Мы каждому новому этажу радовались как победе. Не скрывал от нас своей радости и Раис Киямович. Он вселял в нас какой-то неопишуемый оптимизм. Придет Беляев — и как рукой любую усталость снимет, а ведь мы по две смены вкалывали. «Вот, ребята, — говорил он нам, — как растет ваш дом, так будет расти и весь наш город, скоро заводские корпуса пойдут в рост». Я уверен, что Раис Киямович уже знал, в той первоначальной неразберихе, как будет выглядеть в будущем и наш город и наш завод. Мы же не совсем себе это представляли. Ведь в то время, когда мы первую башню строили, места под будущие кварталы и заводские корпуса еще по-настоящему и размечены не были...

Большее половины жизни работает Виктор Петрович Филимонов (ему сорок один год) строителем. Шестнадцатилетним парнем его направили с группой ребят для обучения древнейшему на земле ремеслу каменщика. И, по его словам, он «ни граммулочки об этом не жалеет». Выше специальности строителя, считает Виктор Филимонов, лишь специальность партийного работника, настоящего партийца ленинского типа. Таким руководителем видится ему, выдающемуся рабочему, Герою Социалистического Труда, первый секретарь Набережночелнинского горкома партии Раис Киямович Беляев. Наблюдая за ним, за его работой, еще будучи бригадиром, а потом как бы изнутри, став членом бюро горкома партии, Филимонов сделал очень емкий вывод: «У нас уникальный горком, второго такого нет».

Строить дома, возводить заводские корпуса, начинать их самым сложным оборудованием, делать сложнейшие машины — этому можно научиться. А вот суметь сплотить огромнейшую разнородную массу в коллектив, в единый организм, подчиняющийся правилам социалистического общежития в условиях строящихся города и комплекса заводов — эта задача видится Филимонову куда сложнее. И за семь лет непосредственного участия в работе бюро горкома партии он пришел к заключению, что Беляев и его товарищи овладели очень сложной наукой работы с людьми в исключительных условиях. Горком стал тем узловым центром, куда тянутся нити связи со всей страной, и если пойдешь в горком, значит, не уйдешь ни с чем. Это исключено.

«Не делайте из вопросов слоеный пирог», — сказал как-то на за-

седании бюро Беляев. И Филимонов вспомнил, какой «слоеный пирог» из бетонных плит пришлось ему разрезать однажды.

...К временному причалу подошла баржа, нагруженная готовым железобетоном из Москвы. Блоки по триста, пятьсот, а то и по две тонны каждый. Неумелые стропальщики делали «пирог» из десяти таких блоков, и когда стрела подымалась, стальные канаты передавливали нижнюю плиту. Филимонов остановил разгрузку, подозвал ребят:

— Вот что, граждане, давайте выберем из всей команды двух головоотяпов и командирuem в столицу на завод. Дадим по кувалде — и пусть уничтожают каждую десятую панель там. А то на кой черт возить их по Москве-реке, по каналу, по Волге-матушке да по Каме-маме. Ну, кто поедет?..

Так воспитывались строители.

Это лишь один незначительный штрих.

Если бы спросили сейчас Виктора Филимонова, что ему запомнилось больше всего из его многолетнего общения с первым секретарем горкома партии, он бы не задумываясь ответил:

— Сдача корпуса общетехнического факультета Казанского инженерно-строительного института.

Бригада Филимонова с первых же месяцев строительства жилья в Челнах стала выделяться особой собранностью, дисциплиной, старанием и аккуратностью. Все эти качества прививал своим товарищам бригадир, у которого за спиной был немалый опыт строительства в Темир-Тау: свыше восьмидесяти крупных объектов самого различного назначения. Об этом было известно. И потому в Челнах бригаде коммуниста Филимонова поручали первой начало строительства многих объектов. Первый высотный дом на проспекте Мусы Джалиля, поколи первых четырех домов в новом городе, первый корпус первого высшего учебного заведения в Челнах... И много еще первых.

На торжество по случаю сдачи институтского корпуса людей собралось видимо-невидимо. Было приготовлено все: красная летта, ножницы на подносе, стоял духовой оркестр со сверкающими трубами. Приехали корреспонденты из Казани и Москвы, съемочные группы кино и телевидения...

Беляев, как обычно, явился точно в назначенное время вместе с членами бюро, был оживленный, радостный и взволнованный — строительство института доставляло горкому немало хлопот, приходилось выбивать чуть ли не каждый кирпич. И вот наконец-то все завершено, разрежай, товарищ секретарь, красную ленту, улыбнись кинооператорам — и милости просим, друзья студенты, набирайтесь ума, строить вон еще сколько! Но что случилось? Операторы уже нацелили объективы, держат пальцы на спусках, чтоб, не дай бог, не пропустить момента, а Беляев кого-то ищет быстрым взглядом, по-серьезнел, делает знаки рукой.

— Виктор, иди сюда!

Стоящий в толпе Виктор Филимонов не знает, что и делать, смущается. Беляев повторяет:

— Иди, иди сюда, Виктор! Бери ножницы! — Беляев говорит громко, чтобы всем было слышно: — Ты построил, ты и разрежь ленту...

Бригада Виктора Филимонова построит в Челнах свыше ста тысяч квадратных метров жилой площади. Это три тысячи двести квартир. В них живет сейчас пятнадцать тысяч человек. Это половина того количества людей, которое жило во всем Набережночелнинском районе до начала строительства КамАЗа.

Есть цифры, запоминающиеся очень легко.

Когда Виктора Петровича Филимонова по предложению Беляева и Батенчука утвердили начальником большого строительного-монтажного управления («Головокружительно подбросив вверх, — как он

шутит, — минуя пять ступенек строительной иерархии: мастера, прораба, начальника участка, главного инженера и заместителя начальника»), ему показалось, что он очутился в весьма своеобразном состоянии невесомости. Бригадирские обязанности за двадцать с лишним лет работы он хорошо усвоил, а тут дело совсем непривычное: управление большим коллективом людей, необходимость заботиться о всех и каждом, умение дать нужный совет, внести коррективы в технические решения — короче, головою работать надо, да так, чтобы не ударить лицом в грязь. Ведь ко всему прочему ты еще Герой Труда. А герою работать плохо не годится, об этом даже думать нельзя.

За год работы руководителем СМУ Филимонов вывел управление из прорыва. Домой возвращался за полночь. «Мама, отец что, в командировку уехал?» — спрашивали сыновья.

Как-то полюбопытствовал и Раис Киямович:

— Не трудно, Виктор?

— Трудно, Раис Киямович... А вообще я счастлив, когда мне дают тяжелую работу. Что за смысл искать себе легкое дело? Неинтересно...

...Они встретились в Комсомольском парке, заложенном во время субботника после сдачи корпуса института, — деревья уже большие, развесистые, в песочницах играют дети.

Филимонов с женой шли в гости на проводы — один из его друзей уезжал на другую стройку.

— А ты, Виктор? — спрашивает Беляев.

— Я? — Филимонов застенчиво улыбается, смотрит на жену. — А мы считаем, что эта земля слишком многое для нас сделала, каждый из нас слишком много задолжал Челнам. Мы обязаны еще много здесь потрудиться, чтобы вернуть долг, а потом уж определяться, уезжать или нет...

Разволновался Беляев от этих слов своего друга. Сколько их, таких Филимоновых, на этой стройке!

А Виктор попрощался и медленно пошел по аллее парка. Он пытался понять, что же объединяет и сближает людей. Какие такие есть неведомые связи и благодаря чему они включаются? Наблюдая за секретарем горкома все эти годы, зная, как относятся к нему люди, Виктор подумал, что Беляеву эти связи известны. И если он, Виктор Филимонов, владеет искусством строить дома, украшать землю дворцами и парками, то Беляев обладает редким даром подмечать в людях доброе, поддерживать их, воспитывать, растить, как принято говорить. Филимонов смотрит на него с точки зрения рабочего человека, у которого крепкие руки, ясная голова, широкие плечи, несколько земных, надежных профессий. Значит, и такие работники есть у нашей партии.

Настоящего строителя всегда манит новая, еще неизвестная ему стройка. Он не страшится того, что там и первый дождь — его, первая непролазная грязь — его, первый снег — его, первые морозы — его. Все его, настоящего строителя: трудности, бессонные ночи, тревоги, но его же и первая радость, когда все построено, и его же первое удивление, когда после сдачи готового объекта его туда уже не впускают.

И снова все сначала...

Таким настоящим строителем является Николай Александрович Соловьев, неутомимый челнинский бригадир.

Когда заговорили о КамАЗе, он работал в Перми. Что же это за КамАЗ, интересовался он, не попробовать ли самому? И вдруг однажды вечером видит по телевизору знакомое лицо. Батенчук! Тот рассказывал о первых шагах новостройки. Соловьев, много лет проработавший на Севере вместе с Батенчуком, написал ему письмо. Через

пять дней получил короткий ответ: «Коля, приезжай! Стройка интересная...»

Стоят прижатые друг к другу на улице Гидростроителей десятки вагончиков. Это собранные в одно место отделы кадров всех будущих больших и малых управлений. По мере того как набирается тридцать—сорок человек, подходит старший кадровик вместе с кем-нибудь из бывалых строителей и говорит: «Вот, ребята, ваш бригадир.— А бригадир: — Вот тебе бригада». Не был исключением и Николай Соловьев. Так же как и Виктору Филимонову, пришлось ему возглавить бригаду из ребят самых разных специальностей, а точнее, без всяких специальностей. Поэтому одновременно с работой шла учеба. Выдающиеся мастера строительного дела приезжали в Челны, группы челнинских рабочих отправлялись в Москву, в другие города за опытом.

Так попал в Москву, в бригаду Злобина и Николай Соловьев, а когда вернулся в Челны, в его судьбе произошло то, что потребовало решительного вмешательства первого секретаря горкома.

Всю поступающую корреспонденцию Беляев просматривает сам. Письма помогают ему быть все время в курсе дела, они ручейки народного мнения, стекающиеся в горком. И как бы ни был загружен его день, Беляев никогда не изменяет своему правилу. Однажды раскрыл он папку, а там целая ученическая тетрадь, исписанная убористым почерком. Чтобы к тебе обратился человек с таким подробным изложением своего наблюдения, он прежде всего должен верить, что ты ему поможешь. А ведь Николай Соловьев просил помощи не лично для себя, а для всей стройки.

И увидел вдруг Беляев совершенно с новой стороны своих строителей.

История Николая Александровича Соловьева, четко изложенная им на двенадцати тетрадных листах, это не рядовой производственный конфликт, хотя поверхностному взгляду он показался бы именно таким.

Будучи в Москве, в бригаде Злобина, Соловьев убедился, что применение злобинской организации труда во всех звеньях строительства на Каме ускорит пуск завода. Вернувшись в Челны, рассказал об этом своим ребятам. «Так давайте и мы применим этот метод!» И появились у Соловьева свои пропагандисты, целая бригада. Все они жили в общежитиях, встречались со своими товарищами, и о решении Соловьева перейти на бригадный подряд скоро стало известно всем. Вызвал его начальник управления:

— Что тебе надо, что ты воду мутишь?

— Дайте нам договор бригадного подряда! — потребовал Соловьев.

Ему доказывали, что это не нужно, преждевременно, говорили, что он хочет быть умнее всех, что ищет личной выгоды. Конфликт разрастался, вмешался партком. Требование Соловьева было признано правильным, был установлен срок для перехода бригады Соловьева на подряд.

— Добился своего? — зло спросил начальник СМУ.— На, подписывай.— Подал ему заготовленный договор о переводе бригады на подряд.

Соловьев посмотрел, перевернул страницу.

— А где приложение об обеспечении материалами?

— Ты подписывай!

— Я спрашиваю, где обязательство руководства управления о материальном снабжении — о поставках всего необходимого для работы?

— Материалы будешь получать по мере поступления...

— Нет, такой договор я не подпишу. У меня в бригаде пятьдесят человек, я отвечаю за них. А если подумать, так не пятьдесят, а сто

пятьдесят — у каждого семья... И мне надо знать, сколько будут зарабатывать и, следовательно, как одеваться, как питаться будут мои товарищи... Нет, такой договор не подпишу.

— Тогда перенесем разговор в бригаду.

Собрали бригаду.

— Вот, ребята, нам предлагают подписать договор о бригадном подряде. Но он не подкреплён договором о материалах... Подпишем?

— А как ты? — спросило сразу же несколько голосов.

— Я не подпишу! — решительно сказал Соловьев.

— Тогда и мы не подпишем, — ответила бригада, — мы как ты...

— А шуму-то подняли! — сказал начальник. — Если не подпишете, то я вас разгоню, распущу бригаду и расставлю всех по разным объектам.

«Бригадир поднял шум ради шума, а когда до дела дошло — подписать договор отказался». Так отчет в партком о невозможности выполнить решение в срок уже был готов. «А не попытаться ли вообще избавиться от Соловьева?» — подумал начальник. Он знал горячий, упрямый нрав бригадира. Оставшись с ним один на один, спросил:

— Так не подпишешь договор?

— Я знаю, что вам нужно доложить о выполнении решения парткому, но я такой договор не подпишу.

— Тогда пиши заявление об уходе с работы... — И протянул ему чистый листок бумаги.

И Соловьев написал заявление об уходе со стройки по собственному желанию.

Этот опрометчивый шаг Соловьев объяснил распатаннми еще с детства нервами. Испытал он когда-то страшное потрясение.

«Наша семья оказалась в оккупированном фашистами городе, мне было тогда тринадцать лет, а меньше меня еще трое и очень больная мама. Совсем не было еды, и я ночью взяла тачку, посадила троих малышей, и мы тихо покинули город... Мы девятьсот километров прошли, три раза колесо тачки поменял, ось стиралась... все думал я, перейду фронт к нашим... С тех пор эти у меня нервные срывы, Раис Киямович. Я подписал заявление, и начальник сказал: «Иди в контору, возьми расчет». Я пошел за расчетом, а там не только что расчет был готов, но и все бумаги о моем снятии с партийного учета были уже готовы. Я ничего не взял. Вышел в поле, смотрю и прислушиваюсь, как бушует стройка. Там литейный, а там теплотрасса, пожарное депо — я всюду работал, за хорошую работу ведь наградили меня недавно орденом Трудового Красного Знамени, коммунист я, член парткома, член горкома партии. Как же ты уедешь отсюда, Соловьев? — спросил я себя. Вспомнил: как был в отпуске, пацан один узнаёт, что я на КамАЗе, и начинает поливать грязью — то это не так, то это. «Сколько ты там был?» — спрашиваю. «Месяц, чего там задерживаться!» А я ему: «Если ты еще одно плохое слово скажешь о КамАЗе, придушу! Ты же ведь туда не работать поехал, а просто так...» Он удалился. Так неужели, думаю, превращусь и я в такого слюнтяя, который Челны начнет пачкать? Нет! Со мной этого не будет, и я, Раис Киямович, сорвал синие палитурки с этой тетради и пишу вам. Почтой отправлю, знаю, что у вас дел много, но, может быть, в свободную минуту, как-нибудь вечером прочтете...»

На пленум городского комитета партии Беляев пришел взволнованный и начал разговор с «тетрадки без палитурок».

— Я сообщил вам об этом возмутительном случае, товарищи, для того, чтобы принять меры. Мы спросим с кого полагается, кто дал право снимать с партийного учета члена горкома партии. Это во-первых. Во-вторых, борьба коммуниста Соловьева за бригадный подряд — это объявление войны с безответственностью, с попытками уйти от

решения трудных проблем. Мы на стороне Соловьева, и его крик души на этих страницах будет услышан всей стройкой...

Применение бригадного подряда на стройке стало явлением всеобщим.

За настойчивость и принципиальность, за вклад в дело внедрения бригадного подряда и самоотверженную работу Николай Александрович Соловьев был награжден орденом Ленина.

15

На работе у Мугурияну чуть ли не каждый говорил о бане. По разговорам судя, не баня, а дворец какой-то, чуть ли не роскошнее, чем соседний кинотеатр «Чулпан».

Молодцы, строители, постарались. Для себя сделали. Кто это сказал, что начальство при любом общественно-политическом строе себя не обидит? Рабочий класс при нашем строе — наиверховнейшее для всех начальство. Захотел — и посмотрите, какую красоту смастерил! Говорят, даже Батенчук ходит сюда!

И вот Виорел Андреевич сказал Ксении, что идет париться.

Первым делом нужно билетик взять за... Сколько же стоит билетик в бане? Не знаешь, товарищ? Стыдно! Но деньги-то взял? Пошарь в кармане, какая-то мелочь найдется, рабочий класс не берет больших денег за баню, найди двадцать копеек и протяни кассирше, она, видишь, ждет, знает, что новенький, основная клиентура придет чуть позже, а ты пока успеешь хорошее место занять и свежего пару наглотаться. Когда придут основные парильщики, то даже здесь, по вестибюлю, поплывет острый, густой запах трудового пота. Сохрани еще мелочь какую-нибудь на пиво, здесь автоматы, могут и налить тебе кружечку, если не сломались.

— Пальто сдайте на вешалку, — тихо произносит кассирша, протягивая билет. Говорит она так, больше для порядка, от скуки напоминает, а то на самом-то деле — кто же пойдет париться в пальто?!

Вешалки две. Одна для мужчин справа, а слева для женщин. Все в полном порядке. Две вешалки — две гардеробщицы. Скучают обе. У мужской гардеробщицы огненно-рыжие волосы, похоже, только что сняла бигуди и причесалась, но волосы упрямые, жесткие, так и норовят разметаться. Не старое лицо, но измятое, все в морщинах, губы ярко-красные, сжатые. Берет у Мугурияну пальто, подает номерок и вдруг спрашивает:

— Вы не из Москвы?

Мугурияну догадывается, что гардеробщица приняла его за жильца гостиницы «Татарстан», и по ее глазам понимает, что обязательно вцепится в него сейчас с каким-нибудь делом.

— А зачем вам, из Москвы я или нет?

Красные губы растянулись в улыбке, обнажились щербатые зубы, хочет польстить:

— Видно же...

Такие люди, как эта гардеробщица, если захотят — вытряхнут из тебя всю душу, они назойливы, настойчивы, прилипчивы, и требуется большая хитрость, чтобы уйти от них. Такой хитростью Мугурияну не обладал и нередко становился их жертвой... Ну что же ей ответить сейчас? Грубо нельзя. Человек видит в тебе представителя Москвы, как же ты ответишь ему грубо?

— Ну а если из Москвы?

Все, попался. Женщина вышла из-за барьера, схватила его за руку и потянула к скамейке:

— Присядем на минуточку, пожалуйста, я фронтовичка, у меня к вам огромная просьба, не сердитесь, пожалуйста...

Ну как ты позволишь себе, товарищ Мугурияну, нагрубить женщину, да еще фронтовичке? Садись, дорогой, и выслушай ее,

— Вы знаете, у меня есть дело для Москвы. Я собираюсь Генеральному прокурору писать, чтобы меры принял.

— Что же у вас за дело к Генеральному прокурору? Разве здесь не разберутся?

— Не могут! У меня такое дело, что только он и сможет разобраться, понять... Я вот здесь уже шесть месяцев голодаю самым настоящим образом, с дочерью голодаем вдвоем, и ничего нет, никакого имущества, спим на полу.

— Где на полу?

— Где? У себя в квартире!

— У вас тут квартира есть?

— А как же!

— Ну что же у вас все-таки случилось?

— А вы письмо Генеральному прокурору передадите?

— Нет, не передам.

Мугурияну думает, что таким образом разговор будет закончен, но не тут-то было. Женщина повернулась, села на самый краешек скамейки, приблизила лицо к «москвичу», забуравила его хитрыми прищуренными глазками и стала говорить быстро-быстро, Мугурияну видел только, как трепыхается за щербатыми зубами ее язык. Коротко ее разговор сводился к тому, что она, многолетний честный работник советского прилавка, неизвестно каким образом допустила растрату вместе со своими тремя товарищами по работе. Деньги небольшие, но все-таки растрата, да еще групповая, и если бы не она, фронтовичка, естественно, могли бы всех и посадить, как водится, но суд Целиноградской области, потому что дело было в Казахстане, на целине, решил ограничиться взысканием растроченных денег с виновных и лишением их права дальнейшей работы в системе торговли. Со всех было взято письменное обязательство, что возместят нанесенный государству ущерб.

— Так что же вам надо от прокурора?

— Как что?! — крикнула она. Кассирша и другая гардеробщица, молча наблюдавшие за тем, как она терзает Мугурияну, вздрогнули. — Я обменяла квартиру с двоюродной сестрой и переехала сюда, в Татарию, значит. А там Казахстан. Думаю, нас же там судил казахский суд, а раз тут Татария, значит, делу конец. А они тут, татары, получили от казахов приговор тот и высчитывают из моей зарплаты по исполнительному листу даже здесь, в этом городе, как его называют, будущего. А жить мне на что? Вот я и хочу писать в Москву.

— И какого решения вы ждете? — спросил Мугурияну.

— Какого решения? Чтоб мне не платить больше!

— А вы обратитесь в горком партии к Беляеву. Он разберется и поможет.

— Е-е, Беляев! Это прокурор должен решать, а не Беляев. Беляев татарин, и он будет свои законы защищать.

— А между прочим, законы бывают не казахские, не татарские и не русские, законы — советские и они по всей нашей стране одинаковы. Вы же сами подписали обязательство платить. Вряд ли кто вам в этом поможет...

— Да что вы говорите?! Ну если в этом не поможет, так почему же моей дочери не дают здесь петь?

— Как не дают?

— Да вот так, она знает поет как? Лучше Зыкиной, а ей не верят.

— Кто?

— Всякие тут... Говорят, учиться надо, а она не хочет, она хочет быть народной артисткой, а не ученой певицей, не Пьехой, да... Девчонке скоро восемнадцать лет, а ей не дают расти... Работает там на овощной базе, картошку перебирает...

Неизвестно, как бы вырвался Мугуряну из лап гардеробщицы, если б не влетела в стеклянный вестибюль новой бани ватага молодых парней и девчат в робах, они шумно стряхивали снег, толкались, шлепали друг друга сухими вениками.

— Ну, мать! — крикнул один из парней. — Небось и этому про свою народную певицу рассказываешь? Брось ты это бесполезное дело, раздевай нас, а то пар выветривается! Полчаса в распоряжении, ребята, — и на танцы!

Гардеробщица пошла раздевать ребят, жестом попросив Мугуряну подождать, потому что ей надо сказать ему еще кое-что, но он, поразмыслив, решил не дожидаться и пошел вместе с резвившимися, будто и не отстояли целую дневную вахту, ребятами.

Когда ударили тугие струйки душа, Мугуряну начал отходить от неприятного чувства после только что состоявшегося разговора. Он прикрыл темя ладонями, потому что душ вызвал ощущение щекотки, вспомнил, что это уже было с ним еще там, в Кишиневе, когда захватил его на улице летний теплый дождь. Он бил по голове крупными каплями, словно горошинами, и Мугуряну понял тогда, что волосы его редкют, они уже не служат ему больше защитой от дождя — наступала «первоначальная стадия облысения».

Но до чего же хорошо пахнет веник и какая ароматная вода получается, если ошпарить его кипятком! Пить такую воду надо, а не ополаскиваться ею!

Из парной выскочили человек десять, а может больше. Целая бригада. Высокие, стройные, мускулистые, смугло-розовые лоснящиеся тела. Наскоро ополоснувшись ледяной водой, ребята покинули «салон намыливания» (кто придумывает такие глупые надписи на вывесках?), и теперь сюда друг за дружкой вступали степенные мужики. Степенность здесь приобретается лет под тридцать. Если тридцать, уже совестно дурачиться на глазах у зеленой юности. Так что тридцатилетние тоже идут своей компанией. А за ними заглянул тот парень, который спас Мугуряну от беседы с рыжей гардеробщицей, он что-то забыл. А может, для того только и вернулся, чтобы шепнуть Мугуряну:

— Ты, батя, имей в виду: когда выйдешь, та стерва снова в тебя вцепится. Хороший ты человек, — покровительственно добавил парень, — мне кажется, я тебя где-то видел, вот и решил предупредить: аферистка она, таких гнать надо! И дочурка у нее та же ягода, одного поля. А насчет «фронтовички», так то у нее какой-то солдат по пути с войны домой переночевал, вот с тех пор и «фронтовичка» она. Имей в виду...

Этот парень Мугуряну тоже знаком, он, наверное, на ГЭС видел его. Мугуряну снова залез под душ, ополоснулся хорошенько, надел связанный Ксенией берет, взял веник и пошел в парную. Мужик одного возраста с Мугуряну примерно попросил веник, добавив:

— Что-то я никогда не замечал тебя в парильне, а, видать, ты парильщик основательный. Гляди, какую шапчонку соорудил!.. Подымайся сюда, на самую верхотуру!

Но не успели они добраться до верхотуры, как из «салона намыливания» раздался громкий шум.

— Кончилось паренье, — сказал мужик и сплюнул. — Никак Вася появился...

Не успел перспективный сопарильщик Мугуряну закончить фразу, как обитая войлоком дверь в парную резко распахнулась, ударившись о стенку с глухим, мягким звуком, и на пороге предстал обнаженный детина, загородив собою весь проем. Он держал огромную шайку, полную воды, готовый выплеснуть ее на онемевших от удивления Мугуряну и мужика.

— Выкатывайтесь отсюда! — крикнул детина, и горячий банный пар тут же обрел характерный запах перегара. — Выкатывай-

тес, сказано! — повторил он и опрокинул шайку на раскаленную каменку. Тут же отдал ее поджидавшим сзади парням. Приказал: — Еще одну!

Мужик спустился вниз и подошел к двери:

— Вася, пусти! Дай выйти, задыхаемся...

— Подождешь, мелочь пузатая!

«Мелочь пузатая» пригнулся и, ничего не сказав, боднул со всего размаху белый живот Васи. Вася ойкнул, схватился за живот и отошел от двери ровно настолько, чтобы дать выйти мужику и Мугуряну. Из парного отделения валил клубами густой сырой пар от остывающей каменки. Вася очнулся, стал искать глазами «мелочь пузатую», но тут пришедшие с ним ребята сказали почти хором:

— Вася, успокойся!

Васе же успокаиваться совсем не хотелось.

— Сейчас я наведу здесь порядок, — промычал он, — я покажу, кто здесь хозяин...

— Хозяин здесь веник... То ль березовый, то ль дубовый. Все одно. Веничек в бане наиглавнейший господин! — Один из пришедших вместе с Васей, крепыш, знакомый, видно, его, совал приятелю под нос распаренный, готовый к делу веник.

Вася же, оттолкнув его, неожиданно кинулся к крану, под которым стояла налитая до краев шайка.

— Я вам покажу, как пар делается!

Но его тут же окружили плотным кольцом человек шесть. Слышен был только тот же мирный, убаюкивающий голос:

— Вася, не надо, дорогой! Не надо, Василий Григорьевич!

Вот как, даже по отчеству величают!

Кто-то, сидевший в углу с намыленной головой, отчетливо произнес так, без адреса вроде:

— Тут такое тебе покажут, что до новых веничков не забудешь.

— Что покажут?! — заорал во все могучее горло Вася. — Кто это сказал? Ну-ка покажись! — И стал отчаянно вырываться из круга. Но крепкие руки словно сковали его железным обручем. — Пустите меня, я ему покажу, я веничек на нем испробую! — И Вася стал лупить своими кулачищами куда попало.

На шум явился банщик.

— За такое безобразие к закону призвать надо, — сказал он.

Вася услышал и грязно выругался в адрес того закона, к которому его собирались призвать.

— Не надо, батя, к закону, у нас для Васи лекарство имеется, — послышался тот же спокойный голос. — Ты успокойсья, Василий Григорьевич, или нет? Последний раз спрашиваем.

Снова прогремело жуткое ругательство.

— Так, Василий, нельзя, здесь общественное место. Ну, ребята...

Почти и не заметил Мугуряну, как чуть раздался круг, и Васю понесли на руках к окну. Щелчок шпингалета — и полетел буян голышом в высокий сугроб. А ребята как ни в чем не бывало ржали, хватаясь за животы, делились впечатлениями:

— Слышали, как зашипел сугроб? О, вокруг Василия Григорьевича теперь, братцы, снег метра на полтора вокруг растаял, вот такой пар валит! Загнал Васю в снег по способу буронабивных свай!..

Двое любопытных подбежали к окну посмотреть. Тут же сообщили:

— Яма одна в сугробе. Свая исчезла. Следочки ко входу ведут, сейчас зайвится как миленький.

— А как его обратно пустят?

— Я ему в последнюю секунду двугривенный кое-куда вложил... За входным билетом небось в очереди стоит, если двугривенный не выронил. Во дело будет!

Утихомирились. Банщик между тем наводил порядок в парной, ему помогали ребята, проветривали, мыли, проверяли, как там каменка дышит после такого на нее натиска.

В ожидании, пока парная снова нагреется, успокоившиеся люди мирно беседовали, вспоминали веселые истории, поглядывали на дверь.

— С такими только так и надо!

Сосед Мугуряну, тот, который боднул Васю в живот, начал длинно рассуждать о том, что подраспустился народ, маловато дисциплины, Беляев, мол, отменил продажу водки, а люди все равно добывают, свинья всегда лужу найдет. Вот полюбуйся, до чего доходит: человек лишает другого человека удовольствия по-настоящему вымыться в бане, культурно провести свободное время.

Свой березовый веник Мугуряну оставил на лавке в том «салоне», хотя заметил, что многие, аккуратно стряхнув воду, перебрав ветки, заворачивают веники в газеты и забирают с собой. Это, наверно, те, которые не заготовили сколько нужно. А вообще почему бы не заготовить веники и не продавать их здесь, на месте? Может, в пригородной зоне со временем и березняк развести — специально для этой надобности? Улыбается Мугуряну: один полезный для дела вывод сделал и в бане, значит, не зря провел время. Да еще этот настоящий цирк с Васей. Тот вошел тихий, будто его подменили, забрался в угол и принялся переживать. Новая партия ребят разбавила буйную компанию. Они бурно обсуждали положения недавно принятой конституции, громко рассуждая о том, чего в конституции нет, а должно было бы быть обязательно.

— Надо запретить людям говорить неправду, обманывать, — выступал один.

— Кто обманывать привык, тот на любой параграф чихать хотел, — возражал ему другой.

Вмешался в разговор сосед Мугуряну:

— Поздно уже говорить, чтобы в конституцию это было записано. Надо было тогда, когда обсуждали, добиваться... Что же это ты сейчас об этом вспомнил? Проснулся...

Мугуряну заметил: стоило кому-нибудь начать разговор, как вокруг него сразу же собираются люди, вначале прислушиваются, потом обязательно высказывают свое мнение, но непременно возражают, не соглашаются сразу, стараются доказать свое. Причем люди явно незнакомые друг с другом, которые виделись тут в первый раз. Спорят, не зная, с кем спорят. Видимо, главное для них было высказаться, не сидеть молча. Он — заметили остальные или нет? — был почти один такой во всей бане, кто не участвовал в спорах, стараясь остаться незамеченным.

Двое парней из сопровождения Васи вышли из парной побагровевшие, подошли к тому, стали уговаривать идти погреться. Но Вася сидел, взобравшись с ногами на лавку, обхватив колени, говорил еле слышно:

— Меня здесь нет.

Когда Мугуряну одевался, все еще говорили о необходимости принять закон против обмана и обманщиков и назвать его громко и беспощадно: Закон против вранья.

— Завелось этих врунов тьма, и сколько мы тут с ними ни воюем, они размножаются, как гля.

— Законом их не остановишь.

— Надо же с чего-то начать. Мы общество умных людей и всякому вранью должны положить конец...

— От вранья вся держава страдает, нет ничего на свете дороже, чем чистая правда... Ленин назвал свою газету «Правда», вот она так

и до сих пор называется, а врунов завелось много... Ты понимаешь, почему это так?

Приоткрылась дверь в предбанник, и прозвучала бодрая команда: — Отставить треп! Веники на плечо!

Командовал коротко стриженный парень, видно недавно уволенный в запас, наверное, он знал, что таких, как он, прошедших армию, здесь немало.

И снова подошли к Васе те двое из его окружения и стали умолять:

— Пойдемте, Василий Григорьевич, банька что ни на есть царская! И для самого Батенчука такую не натопят...

При упоминании фамилии Батенчука Вася глубоко вздохнул, стараясь спрятать лицо. Мугуряну показалось, что бычий затылок Васи трясется от рыданий. К чему бы это? Ребята, вероятно знакомые с его нравом, подождали немного, потом осторожно взяли Васю под руки и повели в парную. Оставшиеся в предбаннике натягивали штаны и кивали с ухмылкой друг другу.

— Все! — подвел итог один. — Представление окончено. Второго действия не будет...

Рыжеволосая гардеробщица подала Мугуряну пальто, проверила, на месте ли в рукаве шарф, встала на цыпочки и, достав ушанку, осмотрела ее. «Все же он из Москвы, — заключила она. — Местное начальство, у которого такие шапки, в общую баню не ходит, да и вообще от шапки этого гражданина не отдает острым запахом стройки, он человек столичный...»

— Может быть, вы все же возьмете у меня письмишко для Генерального прокурора?

— Я не из Москвы, — ответил Мугуряну. — Вы лучше возьмите свои документы и идите в горком. Ко всем там проявляется внимание. А к фронтовикам особое. Вторник — день приема... Да, кстати, не забудьте захватить документ о том, что вы фронтовичка...

Кассирша и вторая гардеробщица прыснули.

— Так документа о фронте у меня нет... Видите ли, муж у меня... Не муж, а так...

— Тогда я тем более ничем не могу вам помочь. Всего доброго.

«Кто же это такой?! — подумала гардеробщица. — Может, из милиции? Переодетый, раз так интересовался, и еще хуже мне сделает, боже мой... Как бы о второй ставке не узнали, ведь я-то на двух ставках работаю, и дочка там на двух...»

Мугуряну шел к дому со смешанными чувствами. После бани расслабляется тело, обретают подвижность мышцы, становится ровным дыхание, шаг делается упругим, и ноги вроде и не касаются земли, а в голове все бушует и перекачивается.

...Паренек, начавший рассуждать в бане о недавно принятой конституции, оказался агитатором. Мучила его мысль об обмане, видно, что-то его лично задело, потому что старательно выкладывал свои мысли, пытался подкреплять авторитетами. Достал из чемоданчика записную книжку, стал читать выписки:

— «Отчего у нас все лгут, все до единого?.. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть неглущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди...» — Паренек отложил свою записную книжку.

— Ну ты даешь! — сказал ему сосед. — Только непонятно, как это могут лгать даже совершенно честные люди? Лгун есть лгун! Как же он может быть честным?

— А ты на него не нажимай! — вступился за паренька рябой мужик лет сорока. — Вот я, к примеру, твой начальник, зову тебя и говорю: так, мол, и так, скажи своим ребятам, пусть поработают сегодня-

завтра, дело, мол, такое, нужно завершить, а за это вам будет то-то, мол, и то-то. Твои ребята и ты сам стараешься, из кожи вон лезете, но сделали, сдали, а когда получать — шиш на постном масле! Ты честный, да? А оказался лгуном. Ложь и вранье — наивысшая опасность для социализма! Если хотите, это даже хуже, чем империализм!

Рябой шлепнул веником по лавке, схватил шайку и пустил на полную мощность струю воды из крана, как бы подчеркивая этим, что он сказал такое, что ничем и никем не может быть опровергнуто.

В самом дальнем углу молча сидел сухонький старичок с высоким лбом и бородой клинышком. За все время он не проронил ни слова. Потому так неожиданно прозвучал его голос, когда он вплотную подошел к парню, который сыпал цитатами, и сказал с укоризной:

— Молодой человек, цитировать Достоевского без разбора — дело весьма опрометчивое, тем более в бане. Он ведь писал в прошлом веке... — Бросил вслед рябому: — А хуже империализма, милый мой, нет ничего на свете... — И вернулся на свое место...

Виорел Андреевич не раз слышал рассуждения Беляева и других товарищей здесь, на КамАЗе, о чистом городе. Город, где будут вырабатываться традиции нового, коммунистического быта, взаимоотношений, о б щ е ж и т и я. Беляев даже пытался помечтать вслух о том, что Челны, челнинский характер нового рабочего станут таким же эталоном рабочей чистоты, твердости, непримиримости, вежливости и культуры, каким был для всех в свое время Питер, Ленинград, характер питерского, ленинградского рабочего. И казалось, что все предпосылки для этого имеются. Но имеется и то, что может этому помешать. И есть большая правда в тех словах, которые откуда-то выписал паренек-агитатор. Мугуряну улыбнулся. Вычитал тот паренек и такое, что придется по душе Ксении. Постарался запомнить слово в слово: «В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва... Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет нелицующих... Женщина настойчивее, терпеливее в деле, она серьезнее, чем мужчина...»

16

Что есть естественное и что есть противоестественное? — размышляет в своем автобусе от нечего делать Ницэ. Расцветет среди поля красных маков один лиловый — и как-то даже странно: откуда это? Или нахальный селезень вдруг ухватит клювом за холку самую настоящую курицу и топчет ее, как заправский петух. Он своими глазами видел это в Молдавии и здесь, на речке Челнинке. Естественно ли это? А попадется среди трилистника прятавшийся словно от стыда стебелечек с четырьмя крохотными листочками? На счастье! Кому на счастье? А вот в небе вместо одной целых две луны! Такое Ницэ видел здесь, в Челнах, своими глазами — светят на небе два круглых диска и проплывающие облака задевают и тот и другой. Ницэ потом прочел разъяснение этого дива в толстой астрономической книге, которую ему дала посмотреть Люция Амировна, заведующая городской библиотекой. А почему на земле рождается почти равное число девочек и мальчиков? Попробуйте, товарищи ученые, объяснить мне это явление популярно, понятно и к тому же убедительно, чтобы я вам поверил и столь же убедительно мог бы разъяснить другим: вот, мол, так и так. Не можете объяснить, я знаю, потому и не спрашиваю — зачем солидных людей конфузить? До атеизма все было просто — бог, и все. А если от этого всемогущего бога отвернулись, на кого все валить?

Когда же Ницэ не до шуток, он по-настоящему задумывается. Вот, например, еще одно загадочное явление — случай, правда, частный, но от него, как учат в кружке по основам философии, нужно переходить к обобщениям, к общему, искать, так сказать, в частном,

изолированном случае проявление общих закономерностей... Виорел Мугуряну и Ксения. Ему под пятьдесят, а ей, может, и тридцати не будет. Как это получилось, что они оказались вместе? Скажите, пожалуйста, как это получается и почему? Сегодня с утра его встретил Виорел Андреевич. Он ожил, стал совсем другим человеком. Его труд в пригородной зоне и в теплицах, его умение работать с людьми даже Беляев недавно отметил на большом собрании. И вот сегодня утром Мугуряну сказал Ницэ, что, может быть, тот понадобится ему по очень важному делу, подчеркнул — о ч е н ь в а ж н о м у, и улыбнулся. Перед Ницэ возник на секунду образ того вихрастого человека, которого он когда-то не пускал на территорию кишиневского учреждения на улице Роз. И тут же подумал про себя Ницэ: сближает эта стройка людей, исчезает здесь граница между начальником и подчиненным. Когда-то для него Виорел Андреевич Мугуряну находился где-то очень высоко, на недостижимой, казалось бы, для простого водителя ступеньке служебной лестницы. Здесь же, он заметил, ступеньки эти исчезли и кто, где и кем работает — почти не имеет никакого значения. Главное в том, что они работают на КамАЗе, к а м а з о в е ц — стало должностью каждого приехавшего и живущего сейчас здесь. Ницэ видел себя здесь равным со всеми, а это великое дело: чувствовать себя равным! Как к своему товарищу обратился к нему сегодня с просьбой Мугуряну. Раз так, значит, что-то и впрямь очень важное.

А дело было действительно исключительной важности. По крайней мере, для Виорела Андреевича Мугуряну. И держал бы он все это, как и до сих пор, в большом секрете, сохранил бы до благополучного разрешения эту тайну, принадлежавшую одному ему и Ксении, если б жили они не так далеко от роддома и не заболел бы так не вовремя шофер Мугуряну.

Правда, немногочисленные знакомые Виорела Андреевича стали с некоторых пор замечать, что его молодая жена делается временами непривычно молчаливой и задумчивой. Поначалу ее сослуживцы из техотдела, где она работала, удивлялись такой перемене в ее характере, но привыкли потом, как и к тому, что Ксения, приходя на службу, быстро расправляется со своей работой и берется за спицы. Кто-то из подруг привез ей из-за границы рисунок нового наряда и два мотка пряжи. Как выяснилось позже, эта то ли кофта, то ли платок была очень популярной на Западе, потом года через три-четыре дошла и до московских модниц, что эта вещица очень уж красива, а от Москвы, разумеется, пошла гулять по стране. Ксении давно хотелось сообразить для себя нечто подобное, но то модели не было, то подходящей шерсти не находилось. И вдруг как нельзя более кстати эта пряжа. Все заметили, что черноокая жена Мугуряну вяжет, и при случае пополняли ее запасы. К ее молчанию привыкли, никто не докучал вопросами: мало ли о чем может задумываться молодая женщина, у которой муж в два раза старше ее. И, может быть — кто знает? — именно по этой причине, чтобы не дразнить любителей совать нос в чужую жизнь, не давать им пищи для пересудов, Ксения и связала себе великолепное пончо. Разноцветная пряжа обрела свою жизнь в узлах и хитросплетениях, известных лишь искусным рукам Ксении, умевшей, как однажды признался Мугуряну Ницэ, делать все, способной украсить даже неподдающееся украшению. А если так, могла ли Ксения не украсить саму себя? Роскошное и разноцветное пончо с крупными пушистыми кистями из шотландской козьей шерсти пришлось ей к лицу, и она с ним не расставалась долгие месяцы. Кто внимательно следил за ней, знал точно, что Ксения носила пончо месяцев восемь. И сумела же она вести себя так, будто там, под этим пончо, не росло и не билось уже маленькое существо, призванное по их задумке изменить все и в жизни Виорела Андреевича Мугуряну и в ее, Ксении, жизни.

— Так скажу я вам, Ницэ, мне нужна сегодня ваша помощь: помогите мне отвезти жену в родильный дом.

Мугурияну так и сказал — «жену», хотя до сих пор, Ницэ заметил, бывший начальник говорил «Ксения». Сейчас — «жена». И Ницэ показалось, что он как-то с трудом произнес это слово.

— Какой разговор, Виорел Андреевич! Когда?

— Да прямо сейчас, если можете. В автобусе тепло? А то что-то звереет этот мороз.

— Тепло, не беспокойтесь, двигатель не выключаю совсем. Я только доложу начальнику...

В автобусе у Ницэ было опрятно и красиво. Его галерея челнинских знаменитостей пополнилась двумя детскими портретами: лучшие пионеры города, мальчик и девочка. Ницэ усадил Ксению там, где обычно сидит экскурсовод. Встретившись с ней взглядом, показал многозначительно на улыбающиеся детские лица и сказал:

— Давайте ударника, я с удовольствием найду для него здесь место.

Ксения улыбнулась, хотела что-то ответить, но в тот же миг ее лицо перекосилось от боли, она прикусила губы, взглянула умоляюще: быстрее, быстрее!

Яркий свет приемного покоя, румяные щеки аккуратно одетых в белое молодых акушеров, успокоительные стандартные фразы дежурного врача, обращенные к Мугурияну:

— Все будет в порядке, идите домой, загляните завтра, вам скажут.

Ксения махнула рукой, попыталась улыбнуться, но ее увели, дверь захлопнулась, и тут же погас свет.

Стало темно, холодно и жутко.

Приближающиеся роды Ксении Виорел Мугурияну ожидал с тревогой и вполне объяснимым волнением. Все, как он думал, должно было перемениться, все должно было обновиться в его жизни, как обновляется природа весной, как наступает ясный день после темной и тревожной ночи. Рождение сына или дочери, казалось ему, должно отодвинуть, заслонить то, что случилось много лет назад и чему Ксения, школьная подруга дочери, а ныне его жена, будущая мать его ребенка, была свидетельницей. И хорошо, что он ничего не должен объяснять Ксении, она сама знала все. К приближавшемуся рождению своего ребенка они шли, как идут влюбленные к солнечной, цветущей поляне, где нет ничего, кроме красоты и благоухания. И вдруг этот жуткий мороз, это непонятное исчезновение света, телефонной связи, эта опасность гибели всего живого... Он шел по теплице, освещаемой только звездами. Нащупал кнопку карманного фонарика — и слабый луч коснулся нежно зеленеющих всходов.

17

Вначале Раису показалось, что свет погас только в здании горкома — где-то, возможно, пробки перегорели, — нажал кнопку звонка, забыв о том, что звонок без электричества не работает, поднял одну за другой все телефонные трубки — ни гудка, ни звука. Потянулся к тому месту, где должен был стоять белый аппарат с гербом Советского Союза на диске. Снял трубку — и этот аппарат сверхважной связи оказался мертвым. И Раис понял, что случилась катастрофа. Ураган? Землетрясение? Нет, вроде не чувствовалось. Из приемной доносились громкие голоса — сотрудники горкома прибежали узнать, что случилось.

— Всем оставаться на местах и ждать моих указаний! — коротко сказал Беляев и вышел на улицу.

Кругом темно, только звезды мигают холодно и безразлично. Какое им дело до того, что происходит в эти секунды на берегах Камы?

Есть задачи, которые могут быть решены постепенно, на обдумывание любого хода отпущен срок, дана возможность некоего разгона. Но возникают ситуации, когда решение должно быть принято немедленно, и тогда нет времени на заглядывание в справочники... Помогает в таких случаях то, что вмещается в одном русском слове о п ы т.

Термометр показывает сорок пять градусов ниже нуля.

Это не было предусмотрено ни одной электронно-вычислительной машиной, которые в конечном итоге из семидесяти возможных вариантов размещения нового автомобильного комплекса выбрали площадку у Набережных Челнов на Каме.

Сорок пять градусов ниже нуля стали неопровержимой суровой реальностью.

И такой же реальностью стала окутавшая весь край тьма. Залило мраком огромную территорию — с заводами и жилыми домами, трамваями и теплицами, катками и спортивными залами. Оказались в темноте и зрители старого «Чулпана», дворца «Энергетик» и совсем недавно построенного кинотеатра «Россия».

Нигде ни огонька.

И сорок пять градусов ниже нуля.

Когда Раис Киямович Беляев вошел к Батенчуку, у него на столе горела свеча и он, не дожидаясь вопроса, тут же доложил:

— Авария выбила нас из централизованного энергоснабжения. Я еду на ТЭЦ.

— Я поеду с тобой.

Нужно было срочно выяснить причины аварии, принять меры — но какие?

По дороге на ТЭЦ Евгений Никанорович молчал, почему-то вдруг вменно сейчас, в машине, во время этой аварии, грозившей городу и заводам непредвиденными, но гибельными последствиями, вспомнилось далекое время, когда ему было только восемнадцать лет и он оказался директором завода в Одессе. Завод назывался «Вторая пятилетка», и поэтому Женю старший брат и друзья дразнили — «товарищ директор второй пятилетки». По нынешним масштабам завод тот, конечно, и с цехом не сравнишь, но тогда, в тридцать втором году, «Вторая пятилетка» задавала тон промышленности целой области, о ней говорили как о решающем звене в сельскохозяйственном машиностроении. Делал этот завод кольца для поршней тракторов «Фордзон». И нужно было сто двадцать тысяч тех колец давать в месяц, а получалось только тридцать тысяч. На собрание рабочих пришел первый секретарь обкома, устроил разнос руководству и объявил, что директор завода — саботажник и его нужно снять и отдать под суд. Тут же встал вопрос о новом директоре, и вытащили в президиум комсомольца Женю Батенчука. «Ты слесарь?» — спросил секретарь обкома. «Слесарь». «Комсомолец?» «Да». Тут в зале зашумели, и один за другим начали выходить ребята и говорить о Жене как о лучшем слесаре завода: «У него руки могут не только «Фордзон», но и человека собрать». Женю Батенчука назначили директором завода, а через шесть месяцев было изготовлено столько колец, сколько их требовалось. «Вторая пятилетка» стала примером для других заводов...

«Давно перевернутая страница жизни», — сказал себе Батенчук. Ровный гул двигателя «Волги» напоминал какую-то мелодию, и вдруг у Батенчука в ушах зазвучал фантастического состава оркестр. Складывалась нигде и никем еще не слышанная симфония. Гул высотных заводских труб, грохот обрушивающихся на лопасти турбин потоков воды, паровозные гудки и скрежет металла, зудение вибраторов, утопающих в бетоне, пушечный гром ломающегося под ледаколами льда, осторожные шаги новоселов, поднимающих мебель в новые квартиры,

скрип и лязг товарных составов, рокот идущих на смену вахтовых машин, хриплые крики простуженных прорабов, плач первого новорожденного в новом родильном доме, сквозь шум и треск помех доклады начальников подразделений по рации, голос нырнувшего под лед парня, чтобы спасти провалившийся бульдозер... Все это гудело и гремело в его ушах, перед глазами тянулся в неведомые дали бесконечный ряд ровных пяти линий воображаемого нотного пути, на который он, Евгений Никанорович, не мог поставить ни единого знака.

В только что прозвучавшей в воображении Батенчука симфонии были не только победные звуки. В этом сложном музыкальном произведении, исполненном без партитуры и без дирижера воображаемым оркестром, слышны были и грозные, трагические аккорды. Как жаль Батенчуку, что он не может записать на бумаге музыку, рождающуюся порой в его сердце, где-то в глубинах того, что называется у человека душой. Музыкальные образы! Какая бы получилась грандиозная симфония!

Но что не дано человеку от природы, то не дано. Привыкай мириться с тем, что тебе отпущено.

По дороге, далеко еще от подступов к ТЭЦ, тянулись, освещая друг друга дальним светом, автомашины. В том, как они двигались, пытаясь обогнать друг друга, будто от этого что-то зависело, чувствовались нервозность, беспокойство и тревога. Машина Беляева шла впереди, и по известному шоферам сигналу ей уступали дорогу. Следом за ней на небольшом расстоянии ехал Батенчук. Директор главного источника света и тепла для всех Челнов и КамАЗа стоял растерянный и не успевал отвечать на вопросы все увеличивающегося числа гонцов с предприятий и из жилых районов. Всех волновало одно единственное: когда будет устранена авария? Меньше всего интересовало, что случилось. Подходя к кабинету директора, Батенчук сказал Беляеву:

— Прежде всего нужно отправить всех гонцов по своим местам. Толпой мы здесь ничего не решим. Выясним причины и начнем действовать.

Пройдет эта тревожная ночь, пройдет не один месяц и не один год, и Евгений Никанорович на вопрос, как были спасены город и заводы, скажет очень кратко: «Опыт и авторитет». Опыт подсказывал решения, авторитет мобилизовывал людей, помогал действовать быстро, без долгих обсуждений. Олицетворяли этот опыт и авторитет Беляев и Батенчук. Они действовали умело, решительно и смело.

А сообщения поступали одно трагичнее другого:

— На Заинской ГРЭС лопнул вал генератора одного из блоков. Обломок вала выбросило на подстанцию, что и создало аварию.

— Выхлоп газов из аварийного котла вывел из строя еще несколько котлов.

— Возник пожар.

— Выбило часть стены электростанции, замерзают коммуникации.

— Все станции вышли из параллели.

— ТЭЦ КамАЗа остановилась, нет энергии для собственных нужд...

— Слушай, стройка! Слушай, город! Слушайте, дежурные по заводам! Слушайте все!

Может быть, не такими именно словами начал Беляев свое обращение к стройке, городу, ко всем жителям Челнов по всем видам заработавшей связи. Сообщение секретаря горкома было предельно откровенным. Детали случившегося несчастья, в результате которого город лишился света и тепла, мало кого пока интересовали — все за-

ключалось в том, что нужно это несчастье выдержать, пережить и осилить.

— Слушайте, товарищи! Передайте друг другу — поддерживайте друг друга. Слушайте!

Секретарь горкома сообщал, что в час ночи на экстренном заседании бюро горкома обсуждено создавшееся положение, создан штаб, решено работать без перерывов до тех пор, пока авария не будет ликвидирована. В горкоме партии круглосуточно дежурят члены штаба, куда можно и нужно обращаться для оперативного решения всех возникающих вопросов. Приняты меры по немедленному переселению людей из металлических вагонов, для них выделяются гостиницы, школы, помещения контор, все, что может служить надежным и теплым укрытием. В связи с прекращением работы трамвая мобилизуется весь автобусный парк независимо от ведомственной принадлежности.

— Товарищи! Не допускайте утечки тепла из новостроящихся домов! Закрывайте проемы фанерой, сухой штукатуркой, полиэтиленовой пленкой, не должно замерзнуть ни единого квадрата жилья! — давал Батенчук точные и короткие советы.

На берегах Камы в районе Набережных Челнов мороз встретил организованное сопротивление.

18

Татáрия.

Татарíя.

Татарстан.

Лишь эти три слова, по-разному обозначающие название края, куда он летит, да еще некоторые чисто экономические сведения о нем знал Евгений Никанорович Батенчук, когда его пригласил первый секретарь Якутского обкома партии и сообщил о звонке секретаря ЦК КПСС: Батенчука нужно командировать в Москву для получения нового назначения.

Татáрия.

Татарíя.

Татарстан.

Что же задумано возводить на твоих просторах, если потребовалось направить на камские берега одного из крупнейших строителей страны, когда в Сибири и Якутии еще много неосвоенных просторов, где нужны его сила, опыт, знания?

Татáрия.

Татарíя.

Татарстан.

Гудят реактивные турбины авиалайнера, закрыл глаза Евгений Никанорович, и слышатся ему эти слова, которые как ни произнесешь — все будет правильно. Их повторяют сейчас в трех вариантах турбины.

А всего лишь несколько часов назад он был в Якутии, там, где как один миг пролетели двенадцать лет его жизни. Андрей Ефимович Бочкин, знаменитый гидростроитель, напутствовал своего любимца перед отправкой в район вечной мерзлоты:

— Выбери, Женя, самых лучших людей, ты едешь на труднейшее дело. И не только людей — технику, провиант, запчасти, лошадей... Да, лошадей возьми... Мы здесь все что нужно найдем, там у тебя будет только то, что захватишь с собой...

Сколько же времени должно было пройти, пока Батенчука стали в шутку называть якутским князем, а не в шутку — маршалом советского строительного дела? Лишь несколько часов назад отпустили его друзья, товарищи и родные, с которыми он провел там двенадцать стуженых и таких жарких лет.

Память человека хранит лишь самое значительное, первостепенное, отбрасывая все, что, может, когда-то лишь казалось важным, даже очень важным. Сейчас же, если бы Батенчука, сидящего с закрытыми глазами в мягком кресле самолета, спросили о самом запомнившемся событии этих двенадцати лет, он рассказал бы лишь о том, как его провожали. Целую неделю не отпускали, откладывали рейсы, забирали прямо от трапа самолета: «Надо и с нами попрощаться, Евгений Никанорович!»

Стране требовались алмазы. А чтобы добраться до глубинных сокровищ кимберлитовых трубок, нужна была электроэнергия. Ближайший источник — Вилюй, но там вечная мерзлота. И нужно осуществить не только первый опыт строительства мощной электростанции на этой мерзлоте, но и сделать это быстро. Батенчук улыбается, как ребенок во сне. Как просто выглядел на карте район, куда он направлялся, напутствуемый Бочкиным! Вилюй, Чона, Кысыл-сыр, Нюрба и Вилюйск. В этом городе был в ссылке Николай Гаврилович Чернышевский почти сто лет назад. Построить город и дать ему имя Чернышевского предстояло Батенчуку. Но сейчас он вспоминал не те давние дни, а только что прошедшие. Слышал голос жены, Людмилы Васильевны:

— Женя, все уложено, чемодан готов. Ты не опоздаешь?

У подъезда ждала машина — нужно успеть к самолету, а до Мирного сто четырнадцать километров. Но что там, на улице, делается? На работе он вроде со всеми попрощался еще вчера.

— Вы никуда не уедете! — сказала хором несколько голосов из толпы, окружившей машину. — Мы вас не отпустим. Мы работали здесь как следует, так и попрощаться надо как следует.

И не отпустили.

Во всех столовых Чернышевска горел в ту ночь — в нарушение установленных регламентов — яркий свет. Запущенные под руководством Батенчука турбины первой в истории мирового строительства гидроэлектростанции в условиях вечной мерзлоты работали на полную мощность. Кто-то составил график, в какой час должен явиться в каждый коллектив Евгений Никанорович для прощания, и этот график соблюдался с точностью до минуты. Прощались всю ночь, а наутро машина начальника строительства покидала Чернышевск. Неизвестно, кто дал команду шоферу ехать помедленнее, не торопиться, чтобы население поселка успело проводить своего «ведущего» на новую работу.

У трапа самолета в Мирном тоже стояла толпа.

— Сегодня вы не улетите. Попрощаться надо.

Пришлось, ничего не поделаешь, такова Сибирь, ее люди, ее порядки. А еще в Чернышевске к окошку медленно движущейся машины Батенчука прикикло чье-то лицо — Батенчук запомнил только глаза и зычный голос:

— Если вас там кто-нибудь посмеет обижать, напишите нам. А лучше — сами сюда!..

— Кто за то, чтобы включить в список для тайного голосования Батенчука Евгения Никаноровича, прошу поднять мандаты... Против?... Воздержавшиеся?... Нет. Принимается единогласно.

Голос председательствующего на закрытом заседании партийной конференции Татарской областной партийной организации звучал ровно и немного устало. Перед этим председательствующий сообщил кратко делегатам конференции, кто такой Батенчук. И когда были объявлены результаты тайного голосования, когда стало ясно, что он, Батенчук, избран единогласно членом обкома, Евгений Никанорович подумал, что делегаты проголосовали сейчас не за него как за личность, а за веру в коллектив, проводивший его на Вилюе, за его силу,

за его опыт. Пока он, Батенчук, силен здесь силой коллектива, чей локоть, дыхание и биение сердца он чувствовал и слышал там, на вечной мерзлоте, целых двенадцать лет. Силу коллектива строителей, которых он призван вести, Батенчук еще не знает, у него нет пока что никаких сведений о нем, да, откровенно говоря, после Сибири Батенчуку довольно сумбурно представлялось, что будет здесь. Новый начальник строительства почему-то был уверен: в Челнах будет не так трудно, как в Сибири. Но ошибся Батенчук — он встретится на берегах Камы с такими трудностями, каких и не предполагал. И поможет выйти ему из них, станет ему опорой во всех делах сидящий в зале заседаний обкома еще незнакомый ему человек.

Этого человека в близком общении звали просто Райсом, а официально Райсом Киямовичем Беляевым.

Два коротких признания Батенчука.

Первое:

«Стройка оказалась грандиозной и сложной. Это громадина. Машина, которую трудно охватить. Таких строек у нас не было. И для того чтобы узнать все, мне, например, понадобилось месяцев шесть. Она сложна по организации производства работ, людей, техники всей. Не так просто организовать сутки, смены, день, час работы стройки. Народ съехался со всех концов страны, многие никогда ничего не строили, а приехали, решили стать строителями».

Второе:

«Когда я принимал здесь дела, сказал, что принимаю стройку на ходу и у меня к старому руководству претензий нет. Любая критика работавших до тебя людей говорит не о твоей силе, разборчивости, таланте и всем таком прочем, а о твоей никчемности и неспособности».

По Челнам прошел слух, что приехал новый начальник строительства. Как в любом коллективе, как и всюду в мире, от перемены власти каждый чего-то ждет, а если не ждет, то хотя бы видит повод почесать язык. Это, по-видимому, доставляет определенное удовольствие.

Виорел Мугуряну не привык верить слухам, тем более что о Батенчуке знал очень мало. Говорили, что тот вроде бы прототип одного из главных героев пьесы Алексея Арбузова «Иркутская история», что Батенчук купается в проруби при сорокаградусном морозе, а память у него такая, что он помнит по именам всех работников стройки, сколько бы их ни было. И еще говорили, будто Батенчук не повторяет дважды ни одного своего указания, а записных книжек или памяток не ведет и с собой не носит. Злые языки еще шептали, что Батенчуку на каком-то хрустальном заводе подарили специальную рюмку, в которой умещается ровно пол-литра водки... Говорили всякое. И ничему Мугуряну не верил. Он понимал только одно: если Батенчуку поручили вести такое грандиозное строительство, значит, это человек прежде всего достойный, заслуживающий уважения. Не осталось не замеченным Мугуряну да и многими другими и то, что Беляеву, секретарю парткома стройки, и другим руководящим работникам не приходилось заботиться, как иногда принято, об авторитете Батенчука. Он утверждал свой авторитет делами.

В то утро, когда пришел к нему Виорел Мугуряну, начальнику предстояло проводить заседание Совета бригадиров.

Мугуряну явился немного раньше, и помощник Евгения Никаноровича предложил ему пройти в кабинет начальника строительства и дожидаться там начала Совета.

Евгений Никанорович не заставил себя долго ждать. Минут за десять до начала Совета он сел в свое кресло, включил селектор.

— У кого какие проблемы? — спросил. Голос его звучал бодро, без

тени усталости, хотя за три часа езды по стройке можно было и намаяться.

Начались рапорты, просьбы, объяснения. Рапорты Батенчук принимал спокойно, не комментировал, говорил «хорошо», потом будто переключался и произносил: «Дальше»; на это «дальше» уже должен был откликаться другой из очереди, известной в данную минуту лишь одному Батенчуку.

В динамике звучали разные голоса, разные просьбы. И все получали ответ тут же, сию же минуту принимались решения, Батенчук то и дело подключал к разговору другие необходимые звенья.

— Евгений Никанорович, на теплоходах прибывают из Казани тысяча двести студентов. Разрядка остается в силе?

— С ночлегом да. Все остаются на судах, пока установят палатки. На работу будет возить автоколонна. Шестьсот на БСИ, шестьсот на строительство подъездных путей.

— Евгений Никанорович, прибыл транспорт с кирпичом из Москвы, полмиллиона штук.

— Главмосстрой, слышите?

— Слышим, Евгений Никанорович, машину ждут у причала, будем разгружать прямо в машины.

— Евгений Никанорович, ЗЯБу требуется тысяча тонн цемента марки пятьсот.

— Дать.

— Евгений Никанорович, Бугульма задерживает стирку протынь...

Батенчук прерывает:

— Это к заму по быту...

И так шестьдесят три вопроса за пятнадцать минут. Мугурияну обратил внимание, что Батенчук ни разу не повысил голоса, никого не отчитал, не упрекнул. Только перед тем как открыть Совет, спросил собравшихся бригадиров:

— Не задержали ли я вас? — И сам же ответил: — Да нет, ровно девять часов, начнем.

На сегодняшнем Совете бригадиров начальник строительства собирался поставить — пока что в порядке информации — вопрос огромнейшей важности: на каких фундаментах должен стоять КамАЗ? Проблемой фундаментов он занимался давно, сначала сам, потом с группой инженеров экспериментировал в Вилуйске, и не только экспериментировал. Теперь, ознакомившись с челнинской громадой, пришел к твердому выводу, что строить КамАЗ на известных, классических фундаментах будет трудно, при создавшихся условиях это затянет сроки строительства, удорожит стоимость, займет ненужной работой тысячи людей и механизмов.

Есть в строительстве любого здания или сооружения период, называемый нулевым циклом. К нему относятся прежде всего земляные работы. Еще до Совета в кабинете Беляева Евгений Никанорович взял чистый лист бумаги, нарисовал прямогольник, поставил размеры. На этой площади будет размещен автосборочный завод. Чтобы заложить для него фундамент, нужно выкопать котлован глубиной до десяти метров, по краям которого, естественно, вырастут огромные горы земли. Такие горы уже высятся на площадке будущего литейного. Хороший дождь — и котлован залит водой. И вот вместо того чтобы дело делать, нужно воду откачивать.

— Видел я это, — горько сказал Беляев.

Батенчук продолжал обосновывать свое уже проработанное в московском Гидропроекте предложение. Это обдуманый способ, при котором никаких котлованов рыть не надо. (Способ не нов, это не открытие, он разработан русскими инженерами еще в конце прошлого века.) И с учетом того, что здесь строительство идет не по заранее

подготовленному проекту — проектирование и строительство ведется практически одновременно, — нужно менять стратегию фундаментов на ходу. Батенчук так и сказал — стратегия фундаментов, использовал этот военный термин, чтобы придать тому, что они хотят внедрить, особый, чрезвычайно важный характер. Технология того, что предлагается, тоже казалась очень понятной и простой. До того простой, что быстро схватывающий все Беляев не удержался и полюбоществовал:

— А почему же такую простую вещь не применяли до сих пор?

Стратегия нового метода возведения фундаментов и в самом деле выглядела несложно: на выбранной площадке сначала снимается бульдозерами верхний слой земли, могучий черноземный пласт толщиной около метра, и складывается в стороне. Этот чернозем еще пригодится для скверов и парков будущего города. Затем выбирается грунт на глубину до полутора метров и, вместо того чтобы рыть котлованы, бурятся скважины требуемых размеров. Тут же сваривается стальной каркас, опускается в землю и заливается бетоном.

— Мы начнем это дело, и к нам приедут отовсюду учиться, — завершил Батенчук. — Вы только поддержите нас.

— Поддержим!

Беляев встал, еще раз взгляделся в разрисованный Батенчуком листок. Как просто, черт возьми! Завтра бюро, и первым после приема в партию будет этот вопрос. Евгению Никаноровичу необходима партийная поддержка. Минэнерго распорядилось уже перепроектировать фундаменты корпусов КамАЗа на буронабивные сваи. После решения бюро горкома Евгений Никанорович доложил Совету бригадиров также все очень коротко и просто. Еще он сказал, что несущая способность свай проверена многократно на специальном испытательном полигоне.

Виорела Мугуряну пугала масштабность разворачивающегося строительства, и он тайне признавался себе, что не может представить, чем все это кончится. В небольшом по сравнению с масштабами Челнов квадратике на Котовской горе в Кишиневе, который всего лишь несколько лет назад казался ему огромным, он знал все, видел с закрытыми глазами, что и как будет там, в еще не возведенных зданиях и домах, мысленно распределял квартиры, видел своих товарищей на новых рабочих местах, а здесь он часто встречал людей, которые не могли найти место своей работы, потому что за одну смену, пока они отдыхали, происходили немыслимые перемены. Была выдвинута задача освоить на КамАЗе по миллиону рублей в день. Все, что было построено на Котовской горе, укладывалось в три миллиона. Всеми этими средствами и массажи людей, призванных материализовать их, ведал человек, излагающий сейчас на Совете бригадиров свое жизненное кредо. Он говорил молодым, но уже повидавшим не одну стройку бригадирам о том, что он, Батенчук, считает главным в строительном деле, в жизни. Он говорил о том, что на стройке вся тяжесть и вся ответственность за состояние дел ляжет на плечи бригадиров, в бригадах будет решаться судьба КамАЗа, и это должны понимать рабочие — стройка доверена им. Но первый человек, который является непосредственным представителем власти для каждого рабочего, — бригадир.

— Поэтому, — говорил Батенчук, — я как старший среди вас позволю себе несколько советов, а скорее всего, может быть, это будет попытка передать вам кое-что из моего опыта. Прежде всего не нужно показывать людям своего превосходства. Пусть они из вашего поведения в процессе наблюдения за вами сами убедятся в этом превосходстве.

Начальник строительства говорил и о том, что он никогда не забывает того времени, когда сам был рабочим, гордился этим и очень

болезненно переживал, когда начальники — а такое бывало не раз — подчеркивали перед ним свое превосходство.

— Может быть, поэтому я и контролирую себя, свои действия по отношению к подчиненным. Я почему-то всегда сам себе мысленно напоминаю, что и я когда-то был посетителем кого-то, ждал и переживал в приемных. — Батенчук взял со стола газету, развернул ее, кто сидел поближе, заметил, что он покраснел. — Вам могут попасться вот такие газеты с моими портретами. По этому случаю я хочу вам сказать, что мне очень неудобно становится, когда меня хвалят. Почему-то кажется, что не мне принадлежит то, за что могут хвалить. И это ведь в самом деле так! В наш век один человек сам по себе ничего путевого не может сделать. У многих творческих людей старые понятия, они думают, что можно написать о каком-то инженере, о его проекте роман, повесть, пьесу. Мне кажется, что в самой мысли о возможности такого произведения уже кроется порок. Нынче один инженер не может быть автором технического открытия. Коллективность труда стала настолько всеобъемлющей, что одному нельзя ничего сделать. Сила современного инженера любого ранга заключается в том, как он, подав идею, сможет поддержать инициативу других, как он — хорошо или плохо — организует вокруг себя других, делая их своими сподвижниками и соавторами, не рекламируя себя. У хорошего человека это получится, и люди, работающие с ним, не забудут, подводя итоги труда, отдать ему должное и даже назовут первой его фамилию.

Батенчук сказал еще Совету бригадиров, что здесь присутствуют основные партийные и комсомольские работники строительства, они тоже приехали из самых разных мест, а большинство, конечно, из Казани, из Татарии. У них нелегкая задача сцементировать коллектив, сделать его единым, и ему, Батенчуку, хотелось бы рассказать сегодня еще о том, как он понимает партийное отношение к делу.

— Для того чтобы достигнуть желаемого в работе, надо прежде всего обладать партийностью, даже если ты и беспартийный. Чувство партийности свойственно в какой-то мере всем людям в нашем обществе, но будущему инженеру его надо прививать со студенческой скамьи. Когда человек научится владеть собой до такой степени, что сможет сам — в работе, в отношениях с людьми — отделять свое личное от общественного, сдерживать свои чувства при решении общественных задач, вот тогда его чувство партийности можно назвать зрелым. Все это, конечно, очень тяжело дается. Побеждать себя каждую секунду не каждый может... Иногда тебе кажется, что ты оскорблен, твоя гордость прилюдно ущемлена, вмешивается чувство обиды и ложного стыда. Я считаю, что сильный характер у того, кто разумней, кто умеет добиваться задуманного без грубого принуждения, кто без пакостей может обойтись, кто властью пользуется, имея всегда чистые руки, совесть и высокое чувство долга. Для этого надо всегда уметь победить себя — того себя, который сидит в каждом человеке со дня его рождения. Умеющий сделать это является высокопартийным, мужественным и строгим человеком. Назначая нас на должности, партия наделяет нас частью своего авторитета. Это наш первичный капитал. Кто может его умножить, вернуть своей работой полученный аванс, тот и обладает партийностью в полном смысле этого слова. Растерявший этот аванс не может быть руководителем.

Батенчук замолк. Что-то он длинновато говорил сегодня. Но почему же так внимательно смотрят на него и не задают вопросов? Верно, озадачил он ребят этими рассуждениями? Ну и пусть, хорошо, если озадачил! Начал крутить по своему обыкновению в пальцах карандаш, посмотрел на селектор и, как будто вспомнив, о чем хотел сказать еще, улыбнулся и заключил:

— Извините, что в самом начале я прямо тут при вас занимался нашей текучкой. Кто из вас постарше и видел разных начальников,

знает: то, чем я тут занимался сегодня до начала совещания с вами,— текучка, мелочевка. Есть другие люди — замы, главный инженер, начальники управлений,— обязанные заниматься всем этим. Так будет, когда у нас все отладится. А пока... Начальнику тоже не мешает знать все.

Расходились молча.

Мугурияну слышал все, что говорил Батенчук, все запоминал, но в то же время — он часто ловил себя на этом — подсознательно пытался представить себе, что стоит за Батенчуком, за его силой, спокойствием и уверенностью. Ведь не кажущиеся они, не наигранные, ведь и в самом деле Батенчук в том, что говорит, чувствует свою полную правоту. Что рождает в человеке это чувство полной правоты, сможет ли он, Мугурияну, когда-нибудь держаться с таким же чувством уверенности и спокойствия? Эти мысли рождали в Виореле Мугурияну — и не только в нем, а во многих близких к Батенчуку людях — желание узнать как можно больше об этом человеке. Не из праздного любопытства и не для того, чтобы стать такими, как Батенчук, а чтобы стать лучше.

19

После того, что пережила Ирина Фролова в самом начале строительства КамАЗа, ее, казалось бы, уже ничем не испугаешь. Возникающие каждый день трудности как-то сами собой разрешались, она научилась спокойствию, рассудительности, а может быть, даже хладнокровию. Но время от времени то, чему она была свидетельницей в ту осень в начале строительства, как бы вновь оживало, тревожило, не давало спать по ночам.

...Гремел духовой оркестр, светило холодное осеннее солнце, со стороны Камы дул свежий ветер и разносил звуки комсомольских песен далеко вокруг.

«Первый ударный комсомольский отряд на строительство КамАЗа прибыл!» Это был и рапорт, и сообщение, и радостный клик! Отряд со своим оркестром шел на воскресник.

Двадцать лет исполнилось в том году Ирине Фроловой, и она гордилась тем, что ее возраст даже чуть меньше среднего возраста камазовцев, который исчисляется целыми двадцатью двумя годами! Она шла вместе с отрядом. У этого отряда замечательный комиссар. Чудесный парень, в него могли влюбиться все девчонки, но он, как бы предвидя это, гордо сказал при первой встрече в комсомольском комитете: «У меня есть невеста!»

А медные трубы играли, барабанщик лупил ожесточенно по звонкой натянутой коже, и ветер разносил эти звуки далеко вокруг, уносил на правый берег широкой Камы, к корабельной роше, написанной когда-то Шишкиным. Потом отставили музыканты сверкающие новые трубы, тромбоны, валторны и тубы, осторожно опустили на землю барабан, так, чтобы не перевернуло ветром, и взялись все ребята за лопаты, чтобы освободить однопутку, внутреннюю железную дорогу КамАЗа («малый БАМ» — так ее окрестят потом) от гравия, разгрузить платформы, отправить их скорее туда, где ждут порожняк. Об этом очень просил вчера на планерке Евгений Никанорович Батенчук.

Надели белые рукавицы:

- Подавай машины!
- Разбрасывай живее, ребята!
- Перекур через шестьдесят минут!
- А через три перекура — обед...
- Ишь, ты уж об обеде заговорил!
- Давай сюда — кто быстрее?

Запели задорную песню о пользе электричества, в ритм ей орудуя

инструментом. Работа спорилась, и Ирина Фролова представляла себе, как выполнят они просьбу начальника строительства и как пойдут затем колонной по улице Гидростроителей, от здания КамГЭС к «Чулпану», а из окон общежитий будут выглядывать любопытные командированные и на тротуарах шумная толпа в штормовках будет завидовать им, чуть усталым, но очень довольным, что дали сегодня дорогу для новых грузов, поступающих сюда со всей страны.

Закончили песню про электричество, что-то новое пробовали затянуть вразнобой, но тут раздался голос, перекрывший все остальные:

— Про то, как не стареть, ребята!

Это был голос комиссара. Анисимов его фамилия. И поплыли над степью звонкие слова о том, как важно, чтобы не стареть сердцем и задуманную песню допеть до конца.

Комиссар направился к двум сцепленным вагонам, перед которыми громоздилась целая гора гравия. Две девушки за ним — хоть и есть у него невеста, но все ж хорошо трудиться рядом с красивым человеком!

— Давай-давай, ребята! Работы нам еще на две-три песни, потом перекур!

Последние слова, которые услышала Ирина Фролова из уст комиссара.

Он не дожид до первого перекура.

Следствие установит потом в деталях, как произошла эта трагедия, а тогда Ирина увидела лишь мчащуюся по рельсам одинокую, груженную гравием платформу. Ирина крикнула, чтобы предупредить об опасности, но ее отчаянный крик слился с грохотом ударившихся друг о друга буферов. Комиссар и девушки оказались раздавленными...

Что же было после?

Ирина Тимофеевна помнит, как звучащая песня перешла в крик, как сотни рук хватались за безжалостное железо вагонов, чтобы сдвинуть их с места, вырвать из смертельных тисков безжизненные тела своих товарищей...

«Отряд не заметил потерю бойца и «Яблочко» песню допел до конца...» Неправда это.

Сколько лет прошло, а комиссар словно живой стоит перед глазами Ирины Тимофеевны. После этого у нее не раз бывали тяжелые минуты. Но то потрясение вспыхивает, как молния, и в свете ее — лицо первого комиссара ударного комсомольского отряда на КамАЗе.

Набережные Челны

За годы строительства КамАЗа в Челнах сыграна 31 тысяча свадеб. Родилось 71 тысяча 500 детей. В городе 37 средних школ, 107 детских комбинатов.

О том, что Мария Гавриловна Липатова, или просто Маша, как ее называли на улице Роз, собирается на КамАЗ, никто не знал. Это был ее секрет.

Мария Гавриловна из тех работников, которые делают свое дело с поражающей всех начальников безупречностью, и потому сколько бы этих начальников ни сменилось с тех пор, как работает здесь Мария Гавриловна, ее уважают, объявляют благодарности, выбирают в президиум и для всех она добрая, любимая, светлая, даже родная душа, около которой можно всегда хоть чуть-чуть согреться. Для своих ровесниц, по-доброму завидующих ее здоровью, молодости и веселому нраву, Маша была удобной и верной хранительницей многих сокро-

венных тайн. Все знали, что Маше можно доверить все. И, как все желающие делить с другими свои секреты, собеседницы Марии Гавриловны требовали от нее ответной откровенности. Да и какие могут быть у Марии Гавриловны секреты? У нее нет мужа? Так это уже давно, с незапамятных времен, и потом — мало ли женщин без мужей? У нее дочь вышла замуж, а потом развелась? Так что? Разве только ее дочь разведена? О боже мой! Сколько таких девиц сейчас! Дочь уехала после этого развода бог знает куда? Так только ли дочь Марии Гавриловны уехала? Сколько их, этих разведенных свистушек, бродит по свету! Куда только они не едут!

Модницы с улицы Роз относились к Марии Гавриловне с особым уважением: Липатова всегда одевалась со вкусом, ее наряды не повторяли ничьих. И как она умудрялась одеваться с таким изяществом? С тех пор как появилось телевидение, дикторши, обязанные по службе выглядеть элегантно, часто заглядывали в редакцию Марии Гавриловны высмотреть для себя что-нибудь новенькое. Они почти всерьез просили ее бросить безнадежное дело улучшения текстов заурядных авторов и организовать специальное телевизионное ателье мод. Это будет самая популярная передача во всей республике.

Если женщины буквально роем окружали Марию Гавриловну, то этого нельзя было сказать о мужчинах. Небольшая улочка в уютном городке на севере Молдавии хранит память о летчике Липатове, муже Марии Гавриловны. Они прожили совсем мало — может, неделю, а может, месяц. Но, может, вечность? Потому что летчик Петя, русский парень по фамилии Липатов родом из далекого Вологодского края, все время с ней, с Машенькой, Машуней, Машей, Марией Гавриловной, которая уже вот-вот выйдет на пенсию...

21

С тех пор, когда погас свет во время проведения первого партийного собрания будущей генеральной дирекции КамАЗа, не случилось никому в Челнах сидеть в темноте. Свет всегда был. Он обеспечивался огромными мощностями Заинской ГРЭС, одной из крупнейших в стране, ТЭЦ КамАЗа и, наконец, пущенными турбинами Нижнекамской гидроэлектростанции. И кто мог подумать, что на пути огромных потоков энергии станет вдруг такая преграда?

Когда ее устроят?

Когда снова дадут тепло и свет городу?

Никто не скажет.

Людмила Васильевна, жена Батенчука, несколько раз снимала телефонную трубку, но — никаких гудков. Связь, бывало, прерывалась и до этого, Людмила Васильевна привыкла ко всему. На стройках, где она была вместе с мужем, со связью одна и та же история: то землеройные механизмы подземный кабель повредят, то стрелами передвижных кранов провода оборвут. Но всегда Женя присылал кого-нибудь предупредить, что задерживается или чтобы вообще скоро не ждала. Каких только непредвиденных поворотов не встречается на пути руководителя стройки! Ясное дело. Но Людмила Васильевна знала, что муж не оставит ее в неведении, даст о себе знать.

То ли потому, что после того, как погас свет, начали заметно остывать батареи и становилось все холодней, то ли потому, что уже столько времени не включается телефон, а от Евгения Никаноровича нет никаких известий, Людмила Васильевна решила пойти и спросить соседку Фаю: может, та знает что-нибудь.

— Нет, от моего тоже ничего нет, — сказала Фая. — Становится совсем холодно, я уже газ — и конфорки и духовку — зажгла. Ребят боюсь простудить... Да и Раис там, где он мерзнет.

— Мерзнут наверняка вместе... Вы кипятите воду, держите ки-

пяток и давайте ребятам пить горячее, пусть через силу пьют. И не простудятся...

Людмила Васильевна первая услышала, что у дома остановилась машина. По шуму двигателя поняла, что приехал не муж. Она узнает издали не только шаги Батенчука, но и звуки двигателя и скрип тормозов машины, на которой он ездит. Нет, это не его машина и торопливые шаги к их крыльцу тоже не его. Выбежала, не сказав Фаету ни слова.

На крыльце стоял невысокий парень и стучал в дверь.

— Вам кого? — спросила Людмила Васильевна.

— Жену Батенчука или кого-нибудь из этого дома.

— Я жена Батенчука. Проходите.

— Спасибо, проходите некогда, мне только два слова. Евгений Никанорович попросил передать вам, что он совсем не знает, когда придет домой. Он сейчас на ТЭЦ вместе с Беяевым.

— А что случилось?

— Свет погас. — Парень понял, что сказал глупость, ибо это и без него было ясно, и решил поправить дело шуткой: — У бога не хватает топлива, у него тоже энергетический кризис... Потому так холодно и света нет... Но вообще я не знаю. — Садясь в кабину автобуса, парень добавил: — Вы передайте и соседке, что Раис Киямович тоже вернется домой не скоро. Гулять так гулять!

«Веселый парень, — подумала Людмила Васильевна, — таких и мороз не берет». Зашла снова к Фаету:

— Наши вместе и скоро не придут... Парень на автобусе заезжал, говорит, что у бога нефть на исходе. Чудак. Таким легко живется на свете. В Сибири один такой полез под лед спасать провалившийся трактор и попросил теплое белье: «В белье мне там теплее будет»... Ну ладно, давайте не замерзать, я тоже пойду зажгу газ.

А Ницэ и в самом деле размышлял об энергетическом кризисе. Сколько теперь об этом пишут! И, может быть, никто и не догадывается, что источников энергии вообще в природе становится меньше. Эх, спросить бы умного человека, который все знает! Ну а пока Ницэ наперекор тьме, охватившей город, врубил на всю мощность освещение салона своего «автобуса коммунистического труда» и на полную громкость магнитофон — благо есть у него для присланных с улицы Роз агрегатов достойные аккумуляторы. Ксению по просьбе Виорела Андреевича Мугурияну Ницэ отвез в роддом и сдал как раз в ту минуту, когда погас свет. Знал бы он, что света не будет так долго, предложил бы врачам принимать роды у жены Виорела Андреевича прямо в автобусе. Вот здорово было бы! Чего только в его автобусе не происходило: экскурсии, дебаты, пресс-конференции, репетиции знаменитых артистов перед выступлением на рабочих площадках, комсомольские собрания, даже малые пирушки на ходу, чтобы сэкономить время. У него для подогрева пищи и для приготовления чая или кофе (с той поры как на КамАЗ понаехало столько иностранных специалистов, вошел в моду этот пахучий, бодрящий напиток) имеется маленькая походная газовая плита с баллончиками. Но вот даже при такой повышенной рождаемости в Челнах в автобусе у Ницэ никто до сих пор не рожал. А было бы здорово: место рождения — «автобус коммунистического труда», единственный автобус такого рода в Челнах, в Татарии, а может быть, даже и во всей нашей стране. У Ницэ за ветровым стеклом и термометр имеется. Но лучше на него не смотреть: как только взглянешь на съездивший до отметки минус сорок пять розовый столбик — становится еще холоднее. А Ницэ нужно спешить к теплицам, не исключено, как сказал Виорел Андреевич, что наиболее ценные виды растений придется перенести в автобусы и держать все время двигатели на холостом ходу, прогревать салоны.

Да еще по пути на заправочную надо — очередь, наверное, на час, но что поделаешь.

Когда подъехал к теплицам, увидел сутулящегося Виорела Андреевича:

— Как?

— Сдал в полном здравии.

— Что она говорила?

— Ничего, молчала.

— Там тоже света нет?

— Как и здесь...

— А тепло?

— Там еще холодно никогда не было. Не положено... Просила вас не беспокоиться и ни в коем случае не дежурить под окнами. Так и сказала, единственное, о чем просила.

Виорел Мугуряну не стал больше ни о чем спрашивать. Да и что мог сказать ему Ницэ? Что тот знает? Пожалел, что не придумана система автономного снабжения электроэнергией хотя бы роддомов. И теплиц. Но как же сейчас там, в роддоме? Есть тепло или нет? Бросить все и ехать? А на кого же оставить теплицы? Спросил:

— Никто не говорил, что будут делать, куда денут рожениц и детей, если вдруг станет и там так же холодно?

Сколько лет прошло с тех пор, как молодой, только что вернувшийся из армии Ницэ не пускал на работу, в хозяйство на улице Роз в Кишиневе, этого мятущегося сейчас человека? Десять, а может быть, и больше. Что же он, Ницэ, должен сказать ему, чтобы успокоить, дать возможность принять продуманное и, может быть, единственно правильное в этих условиях решение? Что будет, если сейчас, допустим, он, Ницэ, возьмет и повезет Виорела Андреевича в роддом? Его что, пустят в родильное отделение? Черта с два! А если допустить, что он туда и пройдет? Что он сможет сделать? Чем поможет? И Ницэ, рассудив, решился соврать что-нибудь правдоподобное:

— В очереди за бензином говорили ребята, что если не удастся восстановить электролинии и дать свет и тепло, то рожениц и детей, да и вообще всех больных из больниц приказано размещать в пассажирских автобусах. Шоферам сказано заправиться с большим запасом, чтобы иметь возможность поддерживать тепло в салонах до тех пор, пока в этом будет необходимость...

Ницэ говорил так авторитетно, будто и впрямь только что услышал эти слова из уст начальства. Многоопытный Мугуряну не уловил подвоха.

Покуда Виорел Андреевич при горящих свечах и при узком луче карманного фонаря хлопотал в теплице, Ницэ интереса ради решил перечитать то, что совсем недавно написал о челнинских морозах один писатель, которого он когда-то возил по стройке, — тот недавно прислал ему книжку, вышедшую в «Молодой гвардии», с надписью: «Симпатичному Ницэ — первому в мире водителю автобуса коммунистического труда». Так и было написано — «Ницэ», все русские люди, даже писатели, не улавливают особое звучание буквы «э» в молдавских словах. Ну а про Челны все правильно. Вот как там написано про мороз: «Камский мороз имеет плотность, массу и огромную протяженность во времени и пространстве. Должно быть, от этой протяженности идет еще одно осязаемое качество камского мороза — стабильность». Ницэ содрогнулся от этого слова и взглянул на термометр: те же минус сорок пять. Стабильность! Боже мой, а сколько же может продлиться эта стабильность?

«В челнинском морозном воздухе, — говорилось дальше в книжке, — постоянно держатся производственные запахи. Все время работают моторы едущих или стоящих на месте машин. Обращаешь

внимание на то, как непрерывно сотрясаются от работы моторов автомашины на стоянках, у подъездов строительных управлений, на автобусных остановках. Этот звук непрерывно, на одной ноте работающих моторов вместе с запахом бензина тоже составной частью включается в камский мороз. Еще камский мороз пахнет дымом горячей солярки, костров из строительного мусора, у огня которых греются или что-то разогревают, оттаивают. Мороз меняет цвет и вид в зависимости от времени суток... Люди выходят ему навстречу, как будто борются с сильным течением. Наклоняют головы, убыстряют шаги, бегут к автобусам, которые дымят выхлопными трубами, сотрясаются от работы моторов. Здесь нужно много автобусов, потому что вечером хочется скорее преодолеть мороз, переплыть через него. Ясно ощущаемая стабильность мороза вызывает удивительную реакцию — реакцию радости. Ее ощущаешь раньше, чем осознаешь. Мороз постоянен, и поэтому не ждешь, когда он ослабнет, сдаст, а готовишься жить в нем долго».

Конечно, писатель имел в виду челнинский мороз, когда от него можно спокойно уйти, укрыться в тепле, в доме, в магазине, в цехе или даже в подъездах строящихся при морозе корпусов, где «стоят черные закопченные железные печи, в которых с ревом сгорает солярка. Печи эти делаются здесь же, на стройке, называют их «огнеметы». Воздух, нагретый в печах, по трубе гонится в лестничную клетку. Ночью в темноте ревет и мечется пламя. Ни в доме, ни около — никого»³. Да, таким образом обогревают строящиеся дома. А как быть сейчас, когда в домах живут люди и «огнеметы» не включишь? Всплыла в памяти Ницэ жуткая картина, когда в соседнем с улицей Роз гараже нашли утром мертвыми двоих парней и двух девушек: было холодно, ребята завели двигатели, тихо заснули и отравились выхлопными газами. Такое лучше не вспоминать.

— Сюда, осторожней! — прозвучал голос Виорела Андреевича.

Ницэ выпрыгнул из кабины помочь занести в салон какой-то закутаный ящик. Работник теплицы, скептик, видно, нес его вместе с Мугуряну и все приговаривал:

— Замерзнет, все равно замерзнет, такая стужа...

Но Мугуряну, не обращая внимания, ушел за новым ящиком.

Ницэ прибавил подачу топлива в двигатель и бросился перетаскивать в тепло автобуса все, что уже отобрал для спасения Мугуряну. В теплом полушубке, в ватных штанах, валенках и ушанке, Виорел Андреевич мало походил на того, давнего Мугуряну. Но движения его были такими же быстрыми, указания такими же немногословными, как и тогда. Ницэ подумал: а как он сам выглядит со стороны? Может, поинтересоваться у Виорела Андреевича, каким тот видит его? Но сейчас было не до этого.

На улице Ницэ ощутил мороз как что-то твердое, как жесткую сплошную массу, давящую землю и все на земле особой тяжестью, позволяющей двигаться, но в то же время высасывающей из всего живого силы.

Когда Ницэ, оставив Ксению в роддоме, мчался сюда, он заметил, как идущие навстречу машины временами направляли фары куда-то к горизонту, и тогда возникали перед Ницэ фантастические огненные столбы. Эти столбы воскресили в его памяти почти было забытый рассказ умершей дочери Виорела Мугуряну, Иленуцы. Ницэ замечал тогда шофера персональной машины Виорела Андреевича. Тот был в отпуске. Мугуряну сел против обыкновения на переднее сиденье, а Иленуца на заднее. Рядом с ней села Ксения. Ницэ видел Иленуцу редко, но всегда она была с Ксенией. Видно, очень дружили. В тот раз Виорел Андреевич провожал их на концерт почти на окраину Кишинева, в клуб университета. Была зима, а девушки дер-

³ Ницэ размышляет над отрывком из очерка Виталия Семина «Строится жизнь».

жали в руках по три гвоздики: Иленуца розовые, Ксения красные. «Мерзли два часа у входа в оранжерею, — сказала Ксения, — там мамина соседка работает, ждали, пока придет...» «А я, пока там стояла и мерзла, — начала Иленуца, — все время смотрела на Боюканы и удивлялась, как ровно подымается к небу дым. И представила себе, папа, что мы стоим с тобой над Кожушной, на той высокой горе, которую ты любишь, а из всех труб села — их, наверное, тысячи две, так? — из всех труб подымается к небу дым и нисколечко не шевелится. Конца и края не видно этим дымам — то серым, то темным, то кудрявым, а то ровным, как колонны Парфенона. И я представила себе, что эти дымы, как колонны, поддерживают крышу над Кожушной и над миром...» Четко звучали сейчас в ушах Ницэ слова уже не живущей на земле девушки. Еще запомнились ее слова, сказанные на второй или третий день после того концерта в клубе университета: «Когда заиграл Рихтер, я закрыла глаза — и что-то красивое-красивое возникло передо мной. Это был город, такой, как у Кампанеллы, или что-то еще более прекрасное. Там был храм с колоннами, похожими на тихие дымы Кожушны, окрашенные с одной стороны солнцем на закате, а с другой — подымающейся полной лунной. Посреди храма, на возвышении, весь в белом и на таком же белом инструменте с поднятым крылом Рихтер играл «Лунную сонату» Бетховена. Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та, та-та! — крикнули клавиши, и я открыла глаза, все исчезло, а передо мной — сцена, на той сцене — Рихтер. Мы с Ксенией подарили ему гвоздики, он так обрадовался: «Гвоздики? Зимой?» Прижал их к груди. «Я увезу их в Москву»...».

— Виорел Андреевич, к телефону! — Обрадованный дежурный в маленькой конторке теплицы не мог скрыть своей радости, что наконец-то появилась связь.

В трубке звучал спокойный, уверенный голос Евгения Никафоровича Батенчука.

22

Мария Гавриловна Липатова не сообщила дочери, что приезжает к ней. Пусть для нее это будет неожиданностью.

О дочери Мария Гавриловна думала с большой тревогой. Вырастить ее без мужа, вывести в люди, выдать замуж и ждать радостей, а затем пожинать плоды один горше другого — что может быть более тяжким для матери? Первый брак Ксении был, по ее словам, вычислен на факультетской электронно-вычислительной машине, машина дала ответ, и Ксения вышла за парня, который «не мамалыга и не конский щавель, а что-то между бузиной и репейником». Так объяснила она матери в письме причину развода через шесть месяцев после регистрации. А с тех пор как приехала на КамАЗ, писала лишь о работе, о своих товарищах, о том, как растет город. Письма Ксении с КамАЗа были почти сплошным восторгом, и Мария Гавриловна, не будь Ксения ее дочерью, передала бы эти письма по радио без всяких исправлений. Письма дочери дополняли картину Челюзов, созданную кино, журналистами и писателями, вносили в эту картину много неизвестных деталей, штрихов, доносили до Молдавии запахи прикамских степей. О себе, даже о своем здоровье, Ксения не писала ничего. Сообщение о том, что она ждет ребенка, было неожиданным и принесло и радость и тревогу. Разве она снова вышла замуж? За кого? Кто твой муж, любимая и единственная моя дочь Ксения? Кого выбрала ты сейчас в зятя для своей любимой мамы?

Погасло табло с предупреждением по-русски и по-английски: «Пристегнуть ремни. Не курить». Можно было освободиться от пояса, устроиться поудобней в кресле, заняться чем-нибудь, чтобы уйти

от постоянных, ввинченных в мозг вопросов: как там она, Ксения? что она делает в эту минуту, когда мать летит на высоте одиннадцати тысяч метров, дивится чистоте полной луны, повисшей над правым крылом самолета? Посмотрела на часы — если все нормально, то через полтора часа приземление.

Девяносто минут!

Мария Гавриловна всегда измеряет время отрезками, отведенными для радиопередач. Выработалась привычка все сравнивать с продолжительностью отведенного для ее отдела времени. Девяносто минут — это для самой длинной радиопередачи. И трудно высидеть на прослушивании, даже если материал очень интересен, музыкальное оформление прекрасно, а исполнители просто прелесть. А когда все наоборот? Бывает ведь и наоборот.

И девяносто минут оставшегося полетного времени Мария Гавриловна могла сравнить только с самой скучной радиопередачей. Не перечитать ли письма дочери?

Письма Ксении Мария Гавриловна захватила с собой, сама не зная зачем. Большой, перетянутый резинкой пакет, на конвертах обратный адрес: «ТАССР, Набережные Челны, Главпочтамт, до востребования». Длинные и короткие письма, они лежат не по порядку, а так, как складывались: иногда Мария Гавриловна, придя домой, в свою уютную, но одинокую квартиру, перед сном доставала какое-нибудь письмо из этого пакета, перечитывала его и засыпала с мечтой увидеть дочку во сне. Но Ксения не приснилась ей за эти годы ни разу. И не знала Мария Гавриловна, хорошо это или плохо. Каждое утро — уже сколько лет! — она первым делом сразу же, как только просыпалась, бежала к почтовому ящику, открывала и быстро перебирала все журналы и газеты, перелистывала их, перетряхивала, чтобы убедиться: не застряло ли между страницами долгожданное письмо? Если письмо обнаруживалось, она тут же, на лестничной клетке, разрывала конверт, начинала читать и медленным шагом подымалась к себе. Спешиащие на работу соседи пробегали мимо женщины в халате, углубленной в чтение, и прижимались к перилам, чтобы не задеть ее ненароком. Сослуживцы на улице Роз по тому, как здороваются утром Мария Гавриловна, знали уже, получила она письмо от дочери или нет.

«Дорогая мама, любимая Марья Гавриловна! (Так начинались все письма дочери.)

Ты в эту минуту не знаешь, какой у меня сегодня праздник! Только в эту минуту, потому что когда ты получишь мое письмо, все, о чем я строчу, будет уже устаревшим газетным сообщением.

Я сидела сегодня в кабине настоящего «КамАЗа»! Это наша первая машина с номером 00-01, и поедет она в Москву на съезд партии!

Нам сказали, что самые лучшие из нас, передовики, получают приглашение на проводы, когда наши «КамАЗы» отправятся в Москву на Красную площадь. До собрания многие получили право сесть в первую машину, такое право получила и я. Ты не представляешь, что у нас сейчас делается! Все праздничные, счастливые, обнимают друг друга. По дороге останавливает совсем незнакомый человек и говорит: «Вы знаете, что готова первая наша машина? Она в Москву отправляется!»

Я поднялась в кабину, это довольно высоко, знаешь? Не знаешь, тебе откуда знать! Хорошо, что я была в брюках. Села, взялась за руль. Мягко, хорошо! Обернешься, а за твоей спиной, за спиной этой машины номер 00-01, полтора километра конвейера. И сколько лет нашей жизни здесь, на КамАЗе! Я огляделась и при всех поцеловала холодное железо кабины. Смешно? Ты целовала когда-нибудь грузовик, уважаемая Марья Гавриловна? А я даже прослезилась...

А что было на второй день, когда провожали машины в Москву, самый лучший диктор телевидения не расскажет. Да что там диктор! Никто не расскажет, и я не берусь. Тысячи и тысячи людей смеялись и плакали от радости и совсем никого не стеснялись. Они позволили себе такую слабость впервые за все эти годы, милая моя мамочка...»

Да, Ксения была права. Когда это письмо дошло до Кишинева, газеты писали уже о другом. Сдача первой очереди Камского автомобильного завода и прибытие трех машин к Спасским воротам на Красной площади стали уже строчкой истории. Короткой строчкой. А Мария Гавриловна поднялась в свою квартиру и разревелась. «Ты целовала когда-нибудь грузовик, уважаемая Марья Гавриловна?..»

«Сегодня рано утром к нам на балкон пожаловала гостья — большая ворона, каких в Молдавии совсем нет. Не ворона, а целая индюшка с черной косынкой на голове. Вначале осмотрела все левым глазом, а потом правым. Ясно, что она двумя глазами сразу, как человек, смотреть не может. Подняла большой клюв, и мне показалось, что она нюхает, думает, с чего начать. А у нас там, на балконе, сложены всякие продукты. Сняла крышку с ведра, где хранятся консервные банки, и одну открытую банку с болгарским компотом схватила и сбросила с балкона. Можешь себе представить? Ее, видно, не учат технике безопасности: а если бы внизу дети были или люди на работу шли? Бессовестная у нас гостья, правда? Но мы ее все равно любим. Договорились консервных банок больше не выставлять, а просто положить что-нибудь вкусненькое, ну, например, сосиску...»

«У нас каждая суббота — субботник. Мы по всем субботам работаем. Так с самого начала. А воскресники у нас по воскресеньям. И довольно часто. Прошлый воскресник мы работали на строительстве дороги в бригаде Виктора Шатунова. Это очень знаменитый у нас человек. Он до того знаменитый, что в его бригаду пришли отработать по смене самые большие начальники на всем КамАЗе: Беляев Раис Киямович и Батенчук Евгений Никанорович. О них часто в газетах упоминается, а я видела их так просто, без никаких газет, рядом с ними с бетоном возилась. Они тоже в рабочих спецовках пришли и взялись за дело. Бетонировали самый главный будущий проспект города, по которому побегут трамваи и помчатся машины, дорога из двух полос, а между ними — сквер длиною в несколько километров. (Это нам объяснили еще накануне, чтобы мы точно знали, что делаем.) Машины с бетоном подъезжали одна за другой, и я и еще две девушки еле успевали разравнивать его лопатами. Рядом с нами работал невысокого роста человек, он дышал уже, как рыба, выброшенная на берег. Звеньевой, молоденький парнишка, подходит, еле сдерживая улыбку, и предлагает: «Может, покурим, Раис Киямович?» А мужчина, это, оказывается, был Беляев, посмотрел на нас, девчат, как мы орудуем лопатами, постарался выровнять дыхание и отвечает: «Я не курю... Девчата вот тоже не курят... А когда закончили смену, нам сказали, что мы сделали работы в три раза больше, чем полагалось по норме. Здесь перевыполнение плана не простая трепотня (прости за грубое слово!), но настоящая, повседневная реальность, как принято писать в газетах. Тут везде написано и всюду говорят: «Вдвоем работать за троих!» И работают!»

Письмо это чуть напоминало газетную заметку — видно, Ксения написала его в тот же вечер после воскресника. После подписи постскрипtum, в котором Ксения извинялась за плохой почерк: устала, спешила, не хотелось откладывать на завтра. «Не удивляйся, мамочка, что дипломированный инженер ворочает вручную бетон.

Здесь все должны уметь всё. «Во имя отчизны своими руками возводим мы город надежды на Каме». Это лозунг такой».

А вот письмо, где Ксения впервые за все время работы на КамАЗе пишет о том, как она живет, в каких условиях. До этого письма было только упоминание о гостье — вороне, выбросившей с балкона банку с компотом.

«У нас комната и в ней семь кроватей — одна долго пустовала — впритык друг к другу. Работаем мы по разным подразделениям...» Ксения никогда не говорила и не писала матери о том, где она работает. Еще со времени учебы дочери в авиационном институте Мария Гавриловна привыкла к мысли о том, что дочь постоянно связана с какими-то секретными делами. Однажды, кажется на третьем курсе, на вопрос матери, чему их учат там, в институте, Ксения ответила, явно желая показать свое превосходство: «Учат тому, почему вода жидкая и как из нее делать твердое тело без помощи мороза. Ясно?» Ничего не было ясно Марии Гавриловне, но приставать с нравоучениями или с другими вопросами расхотелось. Системы управления летательных аппаратов? Хорошо. Пусть будут системы управления. Но при чем тут автомобильный завод на Каме? «КамАЗы» ведь для земли предназначены, они же летать не будут... Но ни разу Мария Гавриловна не спросила дочь, какими же системами занимается она сейчас. Семь человек в одной комнате — ну и что дальше?

«Уходим мы на работу тоже в разное время, так что дома все равно кто-нибудь есть. За исключением воскресников, когда выходим на работу все. Недавно на пустовавшую кровать поселили девочку. Она молодая мама, ее к нам привезли прямо из родильного дома. Совсем девочка и на руках у нее маленькая-маленькая девочка, меньше, чем большая кукла, весит чуть больше двух килограммов. Маму зовут Вера. Ее оставил жених, привез сюда месяца три назад, сказал: вот дадут нам квартиру — тогда и поженимся. А квартиру не дали, и он уехал, а ее скоро повезли в роддом. К нам ее поселили, потому что наша комната считается хорошей, а нас тоже считают неплохими. Так что сейчас нас в комнате восемь. Девочку мы назвали Камой. И поем хором: «У мамы есть Кама!» И вообще эту широкую и очень красивую реку многие здесь называют мамой: Кама-мама. Ты даже не знаешь, какая у нас большая семья образовалась и как сблизила нас наша маленькая Кама. Камочка, Камуша, Камуля. Мы дежуриим возле нее по очереди. Составили график. В мою смену я пою ей песни, она слушает и совсем не плачет. Когда Каме исполнится шесть месяцев, у нее будет вышитый фартук с татарским узором. Твоя дочка научилась вышивать в клубе «Аленушка». Тут есть такой девичий клуб».

«Дорогая моя мамочка, уважаемая Марья Гавриловна! Сегодня с самого утра выдался такой дивный день, что и не поймешь, за что такая награда! В нашем распоряжении десять (десять!) теплоходов. Батенчук предоставил весь свой флот в распоряжение молодежи стройки, и мы поплыли вверх по Каме. Отдыхать».

И только сегодня я поняла, что такое Кама и все Прикамье, где строится Набережная Надежды многих. А может быть, и моя?»

Это письмо Ксении оканчивалось вопросительным знаком. На следующий день, Мария Гавриловна хорошо помнит, пришло еще одно письмо — о том, как выглядит на берегу Камы древняя, покосившаяся и с «общипанными» крыльями ветряная мельница. Потом еще одно. В нем Ксения сообщала, что у Камы вырос зуб и, может быть, в честь этого вроде бы и незначительного события маме дали отдельную комнату во временном поселке. Она была на приеме у

первого секретаря горкома Беляева, и тот помог. «Беляев поможет» — так здесь говорят о первом секретаре горкома.

«Без Камы будет скучно».

Перебирая пачку, Мария Гавриловна нащупала то письмо, которое она прочла много-много раз, это было даже не письмо, а чуть ли не тетрадь с рассказом о том выходном дне, когда Батенчук предоставил в распоряжение камазовской молодежи целую речную флотилию.

«Дорогая мамочка, несравненная Марья Гавриловна! Видела ли ты когда-нибудь большую реку? Мы, выросшие между Прутом и Днестром, привыкли к нашим речкам, и они нам казались тогда самыми широкими и самыми глубокими. В пионерлагере у города Сорочи мы соревновались на выносливость и смелость — кто быстрее переплывет Днестр. А здесь реки — огромные! Наш отряд ехал из Москвы поездом «Татарстан», утром я взглянула в окно и ахнула — под нами, вокруг нас была бескрайняя водная ширь. Это мы переезжали Волгу, представляешь?! Вот это река! Такая же река, милая моя мама, Кама. И твоя дочь купалась в этой Каме и дурачилась целый день. А вечером горели костры.

А до костров было небо над Камой.

Челны, как я писала уже тебе, тоже на самой Каме. Но там не такое небо. То челнинское небо запылено, между ним и городом застыло огромное облако поднятой машинами пыли. Когда тысячи и тысячи железных чудищ двинулись строить завод, земля зашипела, закипела вся. Говорят, что Батенчук сравнил те первые дни с танковым сражением на Курской дуге. Конечно, скоро облако осядет, ведь любое сражение — даже Курское! — имеет свое завершение.

И тогда над Челнами станет такое же небо, как здесь, где мы отдыхали сегодня.

Небо над Камой!

Могла бы — нарисовала бы его для тебя. Но ты знаешь, что у меня по рисованию всегда была тройка. В школе я умела хоть дом с трубой и собачку на цепи изобразить, а сейчас и этого не удастся. Чертить — пожалуйста, что угодно. Но небо не начертишь. Расскажу словами. Там, где мы отдыхали, между лесом и Камой — ровный, как ладонь, луг. Мягкая, глубокая трава. Именно г л у б о к а я, потому что высоту этой травы не ощущаешь глазом, а ступишь босой ногой — нога тонет в прохладной траве. У нас в Молдавии нет такой. Так вот, стоишь в траве, а прямо перед тобой река. Она широченная, противоположный берег еле виден. А за тем берегом, за яркой изумрудностью леса только что опустилась тысяча солнц. Да, именно тысяча, а может быть, и больше. Там горит пожар — без дыма, только одно неподвижное пламя, охватившее над нами все небо. И если там, за горизонтом, все ярко-оранжевое, то выше, ближе к нам, оранжевое будто перемешано с нежно-голубым, хочется дотронуться...

Когда почти в полночь пожар заката угас, поляна осветилась кострами и такие, как я, ищущие свою набережную, пекли картошку и говорили тихо, чтобы не растревожить утомившихся птиц.

Я присела у костра, где что-то рассказывала молодая красивая женщина. Подошла я к тому костру потому, что там сидела Ира Фролова. Ты должна ее помнить. Мы с ней вместе учились в Липканах, она там с родителями жила. Сейчас она от комсомола с нами, а та, что говорила, — от партии, партийного комитета. Зовут ее Валерией Шамилевой. Другие говорят ей просто Лера. Вообще здесь не все начальники называют друг друга по имени и отчеству. Ваня, Вася, Раис, Равиль, Мустафа, Гриша, Люда и так далее, можно перечислять бесконечно. Кто-то задает вопрос:

— А какие песни будут петь через двадцать лет?

— Наши песни будут петь,— уверенно отвечает чей-то мужской голос,— наши...

— И вспоминать будут нас так же, как мы вспоминаем наших родителей.— Это подхватила Валерия Шамилевна.— Мой отец пришел с фронта, у нас была огромная комната, посредине стол и больше ничего... Я как-то упала, руку сильно ушибла, плачу, а он, помню это почему-то очень хорошо, поднял мою руку, положил на край стола и стал гладить, гладит и успокаивает: «Ничего, доченька, ничего, вырастешь большая — мы с тобой пойдем далеко-далеко...» Он умер потом, был сильно ранен, а я все вспоминаю, как он мою руку гладил...

Валерия Шамилевна замолчала. И все молчали. Я увидела в эту минуту ее отца и тут же подумала, что он строит вместе с нами этот КамАЗ, хотя его давно уже нет на свете.

Когда подбросили в костер сухих веток, поднялся целый рой искр, затрещало пламя, и вдруг зазвенел мужской голос:

Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы пионеры —
Дети рабочих...

Звучала эта песня на берегу Камы. Пели ее взрослые...

А затем разговор пошел о другом. Трудно? Посмотрите, как люди одеваются, как питаются... Зайдите в дом к рабочему — современная мебель, полки с книгами, телевизор, радио, газовая или электрическая плита. Включите телевизор — вам московский диктор улыбнется и скажет: «Добрый вечер» — и вы забудете, что находитесь на Урале или на Средней Волге... А самолетом от Москвы до Челнов — полтора часа... В этом, общем, как-то почти все сравнялись. Духовно еще не все одинаковы, далеко не все. Посмотрите вокруг — есть настоящие люди: героические, добрые, образованные, принципиальные. А есть и нечестные, злые, просто мерзавцы еще есть. Когда их не станет? Какие песни будут петь наши дети через двадцать лет? Это от нас зависит. Так же как от наших родителей, от наших воспитателей зависело, какие песни петь нам.

Взвейтесь кострами,
Синие ночи!

Мама, мама! А у другого костра крутили пластинку:

Города, где я бывал,
По которым тосковал,
Мне знакомы от стен и до крыш...

Звучала музыка над нашим палаточным лагерем, над травой и над лесом, над рекой и разливами до самого горизонта и до самого неба. И выделялся тихий звездный хор, гитара и чуть однообразные, тут же, может быть, придуманные слова на мотив другой, старой песни:

КамАЗ, КамАЗ, кругом КамАЗ,
А мы посередине...»

Следующее письмо от Ксении, в тоненьком конверте, начиналось криком: «Ма-ма-а!» Дочь сообщала о гибели своей подруги.

Мария Гавриловна, когда открыла конверт и впервые прочла эти слова, услышала голос дочери, Она рассказывала потом, что до нее тогда крик Ксении донесся через все расстояния и она ощутила его как мощную взрывную волну: «Ма-а-а-ма-а!»

И сейчас, в самолете, на пути к дочери, которую не видела уже столько лет, Мария Гавриловна услышала ее крик. Оторвалась от письма и увидела загоревшееся табло: «Пристегнуть ремни. Не курить». Что такое? Посмотрела на часы. До посадки оставалось еще довольно много времени. Все прояснил чуть взволнованный голос бортпроводницы:

— Уважаемые пассажиры, прослушайте дополнительные сведения о нашем полете. Наш самолет пошел на снижение. По не зависящим от экипажа обстоятельствам мы совершим промежуточную посадку в аэропорту города Казани. Сведения о дальнейшем полете мы сообщим вам после посадки.

23

Подобно тому как перелистывала Мария Гавриловна Липатова письма своей дочери — высоко в небе, в самолете, преодолевающим огромные пространства при температуре шестьдесят градусов ниже нуля, — пытаюсь представить по ним не только как выглядит ее дочь в огромном людском океане, именуемом КаМАЗом, но и что она делает в эту самую минуту, так же, и, как всегда, в нелегкие для нее самой и для ее мужа часы, перелистывала страницы своей жизни Людмила Васильевна, жена Батенчука. Задолго до прихода Ницэ, сразу же после того как погас свет и стали остывать батареи, Людмила Васильевна поняла, что она не скоро дождется своего Женю. Он уже где-то там — хлопочет, вмешивается, советует, хватается за любую возможность как можно быстрее ликвидировать аварию. Он вернется лишь тогда, когда все будет сделано. И Людмила Васильевна знала, что все кончится благополучно, все будет хорошо. За долгую жизнь с Евгением Никаноровичем она, бывало, теряла уверенность, сомневалась, но всегда выходило так, как говорил он. У него есть этот дар — не терять веру при любых обстоятельствах. Больше чем кто-либо другой на свете знала Людмила Васильевна, какой верой в жизнь наполнено сердце ее мужа, каким оптимизмом наделила его природа! Он не любит говорить об этом, и все то, что знают о нем другие люди, даже самые близкие, рассказывалось мимоходом, как-то между прочими делами. О самой же Людмиле Васильевне, если бы не громкая слава Батенчука — Евгений Никанорович сам это признавал, — могла бы быть написана не одна статья и, может быть, даже книга.

— Как это ты сообразила готовить сульфамиды в полевых условиях? — спросил Евгений Никанорович, узнав об одном эпизоде из фронтовой жизни Людмилы Васильевны.

— А что тут сложного? — ответила она. — Раненых много, а сульфамидов никаких. Неподалеку вижу разрушенный химзавод, кое-какая аппаратура уцелела, с помощью красноармейцев выбрала нужное оборудование, раскопала в развалинах сырье, и пошло «производство», по килограмму порошка в день получалось, а если не спать совсем — и по полтора... Вот так. К начальнику нашего госпиталя приходили за лекарством соседи. Нужно было спасти раненых. Что тут сложного...

Ну а если это несложно, то как быть с приходившими дважды за войну похоронками, официальными сообщениями о гибели Евгения Батенчука? За всю войну не было ни единого письма от него, а она верила, что он жив, что он придет. И дочери Оленьке, которой всего три месяца было, когда отец ушел на фронт, говорила: «Кончится война — и наш папа придет». Он вернулся с войны, пошел прямо в детский сад и среди спящих малышей нашел свою дочку, сразу узнал ее.

«Когда настанет мир во всей Европе, домой придут отцы и сыновья, вернусь и я к дочурке черноокой, но орденов не будет у меня...» Такие горькие строки слагал Евгений Никанорович Батенчук в тяжелейшие годы плена. Но он нашел силы вырваться из неволи и вывести из фашистского лагеря двадцать тысяч человек! С организованной им воинской частью он шел навстречу наступающим частям Советской Армии и, опровергая написанную в минуту отчаяния строку, вернулся к жене и «дочурке черноокой» с боевым орденом Красной Звезды.

Это была первая награда Батенчука.

Многие, близко знающие Батенчука, считают, что он из племени людей, рожденных под звездой надежды. Этим людям сообщено особое качество быть упорными, непреклонными, твердо следовать выбранным путем. Они упрямы и настойчивы, бесстрашны и умеют добиваться своего. Этим людям чужда сама мысль о непоследовательности и тем более о предательстве. С того самого дня, когда Людмила Васильевна — тогда просто Люда — познакомилась с Женей Батенчуком в донбасском городе Рубежном, она поняла, насколько этот человек духовно чист и предан делу революции.

«Когда я был мальчишкой, к моему деду в городе Балта, где я родился, заходил партизанский командир Дягишин. Он сажал меня к себе на колени и говорил: «Расти скорей, богатырь, мы пойдем с тобой освобождать Бессарабию!» А мать варила мамалыгу. Я ей помогал резать мясо и сало — мелко, для шкварок с овечьей брызгой...»

«Революция мне запомнилась как деяние доброе, помогающее слабым, обиженным. Впечатался в память бой у речки за мост. Мне было интересно — потому что стреляли, бабахали пушки, пахло настоящим порохом, войной. А мать не знала, как уберечь меня от осколков и пуль, стоит и не поймет, с какой стороны прикрыть меня, вся дрожит. Дягишин, в гимнастерке, с парабеллумом, подошел к нам, остановил откуда-то взявшийся фэзтон, спросил извозчика, знает ли он, кто это. Тот ответил, что это Батенчучка. Тогда партизанский командир приказал: «Отвези пацана с матерью домой!» Революция — хорошая, так решил я, она охраняет слабых».

Там,
за горами гóря,
солнечный край непочатый.
За голод,
за мóра море
шаг миллионный печатай!

Евгений Никанорович собирается на работу и декламирует Маяковского.

— Что это ты вдруг? — спрашивает Людмила Васильевна.

— Вспомнил, как за этот «Левый марш» не любивший Маяковского учитель провалил меня в седьмом классе в Одессе.

Да, был и такой случай в его жизни. Не нравился Маяковский учителю литературы, а тринадцатилетнему мальчику нравился. «Маяковский застрелился», — объяснял свою неприязнь к нему учитель. «А может, его застрелили?» — дерзко ответил мальчик. «Я оставлю тебя на второй год по литературе», — завершил учитель разговор. А мальчик повернулся и пошел к себе на камчатку — он выделялся ростом и потому сидел в самом конце класса, чтобы не заслонять доску, — идет между рядами и декламирует:

...Грудью вперед бравои!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

В день, когда комсомол стройки впервые поднял у кинотеатра «Чулпан» на улице Гидростроителей флаги трудовой славы в честь самых лучших бригад, Евгений Никанорович, вернувшись домой, сказал:

— Мы сегодня небо флагами оклеивали!

Такие морозы, как челнинские, Людмилу Васильевну не пугали. Странное дело, ведь родилась и выросла она в Донбассе, в краю с теплым, мягким климатом. Но сколько уж лет прожили они с мужем и детьми там, где солнышка мало, а снегов — чересчур. Евгению Никаноровичу полюбилась Сибирь с ее крепким народом, сложным, но верным и надежным.

Снег, ветер, мороз и надежда...

Надежда остаться самим собой, надежда не потерять веру в то, что не подведешь пославших тебя сюда, что и твой след, который оставишь ты на земле, нужен людям. Бывало так трудно, что Людмила Васильевна спрашивала мужа:

— Женя, неужели построим здесь что-нибудь? Неужели что получится?

— Построим, построим! — отвечал он.

А в палатках замерзло все, и если у кого длинные волосы или коса выбились из-под шапки — примерзнут к полотну во время сна, то утром бери ножницы, иначе не оторвешь. Так однажды в новогоднюю ночь осталась без своей роскошной косы девушка, нарядившаяся Снегурочкой.

Женя все это называл романтикой.

— Люся, выйди сегодня, посмотри, как прилетают на «антоне» настоящие кони.

Самолет небольшой, в него входят всего одна лошадь и два конновода. Лошадь — первый появившийся в том краю наземный транспорт. Для них тоже палатки были нужны, искусственное тепло. Так сначала в Айхале и коров держали в палатках.

Здесь, в Челнах, конечно, все проще. Но тревожных часов, дней и недель немало. И бороться с тревогой, надеяться, что все будет хорошо, Людмиле Васильевне помогали воспоминания.

Евгений Никанорович пополнял в Сибири, на Вилюе, свою записную книжку, чудом уцелевшую со времен войны. Вслед за стихами о тяжелой фашистской неволе, о мужестве наших людей, вслед за гимном узников фашистского лагеря шли стихи о покорении Севера, о том двадцатипятидневном походе по Лене, когда

Нам пурга концерт давала,
Ветер с ног сшибал,
Он, как взводный запева,
Песню начинал.
Чем сильнее были ветры,
Злее был мороз,
Тем дружнее шел по Лене
Тракторный обоз...

В заветной книжке Батенчука почему-то нет стихов о Челнах. «Здесь все так громадно, — мог бы он сказать, — что ни в какую стихотворную строку не втиснешь». Но только ли в этом причина? Батенчук откровенен и никогда не скрывает своих мыслей, даже если они идут вразрез с мнением авторитетов и вышестоящих начальников. И он умеет защищать свои позиции. Даже тогда, когда, казалось бы, положение его безвыходно. Чаще всего вспоминает Людмила Васильевна вершинные случаи из камазовской жизни своего мужа. И хорошие и плохие.

Однажды он пришел домой и впервые после приезда в Челны долго сидел у себя в комнате и не говорил ни слова. А потом сказал:

— Вместо меня назначили Иванцова.

Жены крупных руководителей должны привыкнуть ко всему. Понимала это и Людмила Васильевна. И поэтому часто, даже когда Евгений Никанорович, может быть, и не замечал каких-то своих промахов, не предвидел, к каким последствиям могут привести даже самые незначительные огрехи, жена предупреждала его об этом. Так было, к примеру, в Чернышевске, когда, оказавшись назначенной завлабораторией, Людмила Васильевна проработала несколько месяцев, а затем объявила:

— Женя, ко мне назначен замом парнишка, только что окончивший институт. Пусть он будет завом, я стану его заместителем, всему науку, так лучше... А то ты начальник, я начальник...

Наблюдая за мужем здесь, в Челнах, видя, с каким размахом взялся он за строительство автомобильного завода (дело для него

непривычное, а потому чрезвычайно сложное), Людмила Васильевна не смогла даже понять смысла сказанных им слов — они ведь только полгода как приехали сюда, что же это?

— Стройку должен возглавлять заместитель министра, — сказал Евгений Никанорович. — Это самый главный аргумент.

— А ты?

— Я буду его первым заместителем. Министр сказал: «С сохранением оклада». Я ответил ему, что здешний мой оклад в два раза меньше, чем на Вилюе. Я не за окладом ехал.

Итак, стройку должен возглавлять заместитель министра. Допустим. Но разве это не было известно, когда срывали человека с места, которому он отдал двенадцать лет жизни и своим опытом и силой обеспечил успешное строительство уникальнейшего комплекса по добыче алмазов, гидростанции на Вилюе, города Чернышевска, Мирного, Ленска, Айхала, Удачного и стольких предприятий по всей Якутии! Можно ли так играть судьбой человека?

Людмила Васильевна именно этими словами определила то, как поступили с ее мужем. Но не произнесла их вслух. Она молчала, не искала слов утешения, знала: ничего не поможет, Женя примет решение сам.

И Евгений Никанорович принял его. Он остался в Челнах. И ни словом не выдал засевшую в нем тревогу: что же подумают, узнав об этом, его товарищи по двенадцатилетней сибирской алмазной эпопее? Они непременно ведь узнают: КамАЗ на виду у всей страны и фамилия руководителя стройки то и дело мелькает на страницах печати. «Куда же делся Батенчук?» — спросят.

А Батенчук никуда не делся. Он уступил свой большой кабинет на втором этаже управления строительства уважаемому человеку, крупному строителю, получившему недавно звезду Героя Социалистического Труда в связи со сдачей Саратовской ГЭС, заместителю министра Николаю Максимовичу Иванцову, а сам тихо перебрался в небольшую комнатку на третьем этаже, подключил все основные звенья связи к себе и не забыл перенести из приемной табличку с надписью: «Депутат Верховного Совета ТАССР Евгений Никанорович Батенчук. Прием по личным вопросам — вторник с 16 до 18 часов».

Перед этой табличкой остановился на минутку и Раис Киямович Беляев, когда пришел провести члена бюро горкома, своего соседа Евгения Никаноровича и признаться ему со всей прямотой и откровенностью, что не смог ничего сделать, чтобы избежать такого решения.

— Для исправления маленьких ошибок требуется малое время, для исправления же больших ошибок — большое время. — Это он то ли сам придумал, то ли вычитал где-то.

— Будем работать, — ответил на это Батенчук. — Я заверил Николая Максимовича, что он может рассчитывать на мой опыт и знания, на мою совесть.

— При всех обстоятельствах, — сказал Беляев, — я прошу вас остаться, пока мы все это закончим, прошу вас и дальше быть нашей опорой.

Секретарь горкома не находил слов, чтобы отблагодарить Евгения Никаноровича за то, что он ни сейчас, ни позже не лез, как говорится, в бутылку, не пытался доказать всем, что его обидели. Придет время — и несправедливость будет исправлена. Появится приказ министра электрификации и энергетики СССР П. С. Непорожного, в котором будет сказано, что тов. Батенчук Евгений Никанорович назначается начальником производственного объединения по строительству энергетических и промышленных объектов в бассейне реки Камы и освобождается от должности первого заместителя начальника этого объединения. А пока же Батенчук смотрел на молодого Раи-

са, у которого за стеклами очков в живых глазах ясно читалось нечто недосказанное, и, чтобы устранить неловкость, чуть отошел от стола и показал Беляеву на устроенную там педаль. На столе микрофон.

— Только нажму — и вся стройка услышит мой голос. И я услышу всех... Что мне будет поручено, я сделаю. — Потом, чтобы это не показалось каким-то бахвальством, перевел разговор совсем в иную плоскость. — Хорошо, что вы показали тогда университет, а то я бы один туда так и не добрался...

Познакомившись с Батенчуком на пленуме обкома, Беляев захотел сделать что-то приятное для этого человека.

— Вы бывали раньше в Казани?

— Нет, не бывал, к сожалению... Очень бы хотелось посмотреть зал первой ленинской сходки в университете...

— Так это мы сейчас! — оживился Беляев. И повел Батенчука в свой университет.

Беляев, как и все окончившие Казанский университет, называет его с особой гордостью своим. В годы учебы он не мог пройти без волнения мимо статуи прекрасного порывистого юноши. Юноша этот звал и его, Раиса Беляева, в неведомое. Володя Ульянов смотрел с надеждой и верой на них, идущих к дверям университета, где он в конце прошлого века сказал знаменитые слова о стене, которую «ткни — и развалится». Беляев лишь матери признался, что хотел бы учиться там, где учился Ленин, и втайне готовился к тому, чтобы перешагнуть порог, через который перешагивал юный Ленин. И не только в этом университете хотелось Беляеву учиться, но и на факультете Ульянова — юридическом.

И он добился своего.

Преподаватели и выпускники недавних лет помнят быстрого, смелого и способного организатора университетской комсомолки, секретаря комитета, зажигательного вожака и спортсмена. Они числят Беляева среди тех, кто составляет гордость Казанского университета, множат его славу. И Раиса со спутником приняли с радостью, открыв перед ними не только двери зала, где Володя Ульянов произнес свои знаменитые пророческие слова, но и все университетские тайники, его бесценное хранилище книг, созданное первым ректором Лобачевским.

— О, здесь бы посидеть хотя б недельку! — воскликнул Батенчук, осматривая редчайшее собрание старинных книг и рукописей. — Хотя бы недельку! — Он вздохнул и подумал, что не будет ему отпущена эта неделька. Хотя бы на один часок выбраться еще раз сюда!

Им рассказали о своеобразной одиссее этого собрания. Оказывается, к нему имеет самое прямое отношение светлейший князь и фаворит Екатерины II Потемкин. Он собирал библиотеку для будущего университета будущей южной столицы России.

В Казанском университете Батенчук узнал и о том, что Беляев имел кое-какое отношение и к строительному делу. Когда он учился, студенты переоборудовали за один сезон заброшенное здание в замечательный спортивный зал.

— Пойдемте посмотрим, — позвал Раис. И, как бы извиняясь, сказал, что, конечно, это не КамАЗ, но великое складывается из малого, да и опыт заодно приобретается. — Мы берем из прошлого своего и чужого опыта все, что можно передать в будущее.

Батенчуку эта мысль напомнила его давние комсомольские годы, и он про себя отметил, что ему нравится этот молодой человек, такой искренний, непосредственный и, может быть, чуть романтично-наивный.

У входа в казанский кремль, где Раису хотелось показать Батенчуку башню Сююмбеки, Евгений Никанорович подошел к скульптуре,

изображающей человека, силящегося вырваться из пут колючей проволоки.

— Муса Джалиль, — шепнул Раис.

Батенчук снял шапку, подошел и потрогал холодный монумент. Он стоял так очень долго. Раис не знал и не мог знать, о чем думает сейчас Батенчук. А прилетевший из Сибири Евгений Никанорович неожиданно оказался лицом к лицу со своим военным прошлым. Он тоже был когда-то опутан колючей проволокой — теми, кому казалось, что и весь земной шар можно опутать ею, запугать, уничтожить все живое. Они полагали, что из моабитов, освенцимов, бухенвальдов, маутхаузенов и эбензее один лишь выход: в небо, через трубу крематория. Этого им не удалось сделать. И тот факт, что Евгений Батенчук, бывший узник фашистского застенка, стоит тут, в Казани, у памятника бессмертному Мусе Джалилю, чей труп сожгли, но его живая душа живет и переживет века, — свидетельство этому. Батенчук дает своему товарищу по военной судьбе тихую, только им одним слышную клятву: «Я приехал на твою родину, Муса, строить то, чего тебе не довелось ни построить, ни увидеть. Но и твое имя, и все, что ты сделал, и твой подвиг будут помогать нам все эти предстоящие годы. Мы, оставшиеся в живых, уцелевшие, вернувшиеся к труду, обязаны работать за тех, кто не вернулся. Мы будем работать и за тебя, Муса. Мы построим завод и построим город, а самой красивой улице в этом городе мы присвоим твое имя, Муса».

К башне Сююмбеки Батенчук и Беляев в тот день не успели. Их ждал самолет «АН-14», на котором они и прилетели в Набережные Челны.

Как вспомнит Батенчук свою первую встречу с Челнами? Пока неизвестно. Пока только Беляев вспоминает свою встречу и рассказывает о ней Евгению Никаноровичу.

Прилетел на таком же самолете с секретарем обкома партии Михаилом Трофимовичем Троицким, пленум избрал его первым секретарем, а когда все разошлись, он остался один, и вдруг напала на него жуткая тоска. Почему-то он не любил этот старый заштатный райцентр со странным названием Набережные Челны. Приезжал сюда редко и никогда не оставался на ночлег. Сам не знает почему. А тут — целых четыре года! В обкоме партии так и сказали: «Четыре года. Все будет готово — и мы тебя снова вернем сюда». Какими будут эти четыре года, да потом еще два раза по четыре, Раис не мог себе представить. Был самый канун семидесятого года, и ему предстояло встретить этот Новый год здесь одному, без Фаи, без детей. Что же делать? Прежде всего взять себя в руки. И понять одно: начальство будет прилетать и улетать, а отвечать за все здесь будут ты и те, которых ты выберешь себе в помощники.

Раис взял себя в руки в тот предновогодний вечер.

В городе было несколько рабочих общежитий, построенных для строителей Нижнекамской ГЭС. Позвонил председателю горисполкома:

— Пойдемте по общежитиям, взглянем, как рабочие встречают Новый год.

Председатель принял это приглашение с неохотой, сослался на занятость, но ведь нельзя было отказать только что вступившему в должность первому секретарю. И все же не удержался:

— Что там — общежития... Ничего интересного...

Да, действительно ничего интересного в общежитиях. Лежат в одежде на незаправленных койках лохматые парни, курят, дымяще. У кого есть родные, завелась копейка — поехали домой, а у кого их нет — лежи на койке и дыми. Никаких признаков наступления праздника. «Что же это такое?» — кипело в душе у Беляева.

— Есть ли у вас комендант или кто-нибудь старший? — спросил он лениво поднявшегося крепыша.

— Ну я старший. А чего надо?

— Мы вот тут с председателем горсовета интересуемся, как Новый год собираетесь встречать.

— Новый год? Да так, как все остальные дни. Что тут такого — Новый год? Ерунда!

Привстали с коек еще трое парней.

— Вы чем занимаетесь? — обратился к ним Беляев. — Кто вы по специальности?

— Специальности? Да так, все по полтиннику.

— Это как понимать?

— Значит, по полтиннику в час, по пятьдесят копеек, если выйти на объект и ничего там не делать, а если ничего не делать здесь, в общежитии, тогда и по полтиннику не получится... Вот так и живем...

Вышли на улицу. Председатель горсовета произнес с явным намерением оправдать свое нежелание идти по общежитиям:

— Шпана одна, откуда только их понабрали.

Беляев ничего не ответил на эту реплику. Прошелся взглядом по окнам всех этажей общежития, обратил внимание на окошко, освещенное не так, как все остальные, определил, что это на третьем этаже во втором подъезде, и, к удивлению своего спутника, вошел в подъезд и быстро поднялся наверх. Постучал. Оживленные девичьи голоса смолкли, наконец кто-то посмелей отозвался:

— Войдите!

— С наступающим Новым годом, девчата!

Беляев прошел на середину комнаты, где стояла украшенная елочка. В комнате пахло дымом от только что потушенных свечек. Убрать их девчата не успели. Сквозь игольчатые лапы сочился дым.

— Я первый секретарь горкома партии Беляев, товарищ — председатель горсовета.

— А мы напугались, — призналась одна из девчат, — думали, комедантша, она очень злая. «Никаких мне елок. Пожару наделает!» — предупредила.

В девичьей комнате было тепло и уютно, фотографии, вырезки из «Огонька» и «Работницы», вышивки и накидки на аккуратно застеленных кроватях. Оказалось, что девчата — штукатуры, вместе выросли в детдоме, вместе ПТУ окончили и вместе сейчас живут здесь, правда работы мало, как затормозили Нижнекамскую, так стало скучно, а ехать никуда не пускают, может быть, когда начнется строительство большого города, станет веселей.

— Конечно, станет веселей, — поддержал их Беляев, — вы никуда не уезжайте, скоро женихи сюда понаедут.

От этого чужого тепла стало теплей на душе и у Раиса Беляева. К черту хандру, нужно начинать думать о настоящих помощниках. На улице спросил председателя горисполкома:

— У вас дома есть елка?

— Зачем она мне? — удивился тот.

— А в центре города почему нет елки?

— Мы ее никогда не ставили...

— Ну ладно, с наступающим. — Беляев протянул руку озадаченному председателю и пошел к гостинице.

Не любит Беляев равнодушных, казенных людей, которые не умеют утеплять, облагораживать свою жизнь. «У меня дома елки нет!» Так если у тебя ее нет, если она тебе не нужна, не приносит радости, значит, и другим не нужна? А если тебе даже по должности положено заботиться о людях, делать им приятное, а ты этого не делаешь, как же ты, коряга бездушная, жить дальше думаешь? Нет, с такими работать трудно. Им нельзя доверять заботу о человеке, все провалят.

Он вошел в гостиницу, на столе лежала подшивка местной газеты. Принес ее из парткабинета. Какое ни есть, а все же чтение.

Среди сообразительств на 1970 год читает: «Довести обслуживание гостиницей до 1100 человек», «Перевыполнить план по банепомывкам на тысячу пятьсот женских и мужских единиц». На второй странице стихи местного литератора:

Брожу один среди берез и кленов,
Под их листвою, пыльной и резной,
И снова натываюсь на влюбленных —
Им хорошо вдвоем под бузиной...
Так было в прошлом, на заре столетий,
При коммунизме будет так же. Пусть!
Я притворюсь, что я их не заметил,
Не помешаю и не оглянусь...

— Во дают! — произнес Беляев вслух и стукнул со всей силой по подшивке. Поднялось облачко пыли. Открыла дверь без стука дежурная:

— Вы здесь? А я думала, что-то упало...

Для Беляева те предновогодние дни семидесятого и эти воспоминания, которыми он делится сейчас с Батенчуком, — далекое прошлое. Батенчуку же встреча только еще предстояла.

24

В какой же день показал Батенчук свою книжку со стихами Раису Киямовичу? Да, вскоре после того как Евгений Никанорович стал замом. Раис и Фая заглянули вроде так, между делом, говорили обо всем, только не о случившемся. Людмила Васильевна извинялась за беспорядок, она недавно переехала и не успела все еще прибраться как следует, устроит уют, хлопотала, что-то там соображала на кухне. Раис осторожно переворачивал желтые страницы потрепанной записной книжки, вчитывался в строки, выведенные мелким почерком химическим карандашом. Перед каждым стихотворением дата, названия незнакомых местностей.

1942

Я невольник, сижу у окошка,
Сквозь решетку мне светит луна,
Это ты посылаешь, возможно,
Поцелуи луной для меня...
Заковали нас в цепи стальные
И решеткой затмили нам свет,
Но кипят наши головы злые,
Палачам мы готовим ответ...
И я вижу — в тайге за Уралом
Создан русский могучий кулак...

Строки гнева и боли, но ни капли страха, ни тени безнадежности, отчаяния. Гражданский стих, слово партийца гремит над фашистским застенком:

Далеко отсюда, на востоке,
Жаркий бой за Родину идет,
Там в боях, тяжелых и жестоких,
Волю брат родной тебе несет.
Своей кровью пишет он страницы
Повести великой наших дней.
Он — герой и вправе тем гордиться,
Он — защитник Родины своей...

Бескомпромиссный Батенчук замечает в лагере подхалимов, двурушников, не стыдящихся ради куска хлеба продавать себя. Или — других. И летят листовки-проклятия, клеймящие предателей:

Не простят вам подлости измены
Те, кто землю кровью поливал,
Будьте прокляты и Родиной презренны
Все, кто телом, честью торговал!

В тесной камере, на цементном ледяном полу узнику снится сон,

и он рассказывает его своим товарищам. Пусть и их мысли будут все время там, на родине:

Домой быстрее, на родину скорее,
Мой поезд мчится, ветер мой свистит —
Ведь наше небо всех небес светлее,
И солнце жаркое яснее там горит...

Автор мысленно мчится на восток, стремится туда, где его любимая родина.

1943

Далеко мой дом, мои родные,
Далеко любимая страна,
Вспоминаю только дни былые —
И невольно катится слеза.
Третий год степей родных не вижу,
Третий год среди чужих людей,
Песен звонких родины не слышу —
Затоптал их бешеный злодей.

Гремит над миром весть о сталинградской победе, охрана лагеря еще сильнее лютует от злости, нужно объединить узников общей песней, создать гимн военнопленных, и по лагерю идет листовка: «Товарищ! Выучи эту песню на мотив любимой нашей мелодии «Широка страна моя родная»...» И далее слова:

Шагает армия страны родимой
И партизан отряды впереди,
Шагают поступью несокрушимой
Страны моей гвардейские полки.
Смелее, пленные! Не падать духом!
И к Власову и в мыслях не идти!
Сожжем кулак, ударим не промазав
И как один все бросимся в штыки!
А все, что враг награбил с Украины,
И все, что взял с Кубани, на Дону,
Оплатит нам сполна своим Берлином,
На этом кончим с немцами войну!

Беляев мысленно читает в такт мелодии Дунаевского, смотрит на цифру 1943, глаза увлажняются, он снимает очки. Батенчук вдруг сам начинает читать вслух наизусть одно стихотворение за другим:

Ну-ка, Власов, что ты скажешь?
Как твои дела?
Чем ты пятки теперь мажешь
И пойдешь куда?
Гитлер, Геринг, Гиммлер, Геббельс
В ад, наверно, попадут.
Ну а ты куда ж полезешь?
В ад тебя же не возьмут!
Для чертей ты ведь опасен —
Знают: сразу станешь там,
Чтобы жизнь обезопасить,
Манифест писать чертям...

— Конечно, это не поэзия,— говорит Евгений Никанорович углубившемуся в чтение Беляеву.— Но эти стихи сыграли там свою роль. Рифмованные слова легче запоминаются, и я избрал рифму как оружие борьбы, и оно стреляло. Идешь на работу под конвоем и слышишь эти строки — узники перешептываются, передают слова друг другу,— и для меня тогда не было большей награды.

Беляев перечитывает, пытается запомнить строки:

1945.

Тобою, Родина, мне жизнь возвращена,
Тебе служить обязан неизменно,
Тебе мой ум и рук моих дела,
Тебе и жизнь отдам я безвозмездно.
Я муки плена твердо перенес,
В неверности тебе ни капли не запянул,
Я лозунг партии сквозь ад фашистский нес
И людям говорил на языке понятном...

Вот какие они, неизвестные Беляеву страницы жизни его соседа. Но только ли это? Сколько бы ни беседовал Раис с Евгением Никаноровичем, он убеждался, что этот человек таит в себе еще много загадочного. Иногда он повернется такой стороной, что любой ахнет, а у него получается так, будто все само собой разумеется и никак иначе быть не может.

— Точно не помню, кто это написал, по-моему, брат Ленина Александр Ульянов. Но в моей голове это запечатлелось дословно: «Оценивая человека, я держусь всегда такой мерки: насколько он выработал себе определенные общественные идеалы, идеал иного, лучшего порядка вещей, насколько основательны и прогрессивны его убеждения и насколько энергично и самоотверженно он идет к их осуществлению». Хорошо сказано, да?

Идти самоотверженно к осуществлению выработанных общественных идеалов! Как точно определяют эти слова поведение и жизнь самого Батенчука! И как хорошо жить рядом с этим человеком, чувствовать не только его плечо, но и дыхание!

Беляев обращает внимание на цифры в той записной книжке, которые стоят под некоторыми стихотворениями. Что же это такое? 2311925.

Эти цифры тоже сражались. Ими подписывались в лагере обращения к узникам, переданная информация, они переходили от одного к другому как что-то священное, обещающее спасение.

2311925.

Узнал эти цифры Евгений Никанорович Батенчук еще до войны, в 1939 году, когда он стоял взволнованный перед первым секретарем Рубежного горкома партии Ворошиловградской области в Донбассе Абрамушкиным, слушал его добрые наставления и с нетерпением ждал, когда небольшая красная книжечка, свидетельствующая о том, что он полноправный член ВКП(б), перейдет из рук секретаря горкома в его руки. Когда вышел из помещения, взглянул на билет: № 2311925.

Он запомнил этот номер. Под этим номером он значится бойцом партии коммунистов, которой он верит и делу которой будет служить до последнего своего вздоха. Когда первая листовка в лагере смерти была пущена под номером 2311925, Батенчук знал, что если ему суждено будет погибнуть в полной неизвестности, номер его партийного билета, ставший связным тысяч и тысяч узников, будет защищать и его ничем не запятнанное имя.

Надо мной стояла смерть четыре года,
Но я твердо верил, что придет свобода...

Вам пою, старики!
Словно струны во мне заиграли,
Благодарность мою, седовласый народ мой, прими
В знак сыновней положенной дани...

Набережные Челны

КамАЗ строила вся страна. В его создании участвовали посланцы свыше 70 народов СССР. 60 организаций принимали участие в разработке технического проекта. Созданная ими машина «КамАЗ» успешно прошла испытания в трудных горных условиях, в песках Средней Азии — при пятидесятиградусном морозе и сорокаградусной жаре.

В Челнах Батенчук встретил, как он образно выразился, «концентрированное партийное руководство». За Беляевым он стал на-

блюдать еще с первой встречи с ним в Казани. Подкупала искренность молодого первого секретаря, его неумемная энергия. Вместе с тем, заботясь о людях, Беляев, бывало, проявлял и резкость. Но Батенчук понимал: резкость эта диктовалась той же заботой о людях. Для кипучего гнева Беляева, когда дело касалось человеческих судеб, не было никаких авторитетов. Что греха таить, попадало и ему, Батенчуку, за недосмотры. Небезынтересен такой, например, эпизод.

Если спросить любого партийного работника в Челнах, что такое святой день, то ответ последует один: вторник. Это день, когда все первые руководители города, районов, заводов должны принимать население по личным вопросам. В одни и те же часы — с четырех до шести.

Шла очередная планерка в понедельник, в восемь утра. Беляев оглядел зал.

— Все на месте?.. Да, все. У меня к вам одна просьба — сократить свои выступления до минимума.

Когда выступления закончились, Беляев спросил, присутствует ли в зале такой-то товарищ, и назвал фамилию. Из задних рядов поднялся высокий мужчина лет за сорок, загорелое самодовольное лицо.

— Я хотел, чтобы все на вас посмотрели. В зале несколько новых, прибывших на прошлой неделе руководителей... Садитесь.— И Беляев снова обратился к залу: — Товарищи, по поручению бюро горкома партийная комиссия проверила выполнение решения о приеме граждан. О некоторых результатах сейчас нам доложат.

— Мне хочется сказать,— начала председатель партийной комиссии, знакомая всем сотрудница горкома,— что в основном решение выполняется.— Она подчеркнула — в основном, и всем стало ясно, что сейчас последуют детали.— Но мы встретились и со случаями вопиющего равнодушия, формализма, хамства, если хотите. (Все посмотрели в сторону человека, которого поднимал Беляев.) Вот, к примеру, товарищ... (Последовала фамилия.) Приходим к нему, приближаются часы приема, а его нет. Опоздал минут на двадцать. А приемная полным-полна народу. Наконец дожидается. Шагает к себе, ни с кем не здоровается. Мы за ним. Сказали, что так, мол, и так, мы партийная комиссия из горкома, с нами ветеран партии. И, представьте, это его ничуть не смутило. Уселся, снял сапоги, секретарь принесла туфли, он чинно переобулся, встал, прошелся, а тут женщина входит вся в слезах... А он ей: «Ждите, пока пригласят!»

— Все! — прерывает Беляев.— Дальше не надо.

Но председатель комиссии женщина упрямая:

— Надо, Раис Киямович. Потому что товарищ ее не то что не выслушал — он ей даже воды не предложил, а сам, видите ли, кофе себе потребовал! Секретарша ему кофе на подносе, а он развалился, сидит, живот себе поглаживает...

Беляев снова попросил товарища встать. Бросил взгляд на побагровевшего Батенчука:

— Ваш зам, Евгений Никанорович, по быту... А вас я поднял снова, — сказал он любителю кофе, — чтобы увидеть, краснеете вы или нет. Но из-за густого загара не видно. Но мне кажется, что вы не умеете краснеть от стыда, как Батенчук... Товарищи, люди идут к нам на прием не от хорошей жизни. Часто они требуют от нас только правильного распределения того, что им положено от государства. И если имеются жалобы, значит, мы плохо работаем, и преступно наслаждаться, когда перед тобой плачут! Садитесь!

С тех пор прошло много времени, того зама давно на стройке нет, но иногда всплывает в памяти этот урок.

...Весна 1979 года преподнесла челнинцам еще один сюрприз. Было такое половодье, какое бывает лишь раз в столетие. Двум временным поселкам, где проживало шестьсот семей — три тысячи человек, — грозило полное затопление. Но горком был на страже. Едва

последовало сообщение о надвигающемся бедствии, как тут же был создан оперативный штаб по переселению людей.

— Не временное переселение, — сказал Беляев на бюро, — а переселение в новые благоустроенные дома.

Выяснили тут же, в каких организациях имеется готовое жилье, где и как можно ускорить сдачу этого жилья, и за два дня были выписаны сотни ордеров, к вагончикам по заранее составленному графику подъезжали машины и перевозили жителей в новые квартиры.

Разлив никого не застал врасплох. Сейчас на месте, где когда-то теснились временные поселки, зеленеют деревья и цветут цветы — там созданы теперь участки любителей-садоводов.

В трех главных направлениях работал горком все эти годы, три задачи решали одновременно, выступая в роли главного организатора всех больших дел. Это строительство заводов, обеспечивших выпуск первого автомобиля ко дню открытия XXV съезда партии — 16 февраля 1976 года; это строительство города, развитие пригородной зоны для снабжения населения продуктами питания; одновременно с этим воспитывались партийные и хозяйственные руководители. Вокруг бюро горкома — крепкий актив, в котором каждый человек всегда может встать в первую шеренгу.

Наступило время, когда горкому тяжело стало управляться со все возрастающей массой дел. Батенчук помнит, с какой радостью было воспринято решение о создании в Набережных Челнах трех районов: Автозаводского — там, где комплекс заводов по выпуску грузовиков, Комсомольского — основной район строителей, Тукаевского — вся сельскохозяйственная зона. Три работника горкома возглавили райкомы партии. Они опора городского комитета — Кривоногов Анатолий Павлович, Петрушин Юрий Иванович, Курмашов Юлдуз Вагизович. Прощедшие челнинскую школу выдвигаются на работу в область, в другие районы. С одной стороны, Беляеву вроде и жалко расставаться с верными помощниками, а с другой — испытывает гордость: челнинские кадры показывают себя неплохо на новой работе. Взять хотя бы Миргалима Ахметовича Нагаева. Был вторым секретарем горкома в Челнах, сейчас первый секретарь Заинского райкома... А сколько их, челнинцев, в других городах, на других стройках!..

Они сидели в Кремлевском Дворце съездов. Шел XXVI съезд партии. Беляев Раис Киямович, Васильев Лев Борисович, Батенчук Евгений Никанорович. Их объединило строительство КамАЗа, их послала делегатами на съезд областная парторганизация Татарии. Две пятилетки они шли, чувствуя локоть друг друга: первый секретарь горкома, генеральный директор строящегося завода, генеральный подрядчик. Было бы неправдой сказать, что между ними всегда и во всем царил полное единодушие. Были споры, ошибки, борьба мнений, но все были едины в одном: не жалеть себя, своих сил для выполнения задания родины. О том, как она выполнена, скажет с трибуны XXVI партийного съезда первый секретарь Татарского обкома партии Рашид Мусинович Мусин.

Беляев, Батенчук и Васильев хорошо знают, как еще до начала главных событий на левом берегу Камы, в районе Набережных Челнов, Татарский обком, его бюро готовили коммунистов к тому, чтобы оказывать великой стройке, ее первопроходцам помощь во всем объеме возможностей республики. И не было дня, чтобы обком не занимался челнинскими делами. Отбор и направление на стройку испытанных кадров, размещение новоселов, забота об их семьях, школы, кров, хлеб, одежда — все, что нужно приехавшему на долгие годы человеку, рассматривалось как предмет пристальной партийной заботы, как ответственнейшее партийное поручение.

В Кремлевском Дворце съездов звучали слова телеграммы Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, адресованной всем, кто трудился на Каме: «Как Магнитка и Днепрогэс, Уралмаш и Братская ГЭС, освоение целинных земель, КамАЗ по праву войдет в летопись выдающихся свершений советского народа».

Аплодировали и они — Беляев, Батенчук и Васильев — и мысленно переносились к своим землякам, на берега великой реки, к тем людям, с которыми вместе мечтали, месили грязь, переносили морозы, наводнения, преодолевали тысячи преград и брали тысячи высот...

Вернемся и мы, дорогой читатель, в Набережные Челны, к событиям и делам, составляющим подвиг на Каме.

Набережные Челны

К 1 января 1982 года в городе построено 8 дворцов культуры, кинотеатров и клубов, 108 библиотек с книжным фондом в 2 миллиона 330 тысяч томов. Есть свои поэты и прозаики, художники, архитекторы.

26

Раз в году на первом этаже дома номер 7 по улице Гидростроителей в Набережных Челнах собирается триумвират. Каждый из триумвиров готовится к заседанию с большой тщательностью, как правило, стараясь не посвящать в свои планы остальных. Отличительной чертой тайного совета является то, что бремя предстоящих расходов добровольно взваливает на себя старший. Причина вполне объяснима: у младших нет еще источников дохода. Проживающая в квартире женщина, разумеется, ни о каком заседании и его решении знать не должна.

За все время жизни в Челнах, на этой улице, в этой квартире Фая Исмагиловна Беляева встает намного раньше мужа и сыновей. Их надо накормить, проводить — кого на работу, кого на занятия, — потом и самой быстро собраться, чтобы успеть на службу ровно к восьми утра, как все челнинцы. Но в этот день мужчины встают раньше ее. Умоются, поедят, уберут все с огромными предосторожностями: ни в коем случае не разбудить маму! Наконец настает время, когда и ей надо вставать. Она открывает глаза, а перед ней — трое таких сияющих и родных: Раис по середине, Айрат и Айдар прижались к нему справа и слева, сыновья обошли отца ростом.

— Поздравляем тебя, родная мамочка, с праздником! — И каждый достает из-за спины то сокровенное, скрываемое ими друг от друга, что должно доставить маме особое удовольствие.

На календаре — Восьмое марта.

И снова будни.

Раис пришел домой поздно, радостно-возбужденный, улыбается так, что его смуглое лицо только из одной улыбки и состоит. Но кроме «добрый вечер» ничего не сказал. Фая тоже. Как всегда, не допытывается: если надо, сам все скажет. Раис сбрасывает полушубок, снимает ботинки и на ходу выпаливает:

— Ты знаешь, Фая, я сегодня провел над собой эксперимент.

— Какой?

— Настоящий эксперимент, чуть ли не по всей науке. Я вчера говорил тебе: друг приехал стройку и завод посмотреть, выбрал три дня, оторвался от столицы и приехал. Увидел одно-другое, ахает, восторгается, а я ему говорю: вот если ты мне друг, то весь день — с утра до вечера — проследи за мной, а вечером устройшь разбор. Согласился. А он знаешь какой придира! Утром на планерке поси-

дел, потом на бюро, потом понаблюдал, как я людей принимаю, затем при одном почти интимном разговоре присутствовал, а в четыре часа поехал со мной в новый город. Там друзья-строители сорвали сдачу камазовского Дворца культуры. Во мне все кипело, я минут на сорок разбор устроил с наждачком...

— Опять?

— Ты подожди! Ты меня не перебивай, а то самое главное не расскажу.

— Садись поешь, потом расскажешь.

— Ну давай, я буду есть и рассказывать.

В предпусковой период второй очереди КамАЗа происходило столько событий, столько совещаний, встрясок, давалось и не выполнялось столько обещаний, что Раис, разумеется, не мог рассказывать обо всем жене. К примеру, строители дали слово сдать Дворец культуры к 6 ноября. В новом городе уже около двухсот тысяч человек, а действует всего два кинотеатра. Дворец необходим как воздух. И Раис взял этот объект под особый контроль. Узнав о твердом обещании строителей кончить все к октябрьским, он в одном из предпраздничных выступлений взял и сказал, что, мол, для трудящихся к годовщине Великого Октября откроются гостеприимные двери Дворца культуры. Выступление Беляева напечатала городская газета. Прошли праздники, пришел декабрь, а дело ни с места. Сегодня он им сказал: «Получается, что вы меня обманули, а я обманул весь город. Так вот. Только что состоялось решение бюро горкома. Установлен новый срок сдачи. Отделу пропаганды отпечатать приглашения на тридцатое число восемнадцать ноль-ноль. Пригласить лучших строителей и передовиков-автозаводцев. Дать для них концерт лучшими силами города, а если возможно, пригласить бригады из Казани и даже из Москвы. Этим делом займутся секретарь горкома Лидия Викторовна Шилова и присутствующая здесь зав отделом пропаганды Акепсимова. Покажитесь людям, Надежда Сергеевна.— Беляев пригласил из стоявшей в стороне группы работников будущего дворца молодую, застенчивую на вид женщину.— Всеи организацией вечера будете руководить вы,— сказал он. И, сделав паузу, оглядев недостроенный зал, потолок без светильников, пустую, «неодетую» еще сцену, вновь обратился к строителям: — Надеюсь, что на этот раз вы уже не подведете... Евгения Никаноровича попрошу проследить, взять под особый контроль...»

— Заканчиваем мы эту планерку и уезжаем. Друг сидит рядом и молчит. А у меня в голове один вопрос: что он скажет? При водителе, наверное, неудобно, я понимаю. Смотрю то налево, то направо, все залито огнями, я по огням узнаю все объекты, все улицы, показываю ему и говорю: «Видишь? Было чистое поле десять лет назад, когда ты сюда впервые приехал, а сейчас Нью-Йорк!» «Не оскорбляй свой город! — воскликнул он.— Это Набережные Челны, Набережная Надежды».

Беляев изучает, как жена реагирует, и продолжает:

— Доехали до горкома, шофера я оставил, сам сел за руль, и выехали за город, туда, в лес. Видишь, какая луна? А там, за городом, она еще больше. Светло, как днем, ветра нет, мороз только чуть-чуть, хвоя в снегу, словно в кружевах все. Вышли из машины, ходим по мягкому снегу, а я допытываюсь: «Ну как?» Объясняю ему, как и десять лет назад: мне нужно знать мнение человека, наблюдающего меня со стороны. Чтоб он сказал, не опасаясь ничего, какие глупости я делаю, где я неправильно поступил. Я же ведь не могу делать все правильно, это ведь так?

— Чудак,— лукаво улыбается Фая.— Ты бы меня брал с собой на твои совещания, планерки, в поездки, и я бы не в лесу, а здесь, дома, устроила бы самый квалифицированный разбор.

— Ты будешь необъективной. Знаю я тебя!

— А твой друг объективный? Потому что хвалит? Вы только этого и ждете, чтобы вас похвалили, тогда — полная объективность!

— Ну подожди... Он одобрил почти все, что я делал. А в прошлый проезд ругался. Я тогда пробрал одного начальника СМУ, который срывал все сроки сдачи первой школы к новому учебному году. Я с тем человеком слишком резко обошелся... А сегодня он почти все одобрил. Даже что-то из моих высказываний записал, потом цитировал.

— Ну, поэтому ты такой сияющий пришел. А что за цитаты?

— Одному сегодня нужно было строгача влестить, а я ему сказал, что у партии взыскания находятся на более строгом учете, чем ордена. А он своим поведением заставляет бюро транжирить этот особый партийный фонд...

Дверь открылась и вошел Батенчук.

— О, Евгений Никанорович, садитесь с нами ужинать.

— С удовольствием.— Батенчук снимает пиджак, выносит его в прихожую на вешалку — на спинку стула, как обычно делают мужчины, не вешает, по размерам его верхней одежды нет ни стульев, ни плечиков.

— Я вас угощу сегодня перемечами. Хорошо?

— Хорошо, Фая, хорошо.

— Сочные,— хвалит Беляев, он знает, как приятно Фая, когда нравится приготовленная ею еда.— Ну что, Евгений Никанорович, и по рюмочке?

Батенчук не отказывается.

Фая наблюдает, как мужчины едят молча, никто не начинает разговор. Может быть, беляевский «наждачок» сыграл какую-то роль в этом молчании? И она решается нарушить тишину:

— А Раис сегодня устроил над собой эксперимент.

Беляев начинает смеяться, а Евгений Никанорович достает из кармана большой белый платок, вытирает выступившую на высоком лбу испарину, наматывает потом этот платок на руку — у него такой способ сушить его,— отвечает:

— Не только над собой...

— Сейчас он меня критиковать начнет.— Беляев подмигивает жене.— А ты меня защити.

— Нет, не буду критиковать, все правильно. После вашего отъезда я поговорил с ребятами по душам.— Для Батенчука начальники трестов, СМУ, под началом которых пять, шесть, десять тысяч человек,— «ребята».— Оказалось, что они перед Новым годом гнали жильё, чтобы обеспечить себе премии. Провалят жильё — премии не дадут, а если культбыт провалят — это на премию не влияет.

— Я же хотел еще и об этом сказать им,— загорелся Беляев,— но если принципиально подходить к делу, наказывать надо.

— Не надо,— миротворчески говорит Батенчук,— все сделают, будет вечер, как договорились, тридцатого.

В прихожей загремели шаги. Вернулись из кинотеатра сыновья Беляева. Он с Фаяй привез их сюда еще маленькими, а сейчас старший в институт готовится, младший в восьмом классе. Айрат выбрал медицинский. Младший — секретарь школьной комсомольской организации: «Я по стопам отца пойду». Ну а сейчас оба улетают перемечи.

— Какой фильм смотрели? — спрашивает отец.

Ребята смеются: сказать или нет?

— Тот, который мы с тобой в Москве смотрели,— отвечает Айрат.

— Смотрели! — ухмыляется Айдар.— Он же там спал.

Да, был такой грустный случай в биографии Беляева. Обещал он Фаяе и ребятам, что, когда поедет в Москву на очередную сессию Верховного Совета, возьмет их с собой. И обещание выполнил. Правда,

Айдар чуть приболел, так что Фая осталась с ним в гостинице, а Раис с Айратом пошли гулять. В кинотеатре «Россия» шел двухсерийный фильм «про шпионов», и Раис не мог отказать старшему сыну в удовольствии. Пошли. Фильм был длинный, Раис уснул и спал обе серии.

— Ох и выспался я тогда! Кажется, что с тех пор никогда больше с таким удовольствием не спал!

— А ты иди завтра в «Чулпан» — и выспишься. Последний день показа. — Младший сын очень часто настроен на такую веселую волну.

Фая обращается к Евгению Никаноровичу:

— Этот детектив смотрит, отец около него спит, а мы с Айдаром ждем их час, два, три, четыре, да Раис еще знакомых к нам в гостиницу пригласил в тот вечер. Вот так...

— Был такой грех, был. Но я же потом исправился!

— Конечно, исправился, конечно.

Забегал внук Батенчука — срочно к телефону.

Батенчук извинился и вышел. Ребята стали помогать матери убирать посуду со стола, Фая заваривала чай — мать Раиса прислала из деревни свежий чэк-чэк, надо угостить Евгения Никаноровича. Вдруг совсем посерьезневший Айдар делает таинственные знаки матери и отцу. Они подходят к нему, и он тычет пальцем в сторону комнаты, которая служит им и столовой и гостиной. Поначалу ни Фая, ни Раис ничего не поняли: посреди комнаты спиной к ним стоит пиджак Евгения Никаноровича. Потом он самостоятельно двигается по комнате то вправо, то влево. Над воротником чуть-чуть выставилась макушка Айдара.

— Айдар! — крикнула Фая. — Сейчас же вернется Евгений Никанорович!

— Звонила Ольга. Доехали хорошо, устроились.

Ольга — дочь Евгения Никаноровича, недавно ее муж был командирован на заграничную работу, и она уехала с ним. Евгений Никанорович сияет, они с Людмилой Васильевной очень переживали, ждали этого звонка. К Ольге они относятся с особенной нежностью. Чуткий Беляев предложил выпить за Ольгу, за то, чтобы ей там, далеко от дома, было хорошо.

Ребята оставили взрослых и ушли в свою комнату — завтра с утра на занятия. Айрат смеется, не может забыть, как передвигался самостоятельно по дому пиджак Евгения Никаноровича, пытается изобразить это на листочке, чтобы когда-нибудь вспомнить и посмеяться всем вместе.

А за столом вроде вдруг примолкли голоса, и ребята слышали только густой бас Евгения Никаноровича, который перекачивается, как гром, даже когда он произносит очень спокойные, «умиротворяющие» слова:

— Я заранее приглашаю вас на торжество по случаю сдачи дворца. А заодно посмотрим, как украшен город елками. Предгорсовета Гилязов грозился все площади осветить елочными огнями... А если Кама подходящий лед даст — дворцы из ледяных глыб построим и в старом и в новом городе... Я уже распорядился технику для этого дела выделить... Сделаем такой ледяной эксперимент...

Набережные Челны

Живописная пригородная зона — не только место отдыха автозаводцев и строителей. Здесь выросли предприятия сельскохозяйственного производства: птицефабрики, животноводческие комплексы. Большое тепличное хозяйство обеспечивает город круглый год свежими овощами и цветами.

Эксперименты...

Одно авторское отступление.

Стройка на Каме лишь обрела еде заметный контур. В Москве еще мало кто знал, как добраться до городка с довольно загадочным названием Набережные Челны. Звонки, наведение справок, объяснения с бухгалтерами, еще не знающими, сколько денег выдать на дорогу («А это где? А как вы туда попадете?»). Затем поезд «Татарстан» до Казани и шесть часов на подводных крыльях по Волге и Каме. Так наша бригада оказалась в Челнах в поисках оригинальных материалов для оживления новомирской рубрики «Очерки наших дней». Тогда и состоялась первая встреча автора с будущим главным героем этой книги. Двенадцать лет назад. На мое предложение — «а что, если написать о вас, Раис Киямович?» — Беляев улыбнулся и ответил: «Обо мне? Я ведь партработник. А о нашем брате как пишут? «С большой речью выступил...» Или еще: «Образ коммуниста в романе таком-то». То влюблен, то страдает, то жена от него уходит. Он ведь от жены уйти не может, не так ли? Или там с председателем райисполкома не ладит... Слушайте, а как быть, когда в районе первый секретарь как первый секретарь, второй — умный парень, а с председателем райисполкома они просто дружат? И дома они довольно прилично себя ведут, нормальные семьи с детьми и заботами, с радостями и хлопотами. Как тогда быть?»

Прошло, как я уже упомянул, двенадцать лет со дня этого разговора. Не счесть наших поездок на КамАЗ, наших встреч и бесед с челнинцами. «Новый мир» выпустил три тома очерков своих авторов под общим заглавием «Набережные Челны», книгу стихов рабочих-поэтов «Лебеди над Челнами», новомирцы ездили на Каму и по одному и всем коллективом. Приезжали и челнинцы к нам в Москву. Установилось, как принято говорить, творческое содружество, шефство то ли новомирцев над КамАЗом, то ли КамАЗа над новомирцами. Скорее всего последнее. И мы постепенно открывали в наших знакомых все новые и новые замечательные черты всесторонне развитых, общительных, широкообразованных, простых и жизнерадостных людей — героев нашего времени...

Полет от московского аэропорта Быково до аэропорта Бегишево в Набережных Челнах подобен был, по словам одного поэта, путешествию верхом на бормахине. «АН» дребезжал и гудел так, будто его тысячи «лошадей» сбросили узду и кинулись в разные стороны. Чувство юмора покинуло даже заядлых любителей анекдотов. Но стоило нам коснуться челнинской земли — как рукой сняло и нервное напряжение, и усталость, и все, что было связано со злополучной «бормашиной».

Нас встретили друзья, близкие друзья, и окружили теплом. Нам рассказывали обо всем — об удачах и неудачах, — нам показывали все: и заводы, и дворцы культуры, и школу искусств, и кинотеатры, и магазины, и свои дома, и места, где челнинцы отдыхают... Была переправа в Елабугу, музей Шишкина и дивные шишкинские леса, была поездка к могиле Марины Цветаевой (челнинцы заботятся и о ней), была плотина уже работающей Нижнекамской ГЭС и безбрежное рукотворное море, отражающее поздний закат... И Раис Киямович Беляев, и Лидия Викторовна Шилова, и Евгений Никанорович Батенчук, и все прославленные челнинцы, с которыми мы встречались, рассказывали о своем крае так, будто впервые об этом рассказывают, ведь Челны — самое близкое и дорогое им, частица их сердец.

Три дня поездок, встреч, новых знакомств, три дня, сказал бы я, сплошной радости. А «за поворотом» — новые неожиданности.

Опушка леса, березовая роща, глубокая трава — те самые, о которых писала Ксения матери. Здесь начало пригородной зоны, Тукаевский район. Здесь нас ожидал праздник поэзии и песни. Накануне во время встречи с командирами стройки и директорами заводов камазовского комплекса разговор касался технического прогресса, так называемой производственной темы в литературе и искусстве, сложных проблем экономики, переосмысления и отражения всего этого в художественных произведениях. «Литература, искусство, по-моему, существуют для того, чтобы помогать людям жить. Общение с писателями, композиторами, художниками, артистами помогало нам все эти годы... Мы видим в вас ударников строительства КамАЗа». Это говорил Беляев. После того как он внимательно послушал, как гремели шпагами, доказывая друг другу свою правоту, писатели и инженеры, первый секретарь снова вмешался и коротко определил: «Здесь происходит схватка умов»... Так вот после вчерашней «схватки умов» предстояла «схватка талантов».

Рожденные в этих степях татарские песни, песни народов, чьи предшественники строили КамАЗ, сливались в единый поток, в общую кантату... Потом четыре девушки в длинных красных платьях (они встречали нас чэк-чэком у трапа самолета) затянули древние татарские напевы. И аккомпанировал им на голосистой однорядке с колокольчиками первый секретарь горкома партии Раис Киямович Беляев.

«А что, если написать о вас?..»

Смеркалось, когда из-за Камы-реки налетели тучи и разразилась гроза. Торопясь к ожидавшему «автобусу коммунистического труда», поэт, сравнивший самолет с бормашиной, сказал на этот раз совсем серьезно: «Если мне скажут, что эту грозу устроили они, то я поверю... Они все могут». Потом, уже в автобусе, по пути в гостиницу добавил: «Помнишь, как сказал о них Наровчатов? «Это люди двадцать первого века»...»

Эксперименты.

Сколько их было проведено в Челнах! Нет числа им, этим опытам, которые ставились впервые, потому что впервые строился подобный город и такой крупнейший комплекс заводов. Возникали порой, казалось бы, тупиковые ситуации, но в конце концов выход все же находился. Очень помогало челнинцам, что во все годы строительства высшее партийное и государственное руководство постоянно следило за правильной работой его сердца, предотвращало перебои и осложнения. Не раз приезжали на строительную площадку члены Политбюро Центрального Комитета нашей партии. Практически не покидали строительную площадку руководители областной партийной организации Татарии. Редко случалось, чтобы обоснованные просьбы челнинцев не принимались во внимание, и, к чести челнинских руководителей, они не злоупотребляли излишними просьбами, завышенными требованиями. Беляев приучил своих сотрудников — и внушал эту мысль всем, — что нужно прежде всего смотреть, как используется данное, отпущенное, полученное, а потом уже протягивать руку за другим. Он часто напоминал: «У страны забота не только о Челнах». В середине восьмидесятого года возникла реальная опасность срыва сдачи объектов второй очереди КамАЗа. И тогда Батенчук, заручившись поддержкой Беляева, пошел на невиданный, рискованный эксперимент, вызвавший резко отрицательную реакцию в союзном министерстве и у руководства профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности СССР.

Но сначала несколько пояснительных слов.

В горячие дни семидесятого года с согласия правительства — в первых главах книги об этом сказано — на строительстве КамАЗа была установлена шестидневная рабочая неделя. И люди на это шли.

Не было ни жалоб, ни хныканья, в таком режиме работали все — от рабочего, бригадира и прораба до Беляева, Батенчука и генерального директора завода Васильева. К этому ритму должны были подстраиваться и многие работники республиканских организаций в Казани и даже некоторых московских учреждений. К этому ритму приспособились и «фирмачи», участвовавшие в монтаже заводского оборудования. Их тоже было немало.

Не секрет, что все с нетерпением ждали того дня, когда на Каме трудовой ритм войдет в берега привычной пятидневной рабочей недели.

Этот день наступил. Установилась пятидневка, и поначалу привыкшие к сверхнапряженному труду люди не знали, куда себя деть. Отменили и сухой закон, и у ветерана челнинского правопорядка, бывшего командира первой боевой комсомольской дружины Лени Штейнберга, ныне майора в управлении местной милиции, работы значительно прибавилось.

Когда вопрос о пуске второй очереди КамАЗа к XXVI съезду партии стал реальностью и нужно было составлять не месячный, не дневной, а почасовой график сдачи отдельных объектов, экономисты выдали точный расчет: при пятидневной рабочей неделе к концу года останутся неосвоенными тридцать два миллиона строительно-монтажных, а следовательно, пуск второй очереди в срок невозможен.

Батенчук издал приказ: с 1 июля 1980 года перевести стройку на шестидневную рабочую неделю вплоть до сдачи объектов второй очереди КамАЗа. В министерстве ужаснулись. Распоряжения в адрес Батенчука шли одно грознее другого. Позвонил заместитель начальника главка:

— Отмени приказ!

— Не отменю,— ответил Батенчук.

Позвонил начальник главка:

— Отмени приказ!

— Не отменю,— ответил Батенчук.

Позвонил заместитель министра:

— Отмени приказ!

— Не отменю.

— Мы тебя потеряем как руководителя, если не отменишь,— сказал заместитель министра.

— Потом искать будете, но не отменю,— ответил Батенчук.

«Зарвался якутский князь»,— подумал, видимо, министр, когда ему доложили об упрямстве Евгения Никаноровича. Он его знал давно, еще с тех пор, когда Батенчук заезжал в Москву по делам строительства в алмазном крае. Тогда министр говорил шутя: «Вот якутский князь пожаловал, примите его с подобающими почестями». Но, пожалуй, даже тогда не проявлял Батенчук подобного упрямства. «Вызвать его сейчас же на коллегию и поддержать переход на шестидневку! Братчане когда-то тоже так решили. Пусть только Батенчук убедит в правильности своего поступка ЦК нашего профсоюза».

Дежурная по депутатской комнате аэропорта Бегишево удивилась, когда увидела отправляющегося в Москву Евгения Никаноровича с огромным чемоданом. За все эти годы столько раз она провозжала в Москву или в Казань начальника строительства и всегда он был налегке, с небольшим портфелем. И вдруг такой чемоданище!

— Может, сдадим его в багаж, Евгений Никанорович? — робко спросила она.

— Нет, возьмем с собой в кабину.— Он явно пользовался своими привилегиями депутата.

— Так позвать, чтоб помогли вам донести?

— Никакой помощи не надо, сами донесем.— И он кивнул на стоящего рядом председателя стройкома.

В Москве, в раздевалке ЦК профсоюза старой гардеробщицы, которая знала Батенчука много лет, не оказалось, а новая заявила категорично:

— С чемоданом нельзя! Сдайте его, гражданин, в камеру хранения.

Батенчук не растерялся:

— Это чемодан с ценностями! — Показал свое министерское удостоверение личности и смело прошел к лифту.

Пока гардеробщица опомнилась, автоматическая дверь лифта уже закрылась, а Батенчук подымался вверх, сжимая ручку чемодана.

В приемной председателя ЦК профсоюза тоже сделали большие глаза, когда увидели чемодан.

— Прямо с самолета?

— Да, прямо.

Поняли: у человека и так забот немало, зачем докучать?

Он сел и стал ждать вызова на заседание президиума, держа руку на чемодане, словно боясь, что его сейчас у него отнимут.

— С минуты на минуту вас могут пригласить, Евгений Никанорович, а это поставьте в комнату напротив, там никого нет,— сказал дежурный секретарь, кивнув на чемодан.

Батенчук сделал вид, что не слышит, а когда его попросили зайти в зал заседания, он быстро схватил свой багаж, и члены президиума, прежде чем увидеть упрямого начальника управления КамГЭСэнергостроя, заметили вползающий чемодан.

От содержимого батенчукского чемодана зависел не только исход сегодняшнего обсуждения на заседании президиума ЦК профсоюза, но и сдача мощностей второй очереди КамАЗа.

Прежде чем отдать приказ о переходе на шестидневную рабочую неделю, Батенчук долго обсуждал вопрос в горкоме, в своем партийном комитете, не один час провел наедине с Беляевым. Потом зашел к своему близкому помощнику главному инженеру строительства Владимиру Александровичу Альфишу. Поговорил и с ним, попросил созвать Совет бригадиров.

Тысяча пятьсот бригад на строительстве КамАЗа. Закаленные бригадиры и парторги бригад выслушали короткие сообщения членов Совета, мнение было одно: нужно честно и прямо сказать о создавшемся положении, обсудить его в бригадах и только тогда принять решение.

— Составлять протоколы,— посоветовал Батенчук,— и скреплять решения, будь они положительными или отрицательными, подписями всех членов бригад.

Сказано — сделано.

И легли на стол начальника строительства тысяча пятьсот протоколов тысячи пятисот собраний. Из пятидесяти шести тысяч строителей проголосовали против перехода стройки на шестидневную рабочую неделю пять человек.

Именно эти протоколы были в чемодане Евгения Никаноровича.

Приказ Батенчука оставили в силе.

Вторая очередь КамАЗа была принята в эксплуатацию с оценкой отлично.

И только тогда стройка вернулась в режим пятидневной рабочей недели.

Набережные Челны

В 1981 году у строителей и автозаводцев побывали 42 концертные бригады. На стройку приезжают писатели, артисты, художники, кинодеятели из Москвы, Ленинграда, Казани, из всех союзных республик.

28

...И разбушевался сабантуй.

Сабан Туй.

Праздник земли и плуга, выдумки и веселья.

Соперничество остроумных и ловких, упорных и сильных.

Ослепительное буйство красок...

Стоят на майдане два украшенных шеста, два тояка. Еще до восхода солнца их пронесли из дома в дом, и, как велит обычай, каждый привязывал к тоякам то ленту, то полотенце, то детский ботинок, бублик или игрушку, луковицу или картофелину. Так принято. Нагруженные тояки, добрые посланники всех домов, стоят чуть наклонно, будто с любопытством подсматривают: а что же произойдет сегодня здесь, на майдане?

А несколько дней назад Вазык Сафин, плотник домостроительного комбината, предупредил своего бригадира, что ни завтра, а тем более послезавтра он на работу не выйдет. Бригадир не возразил, потому что знал: Вазыку дано особое поручение и он будет все эти дни, от вторника до самого воскресенья, колдовать. А колдовство бывает только индивидуальное и потому совершается в глубокой тайне. Ну конечно, любая тайна — тайна лишь до поры до времени, потом все выходит на поверхность. Так, скоро проявится и тайна Вазыка, но пока всем молчок, как сказал председатель горсовета Ринат Гилязов. А он глава всей сабантуйской комиссии, отвечает за все. Беляев так ему и сказал: «На этот раз ты отвечаешь за праздник, а главным твоим консультантом и режиссером будет твой зам Хакимова Гульсабира Махмутовна. Она все знает. И только если будет очень трудно — подключи меня. Пусть я буду рядовым в твоей комиссии. На всякий случай». Знакомы уже давно Ринату Гилязову эти беляевские обещания не вмешиваться, не беспокоиться. Черта с два! Все равно он вникнет во все, докопается до мельчайших деталей — какие костюмы шьют, какие песни петь будут, где какие батыры будут сидеть на почетных трибунах, сколько ларьков выставят с татарскими кушаньями, как соревнования организуются и где что должно произойти. И конечно, он поинтересуется не раз, как там с подготовкой главной достопримечательности сабантуя — высокого гладкого столба для самых смелых... И Гилязов дал ясно понять бригадиру, что чинить препятствия Вазыку — дело рискованное да и неблагородное, если смотреть на это с чисто человеческой стороны. Так что Вазык перебрался на противоположный берег Камы и уже приступил к выбору подходящей сосны. Но шила в мешке не утаишь, тем более бревна. Вазык сказал своему другу Ницэ: «Ты мне помоги. Оставь на пару дней свой автобус и помоги». Ницэ же автобус оставить не мог, а помочь обещался в свободное от работы время — какая разница, когда он поедет: утром или вечером. Было бы что везти, а за ним дело не станет.

Никто, конечно, не знал, чего это жарким июньским днем ходит Вазык по высокому берегу Камы и присматривается то к одной корабельной сосне, то к другой. Прикинет взглядом высоту, обхватит руками, подсчитает, сколько сучков, сколько живых веток там, поближе к макушке, постучит молотком, чтобы послушать голос дерева: нет ли гнильцы, здорово ли нутро? Вот нашел подходящую сосну,

ровную, как свеча, кора отлиывает золотом, от малейшего звука поет, звенит особым звоном. Ну, стало быть, надо приступать к делу... Куда этот молдаванин Ницэ делся? Может быть, заблудился? Да нет, такой не заблудится. Идет себе и посвистывает. Интересный обычай у этих молдаван: то свистит сквозь зубы только ему понятную мелодию, то мурлычет что-то. «Если захочу, то моя песня мне и обедом будет и ужином», — сказал однажды Ницэ Вазыку. Вот и сейчас — идет и свистит себе тихонечко, чтобы не потревожить сомлевших от жары птиц, оставив на дороге лесовоз.

— Значит, нашел! — говорит он Вазыку вместо «здравствуй».

— А ты откуда знаешь?

— Раз остановился и приноживаешься, значит, уже все.

— Лебедку привез?

— Конечно.

— А лопаты?

— Ты за кого меня держишь? — задает Ницэ смешной одесский вопрос, услышанный сегодня, когда возил по Челнам группу артистов эстрады, приехавших из этого веселого приморского города. — Конечно, все привез! Начнем?

И Ницэ с Вазыком стали осторожно окапывать сосну — брать ее нужно вместе с корнем. Почему — Ницэ узнает потом.

Кто за свою жизнь выкопал хоть одну корягу, тот понимает, какое это нелегкое дело — вынуть вручную из земли живое сорокалетнее дерево вместе с корнем. Орудую то штыковой лопатой, то киркой, Ницэ вспоминал о том, как корчевал пни и деревья на бывших межах в своих родных кодрах. Особенно трудно поддавались дикие яблони, корни как стальные, ударишь топором — искры сыплются, на ладонях кровавые мозоли. На этих межах окрепли руки Ницэ, затвердели с годами ладони, и сейчас им топориче не страшно.

— Ну-ка, Вазык, давай сюда топор.

Отскакивает лезвие, высекает искру из железного корня, как и там, на молдавской меже в кодрах. Корни одинаково крепки у всех деревьев, где бы они ни росли.

— Давай-ка посмотри, куда валить будем! — кричит Ницэ Вазыку. — Нужно так, чтоб, не дай бог, не сломалась!

Это «не дай бог» Ницэ произносит с неподдельной тревогой: если при падении обломится вершина — надо все начинать сначала, а поту в его организме еще для одной такой работы на сегодня не хватит. Вазык тоже сказал бы Ницэ что-нибудь наподобие «за кого меня держишь», но ничего подходящего не нашел, потому промолчал. Он давно уже выбрал место, куда как миленькая ляжет эта сосна.

Ницэ, конечно, так никогда и не распознает секрета, как свалить подрытое дерево, чтобы оно упало именно туда, куда ты заранее наметил. Когда они все обкопали, отсекали концы всех уходящих в стороны корней, добрались до главного, стержневого, Вазык еще что-то прикинул, подтолкнул чуть-чуть, дерево покачнулось, и верхушка медленно пошла, помахав небу, прощаясь с ним навсегда. Раздался глубокий вздох то ли земли, то ли упавшей сосны, треск веток, и огромное дерево легло там, где хотел Вазык.

Шаг у Ницэ был ровно метр, он всегда с точностью до нескольких сантиметров мог измерить шагами любую длину. Прошел вдоль ствола и удивился, насколько дерево кажется больше, когда оно лежит на земле. Тридцать два метра! Ну, метр-два отрезается, самая верхушка, метра полтора уйдет в землю. Но все равно останется еще охо-хо сколько! Вазык доволен, весел, губы, растянутые в улыбке, шевелятся. Ницэ в таких случаях не мешает своему другу — пусть себе колдует.

— Так сейчас что? — лукаво смотрит тот. — Я осторожно ветки

и сучки порублю, как положено, а ты стряхни землю с корней, а то тяжело таскать. Хорошо?

— Ладно, давай,— отвечает Ницэ. Он, конечно, знает, что Вазык не доверит ему ветки обрубать, в этом деле тоже нужно знать толк.

— Сто восемь сучков обработать надо,— произнес Вазык то ли с гордостью, то ли с сожалением. Скорее всего с гордостью — сколько работы предстоит! Он опасался упрека Ницэ, что придется везти сосну не прямо на майдан, а далеко, в деревню, и предупредил возможный упрек: — Ошкуривать здесь нельзя, дома надо... Там и инструмент и секрет можно хранить, одна деревня лишь знать будет, а не весь КамАЗ...

Ницэ понял: надо срочно грузиться, чтобы успеть переехать по временной дороге через плотину, пока ее не закроют в конце второй смены.

При въезде на плотину останавливает милиционер. Ницэ кивает на Вазыка. Тот медленно роется в карманах, достает бумажник, протягивает сложенную вчетверо бумагу. Милиционер козыряет — бумага о том, что «для сосны особого назначения препятствий не чинить, а, наоборот, всячески способствовать доставке на место». Подпись самого полковника Козлова, начальника управления внутренних дел. Ницэ, наблюдающий из кабины лесовоза за немой сценой между Вазыком и блюстителем порядка, ухмыляется. У него, как у всякого водителя, свой взгляд на милицию. Но как трудно ехать, черт возьми, по этой временной дороге! И сколько еще она будет временной? Ухабы, пыль, спуски и подъемы, надрывается двигатель, кипит вода в радиаторе, нужно вести машину тихо и осторожно, чтобы не очутиться там, где бурлит прошедшая турбины вода. Плотины, турбины — век электричества, а сверху — худший образец проселка. Непорядок это! Недавно Ницэ видел выступающего по телевидению Евгения Никаноровича. Он говорил о победах и ошибках строительства. Плотину он среди ошибок не называл, а надо бы. Сколько тысяч людей ждут, когда же наконец будет построена та красиво нарисованная на плакате дорога через плотину ГЭС. И шоссе и железнодорожная. Как нарядно выглядят железнодорожный вокзал, станция, пассажирские составы, прибывшие прямо из Москвы! Мечта! Была б его, Ницэ, воля, он давно бы распорядился, чтобы прежде всего деньги, которые есть, потратили на завершение главной транспортной артерии Челнов. Свой груз, строительный, еще перевезешь с горем пополам. А вот когда нужда направит сюда «автобус коммунистического труда» с какой-нибудь делегацией, пожелавшей, например, посетить могилу Цветаевой в Елабуге, как ты выкрутишься? Не может Ницэ понять, почему на двенадцатом году строительства еще не готова эта дорога. И никто не убедит его в том, что можно так строить. Ну а если взять и сказать об этом Беляеву? Неужели он этим не обеспокоен?

Лесовоз движется медленно, трудно, осторожно. Ницэ время от времени поглядывает, как там сосна. Вазык не отрывает взгляда от груза, предназначение которого известно сейчас только ему и Ницэ. Водители встречных машин, строители и не догадываются, зачем это понадобилось такое длиннущее бревно вместе с корнем. Да, чего только не везут по челнинским дорогам! Ницэ засвистел. Вазык вздрогнул от неожиданности.

— Что такое?

— Да ничего,— ответил Ницэ,— это я мысль свою закончил. Успеть бы нам до закрытия шлагбаума.

— Не беспокойсь, пропустят.— Вазык похлопал себя по боковому карману. У него была там бумага и на этот случай. Лично от Гизялова.

Но она не потребовалась. Ницэ, с тех пор как сошли с конвейера и поступили в автоколонну стройки первые «КамАЗы», не раз пере-

саживался с автобуса на тягач и лесовозы, выручал приятеля, старшего диспетчера управления транспортом,— тот знал, что у Ницэ легкая рука и ему покорна любая техника. А сейчас он Ницэ выручил, и все довольны...

Праздник земли и плуга!

Вспаханы и засеяны поля, вышли на пастбища стада, и человек ожидает, пока тайные силы земли превратят брошенные в борозду семена в крохотные всходы и тянущиеся к солнцу стебельки позовут его, человека, на помощь. Наступил небольшой, даже незаметный перерыв в общении пахаря с землей. Можно передохнуть, повеселиться. А какое веселье, какой праздник в одиночку? Надо веселиться сообща, всем.

Сабан Туй! Сабантуй! Кто и когда первым произнес эти два слова, слившиеся потом в одно целое? Никаким исследователям не добраться уже до истинного корня. Труд и отдых, брачный союз земли и плуга, ожидание плодов этого союза — всех объединит сабантуй, у него есть забавы для всех. Ну-ка возьми, к примеру, зубами деревянную ложку, положи в нее куриное яичко и пробегги пятьдесят шагов. Не уронил? Тебя ждет награда. А ты, мужчина или женщина, залезай в ожидающий зерно нового урожая мешок и попрыгай в нем тоже шагов пятьдесят. Ну как? А если хочешь, возьми удочку и покажи всем собравшимся на майдане, как ты умеешь рыбу ловить. А еще если ты видел когда-нибудь в цирке, как смелые ребята шагают на ходулях и могут достать головой до самого купола, выбери себе ходули по своим возможностям — есть и повыше и пониже — и попробуй походить по майдану на виду у всех. Хорошо посмотреть с высоты в два человеческих роста, как по зеленому полю скачут без седел и без стремян лучшие джигиты всего челнинского края, а перед трибуной для почетных гостей хватают друг друга и стараются положить на обе лопатки знаменитые силачи. Смотрит на них удивленно томящийся от жары пятипудовый баран. Он то и дело зло бодает березовый кол и крутится вокруг него. А на высоко подвешенном над землей бревне лупят по очереди друг друга набитыми соломой мешками озорные ребята... Каких только веселых игр не придумал хлебопашец, чтобы чуть позабыться-поразвлечься, доказать, что плуг, мотыга и тяпка не единственное его занятие!

Сабантуй!

Только в тот миг, когда Ницэ подошел к высокому белому столбу, возвышающемуся на краю майдана, где, как потом писали газеты, собралось свыше ста пятидесяти тысяч человек, понял он, какое чудо сотворил Вазык из выкопанной в лесу над Камой с ны. Ровная, уходящая в раскаленное небо белая свеча, чуть пахнущая земляникой. Опытный в праздничных делах батыр щедро натер тщательно отполированный ствол земляничным мылом, улыбнулся хитро и изрек: «Пусть майдан земляничную поляну напоминает». Конечно, пусть напоминает, пусть пахнет земляникой и свежей смолой. Пусть! Но не в этом же соль. Самая соль в том, чтобы ты, Ницэ, стоящий сейчас в одних плавках у основания столба, обнял его и потихоньку начал карабкаться к вершине, где краснеет татарская тубетейка с кисточкой и чуть покачиваются четыре картонные коробки. «В каждой по японскому кассетнику самой последней марки», — шепнул ему шофер начальника челнинской торговли, тот шофер тоже намеревается взобраться на столб, хотя японский кассетник у него уже имеется. Никто, и даже сам Ницэ, не мог предположить, что на виду у всего челнинского многонационального вече, как однажды назвал камазовский челнинский коллектив Виорел Андреевич, он осмелится раздеться до трусов и вспомнить о том, как воровал в детстве черешню. Нападало на него порой такое: показать, что он тоже не лыком шит, что он не просто так здесь, на КамАЗе, что и в нем таятся не-

разгаданные тайны и внутренние силы, как и во всех приехавших сюда. Так что ж, Ницэ, давай, дружок, обними столб, как в свое время обнимал ствол корявого черешневого дерева, и ползи, милый, вверх, попытай счастья.

А счастье ему улыбнулось коварной цифрой «тринадцать», которую Ницэ не любил и даже из табеля-календаря всякий раз вычеркивал, делая вид, что такой цифры не существует вообще. И надо же было, чтобы сегодня, когда провели жеребьевку, ему досталась именно эта очередь. Ну что ж, тринадцать так тринадцать. С одной стороны, вроде и неплохо. Все же двенадцать человек до него уже попробуют свое счастье и часть мыла со столба возьмут на себя. Иные пытаются даже сдирать это мыло ногтями, но много его ногтями соскребешь? Ни первый, ни второй, ни девятый и ни одиннадцатый даже четверти высоты не смогли взять. Старались изо всех сил, но через пять-шесть минут подъема сползли вниз и, потупив взоры, проходили в самый хвост длинной очереди, чтобы через какое-то время снова вступить в единоборство с коварным столбом и в душе послать недобрые слова в адрес неизвестного батыра, не пожалевшего мыла для сегодняшнего сабантуя.

Вот сполз двенадцатый смельчак. Парнишка лет семнадцати. Он взобрался выше всех, одолел, по расчетам Ницэ, примерно треть расстояния. Это был уже успех, и со стороны главной трибуны даже раздалось несколько хлопков. Может, родственники, знакомые, а может, просто понимающие всю трудность этого вида соревнований. Парнишка оглядел с ног до головы Ницэ — для него, конечно, этот сухой высокий дядька был чуть ли не стариком, и Ницэ уловил во взгляде паренька оттенок презрения: ты-то, мол, куда лезешь? «Я тебе покажу, как надо лазать», — мысленно ответил ему Ницэ и плюнул на ладони. Обхватил бревно — у основания оно было ровно в один обхват. Знает же свое дело Вазык! Пальцы чуть-чуть только достают друг друга. Прижался всем телом и ощутил горячее пахучее дерево — на солнце было градусов сорок, и мыло расплавилось и растеклось, как сало на раскаленной сковородке. Ницэ понял, что единственная его опора — мощные, набитые с детства, окостеневшие мозоли на пятках, они вроде настоящих шпор, и действовать нужно ногами. Потом еще жесткие, железные мозоли на руках. Пальцы у него как крючки, он ими гайки закручивает, никаких ключей не надо. Ну давай вверх!

Мозоли на пятках буксуют, как лысая резина по гололеду. Только здесь горячий, липкий лед. Ни за что не зацепишься. Закрой глаза, Ницэ, и попытайся уйти от позора, поднимись хоть чуточку от земли, от корня этого столба. Давай, дорогой, давай! Там, на трибунах, поют песни, танцуют нарядные девушки и парни, вся челнинская самодеятельность вышла развлекать соревнующихся, электронная музыка, разодетые красавицы и этот беспокойный баран — он, оказывается, совсем недалеко от столба. Тоже смотрит: зачем же ты, молдаванин, сунулся в эту незнакомую твоему народу игру? Что ж ты, брат мой? Ницэ кажется, что сейчас он сам подобен этому рогатому животному. Но все же открой глаза, милый, и лезь, не смейши людей, они ждут от тебя рекорда. У барана совсем другая судьба, он награда! А ты — соревнующаяся единица. Вверх!

Вот рука нащупала совсем незаметный глазу выступ, с него уже стерто все мыло. Ницэ прижимает к нему ладонь, каким-то чудом нащупал и коленом такой же выступ и сразу же продвинулся сантиметров на пятьдесят. Значит, не все потеряно, можно ползти! Вот хотя бы до той черненькой точки, замеченной еще в очереди, там, по прикидке Ницэ, ровно половина высоты. А оттуда даже с земли видно, что ствол становится явно тоньше. Только добраться бы до этой точки!

Говорят, что когда человеку невыносимо тяжело, страшно или

больно, он в ту минуту ни о чем больше не думает, кроме той тяжести, той боли. Ницэ обнаружил, что это все неправда. Как бы ему ни было тяжело в этом им самим выбранном испытании, перед ним возникали одна ярче другой картины далекого детства. Правда, связаны были эти картины тоже с подъемом, вернее с карабканьем по стволам деревьев, и чаще всего по стволу высоченного, до самого неба черешневого дерева. Высилось оно километрах в трех от села, на краю глубокого, с крутыми склонами оврага. Место было очень солнечное, и хозяин (это было еще до коллективизации) обрубил все ветки дерева, оставив лишь несколько на самой макушке. Говорили, что он растит эту черешню на сани, потому и дает ей крепнуть, сохнуть медленно на корню, для чего и ветки подрубает постепенно, каждый год по несколько. Так вот и остались только самые верхние. Но словно приманка для всех мальчишек там, на тех вершинных ветках, розовели чудо-ягоды: один бок желтый, другой нежно-розовый, как лепестки персиков. Может ли уважающий себя мальчишка равнодушно взирать на эти ягоды, облизываться и не попытаться хотя бы достать их? А Ницэ был из уважающих себя. И каждое лето по несколько раз он достигал той верхушки. Прижимался к шершавому стволу, вдыхал горьковатый теплый аромат его коры, останавливался там, где сквозь трещины пробивался застывший янтарный клейкий черешневый сок, слизывал его или скусывал зубами и гордо лез вверх. А оттуда, набрав черешен, украсив себя сережками, с двумя торчащими изо рта ягодами скользил вниз, не обращая внимания ни на ободранный под рубашкой живот, ни на ссадины на ногах. Какое это имело значение? И сейчас, прикинув к намыленному стволу в Набережных Челнах, Ницэ чувствовал себя тем мальчишкой. Он пытался представить, как доберется до самой вершины, наденет на голову тубетейку с кисточкой, возьмет в зубы за нитку коробку с кассетником и, быстро перебирая руками, спустится вниз. Будет петь там, на западной трибуне, двухтысячный хор, будут хлопать на гостевой трибуне, а кто-нибудь даже закричит: «Браво! Молодец!»

Но ничего этого не случилось. Когда он достиг того заветного сучка и убедился, что столб пошел тоньше, сделал рывок, и от этого неосторожного рывка сосна закачалась, как на ветру. До Ницэ донеслись молдавские слова: «Цине-те, цине-те, бзете!»⁴. Он отчетливо слышал, что это были женские голоса, прозвучавшие почти одновременно. Они призывали его держаться. Но сил уже не было. Только бы не упасть, только бы не упасть... А если падать с этой высоты на глазах у такого моря народу, лучше уж умереть сразу, чтобы потом не ходить всю жизнь с опущенным взглядом от забываемого позора.

Мария Гавриловна с Ксенией сидели на боковой трибуне и с замиранием сердца следили за «подвигом» своего земляка. Это они подбадривали его. И обе вздохнули облегченно, когда он коснулся земли своими огромными ступнями. Немного времени спустя Ницэ в порыве философствования скажет Виорелу Мугуряну, что подъем по тому столбу он мог бы сравнить лишь со строительством КамАЗа и Челнов. Наверное, Беляеву, Батенчуку и Васильеву не раз было так же трудно. Но КамАЗ помогала строить, поддерживала и подавала руку на трудном подъеме вся страна. Взобраться же по намыленному столбу не поможет никто.

Непредвиденная посадка московского рейса на Челны в Казани встревожила еще больше беспокойное сердце Марии Гавриловны

⁴ Держись, держись, парень!

Липатовой. И конечно, не могло ей прийти в голову тогда, что пройдет не так уж много времени — и она будет сидеть на трибуне перед залитым солнцем и переливающимся всеми мыслимыми и немыслимыми красками пространством, именуемым в Татарии майданом. Тем более не могла она представить себе ползущего на виду у всех по намыленному столбу чудаковатого и когда-то заносчивого водителя первого тонвагена молдавского радиокомитета с улицы Роз в Кишиневе. Часы, проведенные в казанском аэропорту, и все, что за ними последовало, составляли как бы особую часть жизни Марии Гавриловны, и что бы она после этого ни делала, о чем бы ни говорила, события той ночи сопутствовали ее мыслям, словам и поступкам, она была не в состоянии избавиться от них, как не в состоянии человек избавиться от своей тени.

...К приземлившемуся самолету подали трап, дежурная по сопровождению прибывших пассажиров, молодая красивая татарка («В Татарии очень красивый молодой народ», — вспомнились ей строки из письма дочери), оглядела первый и второй салоны и произнесла чуть охрипшим голосом:

— У кого маленькие дети, дошколята, возьмите теплые одеяла, заверните их до автобуса, на улице очень холодно. В здании аэропорта отогреетесь. Транзитным пассажирам на все направления придется ждать утра в аэропорту, по возможности ночлег будет устроен. Прошу к выходу. Если есть легко одетые женщины, тоже возьмите одеяла... О продолжении нашего рейса до Набережных Челнов объявим дополнительно.

«Татария встречает нас сердечным теплом», — прозвучала в ушах Марии Гавриловны фраза, банальный журналистский штамп. И за этот штамп зацепился другой: «Хотя на улице стоит жестокий мороз, сердечное тепло смягчает его...»

Очутившейся на улице Марии Гавриловне показалось, что с нее тут же сняли всю одежду. Мороз охватил с ног до головы, а меховая шапка будто пыталась улететь, хотя ветра не ощущалось.

— Быстро за мной, прикройте щеки и уши, дышите только носом, — предупредила заботливая сопровождающая и зацокала каблуками по замерзшему бетону.

Зал ожидания был переполнен. Стоял гул негромких усталых голосов, у стойки с громадным самоваром толпилась очередь.

В суматохе гудящего аэропорта, в состоянии тревожного ожидания — когда объявят о продолжении рейса? — Мария Гавриловна и не обратила внимания, что в освободившееся около нее кресло опустилась женщина. Она, как малого ребенка, держала за руку высокую, сильно накрашенную девицу и приговаривала:

— От меня ни на шаг, потеряешься еще, а завтра к девяти.

Голос женщины выделялся в общем гуле той особой хрипотцой, какая свойственна много и постоянно курящим людям. Трудно сказать, как она определила, что Мария Гавриловна из южных краев, возможно, когда та открыла чемодан, заметила завернутый в целлофан букет ярко-красных гвоздик. Да, именно на это она обратила внимание, потому что не замедлила с вопросом:

— В Челны? Продавать везете?

Чутьем человека, имеющего огромный опыт общения с людьми самых различных профессий, Мария Гавриловна поняла, что ее неожиданная соседка принадлежит к тому цепкому племени, которое не даст никому покоя при всех обстоятельствах. Это предположение тут же подтвердилось:

— Узнали, что там цветочки в цене, да? — И себе сама ответила: — Там все в цене... Людей только ни во что не ставят... — Дочку свою она продолжала держать за руку. — Вот ее, например, в Москву везу... А вы зачем туда едете? По такому морозу! Цветы, конечно, да, но...

Она, пытаясь найти какие-то слова, посмотрела на Марию Гавриловну и поняла, что насчет цветочков, наверное, переборщила. Да, конечно, слишком интеллигентно выглядит эта южная дамочка, такая цветы продавать не станет. К тому же вот насупилась, значит, обидели ее эти слова и сейчас переживает. Нужно зайти с другой стороны:

— В командировку, наверное, или так? Хотя так никто туда не едет. Калачом не заманить. Оттуда только бы вырваться и ехать куда глаза глядят...

Мария Гавриловна продолжала молчать, а это соседку никак не устраивало, и она вновь завела:

— Чаю хотите? Мы очередь зайдем...

— Спасибо, не хочу чаю...

Ах, вот и хорошо, прорезался голос, прекрасно! Чаю не хотите, конечно, но небольшую услугу вы нам все-таки окажете. От этого никогда никто не отказывается. Проследите, пожалуйста, чтобы наше место никто не занял, мы сумочку оставим... Ну пошли, дочка, чайком согреемся.

Не успела Мария Гавриловна отойти от неожиданного и неприятного столкновения, как соседка снова появилась, так же держа за руку свою дочку.

— Допросишься у них чаю. Умрешь, пока очередь дойдет, и вот так во всем. Порядочки! Ну что ж, посидим давай, сказали, что часа через два объявят, когда на Москву... А у вас в Москве нет родственников или кого-нибудь знакомых? Или, может, сами из столицы?

— Нет.

— Жалко. А то вот приедешь — и остановиться негде. Хотя бы чуть-чуть привести себя в порядок перед приемом. В девять часов!

Она пыталась заинтриговать сообщением о предстоящем в девять часов приеме в Москве, но эта южная женщина явно не хотела вступать в контакт. Видно, из партийного или руководящего сословия, этих-то не особенно вызовешь на разговор. И все же надо попробовать:

— А в Челнах у вас есть у кого остановиться? Родственники какие или работа?

— Есть.

— А где?

— В комплексе пять-пятнадцать, — произнесла она, чтоб отвяжаться, первую попавшую на память цифру, зная, что в Челнах все кварталы, все улицы под номерами.

— Это на развилке, да? У меня знакомая там живет... Мучается. Все там мучаются, в этих Челнах. А вы зачем туда едете?

— Конечно, не мучиться...

Ответ заставил женщину чуть повременить со следующим вопросом, она посмотрела на дочку, сделала ей знак сесть на подлокотник кресла и обратилась на этот раз к ней, покачав головой в знак явного сочувствия к сказавшей такие непродуманные, такие самоуверенные слова женщине:

— Слышишь, она едет туда «не мучиться»! Как будто там есть такие, которые не мучаются, как будто там можно жить по-нормальному...

Она круто повернулась к Марии Гавриловне, и та за считанные минуты узнала о всех существующих в Челнах беспорядках и о том, какие муки приходится ей, бывшей фронтовичке, переносить там вместе со своей одаренной дочкой, у которой талант народной артистки, певицы, не чета Зыкиной или там Пугачевой. Так что вот каких людей губят эти Челны. Она едет с жалобой в Москву, где обещали ее принять и выслушать завтра в девять часов утра.

Слева от Марии Гавриловны, утопив лицо в большом воротнике из мерлушки, дремала какая-то женщина. Вдруг она резко поднялась и спокойно, но очень решительно спросила:

— Позвольте, вы на каком фронте воевали?

Мария Гавриловна точно уже не помнит, что ответила направляющаяся в Москву жалобщица. Осталось в памяти только выражение ее застывшего от испуга лица: рот полуоткрыт, глаза недвижны. Даже руки, которыми она до сих пор энергично жестикулировала, замерли в какой-то нелепой позе. Придя в себя, она схватила за руку дочь и растворилась в толпе, будто ее и вовсе не было.

Женщина в пальто с большим воротником снова вздремнула, а Мария Гавриловна, не понимая сути происшедшего, думала с благодарностью об этой незнакомке, кинувшейся ей на помощь.

На дорогах в Челны и из Челнов встречалось столько судеб, сшибалось столько мнений, закалялось и ломалось столько характеров, что, наверное, предостоят еще долгие годы осмысливания того, что перемальвалось в этих краях в восьмом десятилетии XX века. Мария Гавриловна не представляла себе, что можно лишь в течение одного-единственного путешествия узнать столько. Она прекрасно понимала, как устроена жизнь, и часто ловила себя на мысли, что уже все видела, настрадалась, наработалась и насышалась уже так, что вряд ли встретится такое, от чего она ахнет, что заинтересует, станет на какое-то время, а может быть, и навсегда частью ее жизни. Ну разве могла она предположить, что самолет, отправившийся из Москвы в Набережные Челны, сядет в Казани и ей придется провести ночь в небольшой гостинице аэропорта? Разве можно было предвидеть, что женщина, дремавшая в соседнем кресле, станет для нее столь близким человеком?

Диктор объявил: «Все рейсы из Казани отменяются до пяти часов утра.— И добавил: — Кто желает, может устроиться в гостинице».

В небольшой комнате аэропортовской гостиницы было три койки. Две заняли Мария Гавриловна и ее спасительница, третью — совсем юная девушка, которая тут же ушла провести знакомых, проживающих, по ее словам, неподалеку от гостиницы. Оставила на всякий случай телефон знакомых — вдруг да объявят рейс досрочно, в Аэрофлоте все может случиться. В комнате остались двое: Мария Гавриловна и плотная невысокая белокурая женщина с целым набором боевых орденов и медалей на лацкане шевиотового жакета старого, шестидесятих годов покроя. Кивнув на свои награды, она объяснила извиняющимся тоном:

— Наше небольшое учреждение в Москве сотрудничает с камазовцами с самого начала строительства, и мы всякий раз, когда туда направляемся, приукрашиваемся, едем при полном параде, как на самые торжественные праздники. — Женщина очень медленными, рассчитанными движениями, как-то по-особенному аккуратно сложила покрывало, разобрала постель и, распустив длинную косу, стала ее расчесывать.

Давняя привычка искать и находить интересное стала второй натурой Марии Гавриловны, и она всегда старалась обнаружить в любом человеке что-то хорошее, понимая, что плохое само обнаруживается, его искать не нужно. А вот хорошее!.. Встретится ли она еще когда-нибудь с этой женщиной? Кто она такая? За что награждена? Спросить? Неудобно. Иногда неосторожным вопросом, заданным не к месту, ставишь человека в неловкое положение, вынуждаешь его к нежелательной для него откровенности. Поэтому, прежде чем задавать вопросы, даже если это очень нужно было для работы, Мария Гавриловна все взвешивала. Иной раз это лишало ее очень необходи-

мых сведений, но ничего не поделаешь... Решила начать разговор с другого:

— Вы говорили, что едете в Челны как на праздник. У меня там дочка. Все восторженные письма шлет. А недавно — «мама, я скоро пойду в роддом». Вот я и еду. Как говорят, инкогнито.

— Счастливая ваша дочка... Дать жизнь новому человеку в этом городе — счастье... — Женщина продолжала медленно и аккуратно укладывать на ночь свои распущенные льняные, совсем молодые волосы. — Не могу спать с заплетенной косой, мешает, — вдруг сказала она, будто оправдываясь. — И на войне надо мной смеялись: сколько там всего было с этой косой! А я с ней не расстанусь и ни за что не расстанусь, она у меня от мамы... Когда я собиралась в роддом, она тоже прилетела ко мне издалека, чем-то, может быть волнением, напоминала вас... Так все мамы, наверное... — Уложив волосы, скрепила их модной заколкой. Пояснила: — На КамАЗе подарил... Знаете, от них без подарка не уедешь, они каждого приезжающего к ним стараются чем-нибудь одарить. А встречают вот этим. — Она открыла дорожную сумку и развернула пакет. Показались желтые, золотистые зернышки то ли пирожного, то ли пирога. — Попробуйте, это чэк-чэк. Очень вкусно. Национальное татарское печенье. Этим встречают гостей и на дорогу дают... — Женщина засмеялась. В легкой блузке, раскрасневшаяся от мороза, она выглядела совсем молодой. — Вы знаете, в этом городе, среди этих людей полностью отвлекаешься от своего возраста, забываешь, сколько тебе лет. Я только сейчас, побывав там, поняла, почему всегда наши сотрудники возвращаются из Челнов такими помолодевшими... Угощайтесь. Считайте, что вы уже в Челнах. Все будет хорошо. Чэк-чэк...

На улице было сорок пять градусов мороза...

А случайная соседка Марии Гавриловны заставила позабыть и этот мороз и неожиданную посадку в Казани. Она переносила ее своим рассказом на светлые, просторные улицы нового города, в дома и клубы почти сказочного края, созданного совсем недавно. И еще рассказала о том, что от приезжающего с чистым сердцем на Набережную Надежды требуется, чтобы тот оставил хоть крупицу своего жизненного опыта и обязательно пришел бы к новоселам на огонек. Огоньки эти носят самые различные поэтические названия и зажигаются каждый вечер. Любишь литературу — иди в «Орфей» или «Лейсан», готовишься стать матерью — открой дверь клуба «Аленушка», если театр привлекает — приходи в «Маску». И рассказывай, если у тебя есть что рассказать. Первый секретарь горкома партии Беляев (есть там такой знаменитый партийный человек) будто бы сказал, что средний возраст камазовцев двадцать три года. Это правда. Можно определить средний возраст. Но нельзя определить средний опыт. Опыт бывает только индивидуальный. И поэтому жизненный опыт каждого ценится особо.

— Вот и меня по существующим там правилам попросили рассказать что-нибудь. Ну что я им расскажу? — Подумала. — Работаю библиотекарем, собирала все эти годы для стройки книги вместе с нашими сотрудниками, привезли мы им одиннадцать тысяч книг... А что это по сравнению с тем, что там сделано и что делается! «Нет, говорят, расскажите, тетенька, за что у вас награды...» За что награды? За войну. «Вот оттуда, из войны, что-нибудь расскажите, о женщине на войне...»

Женщины на войне.

Мария Гавриловна запомнила их, проходивших с наступающими частями весной сорок четвертого через ее село на севере Молдавии. Был небольшой отдых после боя, и девушки в гимнастёрках и пилютках, в коротких юбках и сапогах принялись быстро за стирку, попросили у нее веревку и развешивали белье, бигуди, простыни. Они

все делали сосредоточенно и почему-то молча. Мария Гавриловна запомнила их лица, фигуры, но она почти не помнит, чтобы они разговаривали, голоса их не задержались в памяти. Смотрит на свою соседку и пытается представить ее такой же юной, тоненькой, какими были те девушки.

Сейчас, в маленькой гостиничной комнате в Казани, в рассказе возвращающейся с КамАЗа женщины — ветерана Великой Отечественной войны перед Марией Гавриловной оживала картина встречи лицом к лицу молодой ленинградской хирургической сестры с надменным асом гитлеровского рейха.

Зимним февральским днем сорок второго года, когда «стоял такой же мороз, как сейчас», наши истребители сбили в небе блокадного Ленинграда тяжелый бомбардировщик. Его командира удалось взять в плен. Это был один из опытейших фашистских летчиков, и командование части сочло полезным показать этого «мастера» по бомбежке Ленинграда всему личному составу. Но вначале нужно было перевязать ему раненую ногу.

— Рана оказалась небольшой, я перебинтовала, как-то и страшно было и сложно — мне впервые приходилось оказывать медицинскую помощь врагу. Думала, что я это делаю по гуманному долгу своей милосердной службы, но все же ощущение было очень неприятное. Когда своим перевязываешь раны, и душа и сердце болит и слово утешения скажешь, а тут — враг. Да еще глядит на меня свысока, надменно, прямо так и чувствуешь, что будь у него возможность, он бы меня тут же прикончил... Но как он одет был! Знаете, шерстяное белье, теплый костюм один, потом еще второй поверх этого, отличная, прямо новехонькая кожаная куртка — застежки «молнии», все как с витрины магазина... Вместе со мной пришли еще несколько наших девушек, и он все их разглядывал, а потом спросил: «А эти зачем тут?» Я немецкого не знаю, но он, указывая на нас, произносил очень четко слово «медхен». Переводчик тоже повторил это слово: «Он спрашивает, что тут делают медхен». Наш офицер объяснил ему, что наши девушки воюют, они вместе с мужчинами защищают свою родину. Сбитый ас ухмыльнулся и сказал хвастливо: «А наши медхен сидят дома, они выезжают на фронт, только когда их требуют для свидания любимые, это у нас разрешается по уставу». Обо мне как оказавшей ему помощь решил, видно, узнать подробнее: «Ты откуда?» «Она ленинградка, — ответили ему за меня. — Вышла из блокады с тяжелой формой дистрофии, поправилась и пошла воевать...» Немец недослушал, зло усмехнулся и произнес, сияя: «Дистрофия? Истощение? А фюрер заботится, чтобы его солдатам сюда возили из теплых стран бананы и фрукты! Транспортная авиация привозит нам даже свежий салат...» Его хвастливости не было конца. Оставил рассказ про салат и снова взялся за меня: «Ленинградка? Ленинград! Я бывал в Ленинграде!» «Вы не могли там быть! — взорвалась я. — Ленинград защищен!» «В самом городе, на улицах, я не был, но в небе Ленинграда был! Я бомбил твой город. Тех, кто ходил по его улицам! И мы будем там, не я, конечно, моя судьба известна — к стенке! — но мы там будем, в твоём Ленинграде! А ты, — он указал пальцем на меня, — ты в моем городе не будешь никогда! Мой город Берлин!» Прошло почти сорок лет с тех пор. И каждый раз, когда я вспоминаю о том разговоре, не могу понять, откуда у меня тогда, у восемнадцатилетней девчонки, взялись силы, чтобы ответить фашисту, откуда пришли такие слова. Потому что я ответила ему очень четко, предельно четко и самоуверенно. И даже заметила, как он при моих словах чуть подался назад, возможно опасаясь, что я на него кинусь. А я сказала: «Нет! Вы в моем городе, в моем Ленинграде, не будете! Мы его защитим от вас! А мы, я в вашем Берлине будем! Запомните это!» Видно, ни фашист, ни наши офицеры, пришедшие посмотреть на пленного, не

ожидали подобной сцены. Наступила пауза, я вся натянулась, как струна, чувствую, как во мне все дрожит, но стараюсь не подать виду, сдерживаю себя, хотя почему-то хочется зареветь во весь голос. Фашист же потянул застежку нагрудного кармана, порывлся там, раздумывая о чем-то. Потом резко, с вызовом вытащил часы и протянул мне: «На, возьми! Это «Омега», память об отце... Возьми. И если привезешь их в Берлин на Унтер-ден-Линден, в мой дом — он неподалеку от имперской канцелярии,— наш спор будет решен». Я растерялась, не знаю, что делать, а мой комбат говорит: «Возьми, Аня, часы, возьми, ленинградка». И я их взяла. Они долго работали для нашей милосердной службы: и под Ленинградом и на всем нашем пути до Германии... У меня была твердая вера, что наша часть будет в Берлине, вот такая упрямая вера была...

— Спасибо.— Мария Гавриловна заметила, что ее собеседница кончила свой рассказ. По опыту знала: если таких людей не подтолкнуть вопросом, они перейдут на другую тему или просто задумаются, замолчат. — А что же дальше? В Берлине вы были?

— Разумеется. Наш батальон прошел с другими частями фронта всю Европу, и, как пелось в песне, закончили мы войну в Берлине. Больше всего врезался в память день победы. Сколько написано, читано-перечитано, и все равно каждый, кто там был в тот великий день, по-моему, может рассказать только ему известное, только ему принадлежащее. Наш замполит обещал, что мы отпразднуем победу в ресторане «Москва». Какой там ресторан, думаю. Кругом одни развалины, все дымится, то тут, то там раздаются выстрелы, по небу летят трассирующие пули, взмывают разноцветные ракеты, где там ресторан «Москва»! А он, оказывается, был! Поставили одна к другой огромные палатки, сбили столы из чего попало — из ящиков из-под снарядов, из бортов разбитых немецких машин,— накрыли больничными простынями, и загремел невиданный бал победы в самом сердце поверженной Германии. И тут не обошлось без курьеза. Какой-то старшина вскочил на стол и скомандовал: «Дамам разрешается гражданское платье!» И стал разбрасывать пакеты. Оказалось, что старшина обнаружил по соседству развалины дамского магазина и достал по наряду для каждой нашей девчонки. Через несколько минут мы уже все были кто в роскошной блузке, кто в раззолоченном платье, кто в шляпке с перьями... А когда все закончилось, вышли на улицу. Стоял сплошной треск от беспорядочной стрельбы. Стало страшно: а вдруг мы отпраздновали бал, а война еще не кончилась?.. Наутро я разыскала улицу под липами, Унтер-ден-Линден. Никаких лип и никаких домов — сплошные развалины. Я расстегнула ремешок и подняла «Омету» высоко над головой, помахала рукой перед угрюмыми, задымленными Триумфальными воротами столицы рейха и перед дымящимся остовом рейхстага. Так завершился этот эпизод моей военной жизни. А «Омету» перед демобилизацией оставила в нашем берлинском госпитале. Пусть служит милосердию... Ну а почему я так сердито спросила эту мам, что поливала все челнинское, меня надо понять.

— Понимаю вас, конечно. Сейчас особенно...

— Ко всему святому и великому всегда присасываются всякие паразиты. Про эту «фронтовичку» я слышала в Челнах. Она всем там уши прожужжала со своей «гениальной» дочкой. Спекулирует на добром отношении к фронтовикам. Сейчас, к сожалению, не она одна примазывается к святому званию защитника родины. Она из этих... из прилипал, я их за версту узнаю...

— Вы еще не спите? Скоро же два часа! — сказала с порога вернувшаяся из гостей хозяйка третьей койки. — Дежурная говорит, что в Челны отправится спецрейс, там какая-то большая авария, летят монтажники, и, возможно, останутся места.

— Так, может, и не стоит укладываться спать? — Мария Гавриловна вопросительно взглянула на девушку.

— Нет, немножечко поспим.. О! Чэк-чэк! — воскликнула она. — Какая прелесть!

— Угощайтесь.

— С удовольствием... Знаете, так хорошо поела у своих знакомых, а прошла по этому морозу — и снова захотелось есть.

Когда дежурная гостиницы разбудила Марию Гавриловну, на улице было еще темно.

— Готовьтесь, на Челны через полчаса подойдет сюда автобус...

— А на Москву?

— На Москву еще не объявили.

Мария Гавриловна быстро собралась, подошла к белокурой соседке, понимая, что неловко так уходить, не попрощавшись. Та не спала. Улыбнулась:

— Счастливый вы человек, что едете в Челны. Думаю, там бабушку ожидает внук. Вот увидите...

— Как вас зовут, добрый и необыкновенный вы человек? — спросила, волнуясь, Мария Гавриловна.

— На войне я была Анечкой, по фамилии Орлова. Сейчас Анна Васильевна. Бабушка двух внуков.

30

Виорел Мугуряну зашел в корпус 2/3 и обнаружил, что никого из соседей нет дома. Вспомнил: они ведь почти все командированные, уехали на праздники к семьям. В квартире не холодно, потрогал батареи — не слишком горячие, но тепло поддерживается. Значит, указания штаба по ликвидации аварии выполняются четко. Сообщения Батенчука были предельно кратки. Город получает от нижекамской ТЭЦ шестьдесят тысяч киловатт электроэнергии. Их нужно расходовать с умом, на самое необходимое. Подать по специально сооруженным линиям ток на котельные для насосов. Горячую воду с ТЭЦ гнать по трассе непрерывно, имеющееся тепло вода отдаст домам. Проживающим в квартирах, расположенных выше девятого этажа, переселиться к соседям на нижние этажи, поскольку горячая вода выше девятого этажа подняться не сможет. Чтобы не заморозить систему, держать в пустых квартирах включенными газовые плиты, следить, чтобы не наделать пожаров. Больницам и роддомам ток подается по особым схемам для обеспечения уже завезенных обогревателей. Беляев призывал к дисциплине и порядку, он обращался к секретарям партийных организаций всех подразделений, ко всем коммунистам — следить за точным исполнением всех указаний штаба.

Мугуряну думал — да так оно и вышло на самом деле, — что мороз прежде всего ударит по теплицам. Опыта у него не было никакого, знал только, как защищают в Молдавии от ранних заморозков цветущие сады: жгут костры, поджигают заранее приготовленный сухой навоз, чтобы больше было дыму. А что поделаешь тут, когда под стеклом тридцать гектаров только что высаженной рассады? И десять тысяч километров труб-теплоносителей. Стоит проникнуть сюда стуже — и за двадцать минут погибнет все. Главный инженер Егор Никитич Лукьянов волновался, все трогал трубы — еще горячие, спасает близость ТЭЦ, всего четыре километра. Если аварию скоро устроят, вода не успеет остыть, но нужно быть готовыми и к этому.

Приготовили тазы, противни. Ницэ помог завезти бензин: в случае чего дежурные дадут команду поджечь бензин и на какое-то время сохранится хотя бы теплый воздух. Но энергичные действия,

предпринятые Батенчуком, Беяевым и руководством челнинской ТЭЦ, дали возможность избежать этой крайней меры. Теплая вода шла непрерывно, начавшая резко падать температура в теплицах остановилась на плюс шестнадцать градусов, а затем ртуть поползла вверх. И только тогда Мугуряну поехал в город, решив заглянуть на минутку домой, а потом в роддом к Ксении. Может быть, уже что-нибудь известно, хотя заведующая Зоя Галимовна Кашалова просила не беспокоиться, все равно до утра никто ничего не скажет...

Зажег свечу. Комната показалась непривычной, что-то изменилось в ней. Так вот что! На кроватях подушки горкой, накрытые кружевными белоснежными накидками: молдавский узор с петухами. На окне занавеска с таким же узором, над тумбочкой прибит небольшой портрет. Кто же там? Приблизил свечу — неужели?.. Со старой, видно, недавно увеличенной фотографии смотрел на Виорела Мугуряну паренек с огромным вихрастым чубом. На груди комсомольский значок. Но самым главным на этой фотографии были глаза парнишки: большие, доверчивые и наивные. Они глядели в упор и спрашивали: а все ли ты, взрослый Виорел Мугуряну, сделал, о чем мечтал я, когда смотрел в объектив и ожидал свершения чуда? Да, это было чудо: первый в жизни снимок Виорела Мугуряну, ему было тогда пятнадцать лет. Ксения нашла его, тайно увеличила и вот повесила. Странное чувство возникло у Виорела Мугуряну при взгляде на это свое фото. Почти тридцать пять лет отделяет его сегодняшнего от того мальчика с такими доверчивыми глазами. О чем думал тот мальчик? Во что верил? За что собирался идти в бой? Если бы ожила фотография и он, нынешний Мугуряну, оказался бы рядом с тем мальчишкой, смог бы он посмотреть ему в глаза и сказать: «А ведь я тебя не подвел, парень»? Да, не подвел Мугуряну мечты своей далекой юности, и наверняка потому он здесь, на этой Набережной Надежды. На тетрадном листке в клеточку мелким почерком было написано несколько строк: «В. А.! Не сердись, что я отдала увеличить твою фотографию. Я подолгу и внимательно изучала ее. И думала: вдруг у нас вырастет такой же мальчик! Еще раз не сердись. Я написала маме, в каком нахожусь положении. Если приедет, устрой ее на кухне, пока соседи в отъезде...»

Всегда, когда Виорел Андреевич вспоминал о матери Ксении, его охватывал непонятный страх. С тех пор как Ксения перешла сюда, он ни разу не был в Кишиневе, от прямых ответов на вопросы Ксении, когда, мол, поедет домой погостить, уходил — всегда находилось куда ехать, только не в Кишинев. И причиной этого была Мария Гавриловна. Мугуряну боялся встречи с ней. Он и сам не смог бы сказать почему. Казалось, все очень просто: мать его жены — сотрудница с улицы Роз, с которой когда-то он работал вместе. Она к нему даже очень хорошо относилась, была толковой работницей, и он всегда находил у нее поддержку и понимание. Они были ровесники. Но Мария Гавриловна знала очень много о нем, она его жалела, не скрывая этого. И что скажет она, узнав, что бывший ее начальник стал ее законным зятем? Прежде всего Мугуряну думал о том, что ему будет стыдно даже просто встретиться с Марией Гавриловной. А получалось так, что он окажется с ней в этой общей квартире. И нужно будет примириться с этим положением. Одного он не знал — написала Ксения матери, кто ее муж, или нет? По крайней мере до недавнего времени Мария Гавриловна в письмах обращалась так: «Дорогая моя доченька и не менее дорогой мой зять!» Перед этими размышлениями отступили события тревожной челнинской ночи со все охватившим мраком и невиданной лютости морозом. Но, как было у него всегда, после временного замешательства, когда наступали безысходность и отчаяние, он снова обретал твердость и разум брал верх над чувствами. В конце концов, можно найти выход из любого положения, и он находил такие выходы. Сейчас

нужно найти Ницэ, тот недавно говорил, что его товарищ по комнате уехал в командировку в Москву, где отряд челнинцев на олимпийском объекте работает. Ницэ живет один в комнате. Он попросит его перейти сюда, в общежитие, на койку в кухне, а Мария Гавриловна поживет в вагончике. Ницэ не откажет. Давай приезжай, несравненная Мария Гавриловна!

31

Когда возникла идея строительства нового завода мощных грузовых автомобилей, большинство его будущих строителей находились еще под крылышком у заботливых мам и бабушек. Вани, Степы, Жоры, Сережи, Ильдары, Назиры, Осипы, Миколы, Уматы, Иосифы таскали портфели-ранцы по улицам разных городов и сел, и, разумеется, никто из них не думал, что пройдет совсем немного времени — и всех их сплотит существующий только на ватмане будущий светлый город с единственным, неповторимым названием — **Набережные Челны**.

Стройки, как правило, и особенно такие грандиозные, — дело мужское. Что же касается женщин, то, чего греха таить, забота о них отодвигалась пока что на второй план. Но за потоком молодых мужчин, как было всегда, двинулся поток девушек. То ли к любимым поближе, то ли в поисках своего счастья, своего берега в жизни. И прошло не так много времени, когда перед отделами кадров, размещенными по решению горкома в вагончиках на улице Гидростроителей, встала в виде живой очереди проблема трудоустройства приехавших женщин. Потом загудела стройка от свадебного веселья. Аисты принесли на Набережную Надежды десятки тысяч камазят! Мария Гавриловна Липатова была не единственной в эти годы мчащейся к своему внуку бабушкой.

Будьте счастливыми, бабушки!

Будьте красивыми, девушки!

Замечено, что столичные гости, будь то кинозвезды, драматические актеры, писатели, художники или просто командированные, едут в Челны как на праздник. Все знают, что на Каме их встретят красивый город и красивые люди.

Будьте красивыми, женщины!

По челнинской хронологии всякий, кто живет здесь свыше пяти лет, уже ветеран. Поэтому Николай Алексеевич Головастиков, проработавший в горкоме двадцать лет, четырежды ветеран.

— Женщины горкома должны служить примером во всем. Кто это сказал? — спрашивает Беляев.

— Я не помню, Раис Киямович, но женщины наши, как полагаю, этого правила придерживаются. «Будьте красивыми, женщины!» — это даже очень хорошо, — отвечает, нажимая на «о», Николай Алексеевич.

Когда у секретаря горкома выдается свободная минута, Раис Киямович выходит из своего кабинета проведать горкомовцев. Он прекрасно знает: за каждой дверью о чем-то ведется разговор, что-то выясняется, о чем-то спорят и обязательно что-то решается — ради пустого разговора в горком не приходят. Заглянул в кабинет Лидии Викторовны Шиловой, секретаря по идеологии. Видит — у нее Надежда Сергеевна Акепсимова, заведующая отделом пропаганды, секретари райкомов партии по идеологии: Ирина Тимофеевна Козырева из Комсомольского, Клара Степановна Вергазова из Автозаводского, Лидия Ивановна Пятибратова из Тукаевского. За несколько секунд до Беляева вошла еще Юлия Сергеевна Пронина, камгосовский идеолог.

— Доброе утро! Вы чего такие пасмурные?

— Не пасмурные, а просто расстроенные, Раис Киямович. Вы видите, что этот подлый ветер наделал? — Лидия Викторовна начинает довольно резко, но затем переходит на шуточный тон: — Ух, если б его можно было бы на бюро! Всю красоту нам испортил.

— Да что вы, Лидия Викторовна, какой ветер может испортить вашу красоту?

— Не о нашей красоте речь, Раис Киямович...

У заведующей отделом пропаганды голос помягче, но и она говорит с сожалением:

— А мы так старались... Сейчас придется начинать все сначала.

Раис свидетель, как старались идеологи, еще вчера вечером хвалил оформителей города: и призывы, и плакаты, и огромные панно, посвященные истории — да, уже истории! — строительства, и метро-вые фотопортреты лучших людей, и флаги трудовой славы... Пройдешь по улице — и на душе праздник.

— Ну что ж делать, не переживайте. Все в наших руках, поправим. Петрушин с Кривоноговым сейчас зайдут, Гилязова пригласим... Главное, помнить: мы накануне решающего сражения...

Многое, очень многое лежит на плечах женщин-идеологов КамАЗа. И оформление, и партийная учеба, и печать, и передовики, и соцсоревнование, и прием всех представителей культуры — из Москвы, Казани, союзных республик. Бюро горкома поручило это им. Один знаменитый народный артист признался: «Мы стали свидетелями здесь огромного мирного сражения. Оно ведется под началом опытных командиров. Они Жуковы, Рокоссовские, Вагугины, Коневы, Чуйковы наших мирных дней. Прекраснейшей особенностью этого сражения является то, что в нем плечо к плечу с мужчинами идут красавицы женщины, и я нигде еще не видел столько красавиц...»

Лидия Викторовна пыталась тогда образно объяснить, какие испытания выдержала и выдерживает эта красота. А романтически настроенный писатель написал что-то очень уж патетическое. И прочитал Беляеву:

«Будьте красивыми, девушки!

Забудьте о модных туфлях, топайте в резиновых сапогах, смывайте с них по десять раз на день грязь. Чтобы назавтра снова плыть по раскисшему чернозему! Отложите на время мысль о светлых платьях и пальто. Степной ветер и пыльные бури — единственная ваша косметика.

Будьте красивыми, девушки! Настанет час — и вы снова наденете любимые наряды.

Наберитесь терпения, женщины! Запрячьте на дно походных чемоданов белые сорочки и светлые костюмы своих мужей. А когда они, отработав по две смены, возвратятся домой усталые и грязные, лишь глаза блестят — будьте снисходительны, женщины! Когда же вам придется по две смены вкалывать и в жару и в стужу — будьте сильными, женщины!

Пока не принялись посаженные деревья, пока не зацвели цветы, вы — единственное украшение города.

Сохраните себя молодыми, женщины!»

Беляев бережет этот листок, хотя уверен: еще не одно стихотворение, не одну книгу напишут о женщинах КамАЗа.

Николай Алексеевич Головастиков видит, что Беляев заходит в кабинет ко второму секретарю — тот ведает строительством, и бывает, что многие вопросы по этой части решаются у него. Головастиков остается ждать в приемной — может, понадобится. Подсказывает подшефшим Петрушину, Кривоногову и Гилязову, где сейчас Раис Киямович. Прекрасные ребята, молодые, энергичные, полные сил и задора. Они чем-то напоминают ему, старейшему работнику горкома, Беляева. 1969 года.

Ребята...

Юрий Иванович Петрушин — первый секретарь Комсомольского района, Анатолий Павлович Кривоногов — Автозаводского. Вожаки многих тысяч людей. А выросли на его, Головастика, глазах. Второй секретарь горкома Валерий Дмитриевич Стекольников, правая рука Беляева, тоже здешний кадр. Мужал в челнинской степи и мэр города Гилязов Ринат Рязович... Сколько человек получили в этих стенах путевку в большую жизнь!

Пока Николай Алексеевич думает об этом, в кабинете у Стеколникова идет мужской разговор, сложный, все уже в который раз проверяется, взвешивается, расписывается по минутам, предусматривается каждая мелочь. Во время окончательного сражения все рычаги должны работать безотказно. У бюро горкома непреложное правило: установить срок выполнения полученного задания, наметить дату, а потом уже от нее вести обратный счет. Это оправдалось, когда строили дорогу номер один, когда забили первую сваю, установили первый станок, пустили первую автоматическую линию, открыли первый детский сад, дали первый звонок в первой школе нового города...

Зашла Лидия Викторовна, принесла новость:

— Пришел ко мне сейчас завгороно и говорит, что в тридцать шестой школе образовалось шестнадцать первых классов. Первый «а», «б», «в», «г» и так далее...

Беляев улыбается (он вырос в многодетной семье):

— Слушай, если пойдем такими темпами, так придется новые буквы придумывать, а? — Потом добавляет серьезно: — Ничего, это нас должно радовать. А на строителей мы нажмем. И садов и школ понастроим. Этим мы обеспечим надолго и молодость и красоту нашего города...

Будьте счастливы, матери!

Как много сделали женщины на КамАЗе. Их красота внушала недостающий иным мужчинам оптимизм. Ведь это они, женщины, придумали:

«Не хнычи!»,

«Не канючи!»,

«Не превращай свою молодость в жалобную книгу!»,

«Нытик — сорная трава на поле молодости»...

Так стоит ли огорчаться и злиться на вчерашний ветер?

И все же очень важно не расстраивать женщин, считает Беляев. Хотя, если говорить положа руку на сердце, не всегда придерживается он этого правила. Скажет что-нибудь такое, а потом переживает. И потому повторяет:

— Будьте красивыми, женщины!

До сдачи второй очереди КамАЗа оставалось три месяца.

Ранним солнечным февральским утром Раис Беляев вышел убедить лично, как убран город к предстоящей в двенадцать часов церемонии торжественного подписания акта о сдаче в эксплуатацию объектов второй очереди. По широкому тротуару проспекта Мусы Джалиля навстречу ему шагали, не торопясь и что-то обсуждая, трое мальчишек. По росту и по ранцам за спиной — первоклассники. Беляев взглянул на часы: еще нет одиннадцати. Поравнявшись с ними, спросил:

— Вы откуда?

— Из школы, — ответили хором.

— А чего так рано?

Мальчик повыше бойко произнес очень простые слова:

— Мы сегодня сдаем КамАЗ.

— Мы сегодня сдаем КамАЗ! — повторили двое его товарищей.

У секретаря горкома, не переставшего за суровые челнинские годы быть сентиментальным, перехватило горло. Да, вчера Лидия Викторовна Шилова, все идеологи КамАЗа созванивались со всеми челнинскими учреждениями, школами, детсадами, больницами. Собрали актив и условились: КамАЗ сдают все, нужно всюду объявить об этой победе, об этом торжестве — «мы сдаем КамАЗ!».

Все его сдают — от малыша до аксакала.

А только ли в Челнах сдавали КамАЗ?

Сколько людей сопричастны к КамАЗу? Кто их подсчитает?

Раису Беляеву хотелось в этот день вспомнить обо всех.

И прежде всего о матери.

Когда «все это» только начиналось, приехала в Челны из далекой татарской деревни мать Раиса Кариме. Не могла она не приехать и не посмотреть, как там ее любимый Раис. У нее одиннадцать сыновей и дочерей, Раис шестой. В тридцать пятом году родился. Гремели тогда над полями песни объединенных в коллективы людей, стало очень популярным слово председатель, и муж Кариме, сельский учитель Киям, предложил назвать сына Раисом, что по-татарски означает председатель.

В селе была только начальная школа, а какой же «председатель» с начальным образованием? И родители отдали сына в пятый класс, в школу, находившуюся за многие километры от их села Шербень. Кариме каждое утро провожала Раиса до околицы...

...Мать Раиса приехала взглянуть своими глазами на место, где работает ее сын. Раис возил ее по пыльным дорогам, с кем-то переговаривался прямо из машины, останавливался перед глубокими ямами, вырытыми человеком, или перед горами содранного с земли чернозема и объяснял, что и где будет. Мало что поняла Кариме из объяснений сына, ее пугала вся эта развороченная земля, туча движущихся, не виданных ею до сих пор машин — экскаваторов, скреперов, бульдозеров, автокранов, паровозов, душили гарь и поднятая до неба пыль. А в машине звучали знакомые голоса людей, видно, подчиненных или друзей Раиса, потому что он называл их по имени, советовался с ними, что-то поручал, говорил им, где будет через час, через два. Объяснил матери:

— Это такой телефон у нас, без проводов и без столбов. Радиосвязь, самая надежная.

У маленькой деревни остановились. Раис объяснил:

— Вчера тут хлеба не было, посмотрю.

Замолкли раздававшиеся в машине голоса — шофер выключил и рацию и двигатель. И до Кариме донеслись мелодия и слова старинной татарской песни:

Санья-апа встала утром
Рано, с алоу зарей.
Соловей запел в сирени,
Очарованный тобой.
Санья-апа с водою
Ведро синие несет.
Соловей на коромысле
Песню звонкую поет...

А дальше мелодия переходила в плач и звучали страшные слова о том, что в степи, где когда-то пели соловьи, текли светлые ручьи и несла ведра Санья-апа, исчезла сейчас вода, спрятались в земные глубины родники от ужаса перед железными чудовищами, которые топчут землю и пытаются высосать из нее всю воду.

Старая женщина оглашала деревню плачем.

— Привезли хлеб! — воскликнул радостный Раис и очень коротко рассказал матери содержание легенды о волшебном орешке: — Если тебе доверено руководить людьми, не забывай ни на минуту о том орешке.

— А ты с этим орешком походи и узнай, почему исчезла вода, чем напоят люди землю.

— А что такое? — спросил Раис заметно опечалившуюся мать.

— Я услышала сейчас плач, женщина пела, что ушла вода..

— Ты понимаешь, наехало столько народу, что вода в колодцах не успевает набираться, она не ушла, делаем сейчас водопровод. Хочешь, покажу? Будет море воды!

Кариме часто думала о том, удалось ли ее сыну вернуть и себе и людям воду. Она говорила односельчанам, что хочет дожить до того дня, когда сбудется все, о чем говорил ей Раис.

Духовые оркестры заглушили все производственные шумы в Набережных Челнах. А может быть, людям хотелось слышать только громкую торжественную музыку? Беляев привез мать на сдачу главного конвейера. И если в первый приезд сюда ее оглушил надрывный рев моторов, то сейчас все было залито звуками радостных, победных маршей. Да, звучат те же марши, что 9 мая 1945-го. Их разносил тогда по Шербени подвешенный на столбе колокол-громкоговоритель.

Ее везли к автосборочному, и Кариме не узнавала ничего из того, что видела здесь пять лет назад. Другая степь, другая дорога и поднявшийся из ничего большой белый город. Утром Фая пересказала ей разговор, услышанный в трамвае. Молодая челнинская старожилка показывала город своей приехавшей погостить подруге. Ехали по мосту через Челнинку в новый город. Слепило яркое солнце, новый город сверкал всеми своими высотными зданиями, школами и кино-театрами, гостиницами, магазинами, гордился недавно открывшейся картинной галереей. «Вон она там, наша Третьяковка! — показывала женщина. — Видишь, за тем рядом двенадцатизэтажных корпусов... — Подумала и добавила как бы для себя: — Мне здесь всегда тепло, даже в стужу, и уютно, кажется, что в каждый из домов могу зайти и встретить добрых людей. Утром, когда выхожу на работу, не нагляжусь, не нарадуюсь на свой город, так и хочется взять в руки порошок и тряпку, мыть и чистить белые стены домов, чтоб сверкали еще ярче, чтоб ни единого пятнышка не было на них...»

Город был до того чист и свеж, что Кариме, вспомнив слова Фаи, невольно подумала: наверное, люди вымыли Челны сегодня до восхода солнца...

Что же это? Сон? Или в самом деле Кариме едет по широкому проспекту, а справа и слева выстроились невиданной красоты дома? Потом въезжает под огромную крышу. Сквозь переплетения железа льется нежный свет, а тени нет. И кажется, что здесь светлее, чем на улице. Вдоль свободной ровной полосы, теряющейся в глубине пространства, замерли, будто в Москве вдоль Ленинского проспекта, когда ожидали Гагарина, тесной толпой стоящие люди. Какие же они все молодые! Какие у них сегодня одежды! Какие лица! Но куда они все смотрят? А, да! На возвышение, где много портретов рабочих и на широком полотне выведены крупные белые буквы. Туда идут сейчас парни и девушки. Через плечо у них широкие ярко-красные ленты, такую ленту привез когда-то давно матери в деревню Раис и сказал, что это дается чемпионам-победителям. Так, значит, эти ребята — чемпионы-победители, они подарят своим матерям красные ленты, как тогда Раис. Вот они выстроились плечо к плечу, смотрят на море людей, машут руками, улыбаются и приветствуют всех — и ее, Кариме, выросшившую для КамАЗа Раиса и еще троих сыновей, работающих здесь, — улыбаются всем матерям и любимым, провожавшим когда-то своих родных сюда, на Набережную Надежды.

Сверху, откуда льется свет, раздались никогда еще не слышанные Кариме сигналы. Она могла их сравнить только с той музыкой,

которую играют солдаты на трубах с флажками 7 ноября на Красной площади в Москве перед началом парада. Их по телевизору показывают.

Она уже не оглядывалась, не смотрела на обступивших ее людей. Она не отрывала глаз от шеренги чемпионов и ждала, когда покажется Раис.

Наконец среди украшенных почетными лентами передовиков строительства появился Батенчук Евгений Никанорович, сосед ее сына. Его Кариме сразу узнала. А вот и Раис. Стоит рядом с худым человеком в очках. Это Васильев Лев Борисович, генеральный директор. «Васильев знает все,— говорил сын,— все до последней гачки».

Вначале Раис, а вслед за ним и другие стали говорить торжественные и взволнованные речи, такие, как на празднике. Шеренга ребят с лентами подошла к Васильеву, строители передали генеральному директору большущий ключ, на котором написано: «КамАЗ». И Васильев поднял высоко над головой ключ от КамАЗа, от всего, что построено здесь.

Вот он какой, генеральный директор Лев Борисович Васильев! Просто генерал. «Человек, который знает здесь все до последней гачки».

Васильев отдал ключ стоявшей чуть в стороне бригаде «чемпионов», а вся бескрайняя толпа зашумела, закричала «ура». Раис поднял руки, но люди шумели еще громче, их голоса раскачивались, как сосновый бор под ветром, и казалось, что зашатается сейчас и весь этот разноцветный железный лес с причудливо переплетенными ветвями. Не знала Кариме, что каждый ствол и каждая веточка в этом «лесу» имеет свое назначение... Беляеву удалось наконец успокоить людей, прозвучал короткий, большинству неизвестный сигнал, генеральный директор подал знак — и началось самое главное, то, ради чего приехал сюда, в Челны, сын Кариме Раис Беляев, приехали Батенчук и Васильев, все это огромное множество людей. Металлический лес вздрогнул и бесшумно тронулся, поплыл, люди стали смотреть вверх, где под самой крышей плавно двигались чудные руки, захватывая и опуская детали... В самом конце свободного от людей проулка опустилась металлическая рама, и Васильев, а вслед за ним и Раис взглянули на часы. Кариме не знала еще, что будет дальше, но ею овладело чувство редкого волнения, она пыталась сдерживать слезы, чтобы они не туманили зрение, не мешали следить за происходящим. Вдруг все разом вытянули руки вверх, будто указывая друг другу обнаруженную там звездочку-спутник, ну совсем как внучата Кариме. Стоящая рядом с Кариме женщина шепнула: «Знамя». Да! Как это Кариме не догадалась раньше? Это же знамя! Это оно колыхалось там, в высоте, а сейчас опускается к людям и медленно плывет, подхваченное ими со всех сторон. Одетые в спецовки ребята по очереди подходят к знамени, что-то прилаживают к нему и пропускают вперед. А оно, как зарево, близится, притягивая к себе глаза всех собравшихся.

Лицо сына, напряженное и озабоченное в начале торжества, озарено светом приближающегося чуда. Потому что Кариме только сейчас поняла — то, что она и многие другие приняли за знамя, было выкрашенной в яркий цвет кабиной первого «КамАЗа». Этого чуда, созданного руками людей.

Знамя Челнов — первая его красная машина!

Вот она уже сходит с главного конвейера, ребята заправляют ее горючим, и в кабину подымается первый экипаж. Все смолкает, и через секунду раздается первый сигнал первого «КамАЗа». Его подхватывают сотни усилителей, возвещая о том, что на дорогу родины вышел знаменосец «КамАЗов». За ним пойдет неостановимый поток.

Было около пяти утра, когда Батенчук и Беляев расстались неподалеку от хлебозавода. Ездили туда убедиться, что к утру хлеб поступит в магазины, как в обычные дни. Евгений Никанорович намеревался ехать на аэродром, а Беляеву нужно было зайти в горком. В свете автомобильных фар Раис Киямович заметил стоявших у входа в роддом двоих мужчин. Кто это там? Попросил водителя остановиться. Узнал заведующего горздравотделом Колчина.

— Доброе утро, Геннадий Алексеевич. Как тут?

— Все нормально, Раис Киямович. Подъехал посмотреть. Как только свет погас, Евгений Никанорович подбросил нам энергии из запасов, горят обогреватели вовсю, тепло.

— Никакой опасности нет?

— Да нет, все нормально.

— Рожениц много?

— Человек тридцать... Вот и Виорел Андреевич ждет.

Только тут Беляев узнал в человеке, стоявшем чуть в стороне, Виорела Мугуряну.

— Как теплицы?

— Все нормально, Раис Киямович, доброе утро... Не пришлось бензин поджигать, обошлось.

— Давайте или в машину, или по домам,— сказал Беляев,— а то замерзнем.

— Да ничего,— ответил Колчин,— сейчас разойдемся.

Садясь в машину, Раис спросил:

— Ну как, рожают?

— Рожают. Скоро...— И завгорздравом посмотрел на Мугуряну.

...В горкоме, как это бывало в особо ответственных случаях, дежурил Николай Алексеевич Головастикиков. Он со стенографической точностью доложил о поступивших сообщениях от секретарей райкомов и парткомов, от руководителей предприятий. Город и производство готовятся к трудовому дню в условиях, созданных непредвиденными, чрезвычайными обстоятельствами, ликвидации последствий аварии способствуют предельная собранность и дисциплинированность людей, необходимости вмешательства руководства горкома нет.

Как радовали Беляева слова о том, что необходимости вмешательства горкома нет. Люди привыкли не перекладывать ответственность на кого-то, работают самостоятельно, принимают решения сами даже в такой крайней ситуации. Даже когда их покидают последние силы. Он рассказал своему помощнику о встрече у роддома с заведующим горздравотделом. Николай Алексеевич переспросил удивленно:

— Колчин?

— Да, Колчин... Мне говорили, что он доживает последние недели, у него тяжелейшая стадия рака... И вот вскочил спасать роддом.— Беляев помолчал немного, потом спросил с тревогой в голосе: — Из дому не звонили?

— Нет.

Раис посмотрел на телефон. Позвонить? Не стоит, спят, наверное. Как они там — Фая, Айрат, Айдар? Он уже столько часов не знает о них ничего. Быстрее домой!

Беляев, не дожидаясь отпущенного на заправку шофера, быстро попрощался с Николаем Алексеевичем, сказал на ходу:

— Если кто позвонит — я домой забежал.

Было еще очень темно, и Беляев шагал один по улице Гидростроителей. Попробовал было сократить путь, идти напрямик через посадки, но помешал глубокий снег. Мороз пробирал его насквозь, и Раис вспомнил, что ему было так же холодно только раз, когда он замерзал в вертолете. Почему он приказал тогда летчику подняться

выше? Он же знал, что над облаками не станет теплее. До сих пор сам не может ответить. Но именно этот дерзкий подъем спас тогда и его, и летчика, и машину... Был риск, но риск, оправданный надеждой. Риском была для них с Батенчуком и эта близящаяся к исходу ночь.

Как только пропало электричество, а батареи стали на глазах стынуть, Фая зажгла все конфорки на кухне, достала теплые вещи, заставила упрямившихся сыновей надеть теплое белье, спортивные костюмы и свитера, уложила их в кровати. Когда они уснули, осталась бодрствовать, время от времени поглядывая на них.

Часы показывали полночь, потом час, и два, и три, а Раиса все не было, телефон словно умер. К четырем что-то замурыкало в батареях отопления, Фая потрогала их — идет тепло! Поправила одеяла на ребятах, устроилась в кресле, укутав ноги пледом. Так и застала ее тихо открывший дверь Беляев. Видно, она, согревшись, вздремнула и не услышала шагов мужа. Но его приближение почувствовала. Открыла глаза и увидела стоявшего в шаге от нее Раиса. Заиндевевшая шапка, воротник, заросшее лицо, тоже заиндевевшее. Он стоял под ярко горевшей люстрой. Фая прищурилась и сказала:

— Раис, свет дали!

Набережные Челны

На 1 января 1982 года работают и дают продукцию автосборочный, пресово-рамный, литейный, кузнечный, ремонтно-инструментальный заводы и завод двигателей. В 1981 году выпущено 85 тысяч 120 «КамАЗов» семи модификаций и 100 тысяч дизельных двигателей.

За годы строительства Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями свыше 10 тысяч челнинцев.

Все телефоны в кабинете Беляева были переключены на секретаря. Один лишь аппарат — белый, с выпуклым изображением герба Советского Союза на диске — никогда не переключался. И сейчас зазвонил он.

— Раис?

— Я.

— Здравствуй, родной! — Московский друг Раиса, прежде никогда не звонивший по этому телефону, объяснил, что он в приемной у своего руководителя. — Слушай, родной. — Он откашлялся, пробуя читать под Левитана: — За успехи, достигнутые при строительстве второй очереди, и освоение мощностей Камского объединения по производству большегрузных автомобилей присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» Батенчуку Евгению Никаноровичу... За бессленное руководство партийной организацией Набережных Челнов, обеспечившей строительство заводов и города на Каме, наградить первого секретаря Набережночелнинского горкома КПСС Беляева Раиса Киямовича вторым орденом Ленина... — Чтение под Левитана прервалось, и зазвучал такой знакомый и близкий голос: — Поздравляю тебя, родной мой, и передай мои поздравления... — Он стал перечислять фамилии.

Раис стоял с прижатой к уху телефонной трубкой, и перед его глазами ожили, приобрели реальность висевшие в кабинете схемы города и заводов. Просторные проспекты и жилые кварталы, школы, детские сады и дворцы культуры, стадионы и бассейны, магазины и кинотеатры, заводские корпуса, а с двух лент главного конвейера выбегали на дороги страны колонны ярких «КамАЗов» с зажженными фарами.

Все жило, дышало, работало.

В памяти секретаря горкома возникли образы тех, кто вдохновлял, помогал и шел локоть к локтю с ним все эти годы,— работники Центрального Комитета партии, проводившие дни и ночи на строительных площадках, сотрудники обкома партии. Перед ним вставал во весь рост образ великой родины.

Битва за КамАЗ длилась 4081 день, и первый секретарь горкома все эти дни был здесь. Что бы он смог без них, чьи лица одно за другим вспыхивают сейчас в его памяти? Герои труда, депутаты, орденоносцы, просто челнинцы, просто камазовцы, люди с Набережной Надежды...

POST SCRIPTUM

В новом Дворце культуры КамАЗа, в том самом, где год назад Беляев проводил планерку, и сданном, как было намечено, 30 декабря 1980 года, на втором этаже, у входа в студию Народного театра юного зрителя висят ученическая тетрадь и карандаш. Рядом плакат: «Напиши, как ты понимаешь счастье». Секретарь горкома перелистывает эту тетрадь.

«Счастье — это мир, труд, любовь, это когда сбываются твои желания, когда тебя понимают, когда малыш делает первые шаги...»

«Счастье — это достижение своей цели...»

«Счастье — это радость хорошо выполненной работы (физической и умственной), которая нужна не только тебе, но и людям...»

«Взрослые и дети! Умейте любить людей, понимать и слушать их. Меньше любите себя! Делайте добро, тогда вы будете счастливы, а значит, и все мы!..»

«Счастье — это когда есть деньги и любимая работа».

«Меня зовут Нина, мне 22 года, я мама двоих малышек и жена добрейшего человека, я просто счастливая женщина».

«Счастье — это все, кроме горя».

«Счастье — любовь, любовь, любовь!!!»

«Счастье — это когда ты кому-то нужен».

«Счастье — это когда мы знаем мир, когда нет войны».

«Счастье — это музыка и свет».

«Счастье — это наша жизнь».

Беляев перевернул страницу, прочитал последнюю запись. Подумал: «А я? Что бы написал я?..»

АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Когда писались эти стихи, я думал о прекрасной и трагической любви Федора Ивановича Тютчева к Елене Александровне Денисьевой.

Автор.

Выхода нет. Есть неизбежность... Или же я в ожиданье устал.
Наша любовь — это наша вина. Мы — словно две одинокие
Не находящая выхода нежность птицы —
На вымирание обречена. Встретились в небе, отбившись
Выхода нет. Есть безнадежность от стай.
И бесконечность разомкнутых рук. Выхода нет. Ты страдаешь
Мне подарил твою нежность и любишь.
художник, Выхода нет. Не могу не любить.
Чтобы спасти меня в годы разлук. Я и живу-то еще потому лишь,
Видимо, ты опоздала родиться. Чтобы уходом тебя не убить.

* * *

Евг. Богату.

Мне подарили книгу — редкий том. Пометки наносила осторожно.
Собрание удивительных историй: И я по ним читал характер твой.
Чужие жизни, радости и горе. О, как же были мы с тобой
И письма. Знаменитостей притом. похожи!
Я книгу эту залпом прочитал. Еще понятней стала и роднее,
Потом еще раз. И еще. И снова. Что две души здесь встретились
И все, о чем я некогда мечтал, над нею.
Сквозь жизнь чужую мне явило Два сердца породнились навсегда.
слово. Но книгу ту украли у меня.
И горевал я горестями вновь. Как будто душу музыки лишили.
Разлуки клял и радовался ИЛИ очаг, где рядом люди жили,
встречам. Оставили надолго без огня.
Мне жить порою просто было И ты сказала: «Нервы зря не
нечем, трать.
Когда чужая рушилась любовь. Ведь нынче модно книги
А ты читала книгу вслед за мной. собирать...»

* * *

Родиону Щегрину.

Я живу открыто. От льстецов да выжиг
Не хитрю с друзьями. Охраняет юмор.
Для чужой обиды Против всех напастей
Не бываю занят. Есть одна защита:
От чужого горя Дом и душу настезь!
В вежливость не прячусь. Я живу открыто,
С дураком не спору. В дружбе, в буднях быта
В дураках не значусь. Завистью не болен.
В скольких бедах выжил. Я живу открыто,
В скольких дружбах умер. Как мишень на поле.

ПАМЯТЬ

★

В. ТАТАРЕНКО

* * *

Песок и листья. Желтые ветра.
Внезапный выстрел. Черный крик вороний.
Как на войне... И оттого с утра
Былой тревоги память не хоронит.

Что занесло тогда их на войну,
Быть может, сели отдохнуть пролетом?
Я был им благодарен потому,
Что ожил лес, казавшийся мне мертвым.

...Жестока память пройденной войны.
Она живет, а с ней живем и мы.

РУСТЕМ КУТУЙ

Огонь

...А в том доме топили печь
так ласково и так необходимо,
что был огонь совсем как речь,
под шепотком клубящим дыма
укрытая, о чем — не разберешь,
ни полсловца, лишь вздох и выдох...

Скребет по окнам вьюги нож,
а тут — заслонка сном повита

хмельным, бормочущим...

О чем,
о чем огонь во тьме толкует —
он то ли плачет, то ль ликует,
стреляет пламенным стручком.

И я беседу с ним веду,
весь жар — в лицо, а холод —
в спину:
там темный мир войною сдвинут
и жизнь — соломка на ветру.

* * *

Без малой родины и мы невелики,
попробуй утоли свой сон и жажду.
Невидимые корни глубоки,
ну а живем без малого однажды.

Что свет в окне? Тропинки поясок?
Бугор и роща? Сумрак над
долиной?

Но только здесь ты строен, и
высок,
и полон силы ты неодолимой.

Да, да... Конечно, истина стара.
Как мать, стара и камень у
дороги.
И след судьбы на скошенном
пороге...
Тихи, как слезы, жизни вечера.

СЕРГЕЙ КАРАТОВ

* * *

Жизнь, как река,
течет и подо льдом,
старания сливая воедино.
И все-таки узнать необходимо,
кто зодчий,
возводящий этот дом.

Скользнет рассвет прохладный и сырой
по улицам с невыметенным сором.
И человек поднимется с зарей,
и целый мир предстанет перед взором.

Заметит, что подобием руки
прорвется луч над горною грядою,
что паруса — спинные плавники
гигантских рыб,
скользящих под водою.

Что на полях все тот же мирный труд,
что поезда идут по расписанью,
что зданья одеваются лесами
и облака рождаются из труб...

Вот родина во всей ее красе!
Где люди, с повседневностью срастаясь,
пытают мысль с волнением на лице,
в грядущее душою устремляясь.

О родина! Тревога и покой.
Над каждым днем взойдет твое светило!
Но только б мне усилия хватило
возвыситься над собственной строкой.

Человек

Над горами иду, над лугами.
Как Земля и кругла и мала!
Ощущаю босыми ногами
Сохранившийся солод тепла.
В выпцветающем небе раздольней...
Только птица теряет круги.
Словно я над забытою штольной —
Подо мной все слышнее шаги.
Вся Земля у меня во владенье.
Встану я, отвергая беду,
Я велю — и раздастся гуденье,
И взлечу и достану звезду.

Д. НЕЧАЕНКО

Воспоминание о Пушкине

Век декабристов и сонат.
Пяти казненных силуэты.
Уже погашены кинкеты,
пустеет оперный театр.
Век декабристов и балов,

где так пленительна Наталья,
она приглашена на танец,
а гений мрачен и суров.
Век-ловелас, жестокий век.
Цари меняются на троне.

Певец оружие уронит,
рукою опершись на снег.
И сон — как явь. И жизнь — как
сон.

Мадонне льстит вниманье света.
«Ужасно быть женой поэта...» —
напишет Долли Фикельмон.
Век чистых муз, Бородина,
гусар, открытия лица...
Кавалергард стрельнет

прицельно
сквозь все сердца и времена.
Но выстрел после прозвучит.

А нынче в городе вечернем
под снега плавное верченье
пускай он все еще творит!
Пускай домашние уснут —
виденья явятся из мрака.
Пусть он склонится над

бумагой
еще на несколько минут!
Я вижу: вот он над столом
привстал, за книгой потянулся,
бормочет что-то, улыбнулся,
коснулся пухлых губ пером.

* * *

Похолодало. День как снежный барс
ступил на коврик сумрачной передней.
В такие утра боли меньше в нас
и время протекает незаметней.
В такой же час немного лет назад,
с таким же излучением прохлады
пытались мы друг другу доказать,
что ворошить прошедшее не надо.
Мы расставались. Лето уменьшалось.
Мы расступались. Гул деревьев рос.
Стал горьким дождь в губах. Мы разъезжались,
как пара лыж, — непоправимо, врозь.
А ты тянулась головой ко мне,
словно ждала какой-то новой правды.
Пустынный пруд рябило в стороне,
и бакены качались на волне,
как будто приводнились астронавты.
Я эту память вырву, как траву.
Она мне все на свете отравила.
Какая в ней должна быть скрыта сила,
когда я только ею и живу!
И дорожу я ею, и куражусь,
и места я себе не нахожу.
Я с ней пронянчусь целый день и даже
до сумерек сегодня досижу.
Я стану думать о тебе,
слагать стихи свободно и пристрастно
и вглядываться жадно в темноте
в густое и прекрасное пространство.

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

★

ПОТОП

Роман

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава первая

Да, должно быть, это то самое место. Вон известковый пригорок, поросший кедрачом, который вдруг выдался кверху. Верно, это то самое место.

Давным-давно, когда он здесь проезжал, этот внезапный серый каменный выступ вовремя вынуждал его отвернуться; потом, рванув дальше и уставившись на дорогу, он с уже осознанным стыдом понимал, что опять с собой не совладал. Он смотрел вперед на дорогу, переживая, чтобы стыд поутих, растворился в его душе, словно капля чернил в воде.

В те годы дорога была гудронирована. Теперь ее покрыли бетоном. Теперь, после стольких лет, ему уже не надо было отворачиваться. Он намеренно смотрел в ту сторону. Черт возьми, теперь он уже мог туда смотреть.

Высокого платана у ручья больше не было. Зарослей ивняка тоже не было. Не было нехоженого мятлика. Кизилowych кустов на пригорке за ручьем теперь тоже не было.

Но ведь беда была не в том, чего уже не было. А в том, что было. Ручей был, он послушно тек меж берегами, где камни были искусно вмазаны в землю, а на валуне расселась цементная лягушка ехидно-зеленого цвета, величиной с телка, разинув пасть, багровую, как свежая печенка, отбитая на колоде у мясника. На другом валуне — гном, карлик, домовый или какая-то другая нежить с белоснежной цементной бородой прилежно удил рыбу. Удочка, которую это творение держало в ручке, была настоящая. Она покачивалась от бега воды. Вода в ручье тоже выглядела как настоящая, зато водяные лилии явно были из цемента.

Бредуэллу Толливеру хотелось, чтобы и вода не выглядела как настоящая. Когда обнаружишь что-то настоящее среди всяческой подделки, становится противно. Противно, потому что если все на свете — подделка, тогда уже все в порядке, не о чем беспокоиться.

Притормозив белый «ягуар», он посмотрел на большую вывеску, нелепую при ярком свете дня; погашенные неоновые буквы сейчас были так же неуместны, как и те желания, которые вечером прикуют к этим надписям взор. На вывеске значилось:

МОТЕЛЬ «СЕМЬ ГНОМОВ»
ОТДОХНИ В СЧАСТЛИВОЙ ДОЛИНЕ

Под надписью была картинка. Молодая женщина, чьи пышные прелести не скрывала девственно-белая ночная рубашка, пробуждалась от поцелуя Прекрасного Принца. Камзол Прекрасного Принца чем-то смахивал на пижамную куртку.

Ниже была еще одна надпись; ее слова выдували вспухшие клоунские белые губы приветливо улыбавшегося негра — голова его была нарисована на одной из сторон огромной вывески:

**ЗАВТРАК ПОДАЕТСЯ В КОТТЕДЖ
КОПЧЕНАЯ ГРУДИНКА ПОД КРАСНЫМ СОУСОМ
СЛУШАЮСЬ, БОСС!**

За главным зданием мотеля висела другая вывеска, там опять красовался Прекрасный Принц; он с блаженной улыбкой склонялся над застеленной ко сну кроватью. Такой же улыбкой ему отвечала пышная молодая дева. А внизу шли слова:

**ВПЕРВЫЕ НА ЮГЕ
БЛАЖЕНСТВО ДЛЯ ЛЕНТЯЯ
ЭЛЕКТРОМАССАЖ ПРИ ПОМОЩИ ВИБРОМАТРАСА
В КАЖДОМ НОМЕРЕ
ЗДОРОВО — ПОКОЙНО — ПИКАНТНО
НОВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ — НОВОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ!
ИСПЫТАЙ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ, ПРИЯТЕЛИ**

Катя по бетонным плитам со скоростью не больше пяти миль в час, Бредуэлл Толливер разглядывал здание мотеля. Его построили по картинке из книги волшебных сказок, из штукатурки и гнутых балок, с полукругом коттеджей позади; у каждого из них по бокам стояли конические, ненатурально-зеленые чахлые елочки. Мулат, уже не гном и не карлик, но наряженный тоже, как в книжках для детей, в коричневый кожаный камзол с зубчиками на подоле, украшенными бубенцами, и трико — причем одна нога была красная, а другая желтая, — неподвижно стоял, прислонясь к бензоколонке, и вяло болтал в руке тряпкой.

Бредуэлл Толливер представил себе, какие люди останавливаются в этих причудливых хижинах. Их сказочное пробуждение. Он выжал педаль, и «ягуар» рванулся, как рысак, ужаленный слепнем. Потом он притормозил. Да, немного горячего залить не мешает. Неужели он сробеет и не остановится, чтобы подбавить в бак бензина?

Он дал задний ход, и машина зашуршала по гравию к колонке.

— Налейте полный бак, — сказал он человеку в коричневом камзоле с разноцветными ногами, — высокооктанового. — И стал разглядывать коттеджи. Хотелось пробудить в себе хоть какое-то чувство, но ничего не получалось. Вот он остановился, а ровно ничего не чувствует! — Веселые денки видала эта долина, — сказал он человеку в камзоле.

Тот молча вытирал ветровое стекло.

— Да-с, сэр, — сказал он, — может, и так. — И продолжал вытирать стекло.

Толливер был уверен, что он сейчас осклабится. И даже заранее знал, что это будет за улыбка. Замша застынет на стекле, и в этот миг молчаливой солидарности и мужского дружелюбия лицо растянется в улыбке угодливой, но хитровой, пробиваясь сквозь прозрачную, но еще вполне реальную преграду, возведенную историей, словно сквозь ветровое стекло. Однако улыбки не было. Бубенчик не улыбнулся.

Тогда Бредуэлл Толливер сказал:

— Видно, вам неплохо платят за то, что вы носите эти шутовские штаны.

— Босс, — сказал человек в шутовских штанах, — мне приходилось напяливать и робу с надписью «Галф-ойл» на спине. А в другой раз на ней было написано «Услуги Сэма». Какая мне разница, босс?

— Пожалуй, вы правы, — сказал Бредуэлл. — Сколько с меня причитается?

Отдавая десятку, он лениво подумал, что в прежние времена написал бы об этом рассказ.

Мулат пошел в контору за сдачей.

Да, когда-то он здорово бы об этом написал. Да мог бы и сейчас, если бы хотел: случайная встреча; пауза, чреватая взрывом, который бояться обозначить словами; шпилька, которую он больно всадил в этого человека; внезапное ощущение его природной отваги, трагедия затравленного человека, рядового человека, дорожающего своим достоинством, несмотря на все унижения, на утрату личности и социальное неустройство.

— Господи, — произнес он, скривившись. Ну прямо из передовицы книж-

ного обозрения «Нью-Йорк таймс»; все, вплоть до слова «отвага». А вторая часть насчет «социального неустройства» — из передовой «Нью рипаблик». Да, это жаргон давно минувших дней. Теперь не говорят о «социальном неустройстве», говорят о конформизме, о третьем пути, о сдавших нервах, о радиоактивных осадках. Да, тот жаргон устарел лет на двадцать пять, но он его вспоминал, каждое слово, слово за словом. Лучше бы не вспоминать.

Слова, которые ему не хотелось вспоминать, были из рецензий на его первую книжечку рассказов. Там их было всего семь. Книжка называлась «Вот что я вам скажу...». Она вышла осенью 1935 года, когда он кончал университет. Поначалу его радовало, что он написал книгу и увидел ее напечатанной. Но в феврале ему стало не по себе. После трех бессонных ночей он пошел к декану.

Декан — рослый мужчина с фамильярно-покровительственной манерой, еще шикарными плечами и замшевыми заплатами на шикарно поношенном твидовом пиджаке — откинулся в вертящемся кресле под висевшим на стене веслом, голубым веслом с именем декана, датой и гербом Оксфордского колледжа, где он прославился как неутомимый гребец и страстный любитель пива. Он вынул изо рта трубку и произнес:

— Милый юноша, по-моему, вы совершаете ошибку.

Милый юноша собрался с духом и сказал, что он, видимо, вынужден совершить эту ошибку.

— А что скажет ваш отец? — спросил декан.

Бред сообщил, что отец его умер.

Декан покраснел. Кто-то, по-видимому, спутал картотеку у него в голове. Черт, он ведь все знает об этом щенке. Просто оговорился. Ну да, отец этого щенка умер в прошлом году, и щенок ездил на Юг его хоронить. Щенок откуда-то из Теннесси. Черт, кажется, он даже припоминает, как называется это место. У него отлегло от души. Место это — Фидлерсборо, штат Теннесси. В уме он так его и обозначил сокращенно: Т-е-н-н.

Декана удивляло, откуда у какого-то типа из Фидлерсборо, Тенн, хватило денег поступить в Дартхерст. Даже на ботинки, чтобы сюда приехать.

Но он вспомнил, что тут у них целых два щенка из Фидлерсборо. Вторая пара ботинок принадлежала парню, которого так и звали: Фидлер. Калвин Фидлер из Фидлерсборо. Ну и ну! А этого зовут... ага! Бредуэлл Толливер.

Щенок смотрел на него в упор.

Тогда декан, овладев собой, заметил довольно ехидно:

— Что ж, если вы так разбогатели... Но и тогда я бы вам советовал...

— Я даже аванса за обучение еще не выплатил, — прервал его юноша. — Пятьсот долларов, я их еще не отдал... Не в этом дело...

— Что ж, если вы твердо решили... — произнес декан, и голос его замер на полупhrase, а рука потянулась к карандашу и стала его вертеть. Но он повеселел: — Нельзя сказать, чтобы ваши успехи были такими уж ошеломляющими.

Юноша молча стоял перед ним.

Декан посмотрел на него. Он сам когда-то написал роман. Но начал работать над ним после того, как получил диплом.

— Так как же? — спросил декан.

Юноша не мог выдать ни слова.

— Так как же? — повторил декан.

— Да я просто хотел... — начал юноша и осекся.

— Чего вы хотели?

— Наверное, просто поговорить, — сказал юноша и почувствовал, как это глухо.

— Вы пришли ко мне с заявлением, что бросаете университет, — сказал декан. — А после такого рода решительного заявления, милый юноша, трудно приступить к совместному обсуждению вопроса.

— Да я, видно... — И опять осекся.

— Видно, что?

— Боюсь! — выпалил Бредуэлл Толливер, чувствуя себя уже полным идиотом.

Он стоял перед деканом, не зная, чего он, в сущности, боится.

А теперь, четверть века спустя, сидя в белом «ягуаре» у бензоколонки Счастливой Долины, он спрашивал себя: «Неужели я боялся?»

Чего, черт возьми, ему было бояться?

Он поглядел на свою правую ногу, лениво нависшую над педалью под щитком, но готовую дать машине ход. Нога была обута в рваную сандалию. Щиколотка голая. Он поглядел на джинсы, вылинявшие от стирок, их и сейчас не мешало бы постирать. Он посмотрел на потрепанную панаму за семьдесят пять долларов, брошенную рядом. Он посмотрел на сверкающий приборный щиток «ягуара» ХК-150, на котором три недели назад прикатил сюда с Тихоокеанского побережья через горы, пустыню, холмистую прерию и черноземные поля Арканзаса. Он посмотрел ввысь, на синее небо, потому что в такой день, как сегодня, верх машины был спущен. Он глядел ввысь, на прекрасное апрельское небо, на солнечный свет, заливавший Теннесси; наверное, где-то тут неподалеку старик, перегнувшись через некрашенный штакетник, собирает желтые нарциссы, чтобы порадовать свою старуху, когда она проснется от послеобеденного сна, а чуть дальше, в чистом поле, мальчишки кидают кожаный мяч, перекликаясь печально и нежно, как ржанки, а еще дальше парень и девушка, взявшись за руки, идут по тропинке в зеленую мглу леса, а где-то около леса старая негритянка в мужской фетровой шляпе с неровно обстриженными полями закидывает леску в ручей; уши и сердце Бредуэлла Толливера наполнило птичье пение, и он подумал, что ему и вправду удалось заглушить в себе всякое чувство.

Что же этот Бубенчик не несет сдачу?

Бубенчик дал ему пять долларов, один, четвертак и десять центов.

— Послушайте,— обратился к нему Бред Толливер.

— Что нужно, босс?

— Извините, что я так вам сказал... насчет шутовских штанов.— Он запнулся.— Словом, вы понимаете...

С очень красивого бледно-кофейного лица, которое, если не считать его идиотского простодушия, напоминало лицо Белафонте¹, на Толливера растерянно и даже как-то с мольбой уставились карие глаза, отсвечивая странными золотыми искорками.

— Босс,— произнес голос, который звучал теперь тише, бархатистее,— не пойму я, чего вам надо, ей-богу, никак не пойму я вас, белых людей.

— Черт возьми,— сказал Бред.— Я же не хотел вас... обидеть.

Он не так хотел выразиться. Двадцать пять лет назад он бы знал, как надо выразиться.

— Да ну, босс,— произнес парень с бубенцами; карие глаза уставились на Бреда, обволакивая его своей мягкостью, не давая дышать.

Бредуэлл Толливер вспомнил, что где-то читал, как медуза пожирает устрицу: она обволакивает ее своей мягкостью, устрица устаёт от этого и раскрывает створки раковины. Бредуэлл почувствовал себя устрицей.

— Я хотел попросить у вас извинения! — выпалил он.

— Но, босс,— сказал Бубенчик,— но, босс, мне же нравятся эти мои штаны!

Бредуэлл Толливер дал газ. «Ягуар» томно задрожал. Он поглядел на деньги в левой руке. Правой отобрал пять долларов, четвертак и десять центов, сунул в карман майки, а левой протянул негру доллар.

Негр стоял, держа эту бумажку. Лицо его было непроницаемым.

— До свидания,— сказал Бредуэлл Толливер, и машина тронулась.

И в этот миг он услышал:

— Спасибо, дядя.

Бредуэлл Толливер не сомневался, что правильно расслышал. Но не поверил своим ушам. Ему показалось, что за колонкой притаился чревовещатель и, выполняя свой трюк, послал голос оттуда, откуда он не мог звучать, во всяком случае здесь, в Теннесси, не из этих пухлых губ,— резкий, злой голос, который с издевкой произнес: «Спасибо, дядя».

Весло еще проплывало мимо, и Бредуэлл Толливер круто повернул голову назад. Мулат стоял, держа в руке долларовую бумажку. Он ухмылялся. Но эта улыбка не была похожа на ту, которую Бредуэлл Толливер ожидал увидеть сквозь ветровое стекло. Это была совсем другая улыбка.

¹ Знаменитый киноактер, негр.

Толливер оторвал от нее взгляд и стал смотреть вперед. На мгновение он снова увидел ту улыбку — крошечную, в боковом зеркальце. Потом она скрылась. Но мысленно он все еще видел парня в шутовских штанах; он стоял на поблескивающем от солнца гравии и победно ухмылялся вслед белому «ягуару», убежавшему от него в Нашвилл.

Дорога свернула в сторону. Бред Толливер больше не мог видеть мотель «Семь гномов» и Бубенчика, который держит в руке доллар и победно улыбается ему вслед. Поэтому он снял ногу с педали и сбавил скорость; послышался слабый колючий хруст гравия, когда, съехав с бетонки, он остановил машину.

Вцепившись в руль, он прижался к нему лбом. Непонятно, что со мной происходит? — подумал он.

Он перебрал в памяти все, что произошло в «Семи гномах».

Он не понимал, как могло произойти то, что произошло. Он подумал: Это было не со мной.

Потом он вспомнил «Сон Иакова», и какие прекрасные были рецензии, и как, даже теперь, когда пустовали экраны и закрывались кинотеатры, это название сияло с миллионов рекламных щитов. Он вспомнил, зачем он едет в Нашвилл.

И почувствовал себя лучше.

Человек в шутовских штанах стоял на гравии у бензоколонки и ухмылялся вслед белому «ягуару», на котором дядя сбежал от него в Нашвилл. Он раздумывал, зачем этому белому понадобилось корчить из себя южанина. Черт возьми, ведь на «яге» калифорнийский номер. Кому этот белый голову морочит, чего ради пыжится и лезет в конфедераты?

Человек в шутовских штанах пожал плечами. Пусть себе развлекается и корчит из себя южанина. Он ведь и сам развлекается тем же. Даже знатоки теперь на него не косятся. Да и где найдется такой знаток, который уловит искусственность твоей речи, если ты говоришь то, что он хочет услышать?

— Слушаюсь, босс,— прошептал человек в шутовских штанах, поглядел на огромную черную рожу на вывеске с раздутыми балаганными губами и подмигнул ей.

Он сложил долларовую бумажку и сунул ее в карман шутовских штанов. Доллар есть доллар. Он неплохо здесь зашибает, работая в пятницу после обеда, а в субботу и воскресенье — весь день; вечером в воскресенье ему достается, потому что он выполняет и обязанности коридорного, а в понедельник утром надо рано попасть в город на лекцию о Корнеле и Расине в университете Фиска. В хорошую погоду ему на это надо три четверти часа в его «ламбретте». Он проделал на ней всю дорогу от Чикаго до Нашвилла меньше чем за два дня.

Тут неплохо, в этой Счастливой Долине. Хорошие чаевые. Ему разок даже баба досталась, видимо, вместо чаевых. Может, он зря не рассказал об этом белому, когда тот завел разговор о горячих деньгах в Счастливой Долине. Да, думал он, стоя на солнце у обочины бетонки, надо было ему рассказать как один янки другому, что позволяют себе янки тут, в Теннесси.

И не то чтобы было чем хвастать. Дома он ни за что не польстился бы на нее, но тут, в Теннесси, происшествие имело свою пикантность и, уж во всяком случае, было вызовом, несмотря на то, что на ее «рэмблере» трехлетней давности был номер штата Индиана, а не здешний.

Да и ею самой тоже нечего хвастать, вот-вот стукнет сорок, зубы торчат, peut-être², чересчур, и очки. Но когда в час ночи он принес заказанное пиво со льдом, дамочка была без очков и лицо показалось довольно сносным, особенно при свете одних только ночников под розовыми абажурами, ловко придуманных дирекцией Счастливой Долины. И дамочка к тому же высказалась с приятным прямодушием, поставила вопрос ребром, откровенно показав, что готова внести свою лепту.

Она и внесла свою лепту и, когда он застегивал камзол, милостиво заметила, что он похож на Белафонте.

— Вот уж нет,— сказал он.— Я — Ральф Панч.

² Возможно (франц.).

— Как-как? — переспросила она.

— Вы что, Джуди, никогда не слыхали о ярмарочных Панче и Джуди?

— Меня зовут не Джуди, — сказала она раздраженно и присела на край кровати, натягивая на себя розовое вязаное покрывало.

— Да нет, вы — Джуди, — сказал он и вышел в предутреннюю мглу, ненавидя весь мир и себя самого.

Несясь к Нашвиллу и слыша, как поют шины на зеркальном полотне дороги, Бред думал, что ему не надо было останавливаться.

Но когда он остановился, он был горд тем, что остановился. На это понадобилось чуть не двадцать лет, но наконец он все же остановился. И, остановившись, почувствовал удовольствие и решил, что больше никогда — ни сознательно, ни бессознательно — не отвернется, проезжая мимо этого места.

Но теперь, когда эта замечательная дорогая машина, белея, летела по бетонке, он почувствовал, что это не так. Теперь он почувствовал, что потерпел новое поражение. И без мрачной бравады сказал себе, что у него хватает честности признать: да, на том же поле битвы он вторично потерпел поражение. Даже толком сам не понимая, в чем оно состоит.

В былые годы он иногда себя уговаривал, что почти двадцать лет назад он, в сущности, одержал победу. Ведь она получила то, что просила, и заплакала. Да, победу. Так он себя порой убеждал, когда шагал по солнечной улице или сидел на высоком табурете у бара. Но когда его мучила бессонница или не шла работа, он всегда знал, что потерпел поражение. И теперь, летя по бетонке, он себе в этом признался, даже если до сих пор не понимал, в чем же было то поражение тысячу лет назад, в 1941 году, когда мир был еще так молод и весел.

Она обернулась. Она оборачивается ко мне лицом. Она улыбается.

Он увидел дорожный знак «двадцать пять миль до Нашвилла». Он взглянул на часы. Даже когда он туда доедет, ему еще надо будет пробиться сквозь поток машин к Берри-Филд. Он так давно тут не был, что вряд ли сразу найдет дорогу, ведь там, в городе, все могли перестроить. Он следил за стрелкой спидометра, она стояла на шестидесяти восьми. Тогда он подумал: Какого черта, ну и что, если Яше Джонсу придется обождать на аэродроме минут десять?

И снизил скорость почти до законной.

Глава вторая

Но даже поплутав по городу, он добрался до Берри-Филд в половине третьего и успел наглядеться на сверкающую голубизну неба, из которой с запада должен был появиться «дуглас», летевший из Лос-Анджелеса, а также поразмыслить о том, что же, в сущности, собой представляет этот Яша Джонс. Он знал его только понаслышке, не был с ним знаком. Как известно, знакомых у Яши Джонса было немного.

Бред представлял себе Яшу Джонса, не зная даже, как он выглядит, потому что Яша Джонс никогда не появлялся в тех местах, куда преуспевающие люди ходят, чтобы себя показать, вызвать зависть и подкрепить свою уверенность в том, что они поистине преуспели и, право же, могут не страдать от ночных страхов; он не бывал в таких местах, где сам Бредуэлл Толливер появлялся лишь изредка, сказав себе, что ему-то не нужна подобная уверенность, а к тому же он давно решил, что смотреть на то, как какой-нибудь неудачник пресмыкается перед метрдотелем, малопочтенное занятие. Поэтому если он и приходил в такое место, то с чисто практическими целями: зная, в каком мире мы живем, ему иногда надо было тактично внушить какой-нибудь девушке, что к нему-то метрдотель относится почтительно.

И стоя тут, на Берри-Филд в Теннесси, он на миг увидел себя перед сверкающей белизной скатертью, а напротив в мерцании свечей ему улыбалось женское лицо. Но мгновение было настолько кратким, что он так и не разобрал, чье это лицо. И вдруг из-за этой картины, заслоняя ее, в голубом небе возникла черная точка, которая станет «дугласом».

Тут он снова постарался вообразить Яшу Джонса, воссоздать его облик по немногим опубликованным фотографиям, на которых он чем-то напоминал Андре Жида и Димитрия Митропулоса. Ибо голова у этого вундеркинда Яши Джонса была лысой, лысой, как яйцо, извечно лысой, и на этих немногих фотографиях лицо выражало такую же глубокую погруженность в свой внутренний мир и такую сдержанную страстность, как на фотографиях старого Андре и стареющего Митропулоса. Лицо Яши Джонса на этих редких фотографиях было всегда слегка опущено, взгляд затаенный, а голова мыслителя с налетом какой-то экзотики казалась бесплотной и словно парила в пространстве.

Экзотика — это слово пришло ему в голову, когда он стоял у ворот и ждал, пока самолет приблизится и обретет очертания. Да, в этом лице была экзотика еврейского интеллигента. Он знал, конечно, что ни Жид, ни Митропулос не были евреями, но шутливо сказал себе, что, будучи истинным сыном Фидлерсборо, он представлял себе еврея квинтэссенцией экзотики, особенно же экзотики тайной мудрости и чуточку злобующего всезнайства, которые могут погубить здоровую радость жизни и вызывают у средних людей, преданных этим повседневным радостям, смятение, уныние и, естественно, злобу.

И поэтому на смену Яше Джонсу, Андре Жиду и Митропулосу в его воображении возник образ маленького старого Израиля Гольдфарба, скорбившегося в своей портняжной мастерской на Ривер-стрит в Фидлерсборо, — желтый лоб, тонкий, как бумага, нос и темные страдальческие глаза, склоненные над иглой, которая с каждым годом сновавала все медленнее в ревматических пальцах. Он то и дело задыхался от кашля.

У старого Изи Гольдфарба над швейной машинкой висела полка с книгами; их там было немного, всего десять или пятнадцать, и все не по-английски. В погожие весенние вечера, когда поздно темнеет, старый Изя любил сидеть перед своей мастерской и читать, иногда отрываясь от книги, чтобы поглядеть на огромную излучину реки, скользившей мимо, как расплавленная медь, красную от весеннего груза глины, вымытой водами из Алабамы, и от лучей заката. Иногда старик и вовсе забывал о книге. Он сидел, глядя через медные воды на закатное небо.

В Фидлерсборо спорили, на каком языке написаны книги старого Изи: на идиш, настоящем еврейском, на немецком или еще на каком-нибудь наречии. Но часть из них была по-французски. Когда Бред учил французский в средней школе Фидлерсборо, старый Изя раза два спрашивал его, как он поживает, или замечал, что сегодня, не правда ли, прекрасная погода. Люди иногда показывали мистера Гольдфарба приезжим, сообщая при этом, что он говорит по-французски, так же, как обычно показывали, откуда поднималась вода на кирпичной стене скобяной лавки мистера Лортона на Ривер-стрит или на новые ворота кладбища и прочие городские достопримечательности. Учитель французского, один из учителей средней школы, недавно окончивший университет в Ноксвилле, кажется, признал, что мистер Гольдфарб и правда говорит по-французски, только произношение у него не из лучших, не парижское. Однако кое-кто заметил, что этот молодой человек обегает нижнюю часть Ривер-стрит, особенно в те времена года и часы, когда мистер Гольдфарб сидит на улице и может справиться, как он поживает. Юный Бред Толливер, например, это отметил.

Бреду всегда нравился мистер Гольдфарб. Он угощал лимонными леденцами и в то же время разговаривал с тобой мягко, внимательно, как со взрослым. Позднее он играл с Бредом в шахматы, не давая ему фору. Когда Бред уезжал в начальную школу в Нашвилл, он зашел к мистеру Гольдфарбу попрощаться. Но через два года, уезжая на восток, в Дартхерст, он уже не зашел к мистеру Гольдфарбу попрощаться. Там, в Дартхерсте, он не раз вспоминал об этом упущении и очень каялся. Он еще больше каялся следующим летом, когда гостил у соученика в штате Мэн и узнал, что мистер Гольдфарб умер.

Потом он слышал, что мистеру Гольдфарбу устроили пышные похороны. На стене над его койкой в задней комнате мастерской обнаружили приколотый адрес какого-то Гольдфарба из Цинциннати, и так как в Фидлерсборо больше не осталось евреев, методистский священник послал туда телеграмму. Ответ пришел немедленно: «Прошу сохранить тело до приезда все расходы будут оплачены Мортимер Гольдфарб».

И мистер Лортон, владевший не только скобяной лавкой, но также и мебельной и бюро похоронных процессий, сохранил тело умершего. Родственники, в том числе сын, приехали на большом черном автомобиле; лак его блестел даже сквозь пыль, покрывшую его на дорогах Кентукки; автомобиль был такой длинный, что, как говорили люди, развернуться он мог только за городом.

Они привезли с собой даже раввина. Похороны мистера Гольдфарба в самом роскошном гробу мистера Лортон были устроены по еврейскому обряду, но на них собрались все. И все говорили, какие это были достойные похороны. Всем было особенно приятно, что покойный оставил письменное распоряжение похоронить его в Фидлерсборо. При этом уместно было вспомнить, что сам Христос тоже был евреем. И все обменялись рукопожатиями с родственниками усопшего.

Родные сняли с полки книги, удостоверились, что за покойным не было долгов, сели вместе с раввином в черный автомобиль и укатили. Они оставили в мастерской все как было, но наняли человека, чтобы тот привел ее в порядок для передачи владельцу. Позднее методистский священник сообщил своим церковным старостам, что в знак уважения он получил от мистера Гольдфарба из Цинциннати внушительное пожертвование. Кто-то выразил недоумение, почему сын из Цинциннати, если он такой богач, не заботился о своем папаше и дал ему помереть от старческого ТБЦ. По словам священника, сын дал ему понять, что отец хотел жить своей жизнью, и добавил, что нам не дано об этом судить. Тогда кто-то припомнил, что мистер Гольдфарб дважды в год куда-то ездил. Видно, в Цинциннати. Значит, сын присылал ему на проезд. Священник сказал, что, если он правильно помнит, отъезды старика в Цинциннати совпадали с еврейскими праздниками. Он заявил, что уважает людей, не отступившихся от своей веры.

Стоя у ворот в Берри-Филд и ожидая, пока подкатит «дуглас», Бредуэлл Толливер говорил себе, что непременно отыщет могилу старого Изи. Он знал, что она где-то в старой части кладбища, наверно, в том углу, где давным-давно схоронили нескольких евреев, которые, надеясь нажить на хлопке, потащились вслед за генералом Грантом на юг, в Теннесси и Миссисипи, прогорели и застряли на этой окраине войны лавочниками или мелкими разносчиками, томясь от тоски и одиночества. Могилы тех последней давно заросли ежевикой и диким виноградом, но красивая плита, положенная по приказу Гольдфарба из Цинциннати (и впоследствии сфотографированная им самим, когда большая черная машина на час заехала в Фидлерсборо для этой богоугодной цели), вероятно, и теперь, лет тридцать спустя, покажет, где лежит старый портняжка. Плита, хоть и была положена по приказу Гольдфарба из Цинциннати, помнится, оплачена была не им. Старый Изя оставил записку, где было указано, что надгробье должно стоить не больше ста пятидесяти долларов. Старый Изя оставил для этой цели в коричневом пакете из бакалейной лавки ровно сто пятьдесят долларов, написав сверху: **На надгробье.**

Но даже если плита и невелика, думал Бредуэлл Толливер, он сумеет ее найти. Да, он ее разыщет. Хоть этим он расплатится за то, что должен, в чем бы этот долг ни состоял, или искупит то, что, как ему кажется, надо искупить.

Интересно, жив ли еще Гольдфарб из Цинциннати? Интересно, приедут ли они сейчас, откопают ли то, что осталось от старого портняжки, и увезут ли его останки? А может, Гольдфарб из Цинциннати тоже умер и никому больше дела нет до старого Изи, как и до тех скупщиков хлопка, чьи мечты, чья жадность и отвага довели их до торговли вразнос и смерти в Теннесси?

И неужели маленький, чахоточный человечек с его потрепанными книжками, который так давно и загадочно появился в Фидлерсборо, останется там, под тяжелым грузом воды, когда достроят новую большую плотину, подпрут реку и начнется потоп?.. Что же, это будет его вторая смерть — человек утонет, утонет навечно, будет без конца задыхаться от непереносимой тяжести, которая навсегда придавит его грудь. Бред Толливер вдруг почувствовал, как у него екнуло сердце, и подумал: клянусь богом, я, я сам, если не найдется никого другого, позабочусь об Изе Гольдфарбе!

Самолет подруливал к воротам. Бредуэллу Толливеру пришла в голову

мысль, которую ему захотелось записать. Он вытащил из кармана пальто огрызок карандаша, старый конверт и нацарапал:

Старый Гольдфарб — кто-нибудь перенес его тело?

Отношение города к эксгумации — тема?

Проверить планы эксгумации.

Правит субсидия? Общая? Выборочная?

Черт, — подумал он, — до чего человек забывчив. Неужели все это давно не проверено? Надо обращать внимание на такие вещи, но они проходят мимо тебя. Чересчур уж много всяких обстоятельств.

И он вдруг похолодел от ужаса: Там же мой отец. Неужели вода зальет и моего отца!

Конечно, нет. Если он этого не позволит. Он сможет добиться эксгумации, даже если чиновники не захотят ему помочь.

На этих его размышлениях дверь самолета открылась.

Выглянула стюардесса — задорная головка, задорные золотые кудряшки, задорная синяя шапочка. Не улетит ли она в небо и не принесет ли оттуда оливковую ветвь в клюве?

Потоп, — подумал он.

«Дуглас» выпустил из чрева неспешную череду пассажиров, щурившихся от яркого света, но Бред был уверен, что среди них нет никого, даже отдаленно похожего на Яшу Джонса. Но вот по поблескивавшему на солнце хромированным ступенькам стал спускаться последний из них.

У трапа человек в сером остановился, заморгал от спящих лучей, поставил на бетон портфель и, не выпуская из левой руки книги, стал неловко надевать темные очки. Да нет же, не может он быть Яшей Джонсом, этот тип в мятом, затрапезном сером костюме, в затрапезной серой шляпе, надвинутой на лоб, с набитым портфелем, оттягивающим правое плечо, и с книгой, которую он держит в левой руке, сунув между страниц палец, чтобы не потерять место, которое читал. Это явно какой-то профессор одного из окрестных колледжей, а не Вундеркинд Тихоокеанского побережья.

Но человек этот подошел, снова поставил на землю портфель, снял темные очки, снял шляпу и, кинув быстрый оценивающий взгляд, как врач на больного, спокойно улыбнулся и сунул ему правую руку. В тот миг, когда была снята шляпа, сразу обнаружилось, что это все же Яша Джонс.

Череп был не просто лысый, с глянцевой поверхностью лысины. Слева, оттуда, где когда-то росли волосы, поднимаясь к макушке, расплывалось странное неровное пятно, расчерченное еле приметными розовыми линиями по загорелой коже; пятно напоминало бледно-розовый, выгоревший на солнце, прозрачный материк на несколько вытянутом пергаментном глобусе. А по матерiku тянулись почти невидимые линии, придавая ему вид драгоценного фарфора, который был вдребезги разбит, но осколки потом старательно собраны и склеены. Остальная часть головы была не лысая, вернее не совсем лысая. Просто наголо обрита. При ярком солнце это было заметно.

Рука, пожимавшая его руку, была небольшая, но пожатие неожиданно крепким, и, почувствовав его силу, Бредуэлл мельком припомнил единственную виденную им фотографию Яши Джонса, где лысины не было. На той фотографии ее прикрывал берет, и лица почти нельзя было разглядеть. Но тело было худое, очень мускулистое, как у бегуна на длинные дистанции: на Яше был только берет и плавки; он стоял на пляже в Каннах, а может, в Антибе, глядя через тысячекратно воспетое Средиземное море на закат. Никого, кроме этой фигуры, на снимке не было.

— Вы — Толливер, — сказал довольно высокий худой человек со спокойной уверенной улыбкой. Его зубы казались очень белыми на сильно загорелом, словно покрытом тонким сафьяном лице.

Бредуэлл натянуто улыбнулся:

— Вы меня провели. Сплоховал. Не узнал вас. Решил, что какой-то профессор.

— Профессор — не такая уж плохая догадка, — сказал Яша Джонс. — Чуть им не стал. На краю пропасти удержался.

Бред потянулся поднять набитый портфель, но его предупредили.

— Ну нет,— любезно возразил Яша Джонс. И, взвесив в руке тяжелую кладь, добавил: — Ах вот оно что! Меня выдал по-профессорски набитый портфель. Примитивно, дорогой Ватсон!

Они вошли в здание.

Яша Джонс снова взвесил портфель.

— Книги,— сказал он.— Стихи, если говорить точно. Весьма действенное лекарство.

— Ага,— поддакнул Бред, толком не зная, с чем он соглашается. Но, черт побери, нельзя же спросить человека после трехминутного знакомства, от чего нужна эта панацея — от общечеловеческих невзгод или от личных прихотей.

— Багаж получим там,— сказал Бред.

Глава третья

Пока они ползли сквозь субботнее скопление машин по уже незнакомому лабиринту улиц с односторонним движением, пробиваясь к Вест-энду, день подошел к концу. Слева от них остался внушительный комплекс зданий из академического красного кирпича, отгороженных простором подстриженного академического газона с пустой асфальтовой площадкой для стоянки машин — свидетельство унылой пустоты академических весенних каникул. Над всем этим высилась квадратная башня с часами; золотые стрелки на повернутом к ним черном циферблате показывали четыре часа десять минут.

Бред ткнул большим пальцем в сторону башни.

— Раз вы говорите, что без пяти минут профессор, то вон там университет Вандербильта.

Яша Джонс кинул на университет бесстрастный взгляд, но когда они пронеслись мимо, обернулся.

— Рэнсом,— произнес он.— Кроу Рэнсом, он же когда-то тут учился, правда?

— Кто? — спросил Бред.

— Рэнсом, поэт.

— Угу,— сказал Бред.— Угу, кажется, мне о нем что-то говорили.

— Вы читали его стихи? — спросил Яша Джонс.

Бред помотал головой:

— Нет. Я вообще-то стихи мало читаю.

— У него прекрасные стихи,— сказал Яша Джонс.

Он погрузился в молчание.

— Подъезжаем к парку Столетия,— объявил Бред, пародируя туристского гида, и мотнул головой вправо.

Яша Джонс повернулся в ту сторону, но промолчал.

— Ну да,— сказал Бред,— когда городу исполнилось сто лет, он отпраздновал свое долголетие и умение выжить, сопротивляясь натиску индейцев, оспы, пеллагры, федеральных канонеров и питанию одной свиной, методистскому богословию и обществу друг друга. Развели парк, выкопали искусственное озеро и построили точную копию афинского Парфенона (но хорошо отремонтированного), так как данная община должна была отныне и впредь стать Афинами американского Юга. Это также мировой центр музыки наших горцев. А во времена Гражданской войны был мировым центром венерических болезней. Нашвиллские проститутки, по официальным данным федеральных властей, сделали больше для того, чтобы пресечь распространение свободы и наличных денег, чем несравненная кавалерия генерала Форреста. Союз Дочерей Конфедерации должен был бы поставить здесь, в парке, этим доблестным девицам из Венерической бригады памятник — они ведь отдавали всем все что имели. Однако увы! Здесь красуется один Парфенон. А теперь, если вы желаете подъехать и посмотреть Пар...

Бредуэлл Толливер вдруг осекся. «Ягуар» еле-еле продвигался вперед.

Яша Джонс молчал. Его рассеянно-вежливый взгляд был по-прежнему обращен вправо.

Бред с силой нажал на газ.

— Черт с ним,— произнес он.

Но они все равно уже проехали парк. Яша Джонс смотрел прямо вперед

на длинную улицу, на косо падающий солнечный свет, на сверкающий поток машин. Бред, сохраняя молчание, украдкой взглянул на него и подумал:

Черт бы его подрал, надо вернуться и отвезти его в парк. Ткнуть его носом в этот проклятый Парфенон.

Но тут же спросил себя, что с ним творится. Не с Яшей Джонсом, а с Бредуэллом Толливером...

Во всем виновата остановка в том паршивом мотеле...

Они молча поехали дальше.

Молча, пока Бред не сказал:

— Вот тут стоят гордые особняки южной знати. Во всяком случае, их нашвиллской разновидности. — Он кивнул влево. — Район Бель-Мид. Как в те давние дни выражались люди просвещенные и в том числе моя первая жена, тут жили магнаты — второсортные промышленники и первосортные грабители. Но это клевета. Это были хорошие американцы, которые пытались в трудных условиях сохранить американский образ жизни. Моя жена была коммунисткой. В то время, в сущности, уже бывшей коммунисткой. Шикарно одетой коммунисткой и бывшей коммунисткой с весьма солидным состоянием. Деньги оставил ей отец, когда она была еще совсем маленькой, а он по достаточно веским причинам, как я понимаю, бросил ее мамашу. Позже, в тысяча девятьсот двадцать девятом году, он сам выбросился из окна, и довольно высокого окна.

Бред сделал паузу.

— Да-а, — проронил он, — если бы не это оставленное деточке состояние... все могло бы пойти иначе...

Он услышал, как его голос замер на полупhrазе. Нечего выворачиваться наизнанку. Этот тип так умеет молчать, что его немота вас засасывает. Заставляет трепать языком. Какой-то подвох, а не молчание. Сначала, видите ли, он улыбался, протянул тебе руку. Даже шутку отпустил. А теперь играет в эту молчанку.

Пожалуйста. Он, Бредуэлл Толливер, тоже умеет набрать воды в рот не хуже других.

И он поехал дальше, набрав воды в рот.

Вранье, думал он, не ее состояние было виной тому, что случилось. Он только что это придумал. Да человек и не обязан давать какие-то объяснения. Во всяком случае — врать.

Я хотя бы пытался прожить без вранья, — подумал он.

И услышал голос Яши Джонса:

— Я знаю, вы были женаты на Сьюзи Мартайн.

— Да. — И через секунду добавил: — Но гораздо позже. Спустя много лет после войны. Она-то уж, во всяком случае, не была коммунисткой.

— Очень хорошая художница, — сказал Яша Джонс. — Сделала мне прекрасные декорации для «Морских песков».

Бред промолчал. Он терпеть не мог эту картину. На его взгляд, Вундеркинд в тот раз породил телка о двух головах. Даже если на ней и зашибли пять миллионов. Паршивая была картина.

— Паршивая была картина, — весело сообщил Яша Джонс. Он словно отворил заслонку у себя в голове и как из ящика на щитке машины вытащил эти слова.

Бреда он обезоружил.

— Я ее загубил, — говорил Яша Джонс. — Когда я кончил сей праведный труд, я уже сам понимал: единственное, что там удалось, это декорации Мартайн. — И добавил: — Мне приятно было с ней работать. Она мне нравится.

— Мне тоже, — сдержанно согласился Бред.

Но ему она не нравилась, признался он себе. И не то чтобы была противна. Он попросту был к ней равнодушен. А был он когда-нибудь не равнодушен? Бред задал себе этот вопрос, глядя на то, как равнина вздымается холмами.

Это задача из области семантики, — сказал он себе.

— Жаль, что мы не ужились, — сказал он вслух.

Они не ужились. Может, если бы она так его не любила, они бы и ужились. Из них могла бы получиться вполне пристойная пара с эффектной суммой обще-

го подоходного налога и долгими утренними играми по воскресеньям в постели, вполне приятными для обоих. Но она его любила.

Яша Джонс ничего не сказал.

Бред почувствовал, как снова возникает это молчание. Он погрузился в него. Слегка прибавил скорость. И стал смотреть вперед на дорогу, петляющую между холмами. Холмы были лесистые. На них в апреле уже проглядывала нежная бледная зелень, но золото еще осталось. Кедровые деревья выглядели темными, могучими на этом бледном фоне.

Любила ли она? А что, если она... Но Бред думал уже не о Сьюзи, а о Летиции...

Какое несурзное имя!

Неужели, даже лежа в темноте и чувствуя шелковистые волосы у себя на лице, он мог шептать такое несурзное имя?

Мать ее была до дурости англоманкой. Дурацкой англоманкой с Лонг-Айленда. И до того обожала все английское, что обрекла свою дочь на такое имя, какого ни один истый сын Коупенса, Кингсмаунтейна и Фидлерсборо не мог даже в шелковистой темноте прошептать без содрогания.

Летиция.

А Летиция ненавидела прозвища.

— Меня зовут Летицией, черт бы побрал это имя, — говорила она, как всегда, резко, с вызовом, вздернув высоко посаженную голову. Своим высоким ростом она тоже щеголяла. Она была почти такой же высокой, как он. Сто семьдесят семь сантиметров. Босиком, на ковре, стоя прямо на пятках, на узких, хорошо вылепленных пятках, она могла прямо заглянуть ему в глаза, говоря этим взглядом: Вот я какая.

Он считал ее рост вызовом. Когда она надевала высокие каблуки — она и тут не давала ему поблажки — и становилась чуть выше его, он только гордо закидывал голову. Он был достойной парой этому высокому загляденью с узкой талией и высокой грудью.

Но теперь, почти двадцать лет спустя, катя из Нашвилла на запад, он вдруг холодно спросил себя, а не обернулось ли бы все по-другому, если бы она была не такой высокой. Ну, предположим, будь у нее рост сто шестьдесят два сантиметра? Немного портативнее? Случилось бы от этого какое-нибудь чудо?

Черт, какие тут могут быть объяснения! Разве он еще нуждается в объяснениях? Ну, допустим, рост у нее был бы сто шестьдесят пять и звали бы ее Салли?

Но ее звали Летицией.

Он поглядел на лесистые холмы Теннесси летом. И понял. Конечно! Все дело было в этой нежной, сочной зелени...

Одно цеплялось за другое. Лето. Летиция, с лета.

— Ну как, с лета? — говорила она, и больше ей ничего не надо было говорить, потому что он точно знал, да, вот именно, вот именно, как она любила выражаться, — точно знал, что она имеет в виду. Все было навечно связано одно с другим. Все, что вспоминается, похоже на длинные гирлянды елочных лампочек, которые вытаскиваешь в сочельник и никаким чертом не можешь распутать, а половина лампочек все равно уже лопнула, и когда выпрастываешь один провод, то натыкаешься на новый клубок, которого прежде не заметил.

У него-то самого, к слову сказать, этих бесконечных, тонких зеленых электропроводов с тысячами проклятых цветных лампочек, которые надо накручивать на проклятую елку, никогда не было, но после войны, когда он изредка бывал холост, его приглашали в семейные дома — сначала он украшал елку для ребят, а после полуночи напивался вдрызг.

Порой он напивался раньше, и тогда распутывать провода было еще труднее. Вот где разница между распутыванием елочных лампочек и распутыванием воспоминаний. Ибо когда ты пьян или пьянеешь, тебе легче разобраться в твоих воспоминаниях, чем когда ты трезв. Но, конечно, к утру они снова запутаются, и, может, еще больше, а к ним добавится еще один или два новых витка.

Что ж, всерьез пить он уже бросил. И за это, пожалуй, спасибо. Сделать нокаут Джону Ячменное Зерно кое-чего стоит. Сейчас, в данную минуту, он наверняка трезв, достаточно трезв, чтобы не питать иллюзий, будто его ловкие пальцы распутывают неразбериху воспоминаний.

Если бы только он не проезжал мимо того мотеля! Нет, дело не в мотеле. Не будь мотеля, но останься то самое место таким, как было, без перемен — тот же распушенный недрачами пригорок; большой платан на положенном ему месте; нехоженный мятлик в небольшой долине, где все и произошло; вода, булькающая по камню, — нет, тогда могло быть еще хуже. Да, мотель, можно сказать, даже облегчил дело. Мотель — это просто здорово! Он даже проделает такой опыт: пойдет в этот мотель с какой-нибудь дамочкой. Дамочкой весьма легкого поведения, чем легче — тем лучше. Как говорится, положим прошлое на обе лопатки.

Кого мы положим?

Опасная вещь язык — получился каламбур. И не очень удачный, решил он. Совсем нет.

Он мысленно стал сочинять вирши:

Жил на Побережье парень молодой...

И подумал, что не так уж он и молод. Но «средних лет» не ложилось в размер. Настолько его научили в Дартхерсте разбираться в поэзии. К тому же он не чувствовал себя пожилым. Да он пожилым и не был.

Черт, — подумал он. — А может, уже и пожилой. Или почти пожилой.

Может, и пожилой, — думал он. — И черт с ним!

Он переделал строку:

Жил на Побережье парень пожилой
И проститься с прошлым прибыл он домой.

На этом заело. Он никогда в своей жизни не писал стихов, и с чего бы писать их сейчас? Да и невеселое это дело. И вообще, ничего нет веселого. Солнце, склоняясь к закату, било ему в глаза. Он протянул руку и опустил козырек.

Он подумал с мрачным самодовольством, что вот уже больше трех недель как он вернулся в Фидлерсборо и ничто его не трогает. Даже то, что он так много бывает с сестрой. Даже то, что живет в доме, где давно, до того, как все это произошло, они жили с Летицией. Даже когда входит в ту самую комнату.

А когда он ходит по улице и что-нибудь вспоминает, ему кажется, что он читает книгу. Наверное, это полезно в его профессии. Даешь волю мыслям, и все само входит в голову. А потом войдет в сценарий. Кое-что уже начинает складываться. Рука мастера.

В конце концов, за двадцать пять лет можно кое-чему научиться, если ты написал книгу и половину другой (и совсем неплохой, если бы ее все-таки кончить), удостоился пяти больших статей, премии киносценаристов, двух «Оскаров», имел семнадцать поставленных сценариев и двух жен.

Дорога сворачивала налево, к югу. Козырек вдруг перестал защищать от солнца — яркие лучи били поверх цепи холмов прямо в глаза. Он пошарил на коленях, отыскивая темные очки, купленные задорого в Биверли-хиллз — за двадцать один с половиной доллар, обещали гасить любой закатный луч с Тихого океана.

Щурясь на дорогу, он надел очки.

Освещение над Теннесси сразу изменилось. Последнее золото апрельской листвы исчезло с холмов. Кедрь казались совсем черными. Очертания предметов стали более четкими, но уже другими. Потемнело не в предвещии бури, потому что туч не было. И не от наступления сумерек — солнце стояло еще высоко. Солнце горело багрянцем высоко над грядой холмов. Это было похоже на смерть солнца. Солнце умирало.

Нет, световая волна, которая принесла это известие, отошла от источника света много лет назад. Новость, таким образом, устарела. Словно «Тайм» минувшей недели. По существу, солнце давно было мертво.

Оно было мертво, и там, вдали, в пустоте, висела груда пепла, из которой то и дело мертвенно, похабно вырывались газы, выбрасывая пепел, а пепел потом падал обратно, и темнота уже захлестывала световые годы, которые несли людям тревожную весть. Люди же пока ничего не знали. Они только догадывались о природе той вести, которая услужливо и бесчеловечно им посылалась.

И тут — какая глупость! — он вспомнил. Солнце вовсе не было так

далеко. До него было всего каких-нибудь девяносто миллионов миль. Вот от молодости было уже несколько световых лет. И она была мертва.

Он снял очки. Землю снова залило светом. Солнце еще не умерло.

На минуту он забыл, что он не один. Не один в Теннесси. Но он не смотрел на своего молчаливого пассажира. Упорно не смотрел.

Дорога снова побежала влево, к югу. Вот оно, то самое место. Эта мысль взорвалась в голове, словно куропатка вспорхнула из зарослей ежевики.

Она обернулась. Она поворачивается ко мне лицом.

Она слегка склонила голову и обернулась к нему лицом, так что рыжие волосы, ровно подстриженные, как у пажа, лоснясь, свесились набок. Одна прядь легла на левую щеку. Большие рыжевато-карие глаза сияли. Голова была опущена; теперь она могла поглядеть на него снизу вверх и улыбнуться. Улыбка была застенчивая, невинная, печальная и нечаянная, как сон.

Она сказала:

— Я к тебе и теперь хорошо отношусь, Бред.

Он вцепился в руль трехлетнего «доджа» и уставился на дорогу. Машина тряслась по разбитому асфальту. Это была часть дороги в глубинке, которую жулье из администрации покрыло асфальтом еще до кризиса, но черт бы побрал эту дорогу, и кризис ей не помог. Однако, надо надеяться, они доберутся до вокзала в Нашвилле вовремя.

— Ты не против? — спросила она робко. — Ты не против, что я к тебе все равно хорошо отношусь?

— По-моему, мы уже все порешили. По-моему, мы уже на всем поставили крест, — сказал он сухо и отчужденно.

Он гордился, что может говорить таким тоном. Правда, он ровно ничего и не чувствовал. Теперь уже ничего. Только какое-то напряжение. Когда он посадит ее на поезд в Мемфис, у него освободится весь остаток дня. Что бы ему сделать, чтобы снять напряжение?

Он вдруг сообразил, что как-то об этом не подумал. А теперь подумал об этом остатке дня, переходившего в длинные тени над равнинами Западного Теннесси, пока поезд ползет в Мемфис навстречу этим теням. Он подумал о том, как она будет сидеть одна в унылой, жеманной роскоши вагона-ресторана, прилежно изучая меню, нагнетая над карточкой и сведет брови на по-детски гладком лбу. Она, сказал он себе, становится близорукой. Пора завести очки.

Он вдруг услышал ее голос, словно донесшийся издалека.

— Да, — произнесла она все тем же робким тоном, — все уже решено.

Черта лысого! День-то еще впереди. Он думал о том, как он в одиночестве проведет этот день. День, который вытянется в долгие сумерки. А потом будет ночь.

Посадив ее на поезд, он может позвонить кому-нибудь в Нашвилле. Может с кем-нибудь пообедать. С кем-нибудь выпить. Но звонить некому. Мальчишкам, которых он знал по начальной школе десять — двенадцать лет назад? Но половину из них он даже не помнит по фамилии.

Мысленно перед ним возникло чье-то лицо — маловыразительное мальчишеское лицо, — но имени он припомнить не смог. А если бы и припомнил? Лицо ведь теперь другое.

И он подумал, вздрогнув, будто ступил босиком на пол первым холодным сентябрьским утром, что когда-нибудь вот так будет вспоминать и ее лицо. О да, он вспомнит и как ее звали, разве можно забыть такое нелепое имя — Л е т и ц и я? И лицо ее он не забудет. Но то лицо, которое он будет помнить, уже станет обманом. Если он встретит такую, в какую она превратится, на улице, со следами, которые оставили годы, он ее не узнает.

А она продолжала что-то говорить.

— Я хочу запомнить, как нам было хорошо, — говорила она.

— Спасибо.

— А ты не хочешь запомнить, как нам было хорошо?

Он ничего не ответил, только смотрел вдаль на черную дорогу.

— Запомнить хорошее, я хочу сказать. Не то, что потом получилось

— Я же говорю, что между нами все решено.

— Да,— сказала она.— А теперь, когда все решено, теперь мы можем успокоиться. Успокоиться, забыть все, что произошло, зажмурить глаза и быть собой хотя бы напоследок.

Она ждала ответа.

Потом сказала:

— Разве ты не хочешь вспоминать нас такими, какие мы на самом деле?

— Господи боже мой! — закричал он в припадке злости, словно нарыв прорвался у него в сердце.— Да не хочу я ни черта вспоминать!

Он устался на разбитую дорогу. Он знал, что она сидит, покорно опустив плечи, склонив голову, и что рыжая прядь у нее свесилась набок, а она искоса на него поглядывает. Но смотреть на нее не стал.

Она вытянула левую руку и положила ладонь ему на колено.

Там, впереди, показался отвесный известковый утес.

И сейчас, в этот миг, так же как много лет назад, он смотрел на этот известковый утес, взметнувшийся над дорогой.

Глава четвертая

Яша Джонс предпочел бы, чтобы машина шла помедленнее. Он не смотрел на спидометр, потому что давно приучил себя этого не делать. Самодисциплина — великая вещь. Уж это он усвоил на войне. Она может подменить любую врожденную добродетель. Может заменить и радость и горе. Может заменить все, кроме сна.

Он смотрел на лицо сидевшего рядом. Оно было кругловатое, но еще не заплыло жиром, мускулатура была видна. Да, решил он, хорошее лицо. Череп скорее круглый, тяжелый, с редующими, коротко подстриженными светлыми волосами; встречный ветер шевелил их прядки, как текучий ручей траву. На лице — здоровый загар, но Яша Джонс напомнил себе, что в Биверли-хиллз и Малибу даже самые болезненные лица покрыты здоровым загаром. Да, подумал он с юмором, и после смерти гробовщик придаст золотистый цвет загара лицу своего клиента. Даже лицу старого банковского служащего, который лет двадцать не был на солнце.

Здоровье и в смерти,— подумал он.

Но на здоровом загорелом лице спутника рот был словно обведен белым. Яша Джонс понял, что челюсти на этом лице крепко сжаты. Глаза уставились прямо вперед на дорогу. Взгляд был бессмысленный, и Яшу охватил ужас: он решил, что его водитель в состоянии ступора.

Яша Джонс почувствовал, как его руки, лежавшие на коленях, покрылись холодным потом. Он незаметно пригнул пальцы к ладоням, чтобы проверить, не вспотели ли они. Но руки вспотели не оттого, что он вдруг заподозрил, будто его спутник впал в беспамятство. Они вспотели уже добрых полчаса назад.

О да, с этим тоже не могла справиться самодисциплина. По временам на ладонях начинал выступать пот. Пот знает свое время. Его появление нельзя ни предвидеть, ни предотвратить.

Он снова кинул взгляд на лицо спутника, на его глаза, потом полюбопытствовал, на что же они уставились. Они неподвижно смотрели на дорогу, которая набегала на них из-за выступа горного кряжа. И с новым приступом страха Яша Джонс представил себе, как эти сильные загорелые руки на руле не среагируют и будут так же безжизненно сжимать колесо, словно дорога и не думала сворачивать. И машина понесется напрямик.

Но он заметил, что руки спутника легонько начали делать поворот.

Ужас, если это был ужас, прошел. Яша Джонс лениво спросил себя, был ли то ужас. Он задавал себе этот вопрос и раньше, но никогда не находил ответа. Ужас так близок к радости, страдание к восторгу. Если они разобьются, что он, в сущности, почувствует?

Они сделали поворот.

Он поглядел на холмы и увидел белые проплешины мятлика, багрянец иуди-на дерева. И подумал: Х о л м ы п р е к р а с н ы. Он думал о том, как прекрасен мир, но все еще тайком прижимал средние пальцы к ладоням, проверяя, вспотели ли

они. Он заставил себя выпрямить пальцы. Посмотрел, как они лежат у него на коленях. Почувствовав легкий поворот машины, поднял глаза. На них летела новая извилина дороги.

У извилины росло дерево.

Он подумал: Там всегда стоит дерево.

Тогда он сказал себе, что это безумие. Сколько раз причиной было не дерево. Он читает газеты, и очень редко виновато бывает дерево. Вот уже десять лет он не может отучиться от того, чтобы не пробегать газету в поисках той самой заметки, но обычно в газете говорится, что причиной было не дерево, а столб, или мост, или его опора, каменная стена, грузовик на дороге или эстакада. Но газета лгала, потому что когда он читал газету, в его воображении всегда возникало дерево, эвкалипт — его ствол белел в темноте, высвеченный фарами.

Но вот в прошлом январе в газетной заметке действительно говорилось, что виной было дерево. И на первой полосе был снимок человека, с которым он сидел давно, в 1944 году, в маленькой комнате, — не очень крупного и не очень здорового человека, но с какой-то особой завершенной пластикой лица, уверенность, спокойную силу которого не могли подорвать ни явная болезнь, ни явная молодость, ни явное переутомление.

За столом их сидело трое: первый — тот, чье лицо через столько лет вдруг посмотрело на Яшу с газетной страницы в Лос-Анджелесе; второй — француз с покалеченной правой рукой, подстриженными усиками, озабоченным немолодым лицом, несуразно, по-мальчишески кудрявыми золотыми волосами и четкой военной выправкой, которого знали под прозвищем *Mimile-le-frisé*³, и он, Яша Джонс. Посреди голого дощатого стола стоял маленький радиоприемник, с которого оба француза, медленно и бережно потягивая сигареты, ни на миг не сводили глаз, как будто ждали, что он вот-вот двинется, совершит что-то важное. Из этого маленького ящичка на столе издавала, из Лондона, доносилось пение.

Яша Джонс не курил. Не смотрел он и на приемник. Он уставился на оштукатуренную стену с пятнами сырости, возле которой на скамье сидела грузная фигура в синем комбинезоне механика: человек сидел, мрачно ссутулившись, зажав нетронутый стакан вина в тяжелой руке. Яша Джонс старался не слушать радио. Он старался ни о чем себя не спрашивать, не думать, ничего не ждать.

С отрывистой, металлической резвостью голос пел из далекого Лондона:

Без тебя жизнь, как кофе без сливок,
Без тебя жизнь, как кофе без са...

Музыка оборвалась на одной ноте, посреди слова, и другой голос с привычной, профессиональной властью произнес: «Мы прерываем передачу для важного сообщения. Небо на востоке ясное. Небо на востоке ясное. Все».

Человек с подстриженными усиками и резкой повадкой военного вытянул вперед левую, неповрежденную руку и коротким решительным жестом выключил радио.

— *Bien*, — сказал он, — *Voilà le code*⁴.

Он встал и сдержанно протянул здоровую руку Яше Джонсу. Яша Джонс её пожал.

— *Sans cette confirmation*, — сказал он сухо, бесстрастно. — *Ça n'aurait été drôle pour personne*⁵.

Другой француз, тот, чье лицо потом появилось в газете Лос-Анджелеса, не сразу улыбнулся и сказал:

— *Bon, et bien, maintenant on peut desserrer les fesses*⁶.

— *Moi*, — засмеялся Яша Джонс, — *c'est moi qui peut desserrer les fesses*⁷.

— *Et vous êtes de L'OSS?* — осведомился тот, другой, деловито. — *Affecté au «MI-SIX»*^{8?}

— *L'OSS — je ne comprend point*, — весело сказал Яша Джонс, чувствуя легкое головокружение, сознавая, что пошутил глупо. — *Moi — je suis Monsieur Duval*⁹.

³ Мимиль-кудряш. (Здесь и далее франц.)

⁴ Хорошо. Вот шифр.

⁵ Без этого подтверждения всем было бы невесело.

⁶ Хорошо, ну хорошо, теперь можно размяться.

⁷ Это я, я могу размяться.

⁸ Вы из стратегической разведки? Приданы «МИ-6»?

⁹ Этого я уже не понимаю. Я — мсье Дюваль.

— Monsieur Duval? — раздумчиво сказал тот, что помоложе, разглядывая его и слегка улыбаясь. — Pas mal ¹⁰.

И Яша Джонс, сидя в той маленькой комнате, оглядел свою темную, поношенную, но приличную одежду, которая всеми своими дотошно продуманными деталями должна была способствовать его успеху, изображать старательного благопорядочного petit fonctionnaire, petit avocat, pharmacien du village ¹¹. Он потрогал свой до безупречности убогий пиджак. Сейчас ему казалось, что это и вправду его пиджак.

— Depuis toujours j'ai eu la plus grande admiration pour Monsieur Duval. Toujours — c'est à dire depuis la première fois que j'ai fait sa connaissance — à l'école dans mon livre de lecture. C'était à Chicago ¹².

— Vous étiez un bon élève, — сказал француз. — A Chicago ¹³.

— И в Париже, — добавил Яша Джонс и засмеялся. — В лицее. Три года. Хмурый человек на скамье у стены в грязном комбинезоне механика, тот, кто привел мсье Дюваля в эту комнату, вдруг выпрямился и сделал первый глоток из стаканчика, который сжимал в кулаке. И тут же сплонул на пол.

Человек, чье лицо — теперь уже лицо покойника — через столько лет посмотрело на него со страницы газеты Лос-Анджелеса, обернулся к тому, кто не стал пить вино.

— Mais non, mon ami, — сказал он спокойно и ухмыльнулся, — buvez. Il n'est pas fameux, mais que voulez-vous y faire ¹⁴.

Шестнадцать лет спустя, в январе прошлого года, подпись под фотографией в лос-анджелесской газете гласила:

Лауреат Нобелевской премии погиб в автомобильной катастрофе.

Вот там было дерево.

Видит бог, на этот раз газета была права. Причиной всегда бывает дерево. Всегда бывает вспышка огня. Всегда раздается крик. Но так никогда и не узнаешь, что кричали.

Никогда не узнаешь, кричали до или после вспышки огня.

Впереди был еще один поворот. Человек рядом сказал:

— Когда мы свернем, посмотрите налево.

Яша Джонс приготовился смотреть.

Они свернули, и перед ними открылась Счастливая Долина.

— Вот оно, новое Теннесси, — сказал человек рядом. — Вас, может, оно и не поразит, у вас еще свежа в памяти вся пошлость Лос-Анджелеса космической эры и фантазии Дисней-ленда, но это максимум того, что может предложить наш отсталый штат, и не следует этим пробрасываться. С чего-то ведь надо начать. И вы не станете отрицать, что это шаг в нужном направлении. Люблю тебя, Америка. Лет двадцать назад я сломя голову понесся в ближайший призывной пункт, где набирали во флот, и только что не обратился к япошкам с нижайшей просьбой поджарить мне задницу, потому что, видите ли, как и все прочие, горел желанием защищать конституционные свободы и право Теннесси возвести мотель «Семь гномов» в Счастливой Долине. И теперь я знаю, что прожил свою жизнь не зря.

Яша Джонс смотрел на дорогу, ему хотелось, чтобы его спутник вел себя естественнее. Он возлагал надежды на будущую работу, замысел ведь, в сущности, был его замыслом, и он много от него ждал, так много, как только позволял себе ждать, поэтому он хотел, чтобы Толливер перестал ломаться.

Но он подавил в себе это желание. Не надо ни о чем судить опрометчиво. Не надо ни о ком судить опрометчиво. В душу человеку не влезешь. Никогда не знаешь, что кем движет. Или что у человека внутри.

Он закрыл глаза и стал забавляться зрелищем туманного кружения бесконечно малых частиц и бесчисленных искорок. Да, можно смотреть на лицо и, если захочешь, не видеть за ним ничего, кроме этой карусели...

¹⁰ Мсье Дюваль? Недурно.

¹¹ Мелкого конторщика, мелкого адвоката, деревенского аптекаря.

¹² Я всегда испытывал большое восхищение к мсье Дювалю. Всегда, то есть с первого нашего знакомства в школе, в хрестоматии для чтения. Это было в Чикаго.

¹³ Вы были способным учеником. В Чикаго.

¹⁴ Ну нет, приятель, выпейте. Оно не больно хорошее, но ничего не поделаешь.

Внезапно шестое чувство подсказало ему, что его спутник исподтишка на него поглядывает.

— Вы... Вы же были на войне? — спросил Толливер.

— Да, — ответил он.

— В каких войсках?

— Я говорил по-французски, поэтому меня определили в шпионы. В стратегическую разведку.

— Ага, французский... Это вы в шпионском деле чуть не стали профессором?

— Нет, — сказал Яша Джонс и подумал, как давно это было.

— А в чем?

— Физика.

— Ого! Королева наук.

Яша Джонс не счел нужным его поправлять. Но тот поправился сам:

— Нет, то — богословие. Так ведь звали старую королеву?

— Да.

— Пожалуй, царствует и теперь, — сказал Бред. — Только богословие у нас другое. — Мгновение спустя он обернулся к Яше Джонсу с вопросом: — Если вы были физиком, как же вы стали шпионом? Мне казалось, что вас, физиков, заворачивают в вату, до того вами дорожат.

— Мной не так уж дорожили, — смеясь, пояснил Яша Джонс. — К тому же я удрал прежде, чем меня успели завернуть. У меня был отпуск для научной работы, поэтому я просто завербовался, а когда об этом узнали, я уже был во Франции и дрожал от страха.

— А-а, — протянул Бред и задумался.

Яша Джонс глядел на дорогу. Постепенно надвигалась темнота. Впереди то и дело поднималась гряда холмов, заслоняя солнечный свет, а потом, когда машина меняла направление, холмы прятались и солнце выходило снова. Вот опять впереди выросли холмы, чтобы упрятать солнце. Среди зелени что-то чернело. Видно, там жгли костер. Щетинистые скаты лениво горбатились на солнце и в тени, а голые пики обгорелых деревьев на вершине чернели под розовым небом этого ненатурального вещего заката.

— Насчет того мотеля... — сказал Бред.

— Что?

— Я вам о нем сказал не для красного словца. Потом уж меня понесло. Имел-то я в виду, что его надо перенести в Фидлерсборо. Мотель этот. Мысленно, так сказать. Для нашего прекрасного фильма.

Яша Джонс промолчал. Закрыв глаза, он представил себе мотель.

— Да, — продолжал его спутник. — Когда они тут, на реке, затеют громадное строительство — новое водохранилище на семьдесят пять миль в длину, — они забьют его причалами, где впритирку друг к другу будут стоять пластмассовые катера и гоночные лодки с парнями в цветастых гавайских рубашках навыпуск, раздуваемых легким ветерком при пятидесятиградусной жаре и максимальной влажности воздуха. И все это для того, чтоб какой-нибудь толстяк мог почесать мужественную поросль у себя на животе и вытереть взопревший пупок. Построят мотели с кухнями для семейных и уютной обстановкой для любовных утех любителей природы. Я заранее это вижу. Когда Фидлерсборо со всем его кладом южных традиций, скромным обаянием, сельскими добродетелями и пеллагрой канет в пучину вод, из пены, как сказка, возникнет мотель «Семь гномов». Он возникнет, как видение дворца Фата-Морганы, и мулат в камзоле, обшитом медными колокольчиками, и в шутовских штанах — одна штанина красная, другая желтая — будет стоять, прислонившись к бензоколонке. Но если говорить серьезно, то для того чтобы понять Фидлерсборо, вам надо увидеть Риверстрит. Она застыла задолго до того, как последний пароход поднял трап. У нее...

— Извините, — сказал Яша Джонс.

— В чем?

— Надеюсь, вы меня правильно поймете. Прошу вас, не рассказывайте мне пока ничего о Фидлерсборо.

Бред поглядел на него с изумлением.

— Поймите меня, пожалуйста, — сказал Яша Джонс. — Мы ведь будем

вместе работать, и нам надо знать, как работает каждый из нас... Понимаете, — он легонько дотронулся до руки соседа и сразу почувствовал, как напряжены его мускулы, — я стараюсь как можно дольше сохранить свежесть глаза. Видеть все как можно более обнаженно. Я нарочно не читал ничего, относящегося к нашему сюжету. Я хочу это увидеть сам.

Он убрал руку. Мускулы у его спутника были еще напряжены.

— Нет, даже не увидеть, — сказал он. — Ощутить. Я хочу, чтобы ощущение пришло ко мне через глаза. Для меня это может быть только так. Вы уж меня извините.

Бредуэлл Толливер промолчал. Взгляд его был отчужденным, тяжелым.

Немного погодя Яша Джонс заговорил снова:

— Надо сказать, что я с большой охотой думал о работе с вами. Еще во время войны я прочел вашу прекрасную книжку «Вот что я вам скажу...». Она мне понравилась. Зимой я ее перечитал. Она запала мне в память. Когда я прочел ее снова, я понял, что именно вы мне нужны. Я бы это понял, даже если бы вы не были из Фидлерсборо.

Бред резко к нему обернулся, и машину немного занесло, прежде чем он успел снова перевести глаза на дорогу. У него вырвалось:

— А я думал, что это Морт... Морт Сибом... Я думал, что он...

Он не кончил фразу.

— Нет, — спокойно объяснил Яша Джонс. — Выбор был мой. Я хотел работать с вами.

— Спасибо, дядя, — ухмыльнулся Бред.

Ухмыльнулся по-мальчишески, дружелюбно, весело.

Яша Джонс, посмотрев на него, подумал, что да, вот человек, которого он искал. Все будет в порядке.

Машина пошла под уклон. Яша Джонс заметил, что мимо промелькнула вывеска.

— «Клуб Львов», — пояснил Бред. — Все, чем богат наш Фидлерсборо. Увы, вам придется обойтись без субботней гулянки в «Кивани-клубе»¹⁵.

Дорога снова пошла вверх, слегка закругляясь по склону хребта. Они обогнули его и свернули влево. Показался обрыв. По большому ущелью река скользила на север, освещенная вечерним солнцем. Вода казалась холодной, серой, стальной, лишь кое-где на ней лежали алые отблески закатного солнца.

Прямо за рекой на целые мили тянулась кое-где вспаханная низина, пересеченная полосками живой изгороди или тускло поблескивающими канавами и ручейками; вдаль на западе она отлого поднималась в темноту, где, как видно, была лесная чаща. Солнце заходило за эту темную линию горизонта. Вниз по течению, к северу, лесистый берег был еще ниже. В прогалинах поблескивала вода. В миле или около того вниз по реке в нее впадал либо ручей, либо широкая протока. Там стояло на причале что-то вроде плавучего дома — в туманной дали было трудно его разглядеть.

Бред молча остановил машину и так аккуратно поставил ее на обочину, словно боялся шумом потревожить больного. Яша Джонс, заметив эту осторожность, предпочел принять ее как должное и даже не взглянул на водителя. Он смотрел на реку, на далекий плавучий дом, такой одинокий на всей этой водной глади, за которой темнели леса и болота.

А еще дальше, за болотом, снова поднимались окруженные тенями деревья, еле различимые в наступающих сумерках. Там равнина шла вверх, образуя, как видно, нечто вроде невысокого кряжа, сквозь который давным-давно река проложила себе путь. Там он с трудом различал свежеразрытую землю, что-то белесое, может быть только что положенный бетон, и небольшой геометрический выступ на этой туманной земле. Там должна быть плотина.

Он снова почувствовал осторожное движение рядом: машина медленно двинулась вперед под уклон. Водитель отпустил тормоз. Машина, пройдя десять ярдов, снова встала за кустарником у дороги. Яша Джонс посмотрел вниз, на долину. Внизу лежал Фидлерсборо.

Он казался совсем маленьким.

¹⁵ Клубы деловых людей, их девиз — «мы строим».

Даже сооружение, нависшее над Фидлерсборо и господствовавшее над ним, казалось маленьким. Оно выглядело маленьким, хотя было понятно, что в правильной перспективе оно покажется огромным, массивным; здание это было воздвигнуто на большой одинокой скале, которая веками выдерживала напор воды и теперь нависала над руслом, в которое река наконец улеглась. Строение, как он мог разглядеть, было из кирпича, с гладкими наружными стенами и квадратными приземистыми башнями, прорезанными бойницами, словно крепость. У его подножья теснились деревянные дома; они цеплялись за склон, прилепившись к нему, как ракушки, нет, как грибы, как белесые грибные наросты на громадном гнилом пне.

Яша Джонс долго туда смотрел. И наконец спросил:

— А это... что это?

— Тюряга... — ответил ему спутник. — Тюрьма.

Яша Джонс не мог оторвать от нее глаз. Позади огромного строения, сидевшего на горе, и домов, которые карабкались вверх в полумраке, ему был смутно виден остальной город — вереница зданий вдоль реки и роца за ними над вяло текущей рекой. Так вот какой он — Фидлерсборо.

Яша Джонс не хотел ни о чем думать. Он старался вжиться в то, что открылось ему у реки, посреди тающего во мгле пространства. Вдалеке к югу с земли поднялся ворон, взмыл и полетел по небу. С медлительным обреченным упорством пересекал он гигантскую пустоту. На западе красноватое зарево еще окрашивало рваный край облака.

Яша Джонс следил за полетом ворона, пока черная точка не пропала на севере. Он дал одиночеству волю, и оно захлестнуло его, как окрестная тьма.

Он увидел, как там, далеко, в одном из домов, прилепившихся к туманному подножью холма, загорелся свет. Он подумал о значении человека на этой земле. Сердце у него шевельнулось. Он подумал о драгоценности этого бытия. Вот что он всю жизнь хотел воссоздать: бесценность краткого бытия.

Но пока ему это не удалось. Во всяком случае так, как он мечтал. Может, удастся на этот раз.

Глава пятая

Лунный свет — было полнолуние — упал на ее голову, когда она нагнулась, чтобы взять с подноса большой серебряный кофейник. Лунный свет придал бархатистый блеск ее темным гладким волосам, стянутым назад и туго свернутым — казалось, что туго до боли, — в старомодный пучок или узел. Она правильно поступает, думал Яша Джонс, изучая ее, что носит такую прическу. Череп у нее красивый, с высоким куполом, пластичный.

Интересно, много ли в волосах седины. Он знал, что она есть. Заметил при свечах за обедом.

— Вам два куска, не правда ли, мистер Джонс? — спросила она, подняв голову и держа на весу сахарные щипцы.

Лунный свет упал на лицо, подчеркнув чистоту его овала, придал лицу еще большую бледность и сделал его глаже. Свечи за обедом не были так благоклонны. Морщины и при свечах были отчетливо видны на лбу, а линии возле рта показывали, как крепко сжимаются челюсти даже в покое. Он все это заметил еще при свечах, в те минуты, когда она, казалось, погружается в мир, не имеющий ничего общего ни с ним, ни с Бредуэллом Толливером.

— Мэгги, — сказал Толливер женщине, ожидавшей их в большом пустом холле, где ночь вытесняла скупой свет настенных канделябров с хрустальными подвесками, — это мистер Джонс, Яша Джонс. — И, обернувшись к нему, представил ее: — А это моя сестра, миссис Фидлер. — И добавил: — Миссис Фидлер из Фидлерсборо.

— О господи, — простонала женщина, — неужели нам, неужели нам надо повторять эту старую шутку? — Потом, протянув руку гостю и улыбнувшись ему, сказала: — А вы, мистер Джонс, наверно, думали, что Фидлерсборо — это те райские кущи, куда после смерти сходятся скрипачи¹⁶. Нечто вроде... Как бы это сказать?

¹⁶ Фидлер по-английски — скрипач.

— Скрипичного рая? Но мне больше нравится то, что есть.

А теперь, в саду, он смотрел, как она гибко поворачивается в талии, чтобы передать брату чашку. В этом движении ему показалось что-то чисто девичье, но он тут же отметил, что хотя талия стройная, да и ноги тоже, фигура уже не совсем девичья. Он подозревал, что грудь несколько... и применил медицинский термин: пролапсная.

Позабавившись техницизмом этого слова, он не без иронии подумал, что вот он сидит в этом богом забытом, обреченном городке штата Теннесси, на берегу вспученной, перегруженной илом реки, в неухоженном саду, где даже при луне видно, что шпалерные розы если не совсем погибли, то нуждаются в серьезном уходе, и мысленно раздевает свою хозяйку.

Профессиональный навык, подумал он, неистребимый, как уголь под ногтями забойщика, — эта привычка раздевать людей. В каждом ремесле есть свои уловочки, и он вспомнил, как в первый раз придумал эту, как он вдруг увидел своих актеров, которые разыгрывали какой-то эпизод, в неприкрытой, вульгарной наготе, абсолютно беспомощными и совершающими в этой своей жалкой человеческой наготе какой-то значительный для себя шаг. Изобрел он этот прием как-то совсем неожиданно, в один незадачливый день, когда у него никак не выходил эпизод, казавшийся совсем простым: прощание нищей старухи со взрослым сыном. И Яшу вдруг осенило: он увидел ее бедное старое тело обнаженным; сын был тоже голый, и это ясно подсказало ему, что надо делать с телом Миллисенты Мердок, получавшей две тысячи пятьсот долларов в неделю и к тому же опытно-показательной старой стервы, чтобы каждый зрительно почувствовал, до чего эта старая плоть жаждет снова владеть той, другой плотью, которая когда-то была частью ее самой, а теперь стала хмурым крепышом, грубым, скучающим сыном, который уходит из-под ее опеки в непонятный мир.

Да, если сможешь увидеть, как движутся обнаженные тела, тообразишь и внутренний стимул этого движения, раскрывающий трагизм или комизм их судьбы.

Он признался себе, что в этом приеме есть что-то похотливое, а в придачу еще и самообожествление. Он уже достаточно стар, сказал он себе, сидя тут при луне, чтобы знать, как ничто не бывает просто: хирург с состраданием склоняется над больным, а он ведь родной брат Джека Потрошителя. И нет сомнения, что при той смеси сексуальности и бесполости, которая тоже есть признак его профессии, он производит эксперименты с воображаемым раздеванием не только в интересах искусства, а время от времени получает от этого еще и внеэстетическое удовольствие. Да, это следует признать. Ну и что же?

Он посмотрел на миссис Фидлер. Он целомудренно натянул ей на грудь коричневое платье. Снова прикрыл плечи бледно-желтой шалью, заметив при этом, что держится она удивительно прямо. Шаль при лунном свете выглядела не бледно-желтой, а белой или светло-серой. Но за обедом, при свечах, он видел, что она бледно-желтая, и заметил также, что она старательно заштопана в нескольких местах.

— ...большое удовольствие, если вы захотите, мистер Джонс,— говорила она.— Ведь кроме нас и мамы Фидлер в доме никто не живет. Мы с мамой Фидлер были бы рады, если бы вы у нас остались. Ведь мы две одинокие женщины, а в Фидлерсборо никто никогда не приезжает. Мама Фидлер — очень милая старушка; правда, вы не часто сможете ее видеть, она такая старенькая. Вечером закусит и поднимется к себе, задолго до того, как мы сядем обедать. Но говорит, что завтра ради вас подольше с нами останется.

— Надеюсь...— пробормотал он, думая о том, что да, этот обшарпанный большой стол из красного дерева в сумрачной, как пещера, комнате с красными бумажными или матерчатыми обоями, отстающими от стен,— этот стол требует старого лица со множеством морщин и глаз, вперившихся в пламя свечи. Он старался представить себе, каким это лицо будет на самом деле.

— Завтра,— говорила она,— обследуйте дом. Поглядите, не найдется ли подходящей комнаты для ваших занятий. Не может не найтись в таком огромном сарае, и если вы...

— Прелестный дом,— пробормотал он вполне искренне и обернулся, чтобы посмотреть на внушительное здание там, на откосе, с темными окнами, которое

лунный свет вымыл до белизны. Над крышей анахронизмом торчала телевизионная антенна. Под домом можно было разглядеть спуск с двумя уступами, обложенными старым, заросшим травой и полускрошенным кирпичом, а между запущенными шпалерами роз кирпичную дорожку к шаткому бельведеру, висевшему над рекой.

Тут из темного дома раздался голос, словно кого-то окликали с холма или из ложины. Бред крикнул в ответ.

— Это, наверно, Блендинг, — сказала Мэгги. — Забыла тебе сказать, что он хотел зайти, — она обернулась к гостю, — поздравить вас с приездом, он наша родня со стороны матери.

Из тени, отбрасываемой домом, в лунном свете появилась фигура — приземистая, плотная — и быстро, решительно стала по дорожке спускаться к ним.

— Блендинг, — сказала Мэгги, — вот мистер Джонс. А это — Блендинг Котсхилл, наш родственник и близкий друг.

Мужчины обменялись рукопожатием. Яша Джонс отметил, что Котсхилл невысок — причем коротки у него ноги, а не туловище, — но с крупной, красивой, смело высеченной головой, слишком крупной для его роста, но не для плеч, с венчиком жестких седых волос вокруг небольшой лысины. Эта тонзура блестела при луне. Яша Джонс также заметил, что Котсхилл обут в небрежно зашнурованные сапоги из воловьей кожи. Однако на нем было нечто вроде темного пиджака.

Они сидели возле бельведера у обрыва, спускавшегося к реке за низкой кирпичной оградой. Под ногами Яша Джонс ощущал кирпичную крошку.

— Я как раз говорил миссис Фидлер, что это прелестное место.

— О да, прелестное при лунном свете, — отозвалась она тоном, который Яша Джонс не смог бы определить.

С обрыва донеслось громкое птичье пение.

— Вот, — сказала она, — первый пересмешник! Как раз вовремя, одной луне было бы трудно сохранить ваши иллюзии. Но... — И она запнулась. — Но вы увидите нас и при дневном свете, — договорила она.

Она засмеялась, и ему послышалось в ее смехе искреннее веселье. И, во всяком случае, какая-то отчаянность.

— Я вам расскажу, что вы сможете увидеть при свете дня, — продолжала она. — Загляните за ограду вниз, на реку. Там вы увидите весь мусор — битые бутылки, рваную обувь, ржавые чайники, консервные банки и лопнувшие шнурки от корсета — все это выкинули из этого дома за последние полтора года. Все это там валяется, запутавшись в кустах ежевики, ветках жимолости и лаконоса. Да, забыла упомянуть помой. Стараюсь, чтобы их не выливали, но не могу этого добиться. Обещайте заглянуть за ограду, как только проснетесь. Чтобы прикоснуться к действительности. Поклянитесь, что заглянете.

— Хорошо, — сказал он. — Клянусь.

— При дневном свете вы увидите и то, что мы тут распадается. Весь Фидлерсборо испокон веку распадался на части. По крайней мере всю мою жизнь. — И она обратилась к Котсхиллу: — Правда, судья?

— Верно, — сказал Котсхилл. — Тут мало что происходит, но все постепенно разваливается. Тихо да гладь стоит с тех пор, как броненосцы вашего янки Гранта запыхтели дальше по реке. А позже, когда последний пароход отдал концы, и правда наступила спячка. Могу добавить, что и денег стало маловато.

Бред сказал:

— Фидлерсборо предельно внеисторичен и все же дает почувствовать, что история где-то существует. Если она существует, — добавил он.

— Когда в Фидлерсборо что-нибудь валится, — сказала Мэгги, — никто не нагнется, чтобы это поднять. Когда я была маленькая, мне казалось, что так и надо. Но потом я пошла в Нашвилле в школу и...

— Она училась в Ворд-Бельмонте, — вставил Бред. Он налил себе еще коньяку.

— Бреду смешно, что его сестра училась в Ворд-Бельмонте, — объяснила Мэгги. — Ворд-Бельмонт — это школа для девочек в Нашвилле. Небольшой, очень хороший пансион Уверена, что вы о нем никогда и не слышали.

— А вот и слышал, — сказал Яша Джонс.

— Он о нем слышал в первом действии пьесы под названием «Кошка в раскаленных штанах»,— сказал Бред.

— Нет,— засмеялся Яша Джонс, вертя в пальцах рюмку.— Я знаю о Ворд-Бельмонте не из первого действия «Кошки на раскаленной крыше». В молодости я знал в Чикаго девушку, которая там училась.

— Да бог с ним, с этим Ворд-Бельмонтом,— смеясь, сказала Мэгги.— Я только хотела сказать, что, приехав в Нашвилл, я впервые узнала, что если что-нибудь падает, это поднимают. Хотя бы иногда. Хотя бы для того, чтобы можно было подумать, будто нашвиллцы какие-нибудь янки.

— Нет,— сказал Бред.— Какие они янки. Просто Нашвилл всегда тщился стать блестящим средним арифметическим Великого Американского Мещанства. Стать чем-то вроде Канзас-Сити наших мест.

— Ах, оставь бедный Нашвилл в покое.

Он пропустил ее слова мимо ушей и выпил коньяку.

— Девиз младшей торговой палаты Нашвилла, Теннесси: «Когда будут выращены самые лучшие буржуа, их вырастит Нашвилл».

— Бред обожает это слово,— сказала Мэгги Фидлер.— Слово «буржуа». Во всяком случае, обожал раньше. Наверное, обожает и теперь.

— Я перенял его у первой жены,— сказал Толливер.— Той, коммунистки. А теперь употребляю в память о веселом времечке, когда мы были вместе. Кое-чем мы наверняка эпатировали буржуа.

— Налей кузену Блендингу и мистеру Джонсу того же старого французского виски, что и себе,— сказала она,— тогда его меньше останется, а это, дорогой дружок, тебе не повредит.

Она засмеялась, и Яша Джонс, протягивая рюмку, снова попытался определить, что же кроется за этим оживленным, непосредственным, журчащим смехом.

— А я ведь всего-навсего хотела сказать, мистер Джонс,— обернулась она к нему,— что всю мою жизнь в Фидлерсборо все рушилось и никем не поднималось. Может, в этом была своя мудрость. Представьте, а что, если бы все эти годы жители битый день поднимали то, что рухнуло, и пытались собрать и поставить на место? Сколько зря потрачено сил, когда нас все равно хотят затопить.

— Странно,— сказал Котсхилл,— почему здесь все разваливается. Обычно думаешь, что все распадается и превращается в прах со временем, то есть как нечто связанное с категорией времени. Но почему все рушится там, где времени не существует? Понимаете, мистер Джонс, Фидлерсборо — такое место, где часы на здании суда против моей конторы...

Бред пояснил:

— Он у нас адвокат.

— Нет,— возразил Котсхилл.— Я фермер и немножко практикую как юрист. А часы против моей конторы уже бог знает сколько времени стоят на восьми тридцати пяти, и никто не знает — утра или вечера. Да, сэр, Фидлерсборо — это место, где боженька просто забыл завести свои часы.— Он помолчал, а потом, вдруг развеселившись, добавил: — Пусть затопляют. Нет такого места, а в сущности, и общества, которое не заслужило бы, чтобы его потопили.— Он снова сделал паузу.— Но знаете,— продолжал он,— в тот момент, когда какое-нибудь место вот-вот погибнет, но еще продолжает свое бытие в ожидании потопа, тогда яснее всего видны его пороки и достоинства. Как при том ни на что не похожем освещении перед летней грозой. Странное у вас тогда чувство. Да,— сказал он,— кстати, я расскажу вам странную историю.— Он обратился к Мэгги: — Если ты сегодня не была в городе и этого уже не слышала.

— Я сегодня не выходила из дома.

— Помните мисс Петтифью? Она раньше жила в том доме, который теперь принадлежит Басномам.

Мэгги кивнула.

— Помните, лет пятнадцать назад она вдруг уехала? Никто не знал, почему и куда. Так вот вчера ночью она вернулась.

— Да ну? — вежливо осведомилась Мэгги.

— Точно. Так потрясла ей душу грядущая гибель Фидлерсборо. Явилась

среди ночи. Тайком. С садовой лопатой. И... — он выдержал паузу для вящего драматизма, — была арестована.

— Арестована? — воскликнула Мэгги уже не из вежливости.

— За что? — спросил Бред.

— Не торопите меня, — сказал Котсхилл. — Дайте рассказать толком. Вчера около двух часов ночи старик Баском услышал собачий лай. Лаяла его немецкая овчарка — она сидит на цепи во дворе. И, как полагается, вылез на заднее крыльцо в ночной рубаше, с голыми икрами, с фонариком в одной руке и пистолетом со снятым предохранителем в другой. И что же осветил фонарик? Бледную как смерть женщину, которая прижимает что-то к груди. Старик орет: «Руки вверх!» — женщина поднимает руки и роняет то, что прижимала к груди. Старый Баском кричит жене, чтобы та позвала полицейского. Старик держит непрошеную гостью под дулом пистолета, и через положенное время на своем «шевроле» подъезжает полицейский Смолл. А сегодня ранним погожим утром меня вызывают в тюрьму, чтобы я занялся этим делом. Правда, арестованная, с криком требовавшая адвоката, сначала даже не хотела себя назвать. Оказалось, что это старая мисс Петтифью. Я говорю «старая» не зря. Ей еще нет и шестидесяти, но выглядит она как ископаемое. В конце концов она расколотась и заговорила. Выложила все.

Он помолчал, взвешивая свои слова.

— Нет, не совсем все, — поправился он. — Имя своего любовника она не назвала.

— Кого-кого? — переспросил Бред.

— Любовника, — спокойно повторил Котсхилл. — Ибо в мире, где весь распорядок природы окутан тайной, мы можем допустить и такую загадку: как старая доска — а мисс Петтифью была ею даже во цвете лет — нашла себе любовника. И самого настоящего, имейте в виду. Угадайте-ка, что она выкапывала? Посреди ночи? Из-под старого розового куста? На заднем дворе дома, где не была пятнадцать лет?

— Не знаю, — сказала Мэгги.

— Стекланную банку, — сказал Котсхилл. — Да, да, старую стеклянную банку от варенья, с резиновой прокладкой; крышка была закрыта так плотно, что продержалась до сих пор. А в банке лежало то, чего она не могла оставить в земле под покровом воды, когда Фидлерсборо уйдет под воду.

— Неужели?.. — начал Бред.

— Да. В старой банке от варенья была бедная крошка, которая могла бы стать ребеночком мисс Петтифью. Если бы ей удалось до этого дожить. Не подумайте, что мисс Петтифью хотела от нее освободиться. Я ей поверил, что нет. Просто так уж случилось. Повезло. В общем, она отбыла. Взяв это с собой. В старой стеклянной банке. Отбыла на пережившем свой век «форде». В неизвестном направлении.

Блендинг Котсхилл медленно перевел взгляд с одного лица на другое, глаза его при лунном свете были бесцветными и блестящими.

— Вот, господа присяжные, — сказал он, — каков наш Фидлерсборо.

Яша Джонс посмотрел вверх через разрушенные уступы на темный дом. Он посмотрел вниз, на темную реку, где дальше к югу омуток отливал серебром. Он посмотрел вверх, на луну, плывущую с надменной небрежностью бесконечно высоко в молочной пустоте неба. При таком бледном свете остро ощущаешь невосполнимость пустоты. Чувствуешь безграничный бег пустоты там, за лунным диском.

Снова залился песней пересмешник и смолк.

Какой безукоризненный набор штампов, сказал он себе. Он ехидно представил себе, что ему скажут, если он, Яша Джонс, вставит все это в свою картину точно так, как оно есть. Но Яша Джонс, рассуждал он, достаточно хитер, чтобы не вставлять в картину все как оно есть. Он хитроумно сделает из этого нечто такое, что перестанет быть тем, чем было в действительности, чем было на самом деле, а став нереальным, будет принято за реальность.

Да, действительность неуловима. Вот почему нам нужна иллюзия. Истина через ложь, — думал он. — Только в зеркале, — думал он, — за твоим плечом появляется призрак. Он мельком подумал, какая раз-

ница между тем, что он делает или собирается делать — снимать фильм, построенный на гибели такого города, как Фидлерсборо, но в действительности вызванный к жизни каким-то потаенным процессом во внутренних органах и хромосомах Яши Джонса, — и тем, что он делал более двадцати лет назад один в далекой лаборатории Кембриджа в Англии или в аудитории Чикагского университета перед грифельной доской, покрытой цифрами и зловещими символами, похочими на следы куриных лап.

Яша Джонс снова оглядел все вокруг: темный дом, сад, луну, разрушенные уступы склона. Пересмешник услужливо разразился длинной каденцией. Он посмотрел поверх рюмки на женщину. Она сидела очень прямо, луна освещала светлую шаль, аккуратно расправленную на плечах, и волосы, аккуратно разделенные пробором на изящно вылепленной голове, а она глядела на запад, за широкую излучину реки и туманный берег, словно была здесь одна.

И он понял, что она привыкла сидеть одна.

Он окликнул ее:

— Миссис Фидлер!

Она обернулась. Он заметил, как спокойно она вышла из задумчивости, из отчужденности и обернулась. Не вздрогнула, не дернулась от неожиданного оклика. Она перенеслась из одного измерения в другое с легкостью человека, давно привыкшего при помощи какой-то тайной уловки пересекать эту границу.

— Что? — спросила она.

— Я рад, что увидел это место, — сказал он. Коротким жестом он обвел окрестности. — Мне будет грустно, когда оно исчезнет.

Она повернулась, чтобы кинуть взгляд на уступы, на темную махину дома, потом огляделась вокруг, словно открывая и оценивая все это впервые.

— А мне, пожалуй, нет, — сказала она.

И задумалась.

— Я хочу сказать, — продолжала она, — что здесь ведь нет жизни. Разве город и так не умирает? Разве не чувствуешь, что место это может быть где угодно? О нет, я не хочу сказать, что тут не хватает кучи негритят, которые возятся у дверей своей хижины. Да я, право, и не знаю, что хочу сказать.

Помолчав, она добавила:

— Быть может, этому городу всегда было здесь не место. И вообще ему нигде не место. Быть может, он просто выдумка первого Фидлера, который сюда пришел.

Бред зашевелился в потемках.

— Полковник Октавиус Фидлер, — сказал он тоном докладчика, — из Виргинии, член Революционной комиссии, к сожалению, орудовал в ней только по части милиции, прибыл сюда через Кентукки, по дороге захватывая участки. Последний захватил здесь, построил дом и стал теннессийским аристократом. Портрет — подлинник, написанный маслом, — слева от входа.

— Мой брат, — объяснила женщина, — гордится тем, что он не аристократ. Бойтся, чтобы кто-нибудь не принял его за аристократа.

— Мои предки из поколения в поколение были пропойцами, жили в болотах, совращали женщин племени чокто и выделывали ондатровые шкуры, — подтвердил Бред. Он обернулся к ней. — И твои тоже, сестрица.

— Да, наверное, — сказала она, — но ты мог бы выразить это поэлегантнее.

— Я хочу, чтобы мистер Джонс знал правду. Не желаю, чтобы он думал, будто я выдаю себя не за того, кто я есть. Вернее, не хочу, чтобы он думал, будто я нахожусь в этом доме по какому-то праву. — И он выпил глоток коньяка.

Женщина поглядела на дом.

— Нет, — сказала она, — я не огорчаюсь, что его не будет. Дома. Только вот разве из-за мамы Фидлер. Это ее добыет, если надо будет уехать. Я бы предпочла, чтобы она спокойно умерла здесь.

Она обернулась к Яше Джонсу:

— Понимаете, тут вроде гонок.

— Что?

— Гонки между потоком — тем, что он ее убьет, — и тем, что она умрет своей смертью. Может, она скоро умрет сама. Гонки между двумя смертями.

Яша Джонс краешком глаза увидел, что в верхнем этаже дома зажегся свет. Он повернул голову, и она заметила это движение.

— Да,— сказала она, поднимаясь,— там ее комната. Бедная старушка, она ночью встает и смотрит, нет ли...— Она запнулась.— И бродит по комнатам. Извините,— сказала она и торопливо пошла по дорожке к дому.

Яша Джонс посмотрел ей вслед.

— Просто надрывется, ухаживая за старухой,— сказал Бред.— С нее нельзя спускать глаз.

Яша Джонс проследил за тем, как она растворилась в темном пролете двери.

— Мистер Джонс, скажите Бреду, чтобы он привез вас ко мне,— сказал Котсхилл.— Хочу еще разок похвастать своим домом, прежде чем его затопят. У меня там есть интересная штука, хоть и не бог весть что. Два искусственных пруда величиной с небольшую ферму, насосы, которые качают в них воду из реки, а потом ее откачивают; я развожу там рыбу — коньков. Каждый год выкачиваю один из прудов и отправляю коньков в Чикаго, где делают gefilte fish¹⁷. Надо видеть, как миллион негров в болотных сапогах собирают коньков, будто это арбузы, а вереница автохолодильников тянется на целую милю в ожидании погрузки. Вот это зрелище! Но к чему я веду. Осенью на этих прудах у меня отличная охота на уток, не хуже, чем на рисовых полях Арканзаса. И на нее собирается большая компания. Каждую осень я приглашаю знакомый народ со всей округи. До восхода солнца выпьешь для бодрости и слегка закусишь, а потом нас отвозят на лодках в укрытие. Когда возвращаемся, закатываем пир — за длинный стол садится человек шестьдесят — шестьдесят пять, а цветные обносят нас едой и выпивкой. Но утки, утки! Видели бы вы, как они летят высоко над лесом, а потом наискось ныряют в пруд. Рассветает, а они все летят и летят.

Он помолчал. Потом продолжал уже тише:

— Осенью поохотимся напоследок. До того, как затопят. Хорошо бы и вам приехать, мистер Джонс. Вы стреляете уток, мистер Джонс?

Помолчав секунду, Яша Джонс медленно произнес:

— Стрелял. Давно, до войны. Пожалуй, больше этим не занимаюсь. Но спасибо.— И он улыбнулся.— Благодарю за приглашение.

Котсхилл встал.

— Что-то я тут у вас разболтался.— Он протянул руку.

Распрощался он как-то очень коротко.

Когда он ушел, Бред спросил у гостя:

— Хотите спать?

Но Яша Джонс смотрел на темный дом.

— Мне, пожалуй, надо предупредить вашу сестру, прежде чем я приму ее любезное приглашение, что я чемпион бессонницы. Обычно мне удается не выходить из своей комнаты при помощи чтения, но не всегда. Надеюсь, ступеньки тут не скрипят.

— Скрипят,— сказал Бред.— Все проклятые ступеньки до единой. Когда во мне заиграла кровь, отец меня не раз дурил из-за этих скрипучих ступенек. Ловил, когда я пробирался из дому.— И, заметив удивленный взгляд Яши Джонса, пояснил: — Я ведь тут провел детство. Хоть и не зовусь Фидлером.

Он помолчал, явно тешась недоумением собеседника.

— Я ничего не приврал, говоря о своем происхождении. Мой старик был самым настоящим скорняком, но когда ондатры повывелись, он вылез из болота на сушу босиком, в одной подтяжке и принялся сдирать шкуры со здешних горожан. К тому времени, когда он меня зачал, он уже заграбастал чуть ли не весь Фидлерсборо. Если бы ему были доступны горизонты пошире, он бы мог шутя завладеть не только Нашвиллом, а даже Чикаго. Но он ничего не видел дальше Фидлерсборо. Когда я родился, ему принадлежала половина Ривер-стрит, большая часть банковского капитала, шесть ферм, четыреста голов скота и четырнадцать закладных, в том числе и на методистскую церковь. Когда мне было лет шесть-семь, сразу после первой войны, а в наших местах разразился нешуточный кризис, старый доктор Фидлер не сумел выкупить закладную, и мы сюда переехали. Отец даже заполучил чуть ли не всю мебель и утварь, включая библиотеку. Ему нужны были ковры, чтобы топтать по ним в сапогах, облепленных бо-

¹⁷ Фаршированную рыбу (нем.).

лотной грязью или навозом и мебель, чтобы построгать скорняцким ножом чипендейлевский стол, когда на него нападет задумчивый стих. Отец...

Бред Толливер замолчал, глотнул коньяку и поставил рюмку.

— У отца моего были сложные, глубоко затаенные и неутолимые потребности. Одним словом... — он снова взял рюмку, выпил ее до дна и поставил на место, — он был сукин сын. — Он встал. — Значит, у вас бессонница? — спросил он.

— Мало сказать бессонница, — улыбнулся Яша Джонс.

Бред посмотрел вниз, на это худое длинноносое лицо, глубоко посаженные глаза, крутолобую лысую голову, залитую бледным светом луны. Взгляд у него был издевательский и злой.

— Лично я не страдаю бессонницей, — сказал он. — Обделен. Не принадлежу к утонченным художественным натурам. Когда на меня накатывает, вот как сейчас, то будь я утонченной натурой, я, наверно, страдал бы бессонницей, но будучи тем, что я есть, предаюсь запою в одиночестве. А вы, мистер Джонс, знаете, что такое запой в одиночестве?

— Нет.

— Думаете, я уже пьян?

— Нет.

— Хотя, судя по вашей улыбке, вы именно так и думаете, — сказал Бред, вглядываясь в его лицо. — Я боялся, что вы по причине чрезмерной усложненности моей речи еще подумаете, что я пьян. Заверяю вас, что это не так. Я просто сметаю пыль со стартовой площадки к запою в одиночестве. А вы знаете, что такое запой в одиночестве?

— Нет.

— Вы еще никогда не бывали на Юге?

— Нет.

— Так вот на дальнем Юге в определенном кругу, так сказать, в высшем обществе — в высшем обществе по старомодным понятиям, — выражение «запой в одиночестве» означает сугубо индивидуальный запой с содержанием алкоголя в крови не менее полутора процентов, предпринятый из чисто философских побуждений. Это максимальное приближение к дзен, возможное в штате Миссисипи. И даже в штате Теннесси. Максимальное приближение к дзен, доступное Бредуэллу Толливеру, а он стремится к нему оттого, что в этом потоке лунного света и воспоминаний он сейчас войдет в комнату, где лежал мальчишкой, и пока лунные лучи блуждали по его постели и пел пересмешник, в голове его бродили «мысли юности, долгие, долгие мысли», как писал Лонгфелло.

Он нагнулся и твердой рукой взял бутылку коньяка.

— Может, все-таки глотнете, прежде чем я уйду? — спросил он. — У меня его много. Купил в Мемфисе целый ящик. На Побережье пью кислые выжимки, а тут, в Теннесси, — коньяк. А знаете почему?

— Нет.

— Ну так я вам скажу. — Бредуэлл доверительно пригнулся к нему. — Обдумывая свое возвращение в Теннесси после многолетней ссылки, я мысленно обозрел свою жизнь, чтобы решить: от какого поила бывает самое гадкое похмелье? Явно от того, которое моя провинциалка сестра зовет сладким французским виски. Вот я и решил приобрести этот ящик в качестве антиалкогольного лекарства и карательной меры одновременно. Сейчас готовлюсь принять то и другое.

Он протянул бутылку.

— Неужели не хотите глотнуть, пока я не ушел?

— Нет, спасибо, — вежливо отказался Яша Джонс.

— Тогда спокойной ночи. И приятных сновидений.

— Спокойной ночи. Благодарю вас.

Яша Джонс проводил взглядом его коренастую фигуру; но он, сделав три шага по дорожке, остановился. Потом, видно о чем-то поразмыслив, вернулся назад.

— Спешу вас заверить, — сказал он, глядя вниз на Яшу. — Если вы боитесь, что я пью на работе, откиньте ваши страхи. Это чистопробный дзен.

Он снова двинулся к дому. Сандалии сухо зашуршали, шаркая по старому кирпичу. Он поднялся на первую площадку, снова остановился, как бы раздумывая, а потом вернулся назад.

— А вы знаете, в какой комнате вы спите? — спросил он.

— Я не заблужусь, — сказал Яша Джонс.

Бред нетерпеливо помотал головой.

— Да черт, я не о том... Я спрашиваю, — вы знаете, что это за комната?

Он слегка нагнулся, заглядывая Яше в глаза.

— Это та самая комната, — сказал он, — та, что мы занимали с женой, когда жили здесь. Перед войной. С моей первой женой. Помните, той, о ком я рассказывал?

— Да, — сказал Яша Джонс.

— Она была коммунисткой, ростом чуть ли не в девять футов, с талией в двадцать два дюйма, гибкая, как уж, и нежная, как спелый гранат, на который жарким летом слетаются пчелы со всей долины Сан-Фернандо. Подумайте об этом, а я вас покидаю.

На этот раз он не остановился. Он шел вверх по дорожке; сначала по ступенькам первого уступа, потом — второго. Движения его были трезвыми, размеренными. Так он дошел до дома.

Яша Джонс, проводив его взглядом, остался сидеть, раздумывая о том, как хорошо, что он не писатель. Эта участь его миновала. Его миновала тяга к бессмертию.

Он подумал, что не встречал ни одного писателя, даже самого маленького, самого подневольного злобе дня и сознающего себя неудачником, который где-то в тайниках души не испытывал этой тяги и даже не питал бы надежды на бессмертие. Болезнь зрела в самой природе писательства. Он перебрал в уме все, что сулило мастеру возможность пережить себя: краски, камень, дерево, вереницу нот, слова. Он думал о разнице между болезнью тех, кто работает в чайнии бессмертия, и болезнью тех, кто его не ждет.

Актер, певец, танцовщик — каждый из них знает, что лучшее в нем, действительно ценное у него отнимают в тот самый миг, когда оно осуществляется. Он знает, что не может надеяться на бессмертие. Поэтому болезнь его безнадежнее, отчаяннее, разрушительнее, самоубийственнее. Борьба со временем у него идет иначе. В самом процессе своего творчества он остро и отчаянно ощущает гибель своего «я». Он знает, что всякая надежда на славу обманчива, что настоящая слава у него может быть только преходящей. Это определено даже словами. Говорят: «Гаррик был великим актером». И говорят: «Милтон — великий поэт». Есть слава временная и слава нетленная.

Да, думал он, поэтому болезнь тех, кто может бороться только за временную славу, кажется более безнадежной. Он вспоминал тех, кто нес на себе это проклятие. Но страдания художника, который борется за нетленную славу, куда большее проклятие. Оно страшнее потому, что его средства выражения сулят большее. А из всех них слово обещает больше, чем что бы то ни было. Да, болезнь гнездится в самих средствах выражения. Тут уж иллюзий не избежать. Каждый, как бы он от этого ни отнекивался и ни морочил себя суеверными заклятиями, мечтает, что когда-нибудь, где-нибудь, кто-нибудь найдет послание в бутылке, кинутое им в море. И тогда он станет великим. Достигнет бессмертия.

Что же, сказал себе Яша Джонс уже не в первый раз, его эта беда миновала. Он знает, что творчество его эфемерно. Когда он это понял? Он вспомнил годы, проведенные в Кембридже и Чикаго. И тут ему на миг привиделся большой экран, голый экран в пустом кинотеатре, который посверкивает и пульсирует приглушенными накатами серебристого света, а потом по нему проплывает тень человеческой фигуры, неясная, лишенная определенных черт. Эфемерность, если ты понимаешь, что именно ее создаешь, — радуйся. Радуйся, зная, что эфемерность не дает бессмертия.

Он сидел освещенный луной и не подозревал, что сознание эфемерности и сделало его великим.

Он сидел и был полон жалости к человеку, который вошел в темный дом. Яша Джонс не понимал, что когда-то и сам по ошибке принял тепло сострадания за страсть. Он не сознавал, что сострадание, которое он почувствовал в малень-

кой книжке, написанной юношей из Фидлерсборо четверть века назад, привело его в этот заброшенный сад, освещенный луной, где он сейчас ожидал наступления сна. Он не сознавал, что сострадание в этой книжке возникло как отражение сострадания в его собственном сердце, которое он по ошибке принимал за радость.

Он сидел, зная, что ему еще рано пытаться заснуть. Он сидел, раздумывая, спит ли уже тот, другой.

А тот, другой, не спал. Он смотрел в окно на запад, где луна заливала землю, и вспоминал, как сегодня днем Яша Джонс сказал, что сам его выбрал. Выбрал за то, что когда-то он написал небольшую книжку. И теперь Бредуэлл Толливер вспоминал то чувство облегчения и благодарности, которое его так согрело, когда Яша Джонс ему это сказал, словно он ему дал отпущение грехов.

Но глядя на лунный свет, он уже не чувствовал облегчения и его уже не грело то, что он получил отпущение грехов.

Глава шестая

Когда Бред Толливер проснулся в Фидлерсборо, Теннесси, на той же кровати, где спал мальчишкой, он сразу почувствовал головную боль и тошноту, которые и предвидел, когда пил коньяк. Но еще до того как память разобралась в недавних событиях, еще до того, как он удостоверился, в какой кровати лежит, его вдруг охватило глубокое отчаяние, словно его несло с закрытыми глазами в плоскодонке по открытому морю и плоскодонка боком ныряла под волну.

Он и в самом деле закрыл глаза.

А теперь открыл, узнал потолок, серую штукатурку, знакомые трещины: неужели штукатурка никогда не отвалится? — и сообразил, что уже поздно, вспомнил, что сегодня воскресенье, что у него есть обязанности перед гостем, перед своим заказчиком Яшей Джонсом, и догадался, чем вызвано его отчаяние. Давным-давно он написал маленькую книжку. А теперь благодаря этой книжонке, а не «Сну Иакова», который вчера был объявлен на миллионе рекламных щитов, и не двум «Оскарам» или премии Союза киносценаристов, и не семнадцати кассовым фильмам, благодаря не всему тому, что заполняло минувшие годы, он был здесь, и Яша Джонс был здесь, и они собираются создать прекрасный трогательный кинофильм. Что же, значит, все истекшие годы с тех пор прошли даром?

Он закрыл глаза, зная, что с этого все и началось вчера ночью — с этого вопроса. Он лежал на кровати, поперек нее падал лунный свет, и он вспоминал, как писал ту книгу. Если бы он той книги не написал, он не гулял бы солнечным днем в июне 1937 года по Центральному парку по узкой, извилистой аллейке, отгороженной высокой живой изгородью, жуя травинку, а Летиция Пойндикстер не склонялась бы к нему (на ней были туфли на высоких каблуках), или, вернее, не нагибала бы слегка голову, чтобы получше разглядеть его лицо, и, помогая себе короткими округлыми жестами рук, причем на левом запястье позвякивали два тяжелых золотых браслета из Индии или откуда-то еще с варварскими бряцающими подвесками, не объясняла бы ему подспудную идею его произведения.

У него большой талант, говорила она. Ей было бы очень обидно, если бы он его промотал, говорила она. К тому же, говорила она, в современном мире только один путь к счастью. Она его нашла. Она объясняла, как и он мог бы его отыскать и одновременно выразить подспудную идею своего произведения.

Если бы не было произведения, нечего было бы и говорить о его подспудной идее.

Произведения, — думал он теперь. — Его подспудной идеи.

Издатель сборника рассказов под названием «Вот что я вам скажу...» был выпускником Йельского университета, где он получил в 1915 году magna cum laude¹⁸, какое-то время там же преподавал на факультете английской литературы, в 1917 году не попал на военную службу из-за легкого искривления позвоночника и после этого занялся издательским делом, вдруг обнаружив, что академическая среда — бесплодна. Поработав несколько лет в издательстве, он сам написал роман, смутно напоминавший произведения Рональда Фербанка¹⁹, и

¹⁸ Высшую оценку (лат.).

¹⁹ Английский писатель (1886—1926) — эстет, поэт, писал изысканно-вычурные романы.

вполне прилично перевел несколько книг немецких классиков. В 1924 году он женился на девушке из хорошей семьи, довольно красивой, но напрочь лишенной воображения, от которой у него родился сын. Первые два года жизни ребенка он был страстным отцом, но когда они разъехались с женою, не дававшей ему развода, утратил к сыну всякий интерес.

В конце двадцатых годов он проводил все свои отпуска в Берлине и писал политические статьи, где точно предсказывал победу фашизма. В последнее пребывание в Берлине в 1931 году он, сам себе удивляясь, завел интрижку, единственную в жизни, с пожилым политическим деятелем, левым активистом, искалеченным нацистскими хулиганами в Мюнхене, — его отвага крайне восхищала молодого издателя — однако впоследствии вернулся к развлечениям с молодыми женщинами из литературных и политических кругов, где он вращался, в том числе и с теми молодыми женщинами, чьи произведения печатало его издательство. Теперь он носил рыжеватую бороду лопатой.

Прежде он одевался довольно франтовато, небрежно, мешая английский и студенческий стили, но теперь небрежность выродилась в картинную неопрятность, хотя его потрепанные твидовые костюмы всегда были не из дешевых. Его подпись в те годы все чаще появлялась в журналах под всякими воззваниями и коллективными протестами.

Звали издателя Телфордом Лоттом. Это был хороший человек, напрочь лишенный честолюбия и мстительности, добросовестный, жаждавший что-то сделать на благо человечества, но страдавший оттого, что его образ жизни дает так мало возможности для решительных действий. Дедом его был известный священник унитарной церкви в Массачусетсе, и Телфорд Лотт пошел в него, хотя этого и не сознавал. Его до слез трогали романы, где описывалось благородство или терпеливо переносимые страдания. Весной 1934 года его глубоко взволновал напечатанный в одном из журнальчиков рассказ под названием «Вот что я вам скажу...» — незамысловатая повестушка о старом еврее-портном, чьи врожденная порядочность и достоинство украсили жизнь захолустного ханжеского городишки в Теннесси на берегу мутной реки. Телфорд Лотт написал автору и когда неожиданно обнаружил его по соседству, в университетском общежитии Дартхерста, пригласил к себе в контору. Рассказ дал заглавие небольшому сборнику, который Телфорд Лотт вскоре составил.

Книжка имела относительный *succès d'estime*²⁰. Ее хвалили рецензенты тех изданий, которые обычно дают обзоры новинок, но главным образом либеральные и левые журналы. Автор, писали они, глубоко сочувствует обездоленным. Он описал, не дрогнув, не ища оправданий и не романтизируя, деградацию родных мест. Он проявил интуитивное понимание социальных проблем и, обретя зрелость и научное мировоззрение, сможет внести важный вклад в литературу.

В те дни Телфорд Лотт испытывал какой-то особенный подъем. Не от блеска отраженной славы, который озарял его во время приемов с коктейлями, пока разговор не переходил от того, как он открыл Бредуэлла Толливера, на политику, любовные интриги или деньги. Телфорд Лотт был счастлив, потому что в лице Бредуэлла Толливера, этого головастого молодого человека со светло-голубыми глазами, чуть-чуть неправильно посаженными ушами, мужиковатой фигурой, большими руками, неряшливой одеждой и странной, привлекательной смесью нахальства и застенчивости, он обрел, пусть и скромную, надежду на будущее. Он наделит Бреда — он уже так накоротке его звал — спокойной решительностью и верой в свое призвание, и они его поддержат, а также снабдит научным мировоззрением, которое подкрепит его природное человеколюбие.

Человек должен сделать хотя бы это, думал Телфорд Лотт, чтобы прикоснуться к живой современности. Он стал подумывать, не вернуться ли ему к жене. В конце концов, ему уже за сорок. Вечеринки переставали его интересовать. Он стал подумывать о сыне, как его воспитать, чтобы он сумел нести бремя будущего человечества. Боль в спине, которая в последнее время мучила его по ночам, почти прошла. До него вдруг дошло, что его уже давно не преследует воображаемая картина, будто его вот-вот должны расстрелять за какие-то убеждения, которых в минуту казни он как раз не может припомнить. Ему несколько раз снилась смерть матери, и горе его было томительно-сладким. К нему верну-

²⁰ Успех у критики, но не у читателей (франц.).

лась былая страсть к поэзии Вордсворта, и он даже начал писать статью о соотношении общественного сознания с любовью к природе.

Телфорд Лотт вернулся к жене и снова почувствовал прежнюю привязанность к сыну. Сын оправдал самые радужные надежды отца, добившись блестящих успехов в университете, где он изучал античную литературу, защитил докторскую диссертацию в Оксфорде и отважно сражался в Корее. Но его взяли в плен китайцы. Через год было опубликовано сообщение, что сын переметнулся в лагерь врага. Телфорд Лотт застрелился.

Когда Бредуэлл Толливер прочел в Биверли-хиллз известие о трагической смерти известного издателя, он сперва даже не сообразил, о ком идет речь. Фамилия, правда, была знакомая, но в тот первый миг он не вспомнил, кому она принадлежит. Но тут же увидел собственное имя в списках тех, чьи таланты открыл покойный.

И, глядя на некролог, вдруг почувствовал тайное облегчение. А к облегчению примешивалась радость, что он схитрил, словчил, совершил какую-то удачную махинацию — какую именно, он и сам не мог бы сказать. Удовлетворение этим неведомо каким плутовством поддерживало его весь день. В душе то и дело вспыхивало ощущение довольства.

Но к ночи он впал в мрак. Он так задиристо вел себя на вечеринке, что хозяин попросил его уйти. Жена его — он тогда был женат на Сьюзи Мартайн — отказалась спать с ним в одной комнате и перешла в запасную спальню. Этот случай, в сущности, был началом конца его брака с Сьюзи Мартайн, которая его любила.

Несколько месяцев Бредуэлл Толливер пользовался успехом на вечеринках, рассказывая о том, как Телфорд Лотт, чей родной сын переметнулся к врагу в Корее, пытался сделать его коммунистом, давал ему коммунистическую литературу и даже приставил коммунистического соглядатая. «Черт возьми, — говорил он, — ведь я был наивным парнем из Пахтальной Зоны, и диалектический материализм внес такую путаницу в мою голову, что я запросто мог бы стать коммунистом, не сбеги я вовремя назад, в родное ондатровое гноище». Он даже придумал смешную пародию на самый популярный рассказ из «Вот что я вам скажу...», чтобы изобразить, чего от него добивался Телфорд Лотт, — помесь скорнячного жаргона с марксистской лексикой.

Как-то раз, на вечеринке в Малибу, уже после чистки неблагонадежных в Голливуде, он имел небывалый успех. Семь человек внимали ему в буфетной как замороженные целых сорок пять минут. В ту ночь, когда он вернулся домой — у него еще был свой дом, хотя Сьюзи уже уехала, чтобы пслучить развод, — он был очень пьян. У него не хватило сил войти в темный дом. Он лег на газон у японской айвы и стал глядеть на прекрасное звездное небо.

Когда он перестал плакать, он все же продолжал смотреть на небо, хотя веки остро покалывало от высыхающих слез. Он лежал возле айвы и думал, что теперь, наплакавшись, представляет себе сладость духовного возрождения. Он так и заснул, лежа под кустом. Едва рассвело, он проснулся, вошел в дом и лег в постель как положено. С тех пор он больше никогда не поминал имени Телфорда Лотта.

Со временем и по мере того как рос его профессиональный успех, он забыл это имя и даже забыл ощущение покоя, которое испытал в ту ночь, когда лежал под цветущей айвой и глядел на звезды. Но когда четыре года спустя, осенью 1959 года, Морт Сибом вызвал Бреда к себе через ряд своих подчиненных по нисходящей, вплоть до агента, и спросил, не хочет ли он поехать в Фидлерсборо — название города, которое Морт Сибом уточнил, заглянув в блокнот, — он на мгновение почувствовал, что на глаза у него набегают слезы совсем как в ту ночь, когда он лежал под звездами. Он вдруг вспомнил и то, что он чувствовал много лет назад в тоскливом общежитии Дартхерста, когда сидел поздно ночью возле уже холодного отопления и пытался положить на бумагу слова о Фидлерсборо, которые почему-то вызывали у него слезы.

Телфорд Лотт познакомил его с Летицией Пойндекстер — на редкость интересной личностью, даровитой художницей, человеком, который стремится преодолеть ограниченность своей среды и воспитания.

Телфорд Лотт не только познакомил его с Летицией Пойндекстер, но и руководил начальной стадией их знакомства. Когда девушка, к примеру, призналась, что молодой человек ей не слишком понравился (она имела склонность к мужчинам постарше, тогда как Бредуэлл Толливер был на два-три года моложе ее), Телфорд Лотт напомнил ей о долге. Долг ее, сказал он, воспользоваться своим влиянием, чтобы направить его талант в нужную сторону и не дать ему уйти в трясину мещанской сентиментальности.

Бредуэлл Толливер испытывал к ней в ту пору просто благоговение. Во-первых, на высоких каблуках она была выше его, правда не слишком, совсем немного, но достаточно для того, чтобы как-то странно на него воздействовать — при ней он чувствовал себя неумелым, неуклюжим, злым.

Она происходила из тех кругов общества, где, как не вполне точно описал Телфорд Лотт, яхты и лошади для игры в поло — такая же неперемнная принадлежность, как заводные игрушки в детской, и хотя она часто ходила в парусиновых туфлях, обтрепанной фланелевой юбке, чудом державшейся на английской булавке, и нормандской рыбацкой тужурке, она постоянно носила кольцо с крупным квадратным изумрудом, который, когда она подпирала щеку, потрясающе оттенял переливы ее волос — от ржавого до темно-каштанового — и придавал какой-то рыжеватый отблеск ее большим темно-карим глазам. Время от времени она расчетливо сбрасывала парусиновые туфли и фланелевую юбку и появлялась в нарядах, чья строгая элегантность либо вызывающая смелость подчеркивали ее уверенность в себе или ее классовое самосознание, второе, во всяком случае, куда более явно. Даже на малоизощренный нюх Бредуэлла Толливера они пахли деньгами, и деньгами немалыми.

В Фидлерсборо он чувствовал себя богатым. И не сознавал своей бедности ни в начальной школе в Нашвилле, ни даже в Дартхерсте. Теперь же она заставляла его ощущать себя бедняком и что еще хуже, стыдиться своей бедности, а потом стыдиться своего стыда, потому что сама она как будто деньги не ставила ни во что. Она, казалось, даже презирала богатую среду, в которой выросла, и гордилась лишь тем, что обращается среди людей талантливых, с высокими нравственными устоями и заслуженной известностью. И это вызывало у него еще большую робость, потому что когда они с Телфордом Лоттом ввели его в этот мир, он почувствовал, что каждое новое имя, которое он прежде не знал, лишь подчеркивает убожество его прошлого опыта и безысходность нынешнего состояния.

Однако как бы все это ни усиливало его преклонения перед ней, но самое главное было в ней самой, в том чувстве внутренней свободы, которым, казалось, обладала эта девушка. Она, например, была первой женщиной, которая при нем ругалась, употребляя вульгарный синоним слова «испражнения», и произносила его так естественно, так невинно, что первый испуг у него вскоре сменился стыдом за этот испуг. И мать свою она называла сукой; это был первый человек на его слуху — мужского или женского пола, — который не старался проявить хотя бы показную почтительность, про forma, в угоду общепринятому. Мать ее — сука, говорила она просто, добавляя, что ей придется сводить его к старушке на коктейль, чтобы он сам убедился, что это за сука: «Сука, у которой течка, ей сорок шесть лет, и когда сидишь и видишь, как ее разбирает, так и хочется пойти в монашки». А потом добавляла с иронией, словно посмеиваясь над одной ей понятной шуткой: «Если у тебя для этого есть данные».

Отзыв о матери был высказан в связи с откровенными рассказами о визитах к психоаналитику, которые так же шокировали Толливера, как вульгарное название экскрементов. Он знал, конечно, что такое психоанализ, но крайне абстрактно. Этим делом занимались где-то в Австрии или в Лондоне, и, как правило, евреи. Кто же не знает, как евреи любят страдать. Но когда это приходило ему в голову, он тут же вспоминал старого Изю Гольдфарба из Фидлерсборо — вспоминал, как тот сидел апрельскими вечерами на плетеном стуле и смотрел через вздувшуюся, красную от глины реку на запад, а представив себе это, понимал, что старый Изя был почему-то в равной мере выше страдания и выше того, чтобы причинять страдания другим. Ибо Израиль Гольдфарб был в Фидлерсборо самим собой.

Однако если к психоанализу прибегает кто-то из ваших знакомых, вы об

этом не узнаете — считается, что это постыдно, и вам ничего никогда не расскажут. А эта девушка рассказывала открыто, громко, в ресторане, где ее могли услышать. Он поймал себя на том, что виновато поглядывает через плечо на соседний столик. Когда он перевел взгляд на нее, то увидел, что она насмешливо улыбается.

Нет, даже не улыбается, а ухмыляется, потому что иногда, совсем неожиданно, на лице ее появлялось именно это — ухмылка. И ухмылка, какую тоже не ждешь от девушки такого роста и с такой вызывающей манерой себя держать при всей ее женственности. Ухмылка была анахронизмом, напоминанием о маленькой Летиции Пойндекстер тех давних лет, когда у нее были дырки на месте выпавших молочных зубов, носки, сползавшие на грязные, вечно расстегнутые сандалии, длинные худые ноги, неслыханная россыпь веснушек на курносом, слегка сопливом носу и волосы еще отнюдь не рыжевато-каштановые, а просто красные, как морковь. Вот такую ухмылку он на мгновение поймал; в ней не было ни ехидства, ни снисходительности, а просто отклик на что-то очень смешное.

Но он почувствовал, что краснеет, что он пристыжен и уличен еще прежде, чем она насмешливо и без всякого ехидства заметила:

— Бойтесь, что вас кто-нибудь застучает с прокаженной?

Он пробормотал что-то невразумительное.

— Ах, Бредуэлл! — воскликнула она. Какое-то время она звала его Бредуэллом. — Клянусь, что это не проказа!

Она засмеялась, и в тот миг, когда, смеясь, она закинула голову, он, поглядев на нее через стол, покрытый красной клеенкой, в дешевой забегаловке на Перри-стрит, где красное вино продавали уже легально — импортное, правда, и хуже того, что было в прежние дни, — и поймав в ее волосах густой отблеск от свечи, воткнутой в оплетенную соломой бутылку кьянти, почувствовал, что опять краснеет. Но тут он увидел, что смех ее замер, зрачки карих глаз расширились, будто в них пустили белладонну, и глаза уставились поверх его головы туда, где, как он знал, ровно ничего не было, и в этот миг перед ним словно в тумане промелькнула картина, как она лежит на чем-то вроде кушетки, а кушетка белая, больничная, и голова ее покачивается из стороны в сторону словно от боли, глаза расширены, вот как сейчас, и смотрят совершенно в никуда.

Видение это тотчас же пропало. По ту сторону красной клеенчатой скатерти сидела просто высокая девушка и смотрела поверх его головы, слегка насупившись; рыжеватый блеск ее глаз был чуть-чуть затуманен, а пламя свечи оттеняло золотистый загар ее кожи (загар, который у рыжей женщины требовал бесконечного ухода и дорогостоящего досуга), а чешуйка помады, приставшая к слегка обмякшей нижней губе, словно лихорадка, была отчетливо видна при свечах, как под микроскопом. Он увидел, что, все еще глядя поверх его головы, она прижала нижнюю губу к зубам. Он увидел, как она чуть вздернула верхнюю губу, прикрыла ровным рядом верхних зубов нижнюю губу, обнажив резцы — один из них, он вдруг заметил, был слегка темнее, как от умерщвленного нерва, — немного выпятила нижнюю губу и больно прикусила ее зубами. Когда нижняя губа освободилась, он заметил, что шелушинки или чешуйки помады больше нет. Губа разгладилась под ровным, резким нажимом зубов и теперь дразняще блестела, влажная от слюны.

Он поглядел на Летицию и вдруг понял, что он ее знает. Ему, как ни странно, показалось, что она вообще единственный человек, которого он знает. И от этого знания он почувствовал стыд, неловкость и какую-то пугающую причастность, словно его самого раздели. Он чувствовал свою причастность к чему-то темному, теплomu, глубокому, кольчатому, подвижному, вязкому, что было связано с психоанализом, в котором она призналась. Он чувствовал свою причастность, благодаря этой чешуйке сухой помады или шелушинке кожи на губе, слегка потемневшему резцу и тому, что он вдруг увидел, как она тихонько в немом непонятном отчаянии покачивает головой на белой кушетке. Ему захотелось вскочить и поскорей убежать из этого бывшего притона. Потом его одолела какая-то странная душевная растерянность, пугающая, но чем-то бесконечно милая, вслед затем он ощутил внезапный толчок, словно большой пес, выскочив из воды, отряхнулся каскадом брызг, а потом пришло ощущение силы, повой и чем-то

особенно покойной. Будущее казалось огромным яблоком, висющим в темноте, чья кожица вот-вот лопнет от спелости.

И все это произошло в один-единственный миг.

А она ухмыльнулась снова и сказала:

— Не робейте, Бредуэлл. Это была не проказа. Просто слаба на передок. Потом ухмылка сошла, и она поглядела на него уже серьезно:

— Хватит об этом — о психоанализе. Давайте лучше поговорим о...

Тогда она не хотела об этом рассказывать. Такое желание пришло много позже, в его грязной полуподвальной комнате на Макдугал-стрит, когда, лежа рядом с ним за полночь, в темноте, она в какой-то запоздалой вспышке самоанализа, который забросила уже несколько лет назад, рассказывала про свою жизнь.

В темноте она отдавала ему свою жизнь, всю как есть, все, что о ней знала, неторопливо, смиренно, словно выполняла обряд любви и покаяния.

Она будто считала, что ее, Летиции Пойндекстер, непомерно вытянутое в длину тело годится лишь на то, чтобы дарить животное тепло и удовлетворение, если не видеть этого тела в перспективе прошлого, которое привело ее сюда, на Макдугал-стрит, к Бредуэллу Толливеру. А он, чье дыхание, она слышит в темноте, скоро обнимет это тело, должен обнять, и тем самым искупит ее прошлое, породив новую, настоящую Летицию Пойндекстер. Бредуэллу Толливеру надо понять всю неразбериху, всю незадачу ее прошлого, потому что оно необходимая предпосылка того покоя и счастья, которые она наконец-то надеется обрести.

А самого Бредуэлла Толливера это постепенное снятие покровов возбуждало все сильнее и сильнее; это было одной из самых изощренных любовных уловок, на которые, как он втайне признавал, она была мастерицей. Он же с его малым, примитивным опытом мог только еще больше перед ней благоговеть.

Но это ее умение было лишь долей того, что так его в ней восхищало: ее умение рассказывать о своей жизни без малейшего стыда, ходить по этой жизни, как по хорошо обжитому дому, где все можно найти даже в темноте. Он лежал рядом с ней в темноте, слушая, как она разматывает прошлое, и чувствовал, что он скван, загнан во что-то темное, потайное, что было им самим, как в ящик.

А может, все дело в том, думал он иногда, что у него-то самого нет прошлого, о котором стоит рассказывать? Может, у него и вообще нет прошлого? Он не подозревал, что это опасение заставило его проникнуть в прошлое тех, у кого, казалось, его не было. Он не понимал, что стоит ему попытаться воссоздать прошлое Бредуэлла Толливера, как он потеряет свой дар, свой единственный дар проникать в прошлое тех, у кого не было прошлого.

Когда чуть позднее, то есть после одного случая в Центральном парке в июне 1937 года, он отправился воевать в Испанию, он так и не понял, что боязнь не иметь прошлого и была одной из побудительных причин его поступка. Вернее говоря, где-то в душе сознавая это, он тут же, стыдясь, поборол свою мысль.

Он не знал, что каждый человек томится желанием иметь свое прошлое.

Но еще не знал, что постыдно не это, а желание иметь не подлинное, а мнимое прошлое.

Случай в Центральном парке произошел в самом начале знакомства Толливера с Летицией Пойндекстер, вскоре после того, как она сказала Телфорду Лотту, что ей этот молодой человек не понравился. Его же в тот период больше всего терзала неспособность работать. Он прожил в Нью-Йорке уже больше года и не написал ничего, что нравилось бы ему самому или Телфорду Лотту. Телфорда Лотта это ничуть не тревожило: напор новых впечатлений и новых идей уляжется и Бред их со временем освоит. Но сам Бредуэлл Толливер чувствовал, будто он истекает кровью от какой-то внутренней раны.

Все вокруг казались такими уверенными в себе. Их суждения, высказанные на страницах журнала или сквозь облака табачного дыма над полупустой рюмкой, звучали так непререкаемо. Все они, как и Летиция Пойндекстер, обладали той внутренней свободой, которую, казалось, ему вовек не обрести. И с той же поразительной сноровкой, с какой Летиция разбиралась в своем собственном «я», в своей собственной жизни, все они шагали сквозь тьму истории, словно слепцы по своему хорошо знакомому дому.

Для него же история была просто вереницей прошедших событий, какими бы бессмысленными они ни были. Не без мрачного юморка он представлял себя одним из тех шкурятников давних времен, которые охотились на ондатру во времена его прадеда, — как он зырит из-за ракушечника на приплюснутые, неправдоподобные, заковананные в железо канонерки генерала Гранта, которые, пыхтя, ползут по реке на юг. Ниоткуда и в никуда. Да, ниоткуда и в никуда — вот что такое история. Но для людей, которые его окружали, история — это поезд, который приходит вовремя или только с небольшим опозданием. Они внушали ему трепет.

Г о с п о д и И и с у с е, — думал он, — Ф и д л е р с б о р о !.

Но Летиция Пойндекстер говорила в тот день не об истории. Она говорила о счастье. Одно время, говорила она, я была несчастна. Вела бессмысленную жизнь. Когда она уехала от матери, поселилась в Гринич-вилледже и всерьез занялась живописью, это ей помогло. Но внутри все оставалось по-прежнему. Она все еще была загнана в угол.

— Знаете, — сказала она, нагнув голову, чтобы получше его разглядеть, и откинув блестящую на солнце рыжую прядь, — нельзя быть счастливой, если ты загнана в угол. Правда?

Она задала этот вопрос очень серьезно. Ей надо было, чтобы он сказал: «Нет, нельзя». Ей надо было, чтобы он понял. Он был такой невежественный. Его невежество вдруг показалось ей трогательным.

— Нет, — сказал он, — по-видимому, нельзя быть счастливым, если чувствуешь, что ты загнан в угол.

В эту минуту он чувствовал себя загнанным в угол. Он думал о своей старой пишущей машинке в полуподвальной комнате на Макдугал-стрит, на столе, служившем ему и обеденным и письменным, где рядом с машинкой были треснутая тарелка, полная окурков, графин красного вина и словарь, а на полу валялись скомканные листы бумаги. Он хотел стать писателем. Он так мучительно этого хотел, что сейчас на солнце у него даже голова кружилась. Быть писателем — иначе и жить не стоит. И с отчаянием подумал, что никогда им не будет.

Но она говорила о счастье.

Живописи оказалось недостаточно, говорила она. Тогда она занялась психоанализом. Когда чувствуешь себя такой несчастной, надо как-то с этим бороться. О да, это помогло, в известной мере, конечно, она хотя бы узнала, почему она так живет. Но и это знание тоже не сделало ее счастливой. Не заставило ее вести себя иначе, намного иначе, надо это признать.

— Но психоанализ, — говорила она, — это просто изощренная форма буржуазного баловства. Буржуа покупает его на свои деньги, когда видит, что ничего больше не хочет из того, что можно купить. Это тайная услуга либеральных интеллигентов. Вроде онанизма. Это...

Она вряд ли сознавала, что слова ее — смутное эхо чужих слов, тех, что два года назад произносил Телфорд Лотт, когда они были близки и он пытался вывести ее из удрученного состояния, объясняя, что она должна слить свою судьбу с судьбою всего человечества и бороться за справедливость. Он преуспел даже сверх своих ожиданий. Уговорил ее бросить психоанализ, но, к вящему его удивлению, она бросила и его самого.

Она бросила его и обрела счастье. Нашла в жизни какой-то смысл. Как ни странно, она обнаружила, что мужчины ей уже не так нужны, как раньше. Ей иногда казалось, будто с ней вот-вот что-то случится. Она и не пыталась определить, что именно, но почему-то чувствовала, что прикосновение мужской руки замарает ее, что ей суждено пережить счастье превыше всякого счастья.

— Это было как обращение в новую веру, — рассказывала она Бредуэллу Толливеру о том, что с ней произошло, допуская при этом уклончивость и купюры, которые делали рассказ раздражающе абстрактным, как сон, чьи подробности не можешь припомнить. — Да, совсем как обращение в новую веру, — повторила она, серьезно шагая рядом с ним по узкой петливой аллее между кустами высокой живой изгороди.

Серьезность усугублялась тем, что это был один из дней, когда она рассталась с фланелевой юбкой и парусиновыми туфлями. В этот день она решила повести его к своей матери. К этой суке, которая живет вон там, в восточной части

парка, на одной из 60-х улиц. Поэтому она и надела не старую фланелевую юбку, а кирпично-красное полотняное платье с вызывающей юбкой и желтым кожаным поясом, затянутым так туго, что вызывающая юбка казалась еще более вызывающей. Речь свою она подчеркивала короткими внушительными жестами, и дикарские подвески на тяжелых браслетах позвякивали. Наклонив голову, чтобы взглянуть на него, она говорила:

— Ну да, совсем как обращение в новую веру. Так бывает тогда...

На повороте дорожки неожиданно открылась покрытая гравием площадка футов сорок в длину, от которой в сторону шла более широкая аллея. Площадку окружала густая зелень. Справа стояли две скамейки. За ними несомненно прятались металлические урны для мусора. Перед скамьями уныло расхаживал по гравию голубь. Солнце уже спустилось. Лучи его, падавшие с запада через верхушки кустов, поблескивали на радиаторе машины, глубоко задвинутой слева в кусты.

С первого же взгляда Бредуэлл разглядел все эти подробности.

С первого же взгляда он заметил, что там, где машина была задвинута в кусты, эти кусты в одном месте были пониже, а по обе стороны от них более рослые ветви, свисая, образовали нечто вроде овальной рамки, в которой виднелись голова и верхняя часть туловища женщины с темными стриженными волосами, в синем платье с короткими рукавами. Лицо у нее было напряженное, глаза закрыты, руки вытянуты вперед, будто держали невидимые вожжи, а тело поднималось и опускалось в мерном ритме, словно принаравливаясь к езде неспешной рысью. Туловище было слегка наклонено вперед, словно перед прыжком. Там, в конце засыпанной гравием площадки, в овальной рамке из зелени в такт движению тихо покачивались темные стриженные волосы.

Бредуэлл Толливер замер. Он вдруг услышал то, чего не замечал раньше: въедливый, настойчивый отголосок городского шума и как из этого приглушенного расстоянием въедливого гула вырываются злобные, отчаянные автомобильные гудки. Он вдруг осознал, что свет уже вечерний и косо падает через высокие крыши и башни домов. Солнечные лучи, пересекавшие гравий, казались дымчатыми.

Он затаил дыхание. Он не смотрел на Летицию Пойндекстер и знал, что она не смотрит на него. Он знал, что и она затаила дыхание. Он это знал, потому что, затаив дыхание, слышал бы, как дышит она, а он этого не слышал. Интересно, какое сейчас у нее лицо. Он подумал, что умрет, если не увидит, какое у нее лицо. Но головы к ней не повернул.

Тут он услышал легкое движение ее подошв по гравию. Он понял, что она повернулась, что она уходит. Он обождал секунду и обернулся. Смотрел, как она ставит и поднимает каблуки крокодиловых лодочек. Потом он ее догнал. Он шел с ней рядом, но не вплотную и, пока они пересекали парк, на нее не глядел.

Но теперь он уже был уверен, что слышит ее дыхание.

А сейчас он лежал на кровати в Фидлерсборо и думал, как далеко от Фидлерсборо до Центрального парка и какое между ними пролегло время.

Он подумал: Я в Фидлерсборо.

Он лежал, уставившись вверх, на серую штукатурку, где виднелись старые трещины, и услышал стук в дверь.

— Войдите,— сказал он.

Это была Мэгги. На ней было синее ситцевое платье в клетку, а на босых ногах старые сандалии.

— Еще живой? — спросила она, прикрыла дверь и, улыбаясь, подошла к кровати.

Он крикнул, а когда она приблизилась, отметил, что у нее все еще красивые ноги. И, кажется, ни единой набухшей вены. Интересно, как она сохраняет себя в такой хорошей форме.

И для чего.

Она стояла возле кровати и холодно ему улыбалась.

— Спрячь-ка его поскорей, сестренка,— сказал он.

— Кого?

— Этот взгляд, полный гнусного превосходства. Взгляд женщины при виде порядочного, но поверженного в прах мужчины.

Она нагнулась, взяла с пола пустую коньячную бутылку, внимательно на нее поглядела и поставила на стул, где лежали одна сандалия, мягкая пачка сигарет и полдюжины окурков, погашенных о деревянное сиденье. Потом поглядела на него, улыбаясь, но уже по-другому.

— Тяжело тебе было? — спросила она.

Он поразмыслил.

— Нет, — сказал он наконец, — не тяжело.

Он поразмыслил еще и добавил:

— Интересно.

Она поглядела в окно на солнечный свет, через реку, где земли тянутся далеко на запад, словно сами туда плывут вместе с утренними лучами.

Потом он поправился:

— Нет, даже неинтересно.

Разглядывая ее, пока она смотрела в окно, он спросил:

— А тебе бывает интересно?

Помолчав и все еще глядя в окно, она ответила:

— Право, не знаю, милый братец.

— Ведь необязательно, чтобы все шло как идет, — сказал он.

— Почему ты знаешь? — спросила она. Потом добавила безо всякой горячности: — Ты ведь всего лишь писатель.

— Кем бы я, черт возьми, ни был, дело не должно было обернуться именно так.

Она глядела на него, казалось, даже с состраданием.

— Кто же может это знать? — спросила она.

— Ну, одно-то известно. Эти места затопят, и тут уж, будь уверена, все пойдет по-другому.

Она снова посмотрела в окно.

— Может быть, кое-что никогда уже не пойдет по-другому.

— Не такая ты старуха, — сказал он, накаляясь. — Зачем тебе эта каторга? Ты к ней не приспособлена. Хоть я и твой брат, это не значит, что я не понимаю, что ты за человек. Если бы ты не была тем, что ты есть, тогда...

Он замолчал, ожидая, что она отвернется от окна. Но она продолжала туда смотреть.

Не глядя на него и не повышая голоса, она спросила:

— Ну, почему не договариваешь?

— А я и не собирался заводить этот разговор.

Так оно и было. Коньяк раздирал ему внутренности, словно он проглотил пару драчливых котов, и он не понимал, как у него вырвалась эта фраза. Он даже не подозревал, что она сидит у него там наготове.

Голова у него слегка кружилась.

Она смотрела на него сверху вниз даже с нежностью. Выражение ее лица было так непохоже на то, чего он ждал, что он разинул рот.

— Не огорчайся, братишка. Я рада — вот через столько лет все же выяснилось, что у меня есть брат. А то чуть об этом не забыла.

Она улыбнулась, едва заметная улыбка родилась из того же выражения лица и тут же в нем растаяла.

— Ты бы лучше встал, — сказала она вдруг с чисто женской практичностью и двинулась к двери.

Взявшись за дверную ручку, она остановилась, обернулась к нему и, не выпуская ручки, прислонилась к косяку.

— А знаешь, — сказала она, — я ведь так и не сказала, как я тебе благодарна за то, что ты сделал. Ну, когда ты уехал.

— Лучше скажи, за то, чего я не сделал. — Он сам не понимал, что означал его тон.

— Я никогда к этому так не подходила. Как к чему-то негативному. Наоборот, как к позитивному.

— Негативно-позитивному, — сказал он. — Вроде того, о чем я прочел в га-

зете, про нечто новое в физике — они зовут это антиматерией. — Он запнулся. — А знаешь, мой лихой киношник Яша начинал свою жизнь физиком.

Она, казалось, его не слышала.

— У тебя он все еще есть?

— Что? — спросил он. И отлично зная, что он у него есть, мысленно увидев его в рваной картонке от писчей бумаги, спрятанной в сундук, в Калифорнии, солгал, сам не понимая, зачем лжет: — Понятия не имею, есть он у меня еще или нет. Скорее всего потерял. Вечно переезжаешь с места на место...

Она посмотрела на него внимательно.

— А жаль, если потерял.

— Да на что он мне сдался? Сейчас бы меня наверняка от него стошнило. Его удивило слово, которое он произнес. Правда, его и впрямь подташнивало. Но не от этого.

— Я хотел сказать, что теперь я бы его сделал иначе.

— Но это было бы так же... — Она не договорила.

— Так же хорошо? Ты это хотела спросить? Скажу. Было бы в сто раз лучше.

Она прислонилась спиной к двери, держа обеими руками ручку, и снова повернулась к окну. Потом сдержанно спросила:

— Ты меня возненавидел? За то, что я заставила тебя это сделать? И теперь ненавидишь?

— Может, я должен сказать тебе спасибо, — мрачно ответил он. Потом старательно натянул простыню до самого подбородка и уставился в потолок. — Черт, я ведь кое-чего добился. Если бы я продолжал ту возню, я бы, наверное, так и не попал в Калифорнию.

Ему захотелось, чтобы она поскорее ушла.

— Я рада, что ты приехал, — донеслось от двери. Потом он услышал, как дверь хлопнула.

Дверь едва успела закрыться, как она без стука приотворила ее снова и просунула голову в щель.

— Вставай, — приказала она. — Вчера ты обещал повести мистера Джонса в церковь, поторопись.

Она снова затворила дверь.

В церковь, — подумал Бредуэлл Толливер.

Да, он пообещал свозить Яшу Джонса в здешнюю церковь. Это, объяснил он ему, будет неплохим началом.

Ц е р к о в ь, — думал он не двигаясь. Он ни разу не был в церкви, в этой церкви, в той единственной, которая была для него церковью со смерти отца.

Тогда была ночь, ночь перед похоронами, когда он приехал в Фидлерсборо. Он вошел, в прихожей было полутемно и пусто. Поставил чемодан и почувствовал запах цветов из библиотеки. Он туда вошел. Сестра стояла совсем одна посреди комнаты и плакала. Она заметно выросла. Сформировалась.

И была совсем одна в полутемной комнате.

Она подошла, взяла его за руку и подвела к гробу.

— Погляди, — сказала она. — Теперь он уже маленький.

Да, Лэнк Толливер больше не был высоким. Теперь уж ему не стоять посреди комнаты — высокому, с торчащими черными волосами, такими жесткими и густыми, что чесать их впору хоть скребницей, — теперь уж не дергать себя за длинный черный ус и не сверкать глазами. Не топать сапогами, вымазанными в коровьем навозе, и хоть он и таскал в заднем кармане не меньше двух тысяч долларов, он по-прежнему выбивал этими сапогами ножку у стола и плевал на ковер.

— Ну почему ты его так ненавидел? — спросила она.

Что он мог ей ответить, если вдруг понял, что сам этого не знает?

— Как ты можешь его ненавидеть, — с болью закричала она, — если он теперь такой маленький? Погляди, как он усох!

Она кинулась ему на шею. Он не помнил, чтобы она когда-нибудь делала это раньше. Но он и знал-то ее мало, ведь так давно не жил дома.

Он стоял в полутемной комнате, где так пахли цветы, почему-то напоминая ему запах детской рвоты, похлопывал ее по плечу и старался утешить.

Да, она здорово выросла.

А теперь он лежал на спине, решив, что через минуту всанет и пойдет в церковь, и вспоминал то давно прошедшее время. Он подумал о том, как приходила сестра и что только такой хам, как он, да еще с перепою, мог заметить, что у нее все еще красивые ноги, особенно не видав ее чуть не шестнадцать лет. Он поразмыслил, является ли восхищение ногами сестры кровосмесительным.

Весьма поэтичный сюжетец, — подумал он. — Именно это Шелли и называл кровосмешением.

Ха, — думал он, ослабившись насколько позволяла боль в голове, — что можно Шелли, позволено и Бредуэллу Толливеру в Фидлерсборо.

Ха, думал он, вот он, наш прекрасный киносценарий. Пожилой писатель — нет, писатель не первой молодости — возвращается в Фидлерсборо, видит сестру. Замечает, что любит ее ногами, выясняет, что на самом деле она — его переодетая мать, отчего все становится на место. Финал: панорама целительных вод, на рассвете заливающих Фидлерсборо.

Нет, подумал он с комической грустью, боюсь, что Яша Джонс на это не клюнет.

Он решил, что лучше сделать еще одну попытку встать и повести Яшу в церковь, а потом уже писать их распрекрасный киносценарий.

Но прежде чем встать, он принял еще одно решение. Он решил, что надо остерегаться жалости к себе. Она может быть опаснее выпивки. Он уже давно поборол запой. И признался себе с присущей ему честностью, что второго порока он еще не поборол. Ну вот, теперь пришло настоящее испытание. Если он сможет, приехав сюда, в Фидлерсборо, в этот дом, побороть этот порок, значит, он его поборол.

Он лежал и думал: Если я не смогу сделать хорошую картину, значит, я неудачник. Неудачник, и все.

Такая мысль была новой. Раньше она не приходила ему в голову. Но он вдруг понял, что мысль эта родилась давно, твердая, объективная, как скала или как столб, но он ее избегал. А сейчас смотрел ей в глаза. То, на что он смотрел, было холодным и сверляющим, как лед.

Подумав: Я не хочу быть неудачником. А может, хочу? — он встряхнулся.

И поэтому встал.

Глава седьмая

Они сидели на крайней скамье, и поэтому, когда проповедь кончилась, Бреду удалось еще до конца службы отвести Яшу в сторону. Свет падал сквозь витраж за алтарем разноцветными бликами. В неплотно прикрытое окно бокового притвора неслись пахучие запахи цветов, примятой травы и речного ила.

Наблюдая, как прихожане тянутся из церкви, Яша Джонс бормотал:

— «И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из жизни своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой».

Он стоял в своем мятом сером костюме и разглядывал людей. Он и сам мог сойти за священника, думал Бредуэлл Толливер. Нет, на нем мягкий воротничок. Но дело не только в этом. Еще и в том, как он стоит, будто его здесь нет. Он умел сохранять покой, позволяя жизни течь под его взглядом.

— Он ведь сказал, что это девятая глава? — вдруг спросил Яша Джонс. — Девятая из книги Амоса?

— Кажется.

Толпа редела, люди выходили из дверей поодиночке, прощаясь со священником за руку.

— Ну вот, вы видели, — сказал Бред Толливер. — Поглядели, как молится Фидлерсборо. По крайней мере баптисты, а других здесь и нет. Белые баптисты,

точнее говоря. Были тут и пресвитериане, и кэмпбеллиты, да еще и методисты, но не выдержали конкуренции. Методисты держались дольше всех. Мой старик их доконал. У него была закладная на методистскую церковь, и когда во время кризиса стало туго, они либо примкнули к баптистам, либо запили горькую, отдав моему старику землевладение. Думаю, что верующие в Фидлерсборо считают, будто вседержитель поразил старика кровоизлиянием в мозг именно за то, что он пустил церковь по миру. Но серьезно говоря, ни один баптист так не думает. Баптисты считают, что старик стал орудием всевышнего, дабы повергнуть методистов в прах. Это вернее...

Их уже дождался священник. Высокий, худой, высохший человек в поношенном синем костюме из диагонали и крахмальном воротничке, с искаженным хронической болью или озабоченностью лицом и редкими, бесцветными волосами, его светло-голубые глаза часто мигали, словно собеседник был чересчур для них ярок. Пустой левый рукав был пришпилен к пиджаку.

— Брат Потс,— представил его Бред Толливер и протянул ему руку.— Я...

— Да, сэр,— перебил его брат Потс,— все мы вас знаем. В Фидлерсборо рады, что здешний уроженец подал наконец о себе весть.— Он обратился к Яше Джонсу:— А этот джентльмен — знаменитый кинорежиссер. Я горжусь, мистер Джонс, что могу приветствовать вас здесь, в доме Божьем.

— Вы очень любезны,— сказал Яша Джонс. И добавил:— С удовольствием слушал вашу проповедь. Пророком Амосом у нас почему-то пренебрегают. А он снабдил вас сегодня весьма пронзительным текстом.

Голова священника чуть-чуть подергивалась в такт словам Яши Джонса. Напряженно прислушиваясь, он вздрагивал, вытягивал острый нос и становился похож на тощую курицу, клюющую зерна — бесценные зерна, которые ему кидали.

— Сейчас и время такое, что оно пронзает душу,— сказал Яша Джонс.

— О да, да,— подтвердил брат Потс, и его голубые глаза засветились благодарностью.— О да, конечно, мистер Джонс. Люди душевно встревожены, а почему — и сами толком не понимают. Правда, большинство ведь прожило здесь всю свою жизнь. Теперь им надо тронуться с места, и это их волнует. Даже если их и переселят в лучшие условия за счет государства. И вот этот текст из Амоса...

— Он ведь тоже насчет переселения,— сказал Яша Джонс.

— Да, переселения. Людей выдергивают из их жизни, но если бы я смог дать им понять, что говорит заповедь Христова о переселении. Оно выдергивает человека из жизни и переселяет в другую, в жизнь духовную. И вот если бы мне удалось направить растревоженные чувства в русло Божьего завета...

Он заглядывал в лицо Яши Джонса со смиренной мольбой.

— Точное и трогательное сравнение,— кивнул Яша Джонс.

— Знаете, когда чья-то обитель умирает, даже если просто сносят старый дом, с ним уходит большая жизнь. Кое-кто впал в отчаяние, а кто-то, наоборот, почувствовал себя счастливым и даже одурел от радости (правда, он ее прячет), словно к нему вот-вот вернется молодость или он разбогатеет. Но знаете, с кем труднее всего? С теми, кто ожесточился. У них такое чувство, будто вся их жизнь пошла насмарку. Но надо же помнить, что жизнь, которую мы прожили, ниспослана нам Господом. Возьмите, к примеру, меня. Если бы мне в двадцать пять лет сказали, что я всю жизнь проведу в Фидлерсборо...

Они вышли на солнце, и страдальческие голубые глаза брата Потса быстро заморгали. Где-то вдали в одном из домов плакал ребенок. Брат Потс стоял рядом с Яшей Джонсом. Как видно, у него была потребность стоять рядом с ним.

— Я тогда и не слышал о Фидлерсборо,— тихонько произнес брат Потс, словно делясь постыдной тайной.— Я ведь городской житель. Из Мемфиса. У отца было прибыльное страховое дело. Я начинал работать у него. Умел привлечь клиентов. Уговорить людей взять страховку. Умел внушить, что с ними что-то может случиться и я хочу им помочь.— Он помолчал, задумавшись.— Может, я и в самом деле хотел им помочь и сам этого не знал. Может, поэтому у меня и шло дело. А потом...— Он опять помолчал.— Потом наступил кризис. Отец... запутался в денежных делах. Понимаете, деньги-то были не его. Он уехал,

То есть его забрали. Он застраховал множество людей от множества всяких бед, а я не спал ночами, думая о том, как человек не может застраховаться от самого себя. И однажды ночью мне пришла в голову мысль. О том, что нельзя застраховаться от Бога. Он глядит на тебя из тьмы. И вот я упал на колени. И вот стал священником. И вот очутился в Фидлерсборо.

Он помолчал, копясь в своих мыслях.

— И вот и Фидлерсборо нет как нет.

Мимо прошла машина. Ее шум поглотила тишина воскресного полдня фидлерсборского лета. Потом где-то далеко опять заплакал ребенок.

— Уже больше двадцати пяти лет как я тут,— сказал брат Потс,— а не успеешь мигнуть, как все исчезнет.

Он погрузился в молчание.

Потом обернулся к Яше Джонсу:

— Знаете, о чем я мечтаю?

Яша Джонс помотал головой.

— Я вам скажу. О последнем большом богослужении, когда мы все соберемся вместе. Молитвой возблагодарим Бога за то, что вся наша жизнь была осенена благодатью. И за то, что мы это понимаем.

— Нелегкая задача,— заметил Бред Толливер.

Но брат Потс молча шарил у себя по карманам. Наконец обнаружил мягкий, затасканный листок. И стал изучать его, словно никогда раньше не видел.

— Я стихов не пишу,— сказал он.— Но решил, что, может, сумею записать то, что чувствую. А мисс Пратфилд положит на музыку. Псалом для Фидлерсборо. Для нашего последнего богослужения.

Он стоял на квадратной бетонной площадке, держа большим и указательным пальцами бумажку, и мигал, глядя в пространство.

— Прочтите, пожалуйста,— попросил Яша Джонс.

Он перевел глаза на бумагу, их линиялая голубизна вдруг потемнела от волнения. Голос зазвучал:

Когда любимый город мой
Уйдет в пучину вод,
Молясь, я буду вспоминать,
Как нас любил Господь.
И захлестнет всю жизнь мою,
Всех нас один потоп...

Он поднял глаза:

— Дальше я еще не написал,— сказал он. И, горестно глядя на бумагу, добавил: — Знаю, что чувствую, но слов подобрать не могу.

— Слова найдутся,— сказал Яша Джонс.

— Ведь как я бился, отыскивая их. И молитва не помогла,— сказал брат Потс и задумался.

А потом он поднял голову, и лицо его еще сильнее исказила то ли непроходящая боль, то ли забота.

— А знаете,— сказал он,— может, слова не находятся, пока в тебе нет настоящего чувства?

Он склонился, а может, им только так показалось, к Яше Джонсу.

— Мистер Джонс, а вы как считаете?

— Вы затронули глубочайший вопрос,— сказал Яша Джонс,— и я на него не знаю ответа.— Он помолчал и посмотрел прямо в искаженное болью лицо.— Но я знаю одно.

— Что именно, мистер Джонс?

— Знаю, что чувство у вас есть. Я рад, что вы прочли нам стихи.

— Знаете,— вмешался Бред,— боюсь, что мы не даем брату Потсу пойти пообедать.

— О нет,— поспешно возразил брат Потс,— я не...

— Мы вас задерживаем,— сказал Бред и протянул ему руку.

Брат Потс пожал ее и, повернувшись, наткнулся на протянутую руку Яши Джонса.

— Мне было очень приятно...— произнес Яша Джонс.

Брат Потс пожал и ему руку. Казалось, он не может ее отпустить.

— Вы будете не против...— наконец отважился он и тут же осекся.—

Когда я кончу... — попытался он снова, — то есть они, стихи, понимаете... тут мало кто интересуется поэзией, и если вы сможете уделить мне минутку...

— Доктор Потс... — начал было Яша Джонс.

— Нет, нет, просто брат Потс, — прервал его тот.

— Брат Потс, я буду счастлив прочитать окончательный вариант.

Шагая по дороге к взгорку, на котором раскинулось кладбище, Бред оглянулся. Брат Потс все еще стоял на бегонной площадке перед зданием из красного кирпича.

— Некуда идти, — сказал Бред. — Никто его сегодня не пригласил на сытный воскресный обед. А жена умерла. Давно умерла. Он стоит размышляет, сходить ли ему в кафе «Вовек не пожалеешь» и разориться, взяв их «воскресный экстра», или пойти домой и открыть банку свинины с бобами.

Яша тоже оглянулся.

— Лично я ставлю на бобы, — сказал Бред. — Занавески на кухне будут опущены. Он не даст себе труда их поднять. Побойтся, что если поднимет, что-нибудь случится. Неизвестно что, но случится. Вынет банку из холодильника. — Он помолчал. — А вы знаете, что такое кухонный холодильник? В Фидлерсборо?

— Нет.

— Это вроде высокого плоского шкафчика с дверцами из жести, пробитыми отверстиями, составляющими орнамент, геометрический или цветочный. Брат Потс вынет оттуда банку бобов. Снимет с гвоздя сковородку, достанет из ящика консервный нож. Вскроет банку. Однорукому нелегко открыть банку, но он выработал свою систему. Задержаться на этом эпизоде и развить его поподробней?

— Нет, — сказал Яша Джонс. — Пошли дальше.

— Он стоит в полутемном помещении и держит банку в правой руке — в своей единственной руке. Тут на него что-то находит. Он видит сковородку. Видит керосиновую плиту. Видит жестяную спичечницу на стене. И вдруг в сознании его провал. Он вдруг перестает понимать, почему человеку суждено одиноко стоять в плохо освещенной кухне в час тридцать воскресного дня, в самом разгаре лета, вываливать из банки холодные бобы, подогревать, класть в рот и глотать. И тут он вдруг обнаружит, что утратил связь с божественным замыслом.

Яша Джонс, выждав, спросил:

— А потом?

— Ест бобы. Но ест их холодными, прямо из банки, вылавливая пальцами. Как он держит банку? Обрубок левой руки, конечно. Так он опорожняет банку. Потом облизывает пальцы. Отирает пальцами жир с подбородка и снова их облизывает. Челюсть слегка отвисла. Он озирается в полутьме с какой-то тяжело-весной звериной хитростью. Глаза его в темноте блестят. Громко, откровенно пукает. Нет, лучше — рыгает. Вы видите, как он там стоит?

— Да.

— Он стоит, получая мрачное удовольствие от того, что сделал. Никто его не видит. Никто не слышит. Никому до него нет дела. И в этом одиночестве вдруг почему-то ощущает свою силу. Ощущает себя могучим, опасным, беспощадным, как зверь. Внезапно чувствует свободу. «Я — один», — произносит он вслух, наслаждаясь этими словами, ворочая их языком, кусая зубами, словно большую кость, которую зверь все теребит, уже насытившись. Облизывает с губ застывший на них жир.

Они медленно брели по кладбищу к старой его части.

— Да, — сказал Яша Джонс, помолчав. — Он наелся и стоит там, в темной кухне. — Потом тихо спросил: — А дальше?

— Будто вы не знаете?

— Пока что я знаю, что рассказ идет *mutatis mutandis*²¹ обо всех нас.

— Ручаюсь, что вы ни разу не ели в темной кухне холодную свинину с бобами из консервной банки.

— Я и сказал: *mutatis mutandis*. Я же страдаю бессонницей.

²¹ С известными изменениями (лат.).

— Ладно, пусть *mutatis mutandis*. А что вы делаете в минуты озарения? — спросил Бред.

— Увы, что-нибудь очень обыкновенное. Зажигаю свет и читаю стихи. Но что делает в темной кухне брат Потс?

Бред поглядел на часы.

— Он еще не успел дойти домой, до кухни, а тем более пережить духовный кризис. Но давайте предположим, что он уже насытился, рыгнул и ощутил мрачную звериную свободу.

— А потом?

— Разрыдался. Упал на колени посреди темной кухни и молится. Прижимается лбом к краю плетеного стула и усердно, самозабвенно молится. Не знает, что будет, если молитва не возымеет нужного действия. Поэтому так трудится, чтобы пробудить господа от сна. — Бред снова прервал свою речь и поглядел на часы. — Скажем, без двадцати три он своего добьется. Услышит глас свыше. Брат Потс поднимется и пойдет ополоснуть лицо холодной водой. В зеркале ванной комнаты он заметит красную полосу там, где он лбом прижимался к ребру орехового стула. Испугается, что она превратится в синяк к семи часам вечера, когда он пойдет на собрание СМБ.

— Чего?

— Союза молодых баптистов, — объяснил Бред. — Не может он туда прийти с синяком на лбу. Решает заклеить его пластырем. Скажет, что стукнулся об дверь. Теперь его мучит, что придется соврать. Но соврать надо. Если он скажет, что пострадал во время молитвы, они подумают, что он лжет. А если даже поверят, то решат, что он набивает себе цену. Обвинят в духовной гордыне, в том, что, молясь, чуть не вышиб себе мозги. Ох ты черт...

Бред замолчал.

— Черт, — повторил он, — давайте-ка оставим этого бедного греховодника в покое.

Они уже дошли до старой части кладбища, заброшенной и заросшей сорняками. Бред пнул ногой обвалившееся надгробье и поглядел на реку.

— Вам, в общем, нравится брат Потс, — сказал, наблюдая за ним, Яша Джонс. — Правда?

— Сам не знаю, нравится или нет. Он существует. Он — Фидлерсборо. Мне этого достаточно.

Он нагнулся, разглядывая другое надгробье, сбивая ногой сорняки. Покачал головой. Потом стал рассматривать следующую плиту.

Он поймал обращенный на него взгляд спутника.

— Да, — сказал он. — Я тут кое-что разыскиваю. Могилу старого Изи Гольдфарба. Это был маленький еврейский портной, единственный еврей в Фидлерсборо, единственный живой еврей тут, когда я был мальчишкой. Учил меня играть в шахматы и не давал фору. Одинаково смотрел на закат, на людей и на собаку, но так, что все это сразу становилось настоящим. Сам он был нездешний, но из-за него Фидлерсборо становится реальностью. Его присутствие и дало мне понять, что такое Фидлерсборо.

— А что оно такое? — спросил Яша Джонс.

— Черт его знает. Но если бы у меня были ангельские крылья и я умел парить выше летающих тарелок и космических кораблей, я бы поглядел вниз, сразу унохал его и спланировал прямо домой, как ястреб на падаль.

Он стал разглядывать еще одну плиту.

— Он завещал мне свои шахматы, — сказал он без всякого перехода. — В той дыре, где он спал, на стене было пришпилено письмо — верно, долго там висело, — в нем говорилось, чтобы его шахматы отдали юному Бредуэллу Толливеру. Этот «юный Толливер» свидетельствует, что письмо было написано давно. Когда он умер, я уже учился в университете. Не удивительно, что чернила так выгорели.

На плите, которую он разглядывал, фамилии Гольдфарба не было.

— Когда я был маленький, он угощал меня леденцами.

— Да, я знаю эту историю, — сказал Яша Джонс, — ею открывалась ваша книга.

— Черт возьми, а я забыл, что об этом написал.

Щурясь от солнца, он поглядел назад, на дорогу ярдах в пятидесяти от них.

— Вон она идет, — сказал он, — так, будто видит как днем. Вы ее заметили в церкви? — спросил он Яшу Джонса.

— Кого?

— Леонтину Партл. Она слепая от рождения. Когда ее мать была беременна, она заболела и ее спешно повезли в Мемфис, но по дороге машина налетела на грузовик, вылупок выскочил раньше времени, попал в инкубатор, а там нянька дала вылупку от щедрот своих чересчур много кислорода. В итоге она слепа. Это называется захрусталиковым фиброзом. Слепа, как летучая мышь, но по началу этого не заметишь. Даже глядя ей прямо в глаза. Как будто она вовсе не слепая и смотрит прямо вам в душу. Как будто она-то знает вам цену. Как будто она одна и может посмотреть вам прямо в душу. Вот я, например, на прошлой неделе пошел к ним домой — мне нужен был их жилец, инженер с плотины, — и увидел ее в первый раз с тех пор, как она была девчонкой. Я ее и не узнал, так она переменялась. Ну и фигура у нее, надо вам сказать! Вы же видели слепых женщин. Навесят на себя что попало, им не видно, а на других наплевать. Но даже и в балахоне Леонтину Партл сразу заметишь. У нее все на месте.

Он следил за тем, как женщина идет по дороге, освещенной солнцем.

— И лицо у нее что надо, — сказал он. — Бледное, целомудренное и благородное. Чуть тронута утонченным страданием. Леди из Шалотта²², лунатичка, которой не мешало бы сходить к парикмахеру. У нее копна светлых волос, золотистых, как рожь, если выражаться поэтически. Торчат на голове как стог сена, но одна прядь томно ниспадает на щеку. Боюсь, что это легкий намек на то, что мужчине было бы приятно распустить ей волосы и погрузить в них пальцы.

Женщина спокойно шла по дороге. Она казалась причудливым пятном светотени, двигавшимся сквозь слепящие солнечные лучи. Что-то вроде белой блузки, что-то вроде темной юбки, светлые волосы, черный зонтик, который она держала для защиты от солнца, — все это скрадывалось яркими лучами и расстоянием, превращаясь в полоски света и тени.

— Она может гулять по всему Фидлерсборо, — сказал Бред.

Он проводил глазами удаляющуюся фигуру.

— А знаете, — сказал он, — Леонтину Партл нельзя переселить. Разве что для этого вы полностью перенесете все Фидлерсборо — каждую кочку на дороге, каждый покосившийся воротный столб, каждую грядку, заросшую сорняками, каждую лужу, каждую чешуйку ржавчины на железных столбиках, которые держат металлический навес над галантереей Перкинса и над почтой.

Он угрюмо наклонился, содрал с плиты стебли чертополоха и повилики. Опять не та плита. Он выпрямился.

— Да-а, — сказал он, — я-то знаю, почему скорблю о судьбе Леонтины Партл. Рука ее будет искать во тьме то, чего нельзя найти. Нога ступит на камень, который не отзовется. Воздух будет тяжелый, не продохнуть, а ранняя птица на розовом кусте не утешит ее песней.

Он вдруг обернулся к Яше Джонсу и кинул на него свирепый взгляд.

— А вы знаете, почему я это знаю? — спросил он.

— Нет.

— Что ж, я скажу, друг мой Яша. А потому, что меня тоже переселили. Яша на него посмотрел.

— Вот уж не думал, что вы так любите Фидлерсборо.

— А я и не люблю, — сказал Бред. — Дело не в том, что я его люблю. Может, он мне даже не нравится. Но знаете что?

— Что?

— Разлука с тем, что ненавидишь, увечит еще больше, чем разлука с тем, что любишь.

И он раскатисто захохотал.

Яша Джонс в боксерских трусах и кирпичном японском халате с черной опушкой из толстого шелка, свободно подхваченном поясом, лежал на кровати

²² Персонаж одноименной поэмы английского поэта Альфреда Теннисона (1809—1892).

под балдахином, подперев плечи и лысую голову валиками и подушками, и глядел поверх туго набитой папки, лежавшей у него на коленях, на свое вытянутое тело, на свои голые, загнутые кверху пальцы ног, на спинку кровати, на большую пустую комнату и в окно, выходящее на запад. Он смотрел на свет, падавший через реку на дальние поля. Солнце уже проникало в комнату сквозь фестоны ветхих, явно штопаных и перештопанных кружевных занавесок, которые были раздвинуты в стороны. Видно, уже часов пять, подумал он.

Он закрыл глаза и стал думать о Фидлерсборо. Он подумал о Ривер-стрит, которую они с Бредом прошли туда и обратно, выйдя с кладбища. Он явственно видел эту улицу, где все замерло в летней истоме. Видел три квартала домов, волнистый оцинкованный навес над тротуаром перед галантереей Перкинса и почтой. Видел витрины магазинов, где товаров была выставлена самая малость, и подумал, что теперь когда какой-нибудь товар снимают с витрины, его уже ничем не заменяют. Он видел витрины, где вообще не выставлено ничего, где на запыленных ветхих объявлениях большими неровными буквами сообщалось о распродаже, о ликвидации торговли, о приходской вечеринке, о пикнике или о баскетбольном матче в средней школе.

— Часть магазинов пустует с тысяча девятьсот тридцатого года, — рассказывал Бред Толливер. — Глядите-ка, половина плакатов уже истлела. Не только краска осыпалась, но и картон сгнил. Некоторые были выставлены еще до Пирл-Харбора. — Он читал большое объявление о баскетбольном матче. — Ну да, — сказал он, — один из здешних парней был убит в Пирл-Харборе. Хороший игрок. — Бред помолчал. — Его взяли в команду штата Кентукки. Во всех газетах о нем писали. Попал в какую-то заварушку и завербовался во флот. Долдон и сукин сын — этого и родная мать отрицать не станет, — но когда япошки его прикончили, они погубили прекрасного игрока.

Яша Джонс закрыл глаза и снова увидел объявление с облупившейся краской. На нем с трудом можно было разобрать надпись большими каракулями:

БАСКЕТБОЛ!
ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ
НАЧАЛО ИГРЫ В 8
РОВНО!

БАТЧ! ЗАДАЙ ИМ ЖАРУ! СТАВИМ НА БАТЧА!

Теперь, в причудливом свете, мерцавшем у него в голове, Яша Джонс видел этот плакат, с него осыпалась краска, и то, как она осыпалась, тоже было видно в этом негасимом свете его воображения, а сам Яша Джонс вдруг испугался, что на глаза его сейчас навернутся слезы.

Он встал и босиком зашагал по комнате. Потом снова лег, подложил подушки повыше, теперь уже намеренно закрыл глаза и стал глядеть вдоль Ривер-стрит. Он видел ее в мерцающем свете своего воображения во всей пустоте воскресного полудня. Он видел, как лохматая черная с белым собачонка брела через освещенную солнцем полосу, чтобы укрыться в тень. Он видел большую вывеску кафе «Вовек не пожалеешь» и не очень тщательно замазанную шутиливую приписку рядом: «Пожалеешь, да еще как!» Он видел развалины паровой пристани, бывший каменный причал — груды щебня, поросшую травой, которая утопала в речных наносах. Он видел, как мимо течет беременная река со вздутым от глины пузом. Он видел, как солнце золотит молодые ивы на том берегу. Он видел на гранитной плите, положенной на взгорок перед нависшей над рекой почтой. бронзового солдата Конфедерации, глядящего по течению на север, откуда когда-то пришли канонерки.

Такой вставала в воображении Яши Джонса Ривер-стрит. На коленях у него покоилась папка, где были описаны люди, которые день изо дня ходят по Ривер-стрит или ходили по ней когда-то. Он раскрыл папку, полистал ее страницы, наудачу читая отрывки из того, что, лежа тут, уже прочел.

...К вечеру, когда он закрывает лавку, он всегда зовет жену и отправляется с ней на кладбище. Единственный ребенок утонул на лодке двадцать пять лет назад. Молится, кладет цветы. Не ходил только первую неделю после похорон, потом не пропускал ни одного дня. Жена на кухне выращивает цветы, чтобы носить их туда и зимой. Однажды ходил и в метель. Половину прибыли отсылает

в сиротский приют. Однажды попытался взять в дом сироту, но мальчик, видно, был с преступными наклонностями, да они и сами его избаловали, он ограбил кассу и сбежал. Боится сделать еще одну попытку: «Нет на то божьей воли».

PS. Лавку по субботам приходится закрывать поздно. Ходят с женой на кладбище около полуночи. Раньше носил керосиновый фонарь, теперь — электрический.

СИЛЬВЕСТР ПАРТЛ

Двадцать лет был шерифом. Славится справедливостью. Однажды пытался спасти от толпы негра и был избит. Как только встал на ноги, пошел и арестовал одного из нападавших, которого успел опознать. Человека оправдали, но Партла переизбрали шерифом — он опубликовал в местной газете заявление, что Сильвестр Партл арестует любого нарушителя, и ни страх, ни личная симпатия его не остановят. Пусть даже сам он при этом погибнет. Пути избрания того или иного должностного лица в Фидлерсборо неисповедимы. Позднее, во время большого бунта в тюрьме, двое сбежавших уголовников забаррикадировались в скобяной лавке Лортонна, где было много оружия и амуниции. Это были настоящие бандюги с пожизненными сроками, и они решили отстреливаться. Тюремные надзиратели с жалованьем тридцать долларов в месяц не очень-то рвались в бой. Партл пошел на бандитов сам. Получил пулю в плечо, но не сдался, убил одного, захватил второго. Теперь — ревматизм. В хорошую погоду сидит на крыльце в кресле на колесиках. Приходят мальчишки послушать его рассказы (но все реже и реже). Старый мистер Дарлинг играет с ним в шашки. С крыльца ему видна улица до декоративного фасада скобяной лавки Лортонна. Может вспоминать прошлое. Переселение?

(Примечание. Жена умерла, дочь слепая, сын убит в Корее, сдает комнаты с пансионом. Жильцы: инженер с плотины, учитель. Старуха — двоюродная сестра или вроде этого — ведет хозяйство.)

САЙРУС ХАЙБРИДЖ, МАТИЛЬДА ХАЙБРИДЖ

Им за пятьдесят и женаты лет тридцать, если не больше. Вечные любовники Фидлерсборо. Детей нет. Любители пикников вдвоем, сбора орехов и плодов папайи, рыбной ловли, вечерних прогулок (держатся за руки) вдоль реки или на холм Бена, откуда хороший вид. Однажды в сумерки ее застали у него на коленях в гамаке за шпалерой луноцвета. Но лет пять назад наступила катастрофа. Пятьдесят — это старость в Фидлерсборо, могут, конечно, быть исключения, но тут их немного, да и то больше у людей смешанной расы, а теперь они редкость. Катастрофа наступила, когда двое ребяташек, охотившихся за белками, застучали Сайруса и Матильду на месте преступления в октябре в четыре тридцать пополудни в золотистой долине на золотой осенней листве. На Фидлерсборо это произвело странное впечатление. Взволнованные отголоски долго не смолкали. Моральное осуждение, зависть, нездоровая злоба. Как прямое следствие — одна пара развелась, одна разъехалась, обнаружился один адюльтер, две школьницы сбежали из дома. Одна пара, которой давно пора было угомониться, родила двойню. А Сайрус и Матильда все разгуливают, взявшись за руки. И Фидлерсборо наблюдает. Но Фидлерсборо не вполне уверен, хочется ли ему застучать их опять. Ибо Фидлерсборо, как и все мы, считает настоящую любовь зрелищем, выбивающим из колеи. Ребятишки ходят в сумерки за Сайрусом и Матильдой по пятам.

Сайрус владеет гаражом и бензоколонкой. Тщательно оттирает руки от грязи и масла. Перед уходом домой моется и переодевается. Имеет привычку...

МОРИС ТАТУМ

Сын местного пьяницы, никчемного человека, который погиб, свалившись с груженного лесом фургона, и тот не спеша его же переехал — видно, был так пьян, что не мог отползти в сторону. Сын — парень способный, учился в школе, зарабатывал на жизнь, хотел выйти в люди, сторонился веселых компаний и дурного общества, служил конторщиком в галантерее Перкинса, теперь совладелец, бедняга. Для пущей respeitability женился на старой деве Джейн Фидлер старше себя по годам: «Моя жена — Джейн Фидлер, знаете, из тех самых...» — и т. п. Бедняга. Что с ним будет, когда его переселят туда, где никто не знает и

не хочет знать, что страшилище, к которому он прикован, — последний отпрыск рода Фидлеров. Втайне мечтает переменить фамилию на Фидлер.

МИССИС СИБИЛ ПАРРИС

Жена аптекаря. Когда-то была красавицей. Теперь — горящая от возбуждения развалина с безумными, страдальческими глазами, но глаза бывают красивыми, даже когда полны муки. Двадцать пять лет в любовной связи с местным зубным врачом доктором Такером, потому что он снабжал ее наркотиками, после того как муж ей в них отказал. А Такера подцепила благодаря тому, что дома у него, не считая моральной устойчивости, невкусная еда и четыре уродливые дочери с торчащими, как у леммингов, зубами — неважная реклама для дантиста. Тем не менее доктор Такер давно хочет от Сибил избавиться. Она его изнуряет. Но она может его шантажировать из-за наркотиков. И не преминет это сделать. Фидлерсборская Медея. Начал ли сам доктор употреблять наркотики? Пациентов у него осталось немного, но он подолгу засиживается на работе. Сибил постоянно лечит зубы. Муж платит за это по счетам врачу. Как смотрит муж на переселение? Такер хотел бы переселиться далеко-далеко, но как знать, может быть, аптекарь угрожает ему тем, что переселится туда же: «Ты стал моим сокомпаньоном, так им и оставайся». Аптекарь не желает, чтобы Сибил висела у него на шее, а расходы на зубного врача дешевле наркотиков. И менее опасны.

В Фидлерсборо гадают. А вдруг...

АББОТ СПРИГ

Начинал второразрядным актером в Нью-Йорке, далеко от Бродвея. Лет пять назад внезапно вернулся домой. Теперь стоит за прилавком кафе «Вовек не пожалеешь», которое держит его отец. Красит волосы. Отрастил животик — пиво и мучная пища. Выписывает воскресную «Нью-Йорк таймс» из-за театрального обозрения. Он...

БЛЕНДИНГ КОТСХИЛЛ

Моя родня с материнской стороны (то есть южанин). Хорошо обеспечен, даже богат, тысяча акров земли в дельте плюс умение выгодно помещать капиталы. Адвокат, учился в Вашингтоне и в университете Ли в Йеле. Страстный охотник и погубитель уток и перепелов. Лучше всех в округе бьет птицу влет. К обществу бродяг и цветных его тянет не меньше, чем к обществу сенаторов и отставных полковников. Тянет и к темнокожим бабам, или, говоря точнее, желтокожим мулаткам. Содержит одну из них на своей тысяче акров, по всем отзывам — красотку. Адвокатская практика теперь уже курам на смех: полуграмотные фермеры и негры. См. «Процесс».

ЛЕОН ПИНКНИ

Негритянский проповедник. Единственный человек в Фидлерсборо с университетским образованием, если не считать одного или двух арестантов в тюрьме. (Я так и не окончил университет, а Блендинг Котсхилл, в сущности, не городской житель.) Учился в Говарде и Гарварде, очень умен, тактично ведет себя с белыми, посвятил себя заботам о своей пастве — о всех болящих, голодных, понесших утраты, узниках, осужденных. Помогает беднякам. Господи, да чем он может им помочь! Сладкоречивые ханжи ставят его в пример: вот на что-де способен черномазый, если серьезно относится к религии и ведет себя как белый человек, и т. д... Но сейчас Леон Пинкни всполошил весь город. Говорят, будто Потс ходил к нему договариваться о большом молебствии на открытом воздухе за день до эвакуации города, после того как белые и черные отслужат молебны в своих церквях. По слухам, Пинкни ему сказал: «Согласен, если вы считаете, что мы молимся одному и тому же Богу и об одном и том же». На что Потс ответил: «Брат Пинкни, давайте преклоним колени и вместе помолимся, чтобы Господь научил нас мудрости и милосердию». На что Пинкни сказал: «Давайте преклоним колени и вместе помолимся, чтобы Господь научил нас мудрости, милосердию и справедливости». Говорят, что Потс в ответ промолчал, упал на колени и поднял руку. (Интересно, дернул ли он обрубок левой руки, дабы воздеть ее в молитве?) Леон Пинкни тоже преклонил колени и стал молиться. Потс молитву повторил. Несколько человек при этом присутствовали. За эту сцену на террасе у Леона Пинкни кое-кто порицает Потса.

Яша Джонс прочел на полях нацарапанные там слова:

Вопрос: Почему сегодня никто не пригласил Потса на обед?

Вопрос: Как Потс потерял левую руку? Когда? Двадцать лет тому назад, когда я встречал его на улице, она у него была.

Внизу на странице было аккуратно напечатано:

NB. Повидать генерала. О негре — расспросить.

А еще ниже шла недавняя приписка:

Есть ли смысл перенести парня в шутовских штанах из мотеля «Семь гномов» в Фидлерсборо? Можно придумать строительство нового мотеля для спортсменов, туристов и т. д. Поместить его в странный мир Фидлерсборо.

Яша Джонс перевернул еще одну страницу. Она была почти пустая. На ней было написано:

ЛАНКАСТЕР ТОЛЛИВЕР — ЛАНК

Мой отец.

И больше ничего.

Он закрыл папку, оставив ее на коленях.

Посмотрел в окно за реку на расстилающуюся там равнину.

— Фидлерсборо... — произнес он вслух.

И закрыл глаза.

Но увидел теперь не улицу Фидлерсборо, а огромную, барскую, мягко освещенную комнату, завешанную гобеленами, зеркалами, разукрашенную позолотой. В эту барскую комнату входил его собственный отец — высокий, худой, чернородый, одетый в черный костюм и сверкающую белизною рубашку — и говорил: «Сегодня я обедаю с тобой. Сказал Франсуа, чтобы обед подали сюда».

На месте той комнаты возникла другая, а потом еще одна, потом третья, и повсюду окна выходили на что-нибудь величественное: на сверкающее под солнцем бирюзовое море, на искрящиеся снеговые вершины, на просторы шотландских болот, на крыши Чикаго. Комнаты были разные, но похожие друг на друга, и отец его говорил:

— Сегодня я обедаю с тобой.

Или: «Мистер Джарвис доложил, что ты невнимателен на уроках латыни».

Или: «Завтра мы уезжаем».

Яша Джонс открыл глаза.

— Фидлерсборо, — снова произнес он вслух.

Он лежал и думал, каково было бы всю жизнь ежедневно ходить по Ривер-стрит, следить за тем, как одно время года уступает место другому, замечать перемены, которые кладет на лица время. Чувствовать, как и твое лицо меняется день ото дня в Фидлерсборо.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал он.

Прежде чем он успел приподняться, дверь отворилась.

Секунду, к вящему его удивлению, никто не появлялся, но потом вошла Мэгги Толливер-Фидлер, ногой пошире отворяя дверь; в руках у нее был поднос со стеклянным графином и тарелкой какой-то еды.

— Привет, — сказала она. — Надеюсь, не помешала работать?

— Ничуть, ничуть, — улыбаясь, заверил он. — Я только не совсем прилично одет.

Он умудрился сесть, запахнуть халат, слезть с кровати. Он стоял перед ней босиком и от этого чувствовал себя беззащитным.

— Очень красивый халат, — сказала она, откровенно его разглядывая.

— Ну да, — произнес он. А потом, к своему удивлению, признался: — Сам бы я такого не выбрал. Подарок.

Произнеся это нелепое, неуместное, неизвестно как вырвавшееся оправдание, он почувствовал себя еще более беззащитным.

В глубине души ему что-то подсказывало: не надо ничего объяснять, не надо откровенничать, если не пытаться ничего объяснять, можно вытерпеть до конца. Он и раньше слышал этот тайный голос.

Но Мэгги Толливер-Фидлер глядела на него и на халат поверх подноса с графином и, улыбаясь, с оттенком женского лукавства и дерзости произнесла:

— А!

Он остро ощущал, что стоит перед ней с голыми ногами. Уж не покраснел ли он? Ничего, подумал он, я так загорел, что это не имеет значения.

А она продолжала с той же усмешкой на овальном смуглом лице:

— Что же, у кого-то явно хороший вкус. Он вам идет.— Она критически его оглядела.— Не знаю, какого он происхождения, но в нем вы напоминаете картину из Ветхого завета. Что-то египетское, фараона или вроде того.

— Только что выкопанного,— сказал он.

— Нет, разбуженного...

— Злая клевета,— сказал он.— Я работал.

Она взглянула на лежавшую на кровати папку:

— Ага,— сказала она.— Работенка Бреда о Фидлерсборо.

Она помолчала и вдруг сунула ему поднос.

— Лимонад и сахарное печенье. Подкрепитесь до ужина. То есть, вернее, до обеда. В семь. Но если хотите выпить...

Она двинулась к двери, поставив поднос на кровать.

— Кстати,— сказала она,— мама Фидлер обещала сегодня к нам спуститься.

— Очень приятно,— сказал он и собрался ее поблагодарить, но дверь за ней уже закрылась.

Он выпил стакан лимонада и съел два печенья, не разобрав их вкуса, побродил босиком по комнате, постоял у окна, поглядел на реку. Потом вернулся и снова лег на кровать...

Он закрыл глаза и увидел Ривер-стрит. Мимо текла тяжелая маслянистая река. Загадочный свет у него в голове ярко озарил Ривер-стрит, и она застыла.

Он подумал: Может, вот так оно и должно быть?

Именно потому, что он этого не знал, образ плыл у него перед глазами полный глубокого значения. Ему вдруг стало ненавистно все, что он сделал до сих пор, все, что принесло ему славу.

Да, может, вот так оно и должно быть.

Он подумал о том, как поднимутся воды и люди поймут, что жизнь, которой они жили, была благодатью.

Немного погодя он встал, подошел к раковине в углу — устройство напоминало ему провинциальную гостиницу во Франции,— пустил горячую воду и побрил голову. Потом втер в кожу лосьон.

Перевела с английского Е. ГОЛЫШЕВА.

(Продолжение следует)



ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

★

ВОСПОМИНАНИЯ О РАЙКОМЕ

П. Гусеву.

Я был инструктором райкома,
Райкома ВЛКСМ.
Я был в районе словно дома:
Знал всех и был известен всем.
Снимая трубку телефона,
Я мог решить любой вопрос:
Достать молочные бидоны
И провести спортивный кросс.
Я уговаривал умело,
Старался заглянуть в нутро.
Когда ж не выгорало дело,
Грозился вызвать на бюро.
К полночи доплетаясь до дома,
Снопом валялся на диван,
Как будто я построил домну
Или собрал подъемный кран.
Оговорюсь на всякий случай:
Я знал проколы и успех.
Да, я инструктор был не лучший,
Но все же был не хуже всех.

...Как говорится, по другому
Теперь я ведомству служу,
Но в переулочек райкома
С хорошей грустью захожу.
Здесь все в дыму табачном тонет.
Как прежде, срочных дел — гора.
И будто взмыленные кони
Пронесятся инструктора.
Мальчишечка звонкоголосый
Кричит, настырен и ретив:
— Вы не решаете вопросы!..
А для чего тогда актив? —
И, трубку положив сердито,
Он, хмурясь, остужает пыл...
Еще все это не забыто,
И я таким недавно был —
Предполагал успеть повсюду,
А в голосе звенела сталь.
И я таким уже не буду —
Смешным, напористым...

А жаль.

ДОМОЙ

Люди едут с работы усталы, немного сердиты.
Смотрят в окна, мечтают, читают, зевают тайком.
Восемь трудных часов ими прожиты и пережиты
Возле жаркой печи, у руля, за столом, за станком.
Люди едут домой, к Окружной постепенно редея.
До утра возвращаясь в нехитрый домашний уют.
Это будничным факт, но какая за этим идея! —
Если ради нее миллионы людей устают.

3. ШЕЙНИС



СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ КОЛЛОНТАЙ

Тридцать первого марта этого года минуло 110 лет со дня рождения Александры Михайловны Коллонтай — человека большой, яркой и сложной судьбы. Революционер, деятель международного рабочего и коммунистического движения, партийный трибун, дипломат, публицист, организатор женского движения — она привлекла к себе внимание еще в начале нашего века политической деятельностью и литературными трудами. В первые годы после революции и в последующее время вышли в свет книги Коллонтай по вопросам революционного движения, морали, этики, женского движения. Посмертно опубликован труд Коллонтай «Из моей жизни и работы», с большим тактом подготовленный научными сотрудниками Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и выпущенный в свет издательством «Советская Россия».

Вышли в свет и книги о Коллонтай, научные исследования, статьи. Не оставили без внимания Александру Михайловну и зарубежные авторы, особенно скандинавские. Однако недостаточное владение материалом, фактами, документами не всегда позволяло им быть объективными. Еще больше работ зарубежных авторов преследует цель исказить образ Александры Михайловны. Здесь особое рвение проявили американские авторы. Лишь в конце 1980 и начале 1981 годов в Соединенных Штатах Америки вышли в свет три книги. Барбара Ивенс Клеменс в издательстве Индианского университета выпустила книгу «Жизнь Александры Коллонтай». Беатриса Фернсуорт в издательстве Стенфордского университета — книгу «Александра Коллонтай: социализм, феминизм и большевистская революция». Кэти Портер в издательстве «Дайал пресс» опубликовала книгу «Борьба женщины, которая не соглашалась с Лениным». Не вступая в полемику по поводу тенденциозного названия книги, отметим, что объем этих работ весьма велик — от 350 до 550 страниц, — но все они написаны не в соответствии с фактами жизни Коллонтай.

Давно уже появились пьесы о Коллонтай. Они шли или идут на подмостках Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Осло, Стокгольма, Гетеборга и других городов. Приведу лишь один штрих из пьесы Агнесс Плайел «Коллонтай». Поднимается занавес. Перед зрителями канат, протянутый через сцену. По канату пробегает актриса. Автор и режиссер стремятся убедить читателей и зрителей, что Коллонтай пришлось всю жизнь изодраться, балансировать, подчас на грани смертельной опасности, чтобы удержаться на поверхности политической жизни, спасти себя, уцелеть.

Подобные домыслы ничего общего не имеют с исторической истиной. Александра Михайловна жила и работала в великое и сложное время и всю себя без остатка, со всей присущей ей искренностью и страстью отдавала делу революции и социалистического строительства.

Это убедительно подтверждают многочисленные архивные документы, на которые опирается данная публикация, в том числе письма, дневники и записи самой Коллонтай, письма и другие документы, находившиеся в личных архивах и предоставленные мне их владельцами или наследниками. Особенно ценными были консультации Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, а также Эми Генриховны Лоренсон, близкого друга и многолетнего секретаря Коллонтай, их переписка в 30-е годы.

Многочисленные письма юной Шуры Домонтович, обнаруженные недавно в Хельсинки и любезно предоставленные мне финской стороной во время пребывания в столице Финляндии, по-новому высветили образ Коллонтай, особенно ее девичьи годы. Они вводят читателя в атмосферу, в которой росла, воспитывалась и формировалась как личность дочь военного и государственного деятеля царской России. Но эти письма

с еще большей убедительностью показали, что демократическое движение второй половины прошлого века глубоко проникало в самые различные сферы русского общества, ничто не могло остановить этот процесс и его влияние на молодое поколение России.

Начнем традиционно, со дня рождения, как это сделала сама Александра Михайловна в своих черновых набросках к автобиографии:

«Девятнадцатого марта 1872 года в Санкт-Петербурге на Средне-Подъяческой улице в доме-особняке номер 5, во втором этаже в семье офицера-интенданта Михаила Алексеевича Домонтовича родилась девочка, голубоглазая, как ее мать Александра Александровна. Девочку хотели назвать Марией, потом передумали и назвали Шурой.

Эта девочка — я».

А теперь перенесемся несколько вперед, в день 19 февраля 1890 года, и прочитаем письмо, отправленное со Средне-Подъяческой улицы, из дома номер 5 в Гельсингфорс:

«Дорогая Эльна! Я неплохо развлекаюсь. В январе я была представлена императрице и побывала на двух придворных балах. Большой бал, на котором было более трех тысяч приглашенных, мне не очень понравился, хотя там все было пышно и элегантно. Малый бал, бал-концерт, отличался большим блеском. На нем присутствовало четыреста человек. Я встретила там много знакомых и веселилась вовсю.

Самым примечательным на балу-концерте был ужин. В трех больших залах дворца, обрамленных цветущими деревьями, благоухало море цветов. Я ужинала за одним столом с наследником царя (с будущим императором Николаем II.— З. Ш.)... Да, я забыла тебе сказать, что мама обещала мне купить верховую лошадь. В Куузе, куда я, надеюсь, ты скоро приедешь, мы будем вместе совершать верховые прогулки и вселиться».

Автор этого письма — «девочка Шура», будущая Александра Михайловна Коллонтай. А письмо это она написала своей подруге Эльне, и оно одно из многих десятков, полученных мной в Хельсинки в 1979 году.

Какие же условия, какая среда способствовали тому, чтобы дочь царского генерала с поразительной решимостью порвала со своей социальной средой. Прежде всего такому взлету духа, яростному прозрению способствовало русское общественное движение второй половины XIX века. Именно оно формировало людей, многие из которых поражают своей исключительностью. Различны были пути и масштабы их деятельности, но верность идее освобождения народа от политического и экономического гнета составляла их главную отличительную черту. Борьбе за эту идею они отдавали все свои силы и порой жизнь.

В когорту участниц русского общественного и революционного движения, чье мировоззрение формировалось в ту пору, входили Софья Ковалевская, Инесса Арманд, Елена Стасова, Софья Перовская, Вера Фигнер, вошла, конечно, и Александра Коллонтай.

В биографии Коллонтай есть много схожего с жизнью Софьи Ковалевской. Обе вышли из родовитых дворянских семей. Обе рано покинули родительский кров и порвали со своей социальной средой. Ковалевская стала не только выдающимся ученым-математиком, но и крупной общественной деятельницей, писательницей. По этому же пути пошла Александра Коллонтай. Она как бы подхватила эстафету борьбы за освобождение женщины из рук Ковалевской, так трагически рано скончавшейся в 1891 году в возрасте сорока одного года.

Размышляя о судьбе Софьи Ковалевской, о формировании ее общественного мировоззрения, академик Милица Васильевна Нечкина писала:

«Каким образом залетел ветер революционной эпохи в богатый помещичий дом в глуши витебских лесов, где росла и воспитывалась юная генеральская дочь, красота, богатство и дворянское происхождение которой, казалось, прочно обеспечивали движение по привычной колее: богатый и знатный жених, замужество, привольная помещичья жизнь то в имении, то в столичном доме... в середине XIX века... Однако этого не случилось. Новые идеи ворвались в размеренную помещичью жизнь, на новые события откликнулось юное создание: история проложила новое русло, по которому и пошла биография Софьи Ковалевской.

Пытливый ум подростка видел и замечал многое вокруг себя и судил о многом не так, как принято было в дворянской среде».

Александра Коллонтай родилась на двадцать два года позже Софьи Ковалевской. Ей не довелось быть свидетельницей бурных дней Парижской коммуны, как Ковалевской, которая своими глазами видела беспримерный героизм парижан, что оказало решающее влияние на формирование ее взглядов.

Но что видел и замечал пылливый ум другого подростка, «девочки Шуры»?

10 марта 1938 года, через несколько дней после своего возвращения из Женевы, где посол Советского Союза Александра Михайловна Коллонтай участвовала как член советской делегации в заседаниях Лиги наций, она сообщила своему другу и секретарю Эми Генриховне Лоренсон в шведский городок Мертфорс, что продолжает делать записи о своей жизни, а сейчас готовит заметки «Какой я была в детстве». В этих заметках не только личные воспоминания, но и рассказы родителей и сестер, и это позволило ей с большой достоверностью восстановить историю своего детства и атмосферу той поры. Вот строки из этих записей:

«Отец — высокий красивый украинец из Черниговской губернии родом. С черными баками... с умными живыми глазами и выразительными черными бровями. Худощавый и холерный. По характеру мягкий и до болезненности не терпящий вида страданий ничьих. Михаилу Алексеевичу сорок лет с небольшим. Матери Александре Александровне тридцать пять. Это ее второй брак: от первого трое детей: сын Александр — Саня, пятнадцати лет, дочь Адель десяти и дочь Женя восьми. Первый муж — полк, Мравинский, военный инженер. Развод затянулся. Развод из-за «жадности до баб», как говорили при девочке Шуре... Девочке Шуре все это казалось чем-то весьма нехорошим, хотя и не ясным.

Александра Александровна, крепкая, здоровая, с пышным, гармонически прекрасным телом. Сердечная, и упрямая, и волевая. Дочь финского крестьянина Масалина, пришедшего будто бы «босиком» из Нюслотской губернии и нажившего на поставках «целое состояние» и имение Кууза в Выборгской губернии.

Когда — так рассказывали приживалки в доме — приехала ревизия в богадельню, где Масалин уже был смотрителем, Масалин «побагровел» и тут же на улице умер от удара.

Двух дочерей — Сашу и Надю — бабушка Александра Федоровна, рожденная Крылова и родом из остзейских провинций (ее мать была француженка Лилие), выдала замуж на скорую руку. Надю — больную эпилепсией — за недворянина архитектора Афанасьева, Сашеньку — красавицу — за инженера Мравинского.

А сама бабушка вышла замуж вторично. Но бабушка умерла до рождения девочки Шуры».

Коллонтай подробно рассказала в дневниках о поездке с родителями в Болгарию, куда Михаил Алексеевич был направлен сразу же после освобождения этой страны от османского ига.

Болгарский период детства был недолгим — два года. Михаил Алексеевич сыграл в освобожденной стране важную роль — разработал конституцию. Конституция носила прогрессивный характер, что привело к трениям с царским наместником в Болгарии князем Дондуковым и обострило отношения с правящими сферами в Санкт-Петербурге. Все же Домонтович вскоре получает чин генерала, а через несколько лет назначается членом Военного совета русской армии.

Итак, в родовитой дворянской семье росла очень красивая девочка с голубыми глазами. Было ничем не омраченное детство с боннами, нянями, прислугой, кучерами, поварами, лучшими в Санкт-Петербурге педагогами, которые обучали «девочку Шуру» английскому, французскому и немецкому языкам.

Друг Коллонтай писательница Лидия Фортунато много лет спустя спросила у Александры Михайловны, когда и что подтолкнуло ее на путь революции. Коллонтай резонно ответила: не было толчка! Прошли еще годы, и она дала ответ на этот вопрос в анкете, где изложила свое кредо по многим морально-этическим проблемам:

«Что толкнуло меня на путь социализма-коммунизма?»

Конечно, не тяжелые условия моего детства. Они были радостные и нормальные, в кругу культурной семьи и культурно-прогрессивной среды, без чрезмерной роскоши и буржуазных косных традиций и предрассудков. Но неравенство и несправедливость за пределами моей семьи в царской России — вот что с раннего детства и юности возмущало меня и звало на борьбу за лучший, более справедливый мир, за исчезновение нищеты, голода, угнетения и бесправия трудящихся».

Потом она дополнила это свое высказывание: нельзя быть счастливой, если **кру-**
лом несчастье.

Записи из дневника об англичанке-гувернантке помогают увидеть некоторые чер-
ты «девочки Шуры»:

«Мисс из бедной семьи, из портового города Гуля. Отец ее был капитаном шху-
ны, ослеп и теперь без работы. Мисс старшая в семье и должна всех содержать...
«Теперь бедным трудно», у сестер мисс нет теплой одежды. У «девочки Шуры» горят
щеки от злости. Мисс знает много интересных рассказов о морях, о бурях, о шхунах,
которые тонут, о матросах, которые отдают свою жизнь за других. Вечером в постели
Шура долго не спит. Она «выдумывает». Ей кажется, что она матрос, который спасает
тонущих пассажиров. Ей хочется, чтобы случилась буря».

С детства ей было присуще обостренное чувство сострадания, справедливости,
ненависть ко лжи. Если кто-нибудь из взрослых говорил неправду, она молча уходила
и долго размышляла, почему они так мерзко поступают, страдала и ненавидела.

Иные авторы работ о Коллонтай изображают Александру Михайловну революцио-
неркой чуть ли не с младенческих лет. В доказательство они приводят ее отношение
к окружающим: дескать, она за руку здоровалась с кухаркой, кучером, дворником
и еще с кем-то из домашней прислуги. Становление Коллонтай как передового об-
щественного деятеля шло не сразу. Бурная эпоха 80-х годов давала богатую пищу для
размышлений. Ее ветры властно вторгались во все уголки громадной империи. Они не
обошли стороной помещичье-дворянскую обитель генерала Михаила Алексеевича До-
монтовича. Но ростки вошли не сразу. Для этого понадобилось время. В годы деви-
чества Шура Домонтович была ой как далеко от тех мыслей и настроений, которые ей
подчас приписывают. Хельсинкские письма совершенно по-новому освещают этот период
ее жизни. Обратимся к этим безмолвным, но многозначительным свидетелям ее юности.

В августе 1889 года генерал Михаил Алексеевич Домонтович принял приглаше-
ние своего бывшего начальника по службе в Софии князя Дондукова и, взяв с собой
младшую дочь, выехал в Ялту в княжеское поместье. Поездка в Ялту была предпри-
нята не только с целью отдыха. Шура уже семнадцать лет. По тем временам возраст,
когда девушка вполне на выданье, и если не найти подходящую партию, то может
превратиться в перзрелую девицу. А в Ялте, как сообщил князь Дондуков, собралось
блестящее общество, приехали погостить молодые офицеры Генерального штаба, а что
еще важнее — там находится его превосходительство генерал Тутолмин, адъютант им-
ператора Александра III. Он уже знаком с Шурой Домонтович и еще в Петербурге
дал понять, что имеет вполне серьезные намерения.

Сватовство в Ялте не состоялось. Шура Домонтович решительно отвергла предло-
жение адъютанта царя:

— Папа, что ты придумал? Неужели ты хочешь продать меня этому старику?

— Но Тутолмин вовсе не стар. Он самый молодой генерал.

— Мне это безразлично, папа. Мне безразлично его положение. Я выйду замуж
за человека, которого люблю».

Это строки из семейной хроники.

Но вот письмо, отправленное Шурой Домонтович из Ялты своей подруге Эльне
в Гельсингфорс,— свидетельство настроений и времяпрепровождения семнадцатилетней
девушки:

«1 сентября 1889 года.

Дорогая моя!

Пишу тебе из поместья князя Дондукова. Наконец мы у цели нашего долгого
путешествия и отдыхаем. Погода прелестная, купаюсь в море, много гуляю. Мы вы-
ехали из Санкт-Петербурга 26 августа и после пяти дней путешествия поездом при-
были в Севастополь. Там сели на пароход и морем добрались до Ялты. Море сначала
было спокойное, а потом слегка штормило... Я тоже перенесла морскую болезнь и
была счастлива, оказавшись на берегу. Природа здесь великолепная. Мы едим массу
фруктов — мандарины, каштаны, орехи... Завтра отправимся верхом на лошадях обозре-
вать окрестности Ялты...»

В общем, жизнь идет по проторенной колее: в поместье князя Дондукова балы,
приемы, танцевальные вечера, пикники. Правда, после того как Шура отказала князю
Тутолмину, Михаил Алексеевич запретил ей поездки в горы в сопровождении моло-
дых офицеров — не хотел обижать адъютанта императора.

После возвращения из Ялты Александра Александровна пожурила дочь за отказ от блестящей партии. Супруги Домонтович еще, конечно, не знают, какой сюрприз скоро преподнесет им младшая дочь. Но пока все идет, как полагается в высшем обществе. Зимой царская семья дает балы для приближенных, и, конечно, генерал Домонтович входит в круг избранных. Он бывает на балах в Зимнем дворце вместе с супругой и дочерьми. Пока со старшими дочерьми, и Шура гордится этим:

«30 декабря 1889 года.

С Новым годом, дорогая Эльна. Пусть этот год будет добрым и счастливым для тебя и твоей семьи. Желаю тебе от всей души веселья, счастья, хорошо провести праздники, много танцевать и чтобы у вас все были здоровы. Как поживает твоя сестра? Надеюсь, она уже поправилась. Мы тоже все здоровы... Наш любительский спектакль состоялся. Мы сыграли две небольших комедии, они прошли с большим успехом. Присутствовало шестьдесят человек, и нам дружно аплодировали. Потом мы устроили танцы и всю веселились. Представляешь себе, в самый патетический момент спектакля я начала хохотать, ибо забыла слова своей роли. Суфлер тоже хохотал. Но я, слава богу, вспомнила слова и сцена закончилась благополучно. Я была на балу и там тоже много танцевала. Еще не знаю, что мы будем делать на праздники. Моя сестра Евгения в прошлое воскресенье была приглашена императором во дворец и там пела. Все с ней были очень любезны. Сама императрица беседовала с ней, и ее удостоил разговора сам император. Сегодня снова концерт во дворце, и Евгения снова приглашена. Мы каждый день ходим на каток, погода прекрасная, лед отличный. Приятно на катке встретиться со старыми друзьями и завязывать новые знакомства...

Крепко тебя целую.

Твоя Шура».

Как мы видим, до баррикад революции еще очень далеко. Пока ее мысли заняты другим. Скоро, как мы уже знаем, и она будет приглашена во дворец и представлена императрице.

17 апреля 1890 года она напишет Эльне, что «мама уже купила мне лошадку». И снова письма о балах, выездах, посещениях императорских театров.

Вот так протекали девические годы Александры Домонтович.

В 1891 году Шура Домонтович приезжает в Тифлис, знакомится там со своим кузеном Владимиром Коллонтаем и делится с ним мыслями, которые ее волнуют. Его настроения ей созвучны, и это явилось причиной сближения, переросшего в любовь молодых людей. Михаил Алексеевич и еще больше Александра Александровна шокированы ее намерением связать свою судьбу с полунищим офицером, сыном поляка, участника польского восстания 1863 года, сосланного затем в Сибирь и оказавшегося волей судьбы и царских властей в Тифлисе.

Приезд Владимира Коллонтая в Санкт-Петербург в военное училище подливает масла в костер любви. Встречи влюбленных становятся частыми и заканчиваются драматически — Коллонтаю запрещают посещать дом Домонтовичей, а строптивую дочь отправляют в Париж, веря, что любовное увлечение пройдет.

Этим надеждам не суждено было осуществиться. После возвращения из Франции Шура Домонтович объявила родителям о своем твердом решении выйти замуж за Владимира Коллонтая — первое проявление воли, самостоятельности и упорства в достижении поставленной цели, но пока не революционной. Созван семейный совет. Капитулирует Михаил Алексеевич, затем сдается и Александра Александровна, но с условием: свадьба состоится через год. А пока о помолвке ни звука никому. Все же надеялись, что Шура «остынет».

Хельсинкские письма пролили свет на эти события личной жизни Шуры Домонтович. Из письма Эльне в Гельсингфорс от 5 ноября 1891 года:

«Дорогая Эльна! Извини, что я так долго не отвечала на твое письмо... Я была очень занята. Надо было заказать платья и шляпы для зимнего сезона. Это отнимает много времени...

А как ты проводишь время? Как развлекаешься? Ведь зимний сезон уже начался. В Петербурге этот сезон будет не столь оживленным из-за траура по великой княгине. К тому же голод... Люди думают о том, чтобы помочь бедным, а не о посе-

щени балов¹. Однако мы собираемся поставить новый спектакль. Будет очень весело. Часто ли ты видишь свою симпатию? Как я тебя понимаю, дорогая подружка! Ведь это большая радость — жить в одном городе с любимым человеком. А когда это невозможно, то страдаешь. Я вижу с ним редко. Единственное утешение, что это продлится всего лишь год, а будущей осенью можно будет объявить о нашей свадьбе. Ведь остается одна зима до того дня, когда меня будут называть «мадам». Я понимаю, дорогая Эльна, что ты тоже ждешь с нетерпением этого дня. Но мы обе должны набраться терпения, ведь мы молоды и вся наша жизнь впереди. И потом, так приятно сознавать, что ты любима человеком, который для тебя все в жизни...

Твоя Шура.

Очень прошу тебя — уничтожить это письмо».

Мечты генерала Домонтовича и его супруги породниться с адъютантом его величества генералом Тутолкиным окончательно растаяли. Они сдержали свое слово, но не сразу. Во всяком случае, в конце 1892 года свадьба не состоялась. 18 декабря Шура Домонтович писала Эльне: «Дорогая, очень прошу тебя — в твоих письмах ко мне не упоминай о моем женихе. Если это письмо попадет в руки моим родным, то они будут недовольны, что я рассказала о своей тайне».

Лишь в наступившем 1893 году Шура Домонтович стала мадам Коллонтай. Через год родился сын Михаил.

Юность прошла. Наступала новая пора. Пора раздумий и крутых поворотов.

Через несколько десятилетий после описываемых событий Александра Михайловна Коллонтай после обычного дипломатического приема задержалась вечером в гостиной советского посольства в Стокгольме со своим добрым другом редактором коммунистической газеты «Ню даг» Густавом Юхансоном. В гостиной была тишина, мягкий притушенный свет располагал к воспоминаниям. Александра Михайловна рассказала о своем приезде в Тифлис после свадьбы к матери Владимира Прасковье Ильиничне.

Прасковья Ильинична с дочерью и внуками жила в двух небольших комнатах и примыкавшей к ним веранде. Жили бедно, на крошечную пенсию и жалкое учительское жалование. Педагог по образованию, Прасковья Ильинична мечтала в юности отдать свои силы народному просвещению, но судьба не очень миловала ее, а вечная нужда отнимала последние силы.

В комнатах, заставленных старой мебелью, негде было повернуться. На кухне стоял котел с супом. Ребятишки, вечно голодные, сами бегали на кухню, черпаком наливали ложки.

Прасковья Ильинична, смущенно разведя руками, показала Александре крохотную комнату, сказала: «Вот тут и будете жить».

Было нестерпимо жарко, душно и пыльно. Александра хотела помыться с дороги, но здесь ванной комнаты не было.

Наступил вечер. Рядом в комнате на полу улеглись ребятишки. Прасковья Ильинична с дочерью устроились на веранде. Александра ушла в отведенную ей комнату, молча улеглась в кровать, уткнулась в подушку. Владимир смущенно топтался на месте, тронул Александру за плечо: «Ты спишь?» Она промолчала. Владимир не знал, как и о чем с ней говорить, потом сказал: «Вот так и живем, Шурочка... Но ты не волнуйся. Я скоро начну хорошо зарабатывать, и у нас будет полный достаток». Александра ничего не ответила. Страшно ныла голова, тошнило. Она весь вечер проплакала, уткнувшись в подушку, и наконец забылась в тяжелом полусне.

Утром Александра проснулась от шума и грохота. Зять Прасковьи Ильиничны громко пел. На улице кричали ишаки. Разносчики нечеловеческими голосами расхваливали свои товары.

К зятю пришли друзья с бурдюком вина. Сели пить, играть в карты. Александра не могла понять, что происходит и где она находится...

Дни в Тифлисе тянулись мучительно медленно. Владимир с утра уходил в проектную мастерскую. Александра скучала, не знала, куда девать себя, решила написать давно задуманную повесть. Из этой затеи ничего не вышло, и она решила отложить замысел до возвращения в Петербург.

¹ В 1891 году Россию постиг жестокий голод из-за неурожая. Лев Толстой, Владимир Короленко, Чехов и другие писатели и общественные деятели организовали столовые для голодающих.

По воскресеньям Прасковья Ильинична и Ольга устраивали уборку квартиры, переворачивали всю мебель. Это был для ребятшек самый радостный день. Они взбирались на столы и кровати, играли в баррикады. Александра старалась уйти подальше. Как-то раз по узкой тропинке, карабкаясь и оступаясь, добралась до могилы Грибоедова, на горе Давида. С горы Тифлис казался огромной зеленой чашей. Отчетливо просматривалась старая, азиатская часть города с кривыми улицами, плоскими крышами лагуч, где ютилась беднота, а подальше — утопающий в зелени парков дворец царского наместника и виллы местной знати...

Тифлисское лето в тот год было особенно жарким. Александра с утра уходила в парк, окружавший дворец наместника, гуляла по аллеям, часто присаживалась отдохнуть, в какой уж раз перечитывала произведение историка Бокля «История цивилизации в Англии» — единственную книгу, которую взяла с собой из Петербурга.

Она не могла жить без чтения, часто спрашивала Владимира, почему он не интересуется литературой. Еще в Петербурге старалась пристрастить его к книгам, заставила перечитать своего любимого Добролюбова. Он вернул ей книгу, не высказав восхищения.

В доме Прасковьи Ильиничны книг было мало, да и к тем, что были, Владимир относился равнодушно. Лишь по воскресеньям, когда за обедом собиралась вся семья, он вслух читал местную тифлисскую газету. Как-то вечером Александра начала читать вслух отрывок из книги Бокля, бичевавшего писателей, посвящавших за большое вознаграждение свои произведения сиятельным невеждам. Чем наглее была лесть, писал Бокль, тем больше была сумма вознаграждения писателю. Владимир, склонившись над чертежной доской, слушал невнимательно, стал насистывать свою любимую арию. Александра обиделась, замолчала, захлопнула книгу. В тот вечер Генри Бокль стал причиной первой размолвки молодых супругов.

В конце августа 1893 года Александра и Владимир Коллонтай возвратились в Санкт-Петербург.

Когда Александра Михайловна закончила свой рассказ о поездке в Тифлис редактор «Нью даг» спросил у нее:

— Это был для вас первый урок познания реальной жизни?

— Такой урок, пожалуй, я получила впервые, — ответила Коллонтай.

В записях, которые через много лет Александра Михайловна посвятит своему прошлому, есть много строк о ее муже Владимире Коллонтае. Через призму времени многое казалось иным, чем было когда-то. Дымка десятилетий скрывает шероховатости, смягчила тона. В них больше восторженности и тоски по ушедшей первой любви, чем подтверждения идиллии в их отношениях. Она писала: «Мое недовольство браком началось очень рано. Я бунтовала против «тирана», как я называла моего красивого и любимого мужа... мне все казалось, что это «счастье» меня как-то связывало, я хотела быть свободной».

Хельсинкские письма и другие документы позволяют уточнить, когда и как произошел уход Александры от мужа.

Для Владимира Коллонтая цель состояла в том, чтобы пробиться на высшую социальную ступеньку, добиться генеральского чина, каким обладал его тесть. Для Александры Домонтович в девические годы возникает еще неосознанное недовольство социальным строем России, весьма смутное представление о своем предназначении. Это верно, что во время поездки во Францию с сопровождавшей ее старшей сестрой Аделью она остановилась в Берлине, на книжном развале приобрела «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса и впервые прочитала этот исторический документ. Верно и то, что тайком от старшей сестры она в Париже посетила собрание социалистов. Нельзя, однако, утверждать, что эти два факта чуть ли не вдруг сделали ее революционером. Они заставили задуматься, не больше.

Решающей была обстановка в России в 90-х годах прошлого века. В 1894 году в Крыму скончался император Александр III. На престол взошел Николай II, тот самый цесаревич, с которым Александра Домонтович ужинала за одним столом на балу-концерте во дворце. Всесильный при предыдущем монархе министр финансов граф Сергей Юльевич Витте даст предельно лаконичную характеристику двадцатипятилетнему самодержцу: «...обладает средним образованием гвардейского полковника».

90-е годы прошлого века отмечены бурным развитием капитализма в России. Был создан ленинский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» — по выражению

Владимира Ильича, первый зачаток революционной партии, опирающейся на рабочее движение. Именно в эти годы на Александру Домонтович-Коллонтай оказывают большое влияние ее учительница Мария Страхова, библиограф и писатель Николай Рубакин. Посещение Кренгольмской мануфактуры, где Коллонтай впервые своими глазами увидела сущность чудовищной эксплуатации, а затем знаменитая стачка текстильщиков в Петербурге, о которой заговорила вся Россия, действительно оказали огромное влияние на мировоззрение Коллонтай. Позже она скажет об этом в автобиографии: «Этот наглядный пример растущей сознательности пролетариата, при полной его закабаленности и несправедливости, заставил меня уже решительно перейти в лагерь марксистов».

Конечно, это произошло не сразу. Не столь просто было бывшей «девочке Шу-ре», выросшей в роскошных условиях, а главное, в атмосфере пусть либеральной, но помещичье-дворянской среды, так вдруг пойти на баррикады революции. Сама Коллонтай не отрицала робости своих первых шагов. Возвращаясь в 1915 году на пароходе «Бергенсфиорд» из своей первой поездки в Соединенные Штаты Америки, она записала: «А мне вспоминаются далекие годы. Таврическая улица, деревянный дом с низенькими потолками. Мишина детская, зимнее солнце, игрушки на полу. Зочка (Зоя Леонидовна Шадурская.— З. Ш.) сидит на низком детском стуле и поет Мише песенки:

Стрыки-брыки!
Стрыки-брыки, стрыки-брыки,
Стрынка-вольнка!

И, перебивая себя, рассказывает о тайном партийном собрании у Ясп., о Коробко, о Красине, о намеченной студенческой демонстрации.

Зоя часто «за Заставой». Все это для нас ново, заманчиво, захватывает, мы еще не совсем знаем, как ко всему этому подойти. Зоя смелее идет навстречу новшествам жизни, она легче прорывает «традиции». Мне еще мешают «условия жизни». Но я уже наметила свой путь...»

В библиотеке Рубакина Александра познакомилась с марксистской литературой. Там же состоялась встреча с Еленой Стасовой.

В Петербурге Стасовы занимали особое место. Семья славилась демократизмом, широчайшим кругозором. Елена Стасова была на год моложе Александры, но ко времени их знакомства уже была сложившейся революционеркой.

На квартире у Стасовой начала бывать Александра, там и произошло ее первое «боевое крещение». На «чашку чая», а фактически на нелегальные собрания к Стасовым приходили люди разных политических взглядов. В гостиной возникали жаркие теоретические баталии, каждый мог откровенно высказать свое мнение. На очередную «чашку чая» была приглашена и Александра Коллонтай. Среди гостей был и Петр Струве, в ту пору двадцатичетырехлетний молодой человек, известный как «легальный марксист», сотрудник петербургских журналов.

В гостиной собралось много людей. Петр Струве начал рассуждать о роли Берштейна, защищал взгляды этого идеолога оппортунизма в германском рабочем движении. Александра поднялась из-за стола, раскрасневшись от возбуждения, начала возражать Струве, доказывая, что только рабочий класс под руководством марксистской партии способен защитить свои жизненные интересы. Со стороны Александры это была неслыханная дерзость, да и никто не мог в ту пору ожидать от нее подобных выступлений. А тут спор с кем — с самим Струве, который считался непогрешимым в кругах либеральной интеллигенции.

Александра несколько сбивчиво продолжала защищать свою точку зрения. Струве сначала снисходительно улыбался, не считал возможным возражать двадцатидвухлетней барышне из генеральской семьи, но не выдержал, начал сердиться. Чтобы разрядить обстановку, кто-то сел за рояль — и звуки музыки Брамса заглушили утихающий спор... Но ни Струве, ни Коллонтай не могли тогда представить себе, что в революционных бурях они окажутся на противоположных полюсах. Осенью 1920 года советская Россия перейдет в наступление на последний оплот контрреволюции — армии барона Врангеля. Барон создаст свое правительство, и министром иностранных дел Врангеля будет Петр Бернгардович Струве. Вместе с бароном Струве навсегда покинет Россию. А с наступающей армией Михаила Фрунзе и Василия Блюхера в Крым войдет и Александра Коллонтай, комиссар пропаганды Крымской советской республики.

Уже вскоре после замужества Александра Коллонтай все острее начала чувствовать духовную разобщенность с мужем. Возвращаясь домой от Стасовой, из рубакинской библиотеки, Александра все сильнее ощущала растущее недовольство своей жизнью. Ей все еще казалось, что она любит мужа, она души не чаяла в своем ребенке. Но образовавшуюся духовную пустоту ничто не могло заполнить. Владимир видел это, понимал, но ничего не мог поделать. Рядом с ним оказалась женщина сильной воли, ее ищущая, мятущаяся натура жаждала действий во имя великой цели, которую она уже видела перед собой.

Не просто было женщине в двадцать шесть лет уйти от мужа. Всего пять лет прожила она с Владимиром Коллонтаем. Не раз в своих воспоминаниях она вернется к этому трудному и, в сущности, трагическому для нее решению, расскажет о своих переживаниях и попытается оправдаться перед собой даже через десятилетия, когда жизнь будет идти к закату. 12 марта 1939 года в письме к Эми Лоренсон она вспоминает прошлое: «...нет ничего прекраснее в жизни, чем быть самим собой с другим человеком. Не считаться с условностями. Всегда верить, что другой поймет». Она поняла, что Владимир Коллонтай не сумеет понять ее, и порвала с ним, забрала сына и переехала на другую квартиру. О тех днях, нелегко давшихся ей, письмо Эльне:

«Дорогой друг, наконец-то выбрала свободную минуту, чтобы черкнуть тебе несколько строк. Я перешла на новую квартиру и вот уже две недели занята ее устройством. Теперь, слава богу, я все более или менее привела в порядок и могу заняться обычными делами, которые забросила.

Мой новый адрес: Знаменская, дом 39. Будь добра, дорогая Эльна, сообщить этот адрес господину Хельгу. Мне очень важно получить его совет относительно будущей работы (книги или статьи)...

Моя новая квартира светлая и уютная. Мы здесь будем жить вдвоем с Мишей. Мой маленький сын становится совсем взрослым. Мы с ним большие друзья и нежно любим друг друга. Большое счастье, что у меня есть сын, особенно сейчас, когда я так одинока...»

Недолго Александра Коллонтай остается в Петербурге. Она решает уехать в Швейцарию, чтобы окончательно сжечь за собой все мосты.

И вот признания из дневника. Поезд уносит ее все дальше и дальше, и она исповедуется перед мужем и Зоей Шадурской: «Я решила написать Коллонтаю длинное и теплое письмо тут же в вагоне. Я уверяла в этом письме, как горячо и глубоко я его люблю».

В разных трудах о жизни Коллонтай указывается, что окончательный разрыв с мужем произошел в августе 1898 года. Хельсинкские письма вносят поправку и в эти утверждения. Александра вскоре приехала из Швейцарии и возвратилась к мужу. Ненадолго, но возвратилась. Вот ее письмо от 2 января 1899 года, направленное Эльне в Гельсингфорс:

«Дорогой друг! Получила большое удовольствие, читая твое доброе письмо. Надежда увидится с тобой наполняет мое сердце неизъяснимой радостью. Я часто думаю о тебе, дорогая Эльна. Много раз я собиралась написать, но всегда что-нибудь мешало, а последний год у меня было столько забот. Здоровье мужа не перестает меня волновать: у него были нарывы в горле и его пришлось оперировать четыре раза. Только мой муж поправился, как заболела я... Осенью мне пришлось одной уехать за границу на лечение. Путешествие было длительным, интересным, но я очень скучала по семье. Целый год я жила на берегу моря, в Италии, недалеко от Генуи, потом уехала в Берлин для прохождения курса лечения. Я чувствовала себя гораздо лучше и собиралась уже вернуться домой, как вдруг заболела бронхитом... Таким образом мой отъезд откладывался на три недели. Но наконец я дома, чувствую себя прилично, счастлива снова увидеть своего малыша, но опечалена болезнью мужа, снова нарывы. Но не хочу больше писать тебе о моих горестях, лучше сообщу о большой радости: мой очерк о воспитании, который я написала прошлой зимой, опубликован в журнале «Психология и воспитание». Я много работала над этим очерком и очень довольна, что мой труд увенчался успехом. Я получила около 120 рублей. Это первые деньги, которые я заработала своим трудом.

Мы живем, как и прежде, с моими родителями, в том же доме на Таврической улице, 23. Легом, как обычно, я жила в Куузе. Мама все нервничает, по-моему, она еще больше ослабела. Это нас очень беспокоит. Отец, слава богу, чувствует себя хорошо и занят своей работой. Сейчас он член Военного совета. Меня очень огорчают

служебных о проектируемых в Финляндии реформах. В прошлом году в Петербурге вышла книга о Финляндии. В ней дается исчерпывающая картина жизни в стране, говорится о законах, учреждениях и т. д. Я восхищаюсь Финляндией...

Поскольку меня интересует положение в Финляндии, напиши мне, что там у вас произошло после седьмого января. Все новости мы узнаем только из газет, а я не очень доверяю этим публикациям...

Мы с мужем передаем большой привет всем вам. Наилучшие пожелания твоим родителям, братьям и сестре. Как она поживает?

Не забывай меня.

Преданная тебе подруга

Шура».

Наступил новый, XX век. Письма Александры Коллонтай в Гельсингфорс с предельной достоверностью позволяют определить, как шла ее жизнь, они свидетельства забот, тревог, переживаний.

От Владимира Коллонтая она ушла навсегда. По семейным обстоятельствам Александра Михайловна несколько раз возвращается из Швейцарии, где совершенствует свои знания в Цюрихском университете в семинаре профессора Геркнера. По совету профессора она побывала в Англии, познакомилась с Сиднеем и Беатрисой Вебб — основателями «Фабианского общества».

24 декабря 1900 года она пишет Эльне в Гельсингфорс:

«Дорогой друг! Шлю тебе мои искренние поздравления и тысячу наилучших пожеланий к Новому году. Я желаю от всего сердца, чтобы он был счастливым для тебя и твоей семьи. Не удивляйся, дорогая, моему длительному молчанию. Прошедшая осень принесла нам много горя, так что я даже не могла писать тебе. Моя мать, после месяца ужасных страданий, обрела вечный покой. С тех пор я не отхожу от моего бедного отца. Он ужасно постарел и убит горем. Прости, что я не послала тебе обещанный мой труд о Финляндии. Причина состоит в том, что все, посланное тебе по почте, было конфисковано русской цензурой. Придется подождать okazji, с которой я тебе перешлю мою работу...

Как ты поживаешь, моя дорогая, что поделяют твои очаровательные дети? Мой Миша уже бегло говорит по-немецки и даже начинает понимать по-французски... Мой адрес тот же: Таврическая, 23.

Преданный тебе друг

Шура».

Не сразу разобралась Коллонтай в сложностях политической борьбы. И не так легко ей было избавиться от влияния и авторитетов, которыми она вчера если не поклонялась, то относилась к ним с полнейшим доверием, считала их не просто мэтрами социальных наук, властителями дум не только молодежи. Разочарование профессором Геркнером, ставшим открытым сторонником Бернштейна и его последователем, и ясное понимание непротивленческой сущности фабианства пришли не вдруг. Лишь через десятилетия после возвращения из дальних странствий Коллонтай даст ясную и четкую оценку положения в России:

«Я ехала в радужной надежде очутиться среди единомышленников, но осенью 1899 года Россия была уже не та, что год назад. Произошел сдвиг: медовый месяц объединения легального и подпольного марксизма пришел к концу. Легальный марксизм встал открыто на сторону защиты крупного промышленного капитала. Левое крыло уходило в подполье, все решительнее защищая революционную тактику пролетариата, то есть Ленина».

После раскола РСДРП на II съезде, вернувшись из очередной довольно длительной поездки за границу, Коллонтай еще только находится на подступах к партийной работе. Она занята то семейными, то своими литературно-политическими делами. 30 апреля 1903 года она писала Эльне:

«Дорогой друг! Посылаю тебе мой труд о Финляндии, недавно вышедший из печати. Прошу тебя о следующем одолжении: узнай, пожалуйста, в адресной книге, находятся ли еще в Гельсингфорсе следующие господа: госп. Гротенфельд, Ас. Гундстрем и Сантери Ингман, и пришли мне их адреса... В последнее время у меня было столько хлопот с моей книгой и с наследством после смерти отца...

Я очень рада, что закончила работу над своей книгой, хотя это всего лишь первая часть моего труда. Сейчас мы с Мишенькой строим планы на лето. Я хочу поехать с ним на два месяца во Францию, к морю, потом в Париж...

Коллонтай уезжает во Францию. Но мысли ее в России. В партии идет острая политическая борьба. Однако пока она еще не может решить, с кем она: с Лениным или с Плехановым, с большевиками или с меньшевиками. Достаточно откровенно она рассказала об этом в своих воспоминаниях.

«У меня были друзья в обоих лагерях. По душе ближе мне был большевизм с его бескомпромиссностью и революционностью настроения, но обаяние личности Плеханова удерживало от разрыва с меньшевиками. По возвращении из-за границы в 1903 году я не примкнула ни к одной из партийных группировок, предоставив обеим партийным фракциям [возможность] использовать меня в качестве агитатора, по части прокламаций и других текущих заданий».

Здесь следует хотя бы кратко остановиться на отношениях Коллонтай с Плехановым, ибо, в сущности, эта страница ее жизни обойдена исследователями.

Знакомство Александры Михайловны с Плехановым произошло в 1901 году в Женеве. Сохранившиеся фотографии позволяют точно описать облик Коллонтай и Георгия Валентиновича в дни их знакомства. Ей двадцать девять лет. Фотограф запечатлел Коллонтай на фоне Женевского озера. На ней длинное, по моде того времени, клетчатое платье, на плечах легкая газовая косынка. Из-под шляпы с широкой тульей выбивается копна русых волос. Удивительно миловидная молодая женщина, полный достоинства и спокойствия взгляд. Георгию Валентиновичу Плеханову в год знакомства с Коллонтай исполнилось сорок пять лет. Шестнадцать лет разделяло мэтра, теоретика русского революционного движения, и Коллонтай, только вступившую на тернистый путь испытаний. Удивительно красивое лицо Плеханова с матовой кожей обрамляет аккуратно подстриженная бородка. Усы. Темные умные глаза внимательно смотрят на мир, в них неустанная работа мысли.

Нетрудно представить себе картину их знакомства. Возможно, это произошло на одном из рефератов — так назывались тогда собрания, на которых с докладами и в диспутах выступали русские политические эмигранты в клубах, библиотеках — всюду, где им удавалось собраться, чтобы поговорить и поспорить о судьбе России и своих задачах. Их представили друг другу: «Знакомьтесь: госпожа Александра Коллонтай, господин Георгий Валентинович Плеханов». Дружеские рукопожатия. Вспыхнувшее от радостного волнения лицо Коллонтай. Внимательный, изучающий и оценивающий взгляд Плеханова.

Конечно, она давно знает Плеханова. Да кто же из российских революционеров не знает Георгия Валентиновича, создавшего в 1883 году в Женеве первую марксистскую русскую группу «Освобождение труда»! Он первый в России дал исчерпывающий разбор ошибочных взглядов народничества, выступил в защиту марксистских взглядов. Само собой разумеется, она читала его книги «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия» и даже знакома с его знаменитым трудом «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», да и с его статьями в легальном марксистском журнале «Новое слово», который возник на стыке царствований двух самодержцев — Александра III и Николая II, — юный период призрачной либеральной отдушины в России. Она уже знала, что Бельтов — это и есть Плеханов, но еще не ведала, что Кирсанов, Каменский, Утис, Ушаков — это все тот же Плеханов. Но это уж не столь важно. Важнее другое: ведь в тот памятный вечер у Стасовой в Петербурге, когда Коллонтай вступила в схватку с Петром Струве, она опиралась на работы еще незнакомого ей Плеханова.

Так вот он какой, один из создателей Второго Интернационала, высказавший в речи на учредительном конгрессе свое знаменитое пророчество: «Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может».

Слышал ли в ту пору Плеханов о Коллонтай? Весьма вероятно. Ее первая литературная работа «Основы воспитания по взглядам Добролюбова» привлекла внимание многих, а ее первые статьи о Финляндии, опубликованные в немецком экономическом журнале «Социале политик», получили широкую известность. И он наверняка читал эти статьи.

Разрыв Коллонтай с обществом, к которому она принадлежала, уход в революцию ему близок и понятен. Да он ведь и сам, сын помещика Тамбовской губернии, выросший в уютном барском доме в мещанском городе Липецке, на берегу тихой речушки Воронеж, в молодые годы ушел из очарованной тургеневской России, оторвался от старых корней, беспощадно отрубил их...

Знакомство Коллонтай с Плехановым переросло в дружбу, может быть, более тесную, чем отражает их переписка. Но были и частые встречи. Они уходили по дороге в горы к призрачно близким, манящим Валисским Альпам, сверкавшим в лучах заходящего солнца белоснежными пиками... Были и другие встречи — на рефератах, диспутах, в кафе и библиотеках, где Плеханов своим разящим красноречием очаровывал всех, особенно молодежь, еще не познавшую суровых законов борьбы.

Потом, когда Коллонтай возвратилась в Россию, между ней и Плехановым продолжалась переписка. Георгий Валентинович посылал ей свои книги по вопросам эстетики, критические статьи, спрашивал ее мнение, ценил его. 23 октября 1906 года Плеханов писал Коллонтай: «Прочли ли Вы мою брошюру об Ибсене? Разделяете ли Вы мой взгляд на него?»

Александра Михайловна рада была каждому письму, подробно отвечала, знала, что Георгий Валентинович не лишен самолюбия:

«Усердно читают и Вашу брошюру об Ибсене. Вы спрашиваете мое мнение о ней? Давно не читала подобной глубокой и вместе с тем тонкой литературной критики, совмещающей одновременно ширину социальных представлений с истинно художественным анализом... Мне думается, что Вы многим объяснили загадочного Ибсена с его силой и красотой таланта и какой-то пустотой в мышлении. Ваша статья несомненно окажет оздоровляющее влияние на юношество, с удовольствием вижу, что ею зачитываются, ее цитируют. Побольше бы таких произведений».

Позже, снова уехав из России, Коллонтай встречалась с Плехановым всюду, куда их забрасывала судьба.

Была ли это просто «тропиночка вдоль богатой творческой жизни» Коллонтай, как это утверждает в своем письме Шадурская? Если и «тропиночка», то очень широкая. Было увлечение Плехановым — человеком, блестящим эрудитом, рафинированным интеллигентом, очаровывавшим всех, кто сталкивался с ним. Георгий Валентинович оказал на Коллонтай большое влияние, на первых порах формировал ее мировоззрение, давал ей политическую ориентацию, которая соответствовала его взглядам.

На II съезде РСДРП Плеханов энергично действовал вместе с Лениным. Но революция 1905 года испугала его. Он не разобрался в сложившейся ситуации, неправильно оценил ее. После подавления московского вооруженного восстания в декабре 1905 года бросил упрек большевикам: «Не надо было браться за оружие».

Разделяла ли Коллонтай в те тревожные месяцы взгляды Плеханова? Они еще были близки ей, а его колебания, как могло казаться, носили преходящий характер. Когда в среде русского меньшевизма возникло стремление отказаться от революционной борьбы и от нелегальной революционной партии, Плеханов опубликовал блестящие, как всегда, статьи против религиозных исканий, которые овладевали значительными слоями русской интеллигенции и уводили в болото непотребия. Такая позиция снова и снова оказывала на Коллонтай магическое воздействие. И здесь уместно повторить ее признание: «Обаяние личности Плеханова удерживало меня от разрыва с меньшевиками».

Окончательный отход от Плеханова, причем неизбежный, произошел после начала первой мировой войны. Георгий Валентинович выступил фанатичным сторонником войны против кайзеровской Германии и даже призывал революционеров вступать в армии стран Антанты. Это полностью противоречило взглядам Коллонтай, которая, как дальше увидит читатель, вступала в бескомпромиссную борьбу с любым шовинизмом, а затем полностью поддержала лозунг и тактику Ленина о превращении империалистической войны в войну гражданскую с целью покончить с господством империалистической буржуазии.

Коллонтай по-прежнему отдаст дань блистательным литературным творениям Плеханова. Но и в ее глазах постепенно блекнет ореол Георгия Валентиновича как революционера. Она начинает понимать, что этот великолепно образованный человек, почти полубог в глазах многих русских социал-демократов, потерял связь с пролетарскими массами России, не понял, какие изменения произошли в их унастроении. Под влиянием событий и фактов Коллонтай постепенно приходит к выводу, что Пле-

ханов представляет прошлое русского революционного движения, а Ленин — настоящее и будущее марксизма в России и именно он, Ленин, становится подлинным вождем российского революционного движения. Знакомство с Владимиром Ильичем, происшедшее в ноябре 1905 года в здании Технологического института в Загородном проезде в Петербурге, где Ленин умно и тонко разгромил меньшевиков в дискуссии по аграрному вопросу, было первым толчком для будущей политической переориентации Коллонтай. Во всяком случае, Коллонтай с революцией 1905 года с ее первых шагов: «Я шла с демонстрантами к Зимнему дворцу, и картина расправы с безоружным рабочим людом навсегда запечатлелась в моей памяти... Лужи крови на белом снегу... Улюлюканье жандармерии, убитые, раненые, расстрелянные дети».

В те дни Коллонтай принимает участие в работе подпольной большевистской газеты «Петербургская рабочая неделя», ведет работу на фабриках и заводах у Невской заставы, на Охте и Васильевском острове. Именно тогда она начинает свою деятельность, снижавшую ей популярность — организацию женщин на борьбу за свои права, — и проводит резкую грань между деятельностью буржуазных феминисток (равноправок, как она их потом будет называть) и борьбой женщин труда — пролетарок.

Еще три года остается Коллонтай в России, до печально памятного для нее декабряского дня 1908 года, когда она спешно под угрозой ареста вынуждена была покинуть родину, Петербург, друзей и сына, дорогого ей Хохлю, как она его потом нежно назовет в письмах и дневниках.

Коллонтай по чужому паспорту уезжает за границу. Она убеждена, что скоро снова будет в России. Не думала она в ту ночь, когда верные люди по старым искровским путям через станцию Вержболово переправляли ее в Германию, что вернется в Россию лишь через восемь лет, в марте 1917 года.

В конце первого десятилетия нашего века Коллонтай приехала в Германию, вступила в социал-демократическую партию и стала одним из ее активнейших деятелей. Незадолго до этого она познакомилась с Кларой Цеткин, вместе с ней участвовала в Международном конгрессе социалистов в Копенгагене, близко сошлась с Августом Бебелем, Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург.

Органическому вхождению в немецкое рабочее движение способствовало не только блестящее знание немецкого языка, но, главное, подлинный интернационализм Александры Михайловны. Уже после Октябрьской революции, отвечая на вопрос предложенной ей анкеты: «Типичная ли вы русская натура по характеру?» — Коллонтай ответила:

«Нет. Я скорее по складу своего «я» интернациональна по воспитанию, по умению понимать психологию других народов, вернее передовой их части — рабочих масс. Я делю мир не по национальностям, а по классовым признакам. Ни в одной из стран, где я жила, я не чувствовала себя «чужой», «иностранкой». И, напротив, я бывала очень одинока и очень несчастна в несозвучной среде русского барства. Россию я полюбила только после революции...»

Я любила немецких рабочих со всей страстью души и сердца в годы, когда работала с ними».

А работала Коллонтай в полном смысле слова в гуще рабочих масс. Сохранился написанный Александрой Михайловной по-немецки отчет о проведенной ею в 1911 году агитационной кампании «Красной недели» в городе Хемнице (ныне Карл-Маркштадт.— 3. Ш.) в связи с Международным женским днем 8 Марта.

Любопытно в этой ее деятельности следующее: Коллонтай так хорошо знала немецкий язык, жизнь рабочих, историю Германии, так вжилась в среду немецкого пролетариата, что ее считали своей и она с полным правом могла написать, что в Германии, как и в других странах, не чувствовала себя иностранкой. Но вернемся к ее отчету.

«Итак,— писала Коллонтай,— прошла «Красная неделя». Ее прекрасный, вдохновляющий итог показывает, сколько труда, энергии и самопожертвования потребовалось от наших товарищей — женщин и мужчин,— чтобы достичь этого успеха.

«Красная неделя» — это живой пример, свидетельствующий о том, как глубоко идеи социал-демократии вкоренились в наше движение и как быстро развился процесс сознательности в рядах женщин, которые становятся классово сознательными храбрыми борцами».

В те мартовские дни 1911 года Коллонтай побывала в деревнях Миттельбах и Маргенсдорф на чулочной и перчаточной фабриках, беседовала с надомницами, узнала, что недельный заработок «крошечный — всего пятнадцать марок, а продукты питания дорогие». Одна работница пожаловалась: «Я привыкла иметь свой пфенниг, а ведь заработок мужа — это его заработок, а жить с каждым днем все труднее». И вот последние строки из «Отчета АК», который пролежал в архивах семьдесят лет: «В пятницу, двенадцатого марта, я выступала в деревне Маргенсдорф близ Хемница. Это тоже типичная деревня, где живут рабочие. Зал заполнен до отказа, много текстильщиц — девушек и пожилых работниц. Атмосфера боевая, слушают очень внимательно, и приходят все новые и новые люди». А когда она закончит свое выступление, ее окружит толпа женщин с детьми и она еще долго будет говорить с ними о жизни, невзгодах, тяжкой женской доле.

В годы перед первой мировой войной Коллонтай опубликовала книги и статьи по вопросам международного женского движения, другим социальным проблемам. В дневниковых заметках за 1912 год она размышляет по поводу новых форм и методов борьбы рабочего класса за политические и экономические права: «Солидарность — это видовой признак [рабочего] класса, способствующий и помогающий ему в борьбе за существование... Неужели мы думаем, что переход к социализму произойдет мирным путем».

В Германии находилось много русских политических эмигрантов, их контакты с революционным крылом немецкой социал-демократии были довольно тесными. В этом немалая заслуга Александры Михайловны:

«Приглашение!

В четверг, 5 мая 1912 года все русские эмигрантские социал-демократические организации празднуют первый «красный день печати», который посвящен легальной русской рабочей печати, так жестоко преследуемой.

Наши проживающие здесь русские товарищи намерены провести этот день в дружеском кругу в кафе Июсти (первый этаж, зал нами зарезервирован) на Потсдамской площади.

Мы приглашаем Вас принять участие в нашем дружеском кругу.

В ожидании

С партийным приветом.

Александра Коллонтай»,

В 1913 году Коллонтай ненадолго уехала из Берлина в Лондон, изучала там материалы для своей книги «Общество и материнство». Поселилась в дешевеньком пансионе на Гренвилл-стрит, все дни проводила в библиотеке Британского музея. Вечером к ней приходили Литвинов, Керженцев, Майский и другие русские политические эмигранты. За чашкой чая обсуждали вести из России, письма из других большевистских центров.

После возвращения в Берлин Коллонтай поселилась в пансионе на Губертусалле, 16, продолжала работать над книгой по социальным вопросам. Мировая обстановка сгущалась, Европа явно шла к войне. В 1929 году Александра Михайловна восстановила в памяти и описала события накануне войны, свое знакомство с русской эмигранткой, соседкой по пансиону, с которой пережила этот день:

«Наше знакомство началось с Бэлочкиного голоса. Шла по коридору берлинского пансиона, где обе мы жили, не зная друг друга. Бэлочка пела. Голос у нее был чарующий, небольшой, но с чарующей мягкостью тембра... Я невольно замедлила шаги. Прислушалась. Голос напомнил мне сестру Мравину²:

Кто певица?

Ни слова, о друг мой,

Мы будем с тобой молчаливы...

Русская?

Голос смолк неожиданно, не допев романса. Мимо меня по коридору промелькнула маленькая женская фигура в пестрых шелках. Я успела заметить только глаза, огромные глаза Бэлочки.

² Сестра Коллонтай Евгения, по сцене Мравина, была выдающейся певицей, солисткой Марининского императорского театра.

...Мне сказали: это Каза Роза, русская певица³.

Была весна исторического 1914 года. За обедом познакомились. Разговорились. Бэлочка была одинока в Берлине. Бэлочка хотела видеть Берлин. Не Берлин для иностранцев, а тот Берлин, что вносил в сокровищницу культуры свой огромный вклад. Берлин художественного творчества, Берлин исканий новых путей, Берлин мысли.

По утрам мы работали. Бэлочка «распевалась», как говорили тогда... Я готовила статью за статьей по страхованию и обеспечению материнства для Международного конгресса...

В послеобеденный перерыв заходили друг за другом.

— Поедете на выставку?

— В Тиргартене цветут рододендроны... Вы видали?

По дороге говорили, говорили о жизни, говорили о «новой женщине».

Бэлочка не была партийной, не была социалисткой, но она умела чувствовать социальную несправедливость.

В то жаркое, сухое, пыльное лето 14 года, когда Европа беспечно доживала свои последние дни без кровавых ужасов войны, Берлин был особенно богат художественными выставками... Бэлочку интересовала художница рисунков пером Тедда фон Трапш...

Был день покушения в Сараеве. Мы решили ехать на ипподром. Скачки нас не интересовали, хотели наблюдать «типы» и «нравы».

Поехали. Но не обычным способом, на трамваях или по окружной железной дороге. В складчину наняли извозчика Автомобили в те времена еще «кусались», не по карману. Лошадь попалась древняя. Кучер, высоко сидящий на козлах, в фуражке с потертым серебряным околышком. Коляска с упруго-мягкими сиденьями.

Едем, мешкотно бьет кляча по берлинской мостовой, не в такт ударяет копытами... Денек серенький, будто не лето. Ветер кружит пыль, засыпает глаза.

А нам весело, смеемся.

Извозчик оборачивается. Кто днем смеется на чопорных берлинских улицах?

На скачки опоздали. Публика расходилась. Но мороженое съели.

Назад — широкой новопроложенной Герштрассе.

На перекрестках — продавец газет.

«Экстренный листок!» Злодейство в Сараеве. Террористический акт!

Публика расхватывает листки. Спешит. А ветер разыгрался, налетел неожиданно, подхватил пачку «Экстренного листка» листков о Сараеве и, будто огромные снежные хлопья, разбросал их по мостовой. Публика бросилась подбирать. Остановились и мы.

Что это такое? Что это значит?..

Мне вдруг жутко стало. Огромные Бэлочкины глаза обращены, будто ищут защиты у меня...

В тот день ни мы, ни мир не знали, что это был день начала войны...

Мировая война застала нас обеих в Берлине. Мы очутились в «плену». Смутные, темные дни, тревожно-бессонные ночи, с мукой за большое, страшное, совершающееся там, на фронтах, с болью и страхом за близких... Мы вместе пережили их, вместе шагали по улицам Берлина под конвоем, вместе ходили в полицейский участок «отмечаться». Вместе вырвались из плена...»

Коллонтай далеко не все записала о своих переживаниях в те дни. На Губертусалле у Коллонтай жил сын Миша, студент Петербургского технологического института, приехавший к ней на каникулы. Накануне Александра Михайловна готовила материал к Международному женскому социалистическому конгрессу и 1 августа намеревалась послать материал Кларе Цеткин. Утром полиция арестовала Мишу. Коллонтай помчалась к Карлу Либкнехту просить его помощи как депутата рейхстага. Карла дома не оказалось. Софья Либкнехт, волнуясь, успокаивала Коллонтай, приговаривая на своем певучем языке, характерном для южан России⁴: «Успокойтесь, Шура, мы его сейчас найдем. Он должен быть в рейхстаге».

³ Бела Георгиевна Волкова, по сцене Каза Роза, популярная русская певица перед первой мировой войной.

⁴ Женой Карла Либкнехта была Софья Рысс. В начале нынешнего века она приехала из Ростова-на-Дону в Гейдельбергский университет изучать искусство, познакомилась с Карлом Либкнехтом и вскоре стала его женой. Софья Либкнехт, профессор курсов иностранных языков при МИД СССР, скончалась в Москве в 1964 году.

Коллонтай разыскала Либкнехта в кулуарах рейхстага. Карл пытался нанять извозчика, чтобы поехать в полицейский участок, но напрасно, и они вместе с Коллонтай бежали по берлинским улицам. Начальник полиции вынужден был освободить Михаила Коллонтая, и он выехал в Россию.

На этом мытарства не кончились. 3 августа полицейские ворвались в пансион на Губертусалле и арестовали Александру Михайловну. На следующий день ее неожиданно освободили. При обыске обнаружили мандат на Международный женский социалистический конгресс. Русская революционерка не может быть шпионкой царя. Однако ей предложили немедленно убраться из Германии. Когда Коллонтай вернулась из полицейской тюрьмы на Губертусалле, вещи ее были выброшены на улицу. Сверху на чемодане лежала только что полученная от Зои Шадурской из Парижа открытка: «Фрау Коллонтай, Берлин, Грюневальд, Губертусалле, 16». В открытке всего несколько строк: «Шурочка! Шурочка! Убили Жореса. Только что будто его слышу. Такой добротой веяло, человечностью от него. Это первая жертва богу войны».

Карл Либкнехт взял чемодан Коллонтай, увез ее к себе домой, по дороге успокаивал, сказал горестно: «Угар любви к отечеству затуманил им голову. Мы будем бороться с шовинизмом до конца!»

В начале сентября 1914 года Коллонтай уже в Швеции. Она поселилась в столичном пансионе «Карлсон». Вместе с секретарем шведской социал-демократической партии Фредериком Стремом и редактором газеты «Стормклокан» Цетом Хеглундом организует собрания, знакомит слушателей с антивоенным манифестом, принятым в Берне.

Нейтральная Швеция вела себя не очень нейтрально. Министр внутренних дел Сюдов распорядился арестовать русскую политическую эмигрантку, а король Густав V подписал указ о высылке Коллонтай из страны «навечно».

28 ноября 1914 года Коллонтай написала Ленину из Дании: «Мой арест и высылка вызваны были формальнс статьей «Война и наши задачи» в шведском журнале молодых коммунистов (фактически в газете «Фосварс нигилистен»), но, кажется, настоящим поводом послужила моя речь на эту тему на закрытом партийном шведском собрании. По крайней мере говорила я в понедельник, а в пятницу меня уже арестовали, таскали по тюрьмам Стокгольма, Мальмэ и препроводили с полицией в Копенгаген».

Недолго Коллонтай оставалась в Дании. Пришлось уехать и оттуда. Она переезжает в Христианию (Осло). Начинается ее первый норвежский период, длившийся около трех лет с перерывами для двух поездок в Соединенные Штаты Америки.

(Окончание слугует)



ЧТО С АМЕРИКОЙ?

Советский публицист ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ КОБЫШ ведет диалог с директором Института США и Канады Академии наук СССР академиком ГЕОРГИЕМ АРКАДЬЕВИЧЕМ АРБАТОВЫМ.

В. Кобыш. Ход событий в мире привел к опасной черте напряженности. Хотя это процесс многосложный и было бы неправильно учитывать только негативные моменты в процессе развития международной обстановки, они тем не менее, как говорится, налицо. Одним из очень существенных, оказывающих большое влияние на ход событий в мире факторов является состояние советско-американских отношений. Всем известно, что в последние годы имело место определенное ухудшение этих отношений, что прямо связано с политическим поворотом, осуществленным, да и сейчас еще осуществляемым правящими кругами Вашингтона.

Хотелось бы попросить вас, Георгий Аркадьевич, высказать свое суждение о причинах ухудшения отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

Г. Арбатов. Я бы начал с напоминания о том, что борьба за разрядку — это именно борьба, очень сложная и против очень сильных противников. Борьба, в которой каждый шаг вперед дается ценой больших усилий и напряжения. И это борьба, в которой невозможно все время движение по восходящей. В ней случаются периоды спадов, которые сменяют периоды подъемов. Борьба, в которой неизбежны зигзаги.

Если говорить о смене «команды» в Соединенных Штатах, то хотелось бы подчеркнуть, что это не связано только с внешней политикой. Если брать предшествовавшую ей предвыборную борьбу в Соединенных Штатах, то речь шла скорее об экономических причинах, которые сыграли решающую роль в поражении Дж. Картера, разочаровании американцев деятельностью его администрации.

Вместе с тем имелись, конечно, и внешнеполитические условия, которые помогли «ястребам» в Америке, сторонникам жесткого курса, пробиться к власти. В этой связи я прежде всего назвал бы, в частности, волну шовинизма, поднятую в США после известных событий в Иране. Американцев убеждали: эти события, в том числе захват американских заложников, еще одно подтверждение того, что с Америкой в мире больше не считаются. Причину же этого выводили из того, что у США якобы недостаточно военной силы, хотя я себе не представляю, будь у Америки еще десять авианосцев или еще тысяча ракет, чем бы это помогло в той конкретной ситуации, которая тогда сложилась. Но тут не следует заблуждаться, у американцев это нашло отклик, в них пробудили комплекс неполноценности.

Кроме этого, конечно, всю действовала кампания, которая до того уже велась много лет. Это относительно так называемой советской военной угрозы.

В этих условиях сторонники самого жесткого милитаристского курса сумели не только захватить Белый дом, правительство, обеспечить себе большинство в конгрессе, но и получить поддержку значительной части населения. Повторяю, сумму причин всего этого следует искать в том, что противники разрядки в США всегда были сильными. И развернувшаяся в этой стране еще в 70-е годы борьба в правящих кругах — какая, крайняя или умеренная, группировка будет определять американскую политику — весьма обострилась.

В. Кобыш. Вы говорите о двух тенденциях в американской политике. Определился ли ее итог окончательно?

Г. Арбатов. Да, можно сказать, что в американской политике верх взяли самые экстремистские взгляды. И в вопросе о военных расходах и вообще во внешнеполити-

ческом курсе США. Ну, правда, некоторые считают, что ультраправые в США больше лают, чем кусаются. Но мне это кажется упрощением ситуации. Лают они действительно очень много. И разговоров воинственных исходит из Вашингтона достаточно. Но не только разговорами, к сожалению, ограничивается дело. Идет рост военных ассигнований (на 1983 год они уже планируются в размере 260 миллиардов долларов), принимаются решения о все новых военных программах, в том числе широкого внедрения химического оружия. США прибегают к силовым приемам на разных континентах, осуществляют вмешательство во внутренние дела ряда стран, что, в частности, находит свое выражение в их политике в отношении Польши. Это все стало реально-стью. Наблюдая такое, мы имеем основание вспомнить о временах «холодной войны» и заподозрить, что Вашингтоном взят курс на то, чтобы отместить все то положительное, что ценой большого труда удалось накопить в международных отношениях, и сделать большой шаг в сторону от разрядки.

В. Кобыш. Ваш анализ абсолютно точен. Но, полагаю, что есть еще одна сторона всего этого дела.

Конечно же, в Вашингтоне в правительственных ведомствах сидят сейчас и непрофессионалы и профессионалы. Там есть люди, прекрасно знающие действительное положение вещей, в том числе и то, что между СССР и США, Варшавским Договором и НАТО, существует примерный военно-стратегический паритет. Думаю, курс на конфронтацию, на применение преимущественно силовых приемов несет в себе немалый элемент блефа. Потому что в условиях военно-стратегического паритета — это в числе прочего еще и попытка запугать нас. То есть идет игра в своего рода политический покер. Конечно, это очень опасный покер: разыгрывается он в ядерный век, игроки в угаре. И все-таки во многом — это стремление, так сказать, взять нас на ура.

Г. Арбатов. Да, это, конечно, так, хотя, собственно говоря, и вся затея с «холодной войной» в значительной мере состояла в том же. Такого рода игра ведется с тех пор, как американцы утратили монополию на ядерное оружие.

Но, как вы правильно заметили, сама по себе это опасная политика, потому что она может вести к вооруженным конфликтам, к эскалации гонки ядерных вооружений.

Все дело в том, что в ядерную эпоху мало про себя думать, что ты-то войны все-таки по возможности не начнешь, что ты просто обороняешься. Необходимо активно создавать условия, при которых ход обстоятельств не втянул бы тебя в эту войну. Это тем более актуально в ситуации, когда ядерных держав стало больше, чем две. И когда вообще очень многое не контролируется ими, а на подходе системы оружия, которые сделают баланс еще более шатким, будут способствовать росту нестабильности в мире.

На данный момент сам по себе этот баланс, видимо, является достаточно устойчивым и прочным. И даже самые горячие головы в Америке, что бы они ни говорили, очевидно, не могут не понимать, что его нарушение может плохо кончиться. Так что какие-то игры с этим делом, весь этот, как вы, Виталий Иванович, правильно говорите, блеф — все, что стало сейчас поветрием в Америке, — опасная авантюра.

Увы, многие из тех, что стоят сейчас у кормила власти в США, не понимают, с чем они шутят. Усугубляет дело то, что в качестве экспертов их консультируют псевдоученые, которых скорее можно назвать пропагандистами-неудачниками. В течение многих лет они рвали к власти. Теперь они ею упиваются.

В. Кобыш. Вы имеете в виду «экспертов» вроде Ричарда Пайпса, который заявил, что или Советский Союз изменит систему правления, или ему придется воевать?

Г. Арбатов. Именно. Можете себе представить: великая держава — США, а в Белом доме, пусть даже не на первых ролях, люди типа Ричарда Пайпса!

В. Кобыш. Да, невеселое, даже несколько тревожное зрелище.

Г. Арбатов. Возникает, конечно, и такой вопрос. Сейчас США проводят этот свой жесткий курс, отказываясь от того, что было достигнуто в предыдущее десятилетие. Но ведь политика связана не только с субъективными, но и объективными факторами. Объективная реальность состоит в том, что довольно продолжительное время США придерживались политики разрядки. Другое дело, почему правящие

круги Соединенных Штатов вынуждены были на нее пойти. Но они пошли: в минувшие годы в Вашингтоне видели выгоду для США в курсе на разрядку, а не в том курсе, который провозгласила нынешняя администрация. Так что же произошло с Америкой такого, что ее правящий класс счел теперь для себя разрядку невыгодной?

В. Кобыш. Вопрос интересный. Но, наверное, простого ответа на него нет. Точнее, одного ответа нет, их много.

Мы, марксисты,— диалектики, все явления рассматриваем во времени и пространстве. Давайте восстановим в памяти период, когда набирала силу политика разрядки — конец 60-х, начало 70-х годов. И правящий класс Америки и широкое население Соединенных Штатов к тому времени уже ясно осознали, что война во Вьетнаме — это величайшая национальная катастрофа, что она обернулась самым обидным, позорным военно-политическим поражением. Страна окунулась в глубочайший моральный кризис.

Г. Арбагов. Я бы сказал, кризис морально-политический.

В. Кобыш. Согласен. В Соединенных Штатах, если Вы помните, поднялось в тот период достаточно широкое антивоенное движение. В этих условиях разрядка для многих предстала как нечто очень соблазнительное: даже для правящего класса, даже для ультраконсерваторов. Может быть, скажу нечто спорное, но мне кажется, что именно ультраконсерваторы в этом деле сыграли важную роль: либералы, думаю, на разрядку вряд ли осмелились бы пойти. Так возник Никсон как сторонник политики разрядки. Ему и другим она казалась выходом из тупика, спасением от позора. Таким образом, политика разрядки стала на определенный период официальным курсом администрации США.

Разумеется, с разрядкой связывались определенные расчеты и планы, не имеющие отношения к проблеме обеспечения мира и безопасности народов. Кому-то в Вашингтоне, и не только в Вашингтоне, казалось, что этот курс затормозит социально-экономические процессы, происходящие в капиталистических странах, нейтрализует национально-освободительное движение. Считали даже, что в условиях разрядки им легче будет бороться против социализма, размывать его, подрывая социалистическое содружество.

Из этого, как известно, ничего не получилось. Выступления трудящихся в капиталистических странах не прекратились, они продолжались. Национально-освободительное движение не только не остановилось, оно усилилось. В условиях мира, разрядки социализм еще больше укрепился. Вот тут и начались истерики, сделан был крутой поворот в сторону от разрядки.

Сейчас, когда в Вашингтоне глядят на карту мира, она там вызывает у многих ужас. Происходящие в мире перемены объявляют результатом «злонамеренных действий» Советского Союза, «приисков коммунизма». Прямой обман американского обывателя: «советской угрозой» ему затуманивают сознание, понимание того простого факта, что история идет своим маршем и никому не дано ее остановить. Перемены происходят в Африке, в Азии, в Латинской Америке. Но это естественные перемены. В свое время они произошли и в самих Соединенных Штатах Америки: я имею в виду их войну за независимость.

Г. Арбагов. Виталий Иванович, я думаю, что, конечно, недооценивать значения вьетнамской войны и поражения в ней американцев никак нельзя. Но мне кажется, что это скорее был катализатор. Как раз в тот период вы работали в Америке, писали о ней постоянно как журналист. Мы часто с вами там встречались. И вы помните, что американцы тогда вступили в полосу серьезных переоценок. Они осознали, что «холодная война» несостоятельна и что вообще трудно думать о войне в ядерный век, тем более в условиях такого соотношения сил, когда ядерное оружие делает попросту бессмысленными расчеты на победу в традиционном понимании этого слова. Понимание этого уже давно как-то начинало проявляться в сознании людей: и в конце 50-х, а тем более в 60-х годах.

Вьетнам, конечно, сыграл тут очень большую роль, потому что он ускорил все эти процессы. Из уроков поражения во Вьетнаме в Америке в тот момент начали делать гораздо более далеко идущие выводы: не только о том, что нельзя затевать такие войны, но и о том, что вообще вся идеология, философия «холодной войны» ошибочны, что пришло время как-то ограничить гонку вооружений. Тогда и начались переговоры, зародился процесс ОСВ.

Так что я думаю, за Вьетнамом, как таковым, стоит нечто большее. Другое дело, нынешние руководители Соединенных Штатов стараются сейчас забыть урок Вьетнама, излечиться от так называемого вьетнамского синдрома. И пытаются вообще заставить людей забыть историю. Но это, наверно, можно сделать на какой-то период, в каких-то вопросах, но, в общем-то, не очень многих. Вы помните, как единодушно выступила американская общественность против прямого вооруженного вмешательства США в Сальвадоре?

В. Кобыш. Да, властям пришлось отступить. Хорошо, Георгий Аркадьевич, если вы ставите вопрос о том, что у поворота к политике разрядки, на который Вашингтон пошел в начале 70-х годов, была объективная основа, то естествен и другой вопрос: а что же стоит за нынешним поворотом в сторону от разрядки к конфронтации, какие цели ставят перед собой те, кто пошел сейчас в Вашингтоне на ухудшение советско-американских отношений? В связи с этим хотел бы сразу заметить — наверно неправильно считать, что этот негативный процесс начался со времени прихода к власти Р. Рейгана или даже Дж. Картера. Ведь еще Дж. Форд просто запретил произносить само слово «разрядка». Ну, а сейчас это логически привело к тому, что министр обороны США К. Уайнбергер, выступая в апреле прошлого года в Бонне, сказал буквально следующее: «Если переход от холодной войны к разрядке является прогрессом, то мы не можем позволить себе такого прогресса».

Г. Арбатов. Верно, история с подрывом политики разрядки началась не вчера.

Если уж говорить всю правду, то в США против нее под разными предложениями все время велась борьба. В 1974 году, еще при Никсоне, эта борьба приняла уже характер широко организованного заговора. Именно тогда была заложена основа новой американской стратегической доктрины, которая позднее трансформировалась в доктрину ограниченной ядерной войны. Занимался ее разработкой Шлесинджер, в то время министр обороны Соединенных Штатов. В том же году было фактически сорвано и налаживание нормальных экономических отношений между США и СССР. В 1976 году начал действовать так называемый Комитет по существующей опасности, лихомерно создавались другие выступавшие против политики разрядки организации, объединения, центры. Все они перешли в контратаку.

В. Кобыш. Итак, корни этого идут вглубь. Но в наиболее острой форме противодействие политике разрядки проявилось сейчас. Так какие же все-таки цели ставят перед собой те, кто в данное время сражается с разрядкой?

Г. Арбатов. Цели — разные. Есть более или менее конкретные, причем у каждой группы они свои. Прежде всего — это борьба за влияние, за прибыли. Все мы знаем о всемогуществе американского военно-промышленного комплекса. И это не фантазия, особенно когда имеешь в виду, что на его содержание в ближайшие пять лет ассигнуется полтора триллиона, или полторы тысячи миллиардов долларов. Чудовищная сумма, как видите: каждому хочется ухватить свою долю пирога. Теперь говорят, что и этого недостаточно, что потребуется еще 750 миллиардов.

Следует принимать во внимание и такое обстоятельство. Люди, которые из-за их устаревших, прямо-таки троглодитских взглядов на мир, на политику, были выброшены на боковые дорожки, теперь вдруг почувствовали, что, может быть, снова настал их день или час, и хоть час, но они покричат, чем и занимаются.

И все-таки, если говорить о главном, за этим поворотом на конфронтацию стоит нечто большее.

Мы иногда считаем, что тон стали задавать консерваторы. Но это не точно для определения нынешней политики США. Консерваторы в переводе на русский язык — это те, кто хочет сохранить то, что есть, они против прогресса. В данном случае есть больше оснований говорить о реакционерах, которые хотят повернуть вспять курс истории, причем вспять по всему фронту, включая экономику. Им даже не нравится тот капитализм, который сейчас у них утвердился. Идеал капитализма в их представлении — это другой капитализм, частнособственническая система без малейшего вмешательства государства.

В. Кобыш. Вы имеете в виду, что после больших потрясений — социальных, экономических — капитализм начал осуществлять какие-то реформы, пытаться что-то делать, регулировать с целью избежать катаклизмов?

Г. Арбатов. Нынешние американские руководители считают, что этого не надо

делать, что «новый курс» Рузвельта — это ошибка, если не предательство. А вот что надо — это давить, жать на рабочих и профсоюзы, до предела урезывать социальные расходы. Они исходят из того, что предпринимателей нельзя связывать никакими ограничениями, что необходимо максимально снизить налоги на прибыли. Все отдается на волю частного предпринимательства, государственное регулирование сводится к минимуму.

В политике — это наступление на саму буржуазную демократию, на провозглашенные ею права и свободы. И для осуществления этого наступления им как раз и нужно состояние «отмобилизованного» общества, нужно раздувание страха, чтобы люди всего боялись, чтобы необходимость большей дисциплины внутри можно было оправдать угрозой извне.

В военной политике — это попытка вернуться к самым классическим неприкрытым воззрениям империализма XIX века. Соединенным Штатам нужна нефть, другие виды сырья — значит, целые регионы, если не континенты, будь то Ближний Восток или Латинская Америка, объявляются «зоной жизненных интересов» США.

Это, конечно же, поход против истории, хотя прикрывается он лозунгами защиты от «коммунистической опасности», «советской угрозы». По существу — это политика, нацеленная против всего мира. США, так сказать, обиделись на весь мир. Им стало совсем не так уютно в этом мире, как в былые времена, когда они имели монополию на ядерное оружие, были абсолютным гегемоном в капиталистической системе, выступали подавляющей силой в «третьем мире», где они хозяйничали, как хотели.

Им очень хочется вернуться к прошлому. Между прочим, в этом плане, я бы сказал, что и американский обыватель тоскует по тем временам. Над ним и тогда издевались, это было время и маккартизма, и похода против профсоюзов, и всех других классовых, социальных гонений. Но ему сегодня кажется — такое свойственно человеческому сознанию, — что то было лучшее время его жизни, когда Америку боялись и все вроде было хорошо.

В. Кобыш. Вы хорошо сказали, что правящие круги США обиделись на весь мир. Но они на него не просто обиделись, но хотят по-своему переделать. Потому они и перешли в наступление. Дело не ограничивается тем, что руководители США хотят предотвратить появление новых Иранов. Те страны, где уже произошли перемены, они стремятся вернуть к прежним порядкам. Те страны, которые рвутся в XX век, — вернуть в век XVIII. Смотрите, что происходит на Ближнем Востоке, что творится в Латинской Америке, в том же Сальвадоре? Идут там на силовые приемы настолько очевидные и настолько разоблачительные для них самих, что выступают в роли не просто ретроградов, а контрреволюционеров, террористов истории.

Американцы, обыватель в том числе, привыкли, что в страну со всего мира бесперебойно поступают нефть, цветные металлы, всякого рода минералы. Ведь сейчас Америка потребляет уже больше половины ввозимой нефти. Она полностью зависит от многих видов сырья, именуемого стратегическим, которого у нее нет. И тут, конечно, возникает очень серьезная проблема определенной действительной зависимости нынешней американской экономики от этих природных ресурсов. Но вместо того чтобы на разумной основе построить международные отношения, базис, который позволил бы обеспечивать себя этими жизненно необходимыми, как утверждают руководители США, но не принадлежащими им природными ресурсами, они хотят взять их без спроса с помощью ракет, «сил быстрого развертывания», объявляя «зонами жизненных интересов США» районов, отстоящих от них на тысячи километров. В этом заложена, разумеется, очень большая историческая, объективная слабость такой политики. Вообще в курсе на конфронтацию видна не сила, а слабость, в нем проглядывает какой-то комплекс неполноценности.

Г. Арбатов. Несколько лет назад американцы много говорили о «взаимозависимости». В подтверждение приводились разного рода цифры, подчеркивалась зависимость США от иностранных рынков. Сейчас обнаружилось, что американцы становятся зависимыми и в другом плане: в целом они довольно много закупают готовых изделий и в других странах. И об этом говорилось как, в общем, о положительном процессе, который укрепляет основы мира, способствует развитию торговли, экономических связей между странами. И так оно и есть, это совершенно закономерная тенденция, содействующая экономическому росту, экономическому прогрессу. Чем больше сла-

ваются рынки: тем больше объективная потребность в экономическом, научно-техническом сотрудничестве различных государств.

Но когда американцы увидели, что эта взаимозависимость, так сказать, зависит не только от них, но и от других, вот это им очень не понравилось. Вот тут и появились «силы быстрого развертывания».

В. Кобыш. Ну, а метод, при помощи которого Вашингтон сегодня хочет оправдать такую политику, империализм в чистом виде,— это попытка запугать и американский народ и весь мир «советской угрозой». Основа политико-пропагандистской стратегии Вашингтона состоит в том, чтобы любым способом убедить общественность, что единственная сила, которая может спасти мир от этой придуманной угрозы,— это Соединенные Штаты. Фактов, которые могли бы подтвердить миф об этой угрозе, у хозяев Америки нет, а потому они идут на любые фальсификации вроде того постыдного телевизионного шоу «Пусть Польша будет Польшей» или показанной по Эн-би-си телепередачи «Третья мировая война».

Вот недавно во всех американских книжных магазинах и лавках очень дешево продавалась — да и бесплатно рассылалась — броская брошюра, именуемая «Советская военная мощь».

Брошюра, которую написали не какие-то там безответственные лица: на ней стоит официальная печать Пентагона. В брошюре не без пропагандистской ловкости подобраны факты, фотографии, выдаваемые за фотографии рисунки, которые преподносятся как документы, имеющие целью подтвердить, что над всем миром нависла «советская военная угроза».

Г. Арбатов. Да, я видел эту брошюру. Не очень только согласен с вашим утверждением, что ее готовили не какие-то там безответственные лица. Думаю, что они как раз безответственные.

В. Кобыш. Ну скажем так тогда: безответственные лица, занимающие ответственные посты.

Г. Арбатов. Так это точнее. Что же касается брошюры, то это какое-то странное произведение. С одной стороны, со многими из того, что в ней есть, я бы не стал спорить, поскольку приводятся некоторые цифры, взятые из Договора ОСВ-2: количество ракет и так далее. Они доказывают, что Советский Союз обладает очень сильной оборонной мощью. Это правда. И я не могу сказать, что мы, советские люди, не должны испытывать от этого удовлетворения. Наша оборонная мощь — решающий фактор поддержания мира.

Но одновременно брошюра полна разного рода домыслов, фантазий. Кроме того, в ней нет никаких сопоставлений. Просто говорится, что у русских — огромный военный потенциал, в том числе ядерный. И нет ни слова, объясняющего, почему же Советский Союз почувствовал себя вынужденным создать такую оборонную мощь. А между тем на то были очень серьезные причины. Если проследить любой этап гонки вооружений в послевоенные годы, мы увидим, что Советский Союз никогда не был ее зачинщиком. Мы лишь в целях обороны вслед за США вводили новые системы вооружений. Американец, разумеется, не имеет об этом ни малейшего представления.

Вот так его, бессовестно обманывая, запугивают.

Но не следует недооценивать опасность этого обмана. Для правдоподобности пускается в ход, например, такой тезис (я цитирую министра обороны Уайнбергера): вот уже в течение 20 лет Советский Союз тратит вдвое больше США средств на обычные вооруженные силы и втрое — на стратегические.

Кто из рядовых американцев может проверить, так это или не так? А ведь это полная чушь, нелепость.

Наши специалисты подсчитали, что если бы то, что утверждает Уайнбергер, было правдой, то 70 процентов своего бюджета Советский Союз тратил бы сегодня на оборонную мощь, что, очевидно, просто физически невозможно. Вспомним, что в самый тяжелый для нас год войны — 1942-й, когда вся страна была на голодном пайке, на военные нужды выделялось 59 процентов бюджета. Так что подсчеты Уайнбергера — абсолютная фантастика. Увы, эта ежедневно, ежеминутно вдалбливаемая ложь делает свое черное дело. Вроде бы даже думающие люди в США порой поддаются этой грубой и в целом построенной на нелепостях пропаганде.

В. Кобыш. Если не возражаете, вернемся к основной теме. Насколько реальна задача достижения военного превосходства, которую объявляют вслух нынешние ва-

шингтонские руководители, их цель — реставрировать монархии и кровавые диктатуры, словом, остановить историю?

Г. Арбатов. Это самое уязвимое место всей сегодняшней американской политики. Эта политика проводится под лозунгом: вперед — значит назад. Когда руководители США пытаются сегодня вернуть и экономику, и политику их страны, и всю международную ситуацию куда-то в далекое прошлое, когда государства и народы жили и функционировали в совершенно иных условиях, то, конечно, это означает лишь одно — полный отрыв от реальностей. От реальностей разного плана.

Я бы начал тут, может быть, с экономических реальностей. Рейганомика, то есть рейгановская экономика — такое сокращение произвели уже в Америке, — стоит на трех «китах». Первый — это снижение правительственных расходов, всех, кроме военных, но имеется в виду прежде всего урезывание социальных программ. Второй «кит» — сокращение налогов, в первую очередь налогов с монополий, богатых, наиболее состоятельной части общества. И третий — рост, очень быстрый и очень значительный, военных расходов.

В августе 1981 года Рейган провел свою экономическую программу через конгресс. И уехал отдыхать в Калифорнию. И конгрессмены тоже уехали. Но в это время дошлые люди с Уолл-стрита взяли карандаши в руки и начали подсчитывать. Результат их подсчетов взорвался бомбой. Бюджет оказался попросту несерьезно составленным. Концы с концами в нем ну никак не сходились.

В. Кобыш. Кстати, близкие к Рейгану люди между собой говорят сейчас, что после коммунизма, Советского Союза, у Рейгана, наверное, основной враг — это Уолл-стрит. Только потому, что там есть грамотные экономисты, которые заняты серьезным анализом.

Г. Арбатов. Да, в этой шутке есть немалая доля серьезного. Кончилось все это не просто грустными подсчетами, но падением курса ценных бумаг, в общем крупными неприятностями на бирже.

Рейган вернулся из отпуска. Началось какое-то урезывание некоторых программ, причем военные расходы, с которых легче всего было бы начать, Рейган по существу оставил нетронутыми. Отыгрались опять-таки на социальных программах.

Как видите, дела в американской экономике оказались не очень простыми. Два квартала подряд наблюдался спад производства. Инфляция, которая начала было сокращаться, снова увеличилась. За период пребывания у власти администрации Рейгана на 2 миллиона человек выросло число безработных, по официальным данным, их сейчас 9,5 миллиона.

Но дело не только в этом. В экономике США в целом ряде базовых отраслей появились очень серьезные трудности. Последние несколько лет там не растет производительность труда. В 1980 году она даже на полпроцента снизилась. Такие отрасли промышленности, как автомобильная, сталелитейная, бытовой электроники, станкостроительная, и целый ряд других заметно отстали и не могут конкурировать на мировом рынке. Требуется колоссальные финансовые вливания, чтобы как-то выправить положение. Подсчитано, например, что только в сталелитейную промышленность, чтобы сделать ее конкурентоспособной с японской, надо вложить примерно 100 миллиардов долларов. Взять их неоткуда.

Это и многое другое вызывает беспокойство у американцев. Так же, как то, что государственный долг страны впервые превысил триллион долларов. Одни проценты по этому долгу сейчас составляют почти 100 миллиардов долларов в год.

Так что с экономикой получается не совсем так, как на то рассчитывал президент США. И это в определенной мере может стать ограничителем для многих далеко идущих планов нынешней администрации.

В. Кобыш. Мы с вами говорили об особой позиции Уолл-стрита. Получается, что даже внутри, страшно сказать, самого монополистического капитала все отнюдь не однозначно. Сейчас пляшут в основном крупные корпорации, поскольку они больше других выиграли от снижения налогов. И особенно весело пляшут военные корпорации, прежде всего западного побережья: ракетостроительные, самолетостроительные, электронные и прочие. Северо-восточный же промышленный и тем более банковский бизнес отнюдь не пребывает в состоянии восторга, наблюдая за экономической политикой правительства. Рейгана и его команду это весьма беспокоит.

Получается так, что реальная американская экономическая амуниция сегодня,

мягко выражаясь, не вполне соответствует политическим амбициям Вашингтона. Хотя преуменьшать экономическое могущество США, по-видимому, не следует.

Г. Арбатов. Не следует. В экономическом плане США все-таки остаются самой мощной страной капиталистического мира. И, конечно, они могут много всего сделать, в том числе и плохого. Но у них не безграничные возможности.

И еще об одном следует сказать. Администрация Рейгана сталкивается в проведении своей экономической линии с серьезными социальными потрясениями внутри США. Рейган и его люди активно урезают социальные программы. Но ведь они вырабатывались в течение десятилетий. С их помощью, бросая подачки в виде пособий по безработице и так далее, буржуазная Америка пыталась в известной мере откупиться от внутренних социальных конфликтов.

Я думаю, что поход против социальных завоеваний трудящихся чреват серьезными дестабилизирующими последствиями для внутривнутриполитической обстановки. Это тоже в немалой степени ограничитель.

Ну и, конечно, к таким ограничителям, сковывающим действия руководителей Вашингтона, следует отнести ряд внешнеполитических факторов.

В. Кобыш. Да, они налицо. И сейчас очень активно проявляются. Вы говорили, Георгий Аркадьевич, о том, что США остаются самой мощной страной капиталистического мира. Факт очевидный, но не статичный. Цифры говорят, что валовой национальный продукт стран — участниц европейского сообщества — сравнялся с американским.

Г. Арбатов. Даже превысил его.

В. Кобыш. Тем более. Известно также, и вы об этом упоминали, что Америка очень отстает во многих областях технологии, прежде всего когда речь идет о Японии и ФРГ. Уже с десяток европейских стран обошли Соединенные Штаты по доходам на душу населения. И есть предположение, что скоро обгонит Соединенные Штаты и Япония.

В это самое время США пытаются навязать своим союзникам курс, который, как говорят в Вашингтоне, имеет целью справедливое распределение бремени военных расходов. Но даже не самые просвещенные экономисты на Западе понимают, что за этим стоит коварный замысел: надеть узду непосильных военных расходов на экономических конкурентов, остановить их развитие. Объективно это порождает острые межимпериалистические разногласия, весьма напряженную ситуацию в НАТО и в отношениях с Японией.

Прибавился еще один, очень эмоциональный и очень серьезный фактор, усиливающий разногласия. Это поднявшиеся в западноевропейских странах антивоенные выступления, гигантское антиракетное движение, которое охватило ФРГ, Англию, Италию и другие западноевропейские государства.

Г. Арбатов. Я бы сказал, Виталий Иванович, что эти массовые выступления очень болезненно воспринимаются западноевропейскими правительствами. Посмотрите, что происходит в некоторых западноевропейских буржуазных, а особенно, социал-демократических партиях, в том числе правящих. Даже тот в их рядах, кто считался настроенным проамерикански, сейчас негодует, кипит возмущением. Это реакция на объявление Вашингтоном планов ведения «ограниченной» ядерной войны. Войны — не в Америке и не где-нибудь еще, а в Европе. Тут сейчас растет понимание коренных расхождений между американцами и европейцами в представлении об интересах безопасности. У жителей западноевропейских стран растет опасение, что американцы рассматривают Европу, как какой-то выдвинутый вперед театр военных действий, где при определенных обстоятельствах США будут готовы подражаться с Советским Союзом, причем подражаться даже с применением ядерного оружия. И западноевропейцы подозревают также, что в Вашингтоне рассчитывают при этом на то, что война не затронет саму американскую территорию.

В. Кобыш. А для европейцев их континент — это не выдвинутый вперед театр военных действий, а их родина, единственное место, которое им отведено для жизни.

Конечно, зловредная пропаганда о «советской военной угрозе», которая так сильна в Америке, своим ядом отравила многих и в Западной Европе. Но вот мой скромный опыт показывает, что даже те, кто когда-то верил, а может, отчасти и продолжает верить в какую-то «советскую военную угрозу», хотя сама по себе постановка вопроса абсолютно непонятна и даже иррациональна — как мы угрожаем

Европе, чем? — сейчас начинают осознать, что угроза-то исходит не от Советского Союза. Что прямую угрозу самой их жизни несут американские крылатые ракеты и «Першинги-2», которые намечено разместить на территории пяти западноевропейских государств.

Я был недавно на Британских островах, где вел с весьма компетентными людьми дискуссии по всем этим вопросам. И они мне рассказали нечто интересное. Уже известны места, где американцы намеряют разместить 160 крылатых ракет. В этих местах в пикетах стоят сейчас не только рабочие, профсоюзные активисты, религиозные деятели, но и отставные военные в чинах. Стоят в пикетах дамы в элегантных нарядах из лучших аристократических семей. Все почувствовали, что угроза касается каждого. И когда Рейган выступил со своим заявлением о том, что Европа может стать полем боя в тактической ядерной войне, это, конечно, оказалось динамитом. Западная Европа взорвалась не только протестами, гневом, ужасом, но и отвращением к вашингтонским планам.

Отвращение вызывает и реакция руководящих американских деятелей на развернувшееся в Западной Европе антиракетное движение. Стало, в частности, широко известно высказывание министра обороны США Уайнбергера по поводу состоявшейся в Бонне в конце 1981 года невиданной по размаху антивоенной манифестации. «Это была самая разношерстная демонстрация, коалиция людей, и я сомневаюсь в том, чтобы этих людей объединяло что-то, кроме стремления маршировать и нести плакаты», — высокомерно, презрительно заклеил демонстрацию Уайнбергер. А в ней самое активное участие приняли представители правящих партий, в том числе депутаты бундестага. Ну разве это не оскорбление, разве это не действия слона в посудной лавке?

Это язык, на котором европейцы не хотят говорить. Такой язык им кажется примитивным. Для них он сейчас выглядит просто разговором людей с дикого Запада. И это все не проходит просто так. Дело с предстоящим размещением ракет, дело чрезвычайно опасное, тающее в себе угрозу миру и безопасности европейских народов, весьма осложнилось для Вашингтона.

Г. Арбатов. Да, для Вашингтона очень многое осложнилось. Но нам, наверное, следует подвести какой-то итог. Если заглянуть в будущее, что оно несет народам: неизбежность конфронтации, а может быть, и того хуже — ядерной войны с угрозой всеобщего уничтожения, или опасности удастся избежать?

В. Кобыш. Георгий Аркадьевич, если позволите, я в этой связи чуть-чуть пофилософствую.

Великий Жюлио Кюри говорил в свое время, что многие беды человечества связаны с его крайней молодостью. Даже не молодостью, а младенчеством, если иметь в виду, что за плечами у цивилизации всего несколько сотен поколений человеческих жизней.

Другое дело, что младенцы, которые играют не со спичками, а с ядерным оружием, могут устроить такое, что и детства не будет. Но так или иначе это всего лишь начало. И уже в этом начальном периоде цивилизации людям становится понятно, что война — дикость, ее не должно быть, что война как арбитр в споре между двумя системами больше не годится, потому что, если она случится, просто не останется возможности вести споры.

И вот это понимание не абстрактно, оно обретает плоть и кровь — особенно в связи с Программой мира на 80-е годы, которую выдвинул XXVI съезд нашей партии. Предложения, содержащиеся в этой Программе, были поначалу окрещены Западом как пропаганда, как лозунги, не более того. А сегодня ведь одно за другим они становятся практической основой для конкретных конструктивных переговоров.

Г. Арбатов. Я думаю, Виталий Иванович, вы правильно фиксируете внимание именно на Программе XXVI съезда. Потому что, когда мы ведем речь о будущем мировой политики, международных отношений, мы не можем говорить так, как если бы обсуждалась, скажем, погода. Потому что мы являемся прямыми участниками, я бы сказал, весьма влиятельными участниками тех процессов, которые определяют лицо будущего человечества.

И, конечно, тот факт, что наша политика нацелена на мир, а, собственно, с этого она и началась — с лозунгом «мир» из Октябрьской революции родилось новое общество, новое Советское государство — очень многое определяет в сегодняшнем мире.

Все больше людей на земле понимают, что без этой нашей политики человечество не выходило бы из войн, а, возможно, от него вовсе бы уже ничего не осталось.

Люди вообще стали понимать значительно больше, чем раньше. Многие, находившиеся в летаргии, что ли, во сне или под влиянием каких-то фальшивых лозунгов, сейчас начинают переосмысливать очень существенные вещи. Сам факт, что люди поняли, какая опасность им угрожает, вызвал к жизни своего рода защитные механизмы человечества. Чем больше опасность, тем сильнее и сопротивление ей.

В. Кобыш. Полагаю, что, не ставя себя в положение розовых оптимистов, мы в то же время имеем основания считать, что фатализма войны нет, что силы мира, которые противостоят силам войны, во-первых, их превосходят, а во-вторых, за ними разум, логика человеческого развития, сама идея жизни.

Г. Арбатов. Ну а если вернуться к советско-американским отношениям, которые составляют и, по-видимому, долго еще будут составлять весьма важную часть мировой политики, то, наверное, будет правильно сказать, что только сейчас кое-что из реальностей этих отношений начало высвечиваться. Правительство Рейгана находится у власти не так уж долго. Посмотрим, как оно отреагирует на наши мирные предложения, и вообще как оно будет выходить из трудностей, которые в немалой степени себе создало, приспособляясь к происходящим в мире необратимым процессам. Как раз опыт США показывает, что даже самые консервативные политики бывают достаточно прагматичными, чтобы понять, что можно делать, а чего нельзя.

В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что серьезной проверкой действительных намерений правительства США станут проходящие в Женеве советско-американские переговоры об ограничении ядерного оружия средней дальности.

В. Кобыш. Согласен, это действительно очень важно: если в Женеве дело пойдет на лад, мистое можно будет сдвинуть с мертвой точки. К сожалению, пока что позиция США на этих переговорах не выглядит конструктивной. Создается впечатление, что их просто используют для того, чтобы обмануть союзников и в конце концов навязать им размещение «Першингов-2» и крылатых ракет. Не внушает оптимизма и позиция Вашингтона в отношении возобновления переговоров о стратегическом оружии.

Так или иначе, понимание того, что пришла пора действовать, пробивает себе путь даже в Соединенных Штатах Америки. Люди начинают осознавать — в Америке, к сожалению, позже и в меньшей степени, чем в других странах, — что человечество созрело для того, чтобы жить без войн, что оно заслужило это право, выстрадало его, что оно достойно его. Что люди — хозяева своей судьбы.

ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ

★

МЕЖДУЦАРСТВИЕ, ИЛИ ХРОНИКА ВРЕМЕН ДЭН СЯОПИНА

Во внутренней политике Китая происходят сейчас изменения. Истинный смысл их еще покажет время. Оно покажет, в какой мере нынешнему китайскому руководству удастся преодолеть маоистское наследие.

Из доклада Л. И. Брежнева на XXVI съезде КПСС.

Я долго искал название этой политической хронике. Мне хотелось понять характер тех волнений, что переживает сейчас пробудившийся к новой жизни, некогда тихий океан людей, сложнейшей эволюции миллиарда человеческих существ на их невероятно трудном, нередко трагическом пути к современной цивилизации. И я нашел (так мне по крайней мере кажется) подходящее определение — ключ к пониманию происходящего в Китае: междуцарствие, или смутное время.

Разумеется, черты нынешнего смутного времени в Китае чрезвычайно специфичны. Они неповторимы, и я менее всего склонен искать объяснение происходящих там процессов в простой аналогии с тем, что пережил китайский народ в прошлом. И все же... И все же если история чему-то учит, то, несомненно, пониманию сходства, равно как и различия дня сегодняшнего и дня минувшего.

Не случайно, что и сами нынешние китайские руководители, ученые, писатели постоянно оглядываются назад, нередко в весьма отдаленное прошлое своей страны, желая лучше познать настоящее и будущее. Только постигая все своеобразие прошлой истории Китая, можно заглянуть за кулисы представления, происходящего у всех на глазах, и понять подлинный характер событий.

Церемониал, то есть соблюдение внешних форм поведения, Конфуций относил к величайшим добродетелям человека. Китайцы — большие мастера соблюдения условных форм, театральных представлений. Они показывают миру то лицо, которое, по их разумению, должно быть показано в настоящий момент. Вам, например, демонстрируют по телевидению ход судебного процесса над поверженной и изрыгающей проклятия вдовой бывшего Председателя ЦК КПК, тело которого покоится в хрустальном гробу в помпезном Доме памяти Мао Цзэдуна, куда официальные лица все еще совершают свои официальные визиты. Но все это не более чем представление, за кулисами которого происходит настоящее действие.

Вы смотрите кинохронику о поездке Хуа Гофэна по Европе. Широкие, распахнутые улыбки адресуются французам, англичанам, итальянцам, югославам. Мягкий, цивилизованный юмор то и дело мелькает в его речи: «Китай отвечает несколько веков спустя на визит в нашу страну Марко Поло». Дружески пожимаются руки. Направо и налево разбрасываются комплименты, адресованные народам и правительствам. Как далеко все это отстоит от традиционного презрения к «долгоносикам» — так испокон веков в Китае называли европейцев. Но, пожалуйста, не торопитесь верить. Не спешите думать, будто руководители Китая действительно оценили европейскую цивилизацию и намере-

ваются приобщиться к ней. Впрочем, самих-то западноевропейцев провести нелегко. Они весьма практичны и привыкли судить о народах и правительствах не по внешним проявлениям чувств, а по реальным делам. Сейчас им тоже выгодно делать вид, будто они верят очередному политическому шоу Китая, который стал набиваться к ним в друзья.

Но что же истинно? Давайте попробуем проникнуть за кулисы китайского театра, хоть это и непросто: надо все время быть настороже — не поддаться внешним эффектам. Итак: куда же идет Китай? чего можно ждать от него в обозримом будущем?

Эта хроника составлена в основном на том критическом материале, который доходит до нас из самого Китая. Осуществляемая там самокритика могла бы составить важную веху в развитии китайского общества и стать предпосылкой для его социального восстановления. Но эта критика, увы, весьма специфична: она адресуется почти исключительно поверженным политическим группировкам. Она, эта критика, практически не затрагивает ни главного героя бесславного двадцатилетия — Мао Цзэдуна, ни основ той системы, которая установилась в результате его многолетнего господства и отравила всю окружающую среду — и внутри китайского общества и в его отношениях с другими странами.

ПРОЦЕСС

Во времена междуцарствия, после смерти государя, императора, вождя, его ближайшие помощники и верные слуги падают первыми жертвами новоявленных правителей. И вот уже через месяц после смерти Мао Цзэдуна его вдова Цзян Цин и три ее ближайших друга — Чжан Чуньцяо, Яо Вэньюань и Ван Хунвэнь — оказались в тюрьме. А четыре года спустя они очутились на скамье подсудимых, свергнутые и раздавленные колесом истории, которое делает новый оборот. На них вымещают недовольство, которое накапливалось в партии и народе в связи с «большим скачком», «народными коммунками», «культурной революцией».

Самым примечательным событием последних лет в Китае был V пленум ЦК КПК (февраль 1980), где произошли сенсационная реабилитация Лю Шаоци и новые перестановки в руководстве партии и страны. Конец года ознаменовал судебный процесс над вдовой Мао Цзэдуна Цзян Цин и другими «леваками» (ноябрь 1980 — январь 1981). Эти события связаны между собой. Полная реабилитация главной жертвы «культурной революции» — Лю Шаоци логически требовала осуждения организаторов «культурной революции».

Собственно, наказания супруги бывшего Председателя ЦК КПК и ее приспешников ждали давно. Неожиданным и даже сенсационным было другое — судебный процесс над поверженной группировкой. Никто особенно не удивился бы в Китае, если б Цзян Цин и ее люди просто навсегда исчезли с политической арены, так же как прежде исчезали видные китайские деятели — Лю Шаоци, Пэн Дэхуай, Линь Бяо и другие. Но судебный процесс! Это неслыханно, это противоречит всем традициям последних тридцати лет, как и, впрочем, куда более древним традициям страны. Правда, это был весьма своеобразный процесс. В зал были допущены тщательно отобранные китайские функционеры. Однако некоторые фрагменты заседаний суда транслировались по телевидению...

Элементарный закон политической системы китайского общества предусматривает, что суд и расправа здесь являются прямой функцией власти. Они целиком находятся в зависимости от политического руководства и служат орудием ликвидации оппозиции. Так было всегда.

Что же произошло сейчас? Какие цели ставили организаторы процесса? Сами они всячески подчеркивали, что процесс символизирует переход страны к законности и порядку, конец нравов предыдущей эпохи, когда сотни тысяч невинных людей без суда и следствия подвергались избиениям, преследованиям, физическому уничтожению.

Возможно, что такие соображения играли какую-то роль, когда принималось решение об организации открытого процесса. Но вряд ли они были решающими. И вот почему. Это был не уголовный, а типично политический процесс, посредством которого одна политическая группа — группа победителей — сводила счеты с другой группой — побежденных. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на судебном процессе в качестве обвиняемых выступали не только живые люди, но и покойники, которых уже, увы, невозможно подвергнуть уголовному наказанию независимо от тяжести их преступлений.

Процесс так и назывался — суд над контрреволюционными группировками Линь Бяо и Цзян Цин. Линь Бяо исчез с политической арены осенью 1971 года; если верить сообщениям тогдашних руководителей Китая, он погиб при аварии самолета, направлявшегося из КНР в Монгольскую Народную Республику.

Если китайские руководители действительно хотели продемонстрировать торжество новой правовой системы в Китае, то они скорее достигли обратного. Миллионы телезрителей увидели, как далек еще современный Китай от элементарных норм правосудия. Больше того, у многих иностранных корреспондентов сложилось убеждение, что судебный процесс был заранее отрететирован всеми участниками представления. Только некоторые из них, и прежде всего печальная вдова, не пожелали играть отведенную им роль и потому вызывали особое раздражение у суда. И совсем уж стало не по себе законности, когда после окончания судебного разбирательства наступила долгая пауза (она длилась около месяца), в течение которой в высших политических сферах, по-видимому, обсуждалась мера наказания. Надо думать, этот вопрос был предметом острых дискуссий в шелонах власти КПК. В результате был выработан компромисс. Несмотря на смертный приговор Цзян Цин и Чжан Чуньцяо, их казнь в соответствии с действующим законом была отложена условно на два года, то есть фактически они были уравнены с другими обвиняемыми, приговоренными к пожизненному тюремному заключению.

Другая мотивировка, которая тоже мелькала в китайской печати, связывала необходимость процесса с требованиями удовлетворения жажды мести людей, которые пострадали в период «культурной революции». Китайская печать сообщила, что вдова Лю Шаоци Ван Гуаннэй, которая подвергалась жестоким пыткам в тюрьме, горячо пожалала руку вдове другого пострадавшего руководителя и сказала: «Я так счастлива». А та ответила: «Как долго я ждала этого дня, мой муж не единственный человек, которого они погубили».

Но как же обстояло все на самом деле?

Надо заметить, что процесс вывел под свет ramпы и разоблачил подлинное лицо политических руководителей маоистского Китая. Он обнаружил, что в силу самих механизмов власти на ее вершине оказываются довольно посредственные люди. Пока они находятся под лучами «красного солнышка», пока они облачены в пурпурные одежды, они кажутся значительными, яркими, а иной раз величественными. Но когда спадает вся эта мишура, мы видим довольно обывденные и нередко убогие существа.

Каждый из обвиняемых выбрал свою форму самозащиты. Цзян Цин решила бросить вызов обвинителям. Она не пожелала признать свою вину и просить снисхождения, что до сих пор является важнейшей нормой китайского правосудия. Она с пеной у рта оспаривала каждый пункт обвинения. Чжан Чуньцяо, бывший заместитель Председателя ЦК КПК, который в свое время делал доклад о маоистской конституции КНР и претендовал на пост премьер-министра, не открывал рта на протяжении всего процесса, не отвечал на вопросы даже по поводу своей анкеты. Самый молодой из обвиняемых, бывший шанхайский предводитель хунвейбинов Ван Хунвэнь, признавал все, что вменяли ему в вину, выдавал всех, кого только можно было выдать, и страстно молил о прощении.

Во время процесса китайская печать забила последний, самый ржавый гвоздь в «гроб» вдовы Председателя. Было опубликовано сообщение, что Мао Цзэдун будто бы вступил в интимные отношения со своей молоденькой секретаршей, женой рабочего-железнодорожника, и она родила ему двоих детей, которым сейчас больше десяти лет. Не обидел Мао мужа и мать этой женщины: он подарил им в качестве компенсации по отдельному домику. Мао Цзэдун не решился сделать секретаршу пятой женой, и оба ребенка носят фамилию ее мужа... Трудно, впрочем, судить, соответствует сообщение действительности или это очередной «сюжетный ход»...

Ни у одного из обвиняемых на процессе — а это были крупнейшие в прошлом руководители — не достало силы последовательно защищать политическую линию, проводниками которой они выступали в период «культурной революции». Внешне исключение как будто бы представляла Цзян Цин, которая отказалась признать свою вину и оказала сопротивление суду. История дала бывшей актрисе еще один шанс блеснуть на театральных подмостках перед публикой. Она никогда не имела подобной аудитории. Прямые телевизионные передачи смотрели сотни миллионов зрителей не только в Китае, но и во Франции, ФРГ, Италии, США и других странах мира.

Как же воспользовалась Цзян Цин этой уникальной возможностью? У нее не бы-

ле режиссера, как в период «культурной революции», когда весь замысел, сценарий, постановка, роли вплоть до отдельных реплик принадлежали самому Мао Цзэду. На этот раз она была предоставлена сама себе. Мысленно посоветовавшись с тенью своего супруга, она решила выбрать позицию борьбы и разоблачений, не рассчитывая, разумеется, на снисхождение, а стремясь только запечатлеть себя в этот драматический момент в том виде, в каком ее хотел бы видеть «великий кормчий».

И вот она разоблачала, разоблачала, разоблачала новых китайских руководителей за то, что они растоптали «заветы Мао Цзэдуна», за то, что они осуществляют лишь политическую расправу с поверженными противниками. Цзян Цин выбрала, в сущности, простой и бесхитростный, но внешне эффектный способ защиты: «Я выполняла решения ЦК КПК и Председателя Мао Цзэдуна». Несмотря на все ее стремление сыграть роль на просторных подмостках, которые ей предоставила судьба, она, конечно, не могла возвыситься до положения политического лидера. Она защищала себя, а не политику «культурной революции», основного смысла которой так и не смогла понять.

У меня не вызывает сомнения, что основным зачинщиком судебного процесса был Дэн Сяопин, а также его ставленники, вновь выдвинутые руководители — Ху Яобан и Чжао Цзыян. Для этих людей процесс представлял собой третий акт политической драмы по устранению «леваков» из состава высшего руководства КПК и дальнейшего упрочения власти «прагматиков».

Нет сомнения и в том, что Хуа Гофэн был последним, кто выступал за проведение судебного процесса. Он должен был прекрасно отдавать себе отчет, что перетряхивание грязного белья «культурной революции» не могло не бросить тень лично на него из-за его связей не только с Цзян Цин, но и с Линь Бяо. Не случайно Хуа Гофэн сильно нервничал в течение процесса, даже собирался выступить на судебном заседании, чтобы опровергнуть обвинения Цзян Цин. Подумать только, Председатель компартии Китая приглашается в качестве свидетеля в суд! Чем не китайский Уотергейт! Однако Хуа Гофэну не было позволено скрестить шпаги с бедной вдовицей и мир был лишен возможности насладиться редким зрелищем.

Но что было бы, если б Дэну не удалось вернуться к руководству КПК? Если бы Хуа Гофэн счел за благо сохранить союз с «бандой четырех» или даже пойти навстречу вожделям честолоубивой вдовы стать «коммунистической императрицей»? Иными словами, что было бы, если б в партии и стране продолжала господствовать группа сторонников «культурной революции»? Тогда все осталось бы на месте. Но горе побежденным. В этом смысле — и только в этом — можно понять Цзян Цин, которая бросила в лицо обвинителям (увы, это правда): «Вы расправляетесь с нами потому, что одержали верх!»

Все это странным образом вызывает в моей памяти страницы романа о разбойниках «Речные заводы», который очень любил Мао Цзэду. Мне запомнился рассказ, как в смутное время один крестьянин приходит к своему соседу, предусмотрительно захватив с собой топор и пилу. Он не очень ладил с соседом или, быть может, попросту зарился на его добро. И вот он укладывает своего соседа на деревянную скамью и методично отпиливает ему голову. Примечательно поведение жертвы: тот покорно и безропотно ложится на скамью, понимая полную бесполезность борьбы. Это не вызывает у него возмущения. Для него вполне достаточен простейший довод: у соседа в руках оказались топор и пила, а он не сообразил своевременно вооружиться. Верх берет тот, кто оказался наверху.

Китайский народ слышал эту фразу, когда Цзян Цин лихо расправлялась с врагами своего супруга. Теперь с помощью новейших технических средств — телевидения — он снова слышит в Китае ту же фразу от поверженной Цзян Цин. Хотя сейчас как будто торжествует справедливость, тем не менее она имеет тот же горький привкус: они правы, поскольку взяли верх.

КОРОЛЬ УМЕР, ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!

Ахиллесова пята всего судебного процесса, то, что способно свести на нет и справедливые его стороны, — это стремление любой ценой вывести из-под удара Мао Цзэдуна.

Кресло Мао Цзэдуна пустовало в зале заседаний. Из 48 пунктов обвинительного заключения 40 посвящены «культурной революции», но ни в одном из них не упоминается о роли Мао в этой кампании. Очевидно, что попытка провести политический про-

цесс против организаторов «культурной революции», полностью игнорируя ее главного героя, — такая попытка выглядит бессмысленной и жалкой.

В судебном процессе против Линь Бяо и Цзян Цин отразилась вся противоречивость эпохи, переживаемой китайской компартией и страной, все, до чего дошли и перед чем остановились нынешние китайские руководители. Они пересекли площадь Тяньаньмэнь и взяли реванш за кровавые события на ней не только в 1976, но и в 1966 году. Но они остановились перед хрустальной гробницей бывшего «великого кормчего». Несчастливая вдова сыграла в духе китайского театра масок роль своего покойного супруга: ее судили за действия, в которых виноват прежде всего Мао Цзэдун.

В отношении Мао Цзэдуна была выработана формула, связанная с оценкой его роли в период «культурной революции»: Мао «совершил ошибки», тогда как Линь Бяо и «банда четырех» виновны в преступлениях. Дэн Сяопин, отвечая (накануне процесса) на вопросы корреспондентов, не запятнает ли суд памяти Мао Цзэдуна, заявил: «Обещая вам, что суд над «бандой четырех» никак не запятнает памяти Председателя Мао. Конечно, он поможет вывить часть его ответственности — как, например, то, что он использовал «банду четырех», — но и только! Преступления, совершенные четверкой, настолько велики, что нам не надо впутывать Председателя Мао, чтобы доказать их вину».

На процессе, который чуть не вышел за рамки этого замысла, судьи всячески стремились выгородить Мао Цзэдуна. В заключительной речи прокурор сказал: «Бывший Председатель ЦК КПК несет свою долю ответственности за происходящее, поскольку он доверил власть „банде четырех“». Это был единственный и весьма робкий упрек, направленный организатору «культурной революции».

Почему же не судили Мао Цзэдуна?

В своем интервью иностранным журналистам Дэн Сяопин ответил на вопрос, как расценивается историческая роль Мао Цзэдуна в свете происходящего сейчас пересмотра его политики «культурной революции» и судебного процесса над самыми близкими его соратниками. Дэн Сяопин сказал: «Имя Мао Цзэдуна — мудрость всей партии. Его самая большая заслуга в том, что он сочетал марксизм с китайской практикой, революцией. Поэтому мы всегда будем отстаивать идеи Мао Цзэдуна. В то же время он в последний период своей жизни совершил ряд ошибок, и даже крупных. «Культурная революция» — это в любом случае крупная ошибка. Но когда мы оцениваем Мао Цзэдуна, мы всегда ставим его заслуги на первое место, а ошибки — на второе. Одновременно мы не можем замалчивать и его ошибок». В связи с судом над «бандой четырех» Дэн Сяопин отметил: «Будет тяжело избежать связи банды с Мао Цзэдуном», добавив, что «Мао совершил политические ошибки», а «члены банды несут персональную ответственность за совершенные ими преступления».

Имя Мао стало объектом политических манипуляций. Его роль оценивается в полной зависимости от той политики, которую намечают нынешние руководители. Чем дальше они идут по пути нового курса, тем труднее им воздерживаться от косвенной и прямой критики «великого кормчего». И наоборот: чем прочнее утверждаются новые функционеры на прежних позициях, тем выше поднимаются акции Мао. Сейчас все чаще в печати мелькает формула «7 к 3». Это означает, что деятельность Мао считают позитивной на 70 и негативной на 30 процентов. К ее положительным чертам относят период революции, гражданской войны и преобразований первых десяти лет, а последующая деятельность все более ставится под сомнение.

На VI пленуме ЦК КПК (июнь 1981) принято решение по «некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР», связанное с 60-летием КПК. В передовой статье журнала ЦК КПК «Хунци» (1981, № 13), которая комментирует решения пленума, подчеркивается, что на нем «дана оценка исторического места великого вождя и учителя товарища Мао Цзэдуна в истории китайской революции». В статье говорится, что пленум «не только не возложил вину за все совершенные в области руководящих идей ошибки на одного него, но и полностью подтвердил важное место и великую роль, которую сыграл товарищ Мао Цзэдун в истории».

Самая большая заслуга Мао Цзэдуна состоит в том, говорится в статье, что он «применил основные положения марксизма-ленинизма к конкретной практике китайской революции, научно систематизировал и теоретически обобщил ряд специфических положений, характерных для длительной революционной практики нашей партии и нашего народа, разработал научные руководящие идеи, соответствующие обстановке в Китае, — идеи Мао Цзэдуна. Они являются кристаллизацией коллективной мудрости

Коммунистической партии Китая, главным представителем которой был товарищ Мао Цзэдун, применением и развитием марксизма-ленинизма в Китае. Будучи научными руководящими идеями, идеи Мао Цзэдуна получили широкое распространение в 20-х и 30-х годах в международном коммунистическом движении и в нашей партии; они постепенно формировались и развивались в борьбе с догматическим отношением к марксизму, ошибочным уклоном обожествления Коммунистического Интернационала и советского опыта».

Итак, новый поворот в состязании между «подрубателями» и «вздымателями» знамени Мао Цзэдуна (так это звучит в партийной китайской терминологии). На этот раз (не думаю, что это последний раунд) верх взяли «вздыматели», хотя в решении много оговорок относительно ошибок Мао Цзэдуна в экономической и социальной политике в последние два десятилетия. Китайские руководители сейчас, кажется, предпочли опереться на имя и культ Мао, чтобы укрепить власть...

Был ли покойный великим человеком? Этот вопрос не кажется риторическим для среднего китайца. Тридцать лет он признавал непревзойденное величие вождя партии и государства. И не только потому, что ему постоянно внушали эту веру сверху, заставляли заучивать назубок мудрые изречения мудрейшего китайского деятеля всех веков (начиная с детского сада, со школы и кончая каждой «коммуной», заводом, научным учреждением!). И не только потому, что малейшее сомнение в этой вере, высказанное шепотом в кругу семьи или даже тайно, самому себе, было смерти подобно; если не карала власть, методично уничтожавшая каждого сомневающегося, то это делала толпа глубоко верующих сограждан путем самосуда. Она, эта толпа, чутьем схватывала искру сомнения в голове у своего ближнего, и тогда начинался ритуал, который обычно имел только одну концовку: усомнившегося наряжали в колпак, вели на площадь, ставили на колени перед разъяренной массой, ударами и пинками выбивали покаяние и нередко тут же раздирали на куски раскаявшуюся жертву.

Но дело не только в карательной машине и не только в массовой истерии, дело еще и в действительно глубокой вере миллионов и миллионов китайцев — вере в революцию, в аграрную реформу, в новую жизнь, которая по традиции персонифицировалась в личности Мао Цзэдуна, отождествлялась с ней. Мао Цзэдун для них — это Великий поход Красной армии. Мао Цзэдун — это мужественное сидение в обороне в Яньане. Мао Цзэдун — это героическая победа в гражданской войне. Мао Цзэдун — это крушение жестокой и развращенной власти гоминьдана. Мао Цзэдун — это великая аграрная реформа. Мао Цзэдун — это первые индустриальные успехи. Это кооперирование. Это массовый энтузиазм. Это приобщение к грамоте и культуре миллионов простых людей. Мао Цзэдун — это все, а другие руководители, и даже вся партия, — это ничто или очень мало в массовом сознании.

Такую веру не так-то легко вытрясти, особенно из крестьянских голов, которые, опять же по традиции, верят в непогрешимость своего властителя и греховность его окружения. Все можно списать на соратников Мао — вначале это был Лю Шаоци, затем Линь Бяо, потом злополучная вдова Председателя (как выяснилось, к тому же как будто нелюбимая и отвергнутая им). Наконец, Ван Дунсин и новая четверка. А Мао — священ. Он был велик, хотя и погрешим, он хотел добра китайскому народу...

Эта персонификация власти и возвеличивание вождя — типичное проявление патриархальной политической культуры отсталой феодальной страны. Именно оно более всего свидетельствует о том, в какой степени в современном Китае все еще сохраняются полуфеодальные традиции — и в массовом сознании и в политических институтах. Именно этот факт служит наиболее полным выражением эпохи междуцарствия. Масса ждет нового патриарха, нового вождя, нового председателя. Поэтому она сохраняет веру в павшее величие своего прошлого кумира. Вот где скрывается главная опасность смутного времени — социальный источник происходящих и будущих катаклизмов на политическом олимпе Китая.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

В истории междуцарствий нередко бывало так: после кончины государя, императора или вождя, не оставившего себе преемника, наступает смутное время, в течение которого различные группировки конкурируют в борьбе за власть, пока не появится новый лидер, способный положить конец политическим неурядицам и восстановить

твердый порядок. При этом на первом этапе, как правило, выдвигается совершенно неприметное прежде лицо; ему удается воспользоваться благоприятной ситуацией, пока основные соперники мертвой хваткой вцепились друг в друга.

Мао Цзэдун не оставил завещания, не позаботился о преемственности власти. Чем объясняется такая беспечность человека, который уже перешагнул восьмидесятилетний рубеж и, по его собственным словам, готовился «к встрече с Марксом»? Равнодушием к тому, что произойдет после его кончины? Едва ли. Он постоянно беспокоился о том, кто придет к руководству после него. Выражал озабоченность, не вернутся ли «правые» и не начнут ли выворачивать наизнанку все его наследие, его идеологию, его политику. Тогда, быть может, он не находил вокруг себя деятелей, способных подобно ему нести огромное бремя единоличной власти и ответственности? И это предположение приходится отбросить. Все его силы на протяжении последних пятнадцати лет были направлены как раз на то, чтобы сокрушить самые крупные фигуры в руководстве компартии. Он как будто внешне искал преемника, но тут же делал все, чтобы такового скомпрометировать, отстранить от власти и даже уничтожить. Он боролся как раз против представителей «старой гвардии», которая стояла у истоков движения и проделала вместе с ним весь путь гражданской войны, первых социальных преобразований. Мао не любил живых преемников. Вот почему его первыми жертвами стали крупнейшие военно-политические деятели: министр обороны КНР маршал Пэн Дэхуай, затем глава Китайской Народной Республики Лю Шаоци; погиб заместитель Председателя ЦК КПК Линь Бяо, а после кончины Чжоу Эньлая, которая произошла при загадочных обстоятельствах (утверждают, что он был отравлен), Мао отправил в изгнание последнего возможного преемника — Дэн Сяопина. Мао создал вокруг себя политический вакуум, заполнив его ничтожными в политическом отношении людьми. Только в такой обстановке бывшая провинциальная актриса могла взять себе в голову претензии на преемственность власти в крупнейшей (по населению) стране современного мира.

Быть может, Мао Цзэдун рассчитывал на установление коллективного руководства после своей кончины? Тогда он должен был заявить об этом, позаботиться о создании политических механизмов внутри партии и в государстве, которые сделали бы это возможным. Установленный им режим личной власти, безусловно, требовал на своей вершине единоличного руководителя, способного обеспечить порядок внутри политического руководства и принимать решения. Нет, он и не думал о новом механизме коллективной власти, который может осуществиться после его кончины.

Я полагаю, что в конце своей жизни Мао Цзэдун гнал от себя самую мысль о смерти, как это обычно делают очень старые люди. Его последние письма Цзян Цин полны горечи, неуверенности в прочности здания, которое он с таким трудом возводил на протяжении всей своей жизни. Можно поверить в искренность письма, которое он адресовал Цзян Цин незадолго до смерти: «Ты была не права. Сейчас мы расстанемся и будем находиться в разных мирах. Да будет мир каждому из нас. Эти несколько слов могут оказаться моим последним посланием тебе. Человеческая жизнь ограничена, но революция не знает границ. В борьбе, которую я вел последние десять лет, я пытался достигнуть вершины революции. Меня постигла неудача. Но ты можешь достичь вершины. Если тебе это не удастся, ты упадешь в бездонную пропасть. Твои кости поломают. Твое тело разобьется вдребезги».

И вот, как нередко случалось в периоды междуцарствий, наследником первоначально оказалась одна из самых малоизвестных фигур — тот, на кого никто ранее не обращал внимания. Хуа Гофэн, который только в конце «культурной революции» стал членом Политбюро, был неожиданно перед самой кончиной Мао назначен исполняющим обязанности премьер-министра. После смерти Мао Хуа Гофэн, если верить китайским сообщениям, предъявил записку, написанную Мао Цзэдуном, в которой, по-видимому, по какому-то частному поводу говорилось: «Если дело в ваших руках, я спокоен». О каком же деле шла речь? Этим делом никак не могла быть вся полнота власти в партии или государстве; «я спокоен» — эти слова предполагают сохранение полноты власти в руках писавшего.

Тем не менее эта записка, но вернее соотношение сил, которое сложилось к тому времени, позволили Хуа Гофэну в течение первых месяцев сосредоточить в своих руках все основные посты, которые занимали Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай, вместе взятые: Председатель ЦК КПК, премьер-министр, председатель Военного совета ЦК КПК, главнокомандующий НОАК. В своих первых выступлениях он стал демонстративно

изображать себя прямым наследником Мао Цзэдуна — верховным хранителем его наследия и его заветов.

Однако человек неопытный в политических играх, он сразу сделал неверный с точки зрения своих интересов шаг. Он позволил представителям «старой гвардии», группировавшимся вокруг министра обороны маршала Е Цзяньина, втянуть себя в дворцовый переворот, который закончился арестом «банды четырех» во главе с Цзян Цин. Это укрепило позиции «прагматиков», а возвращение Дэн Сяопина на руководящие посты вскоре дало им значительный перевес. Опытный Дэн Сяопин, хитроумный, как Улисс, стал шаг за шагом наступать на пятки Хуа Гофэну, и царственная тога постепенно стала сползать с плеч обескураженного нового Председателя ЦК КПК и удобно располагаться на плечах его маленького, живого, постоянно улыбающегося заместителя.

За каких-нибудь три-четыре года милостиво прощенный и возвращенный из изгнания Дэн Сяопин стал фактическим вершителем политических судеб Китая. На пекинском олимпе как будто установилось коллективное руководство. Власть разделили по меньшей мере три фигуры: Хуа Гофэн, Дэн Сяопин, Е Цзяньин. Но то был фальшивый коллективизм, при котором каждый член руководства старался ослабить, а потом отстранить соперника и сосредоточить всю полноту власти в своих руках. Типичный «коллективизм» смутного времени, когда каждый из участников игры, подобно Борису Годунову в спектакле Малого театра «Царь Федор Иоаннович», тайком примеряет корону на свою голову...

В этой игре, где над ее участниками витало фатальное что кого, Дэн Сяопину удалось добиться решающего перевеса. Эта борьба началась уже на III пленуме ЦК КПК, но важнейшие решения были приняты на V пленуме, который без преувеличения имеет решающее значение в целом для судеб партии и китайского государства.

Я уже отмечал, что сенсационным решением этого пленума была реабилитация и восстановление доброго имени Лю Шаоци. Важные решения были приняты также по поводу недопустимости культа личности в КПК и восстановления элементарных норм внутривластной и государственной демократии. Однако основное значение имело изгнание новой четверки «леваков», последней «опорной базы» Хуа Гофэна в Политбюро ЦК КПК, во главе с Ван Дунсином и избрание Секретариата ЦК КПК в количестве 11 человек — явно из числа сторонников Дэн Сяопина.

Уже тогда можно было предположить, что два человека, вновь избранные в Политбюро — генеральный секретарь ЦК КПК Ху Яобан и Чжао Цзыян, — явно готовятся стать преемниками Хуа Гофэна: один на посту руководителя партии, другой на посту премьер-министра. В сентябре позапрошлого года на сессии ВСНП Чжао Цзыян был избран премьером, а в июне прошлого года на VI пленуме ЦК Ху Яобан стал Председателем ЦК КПК.

Что собой представляют новые руководители?

Прежде всего о Дэн Сяопине. Если отвлечься от вполне понятных чувств, которые мы испытываем в связи с его непрекращающимися нападениями на нашу страну, нельзя не признать, что этот деятель заслуживает своего биографа. Это, пожалуй, единственный заметный политический деятель XX века, который столько раз утрачивал власть и обретал ее снова. Но дело не только в его поразительной удачливости или в поразительном мастерстве политической игры. Он восстановил выдвинутый Чжоу Эньлаем лозунг «четырёх модернизаций» — модернизации промышленности, сельского хозяйства, обороны и науки. А в последнее время он стал все чаще поговаривать об экономических и политических реформах, хотя, судя по всему, испытывает постоянные колебания по поводу их характера и направления.

Какой позиции придерживается Дэн Сяопин в вопросах международной жизни? Ему, несомненно, принадлежит честь формулирования новой платформы прагматического национализма нынешнего китайского руководства. В основу глобальной политики Китая положена цель: добиться любой ценой перевооружения армии, модернизации всей экономики с помощью Запада, даже рискуя поставить Китай в зависимость от него, как это было в прошлом. Этот национализм мы называем прагматическим в отличие от идеологизированного национализма Мао Цзэдуна, который пытался выдвинуть Китай на роль некоего центра «мировой революции» и фактически игнорировал его экономические интересы. Дэн Сяопину принадлежала инициатива «наказать» Вьетнам путем военного нападения на эту страну, что, как известно, закончилось позорным провалом для ее организаторов. Дэн Сяопин во время своих поездок в США и Японию постоянно науськивал правящие круги этих стран на Советский Союз.

Из этого можно видеть, что Дэн Сяопин — достаточно противоречивая фигура на политическом горизонте Китая. Несомненно, это реалистический деятель, озабоченный решением сложнейших проблем экономического, социального, культурного прогресса страны. В до же время баццлла шовинизма, глубоко въевшаяся в его сознание, способна подвигнуть его на любые действия на мировой арене, которые он предполагает выгодными для Китая, игнорируя не только принципы социализма, которыми он постоянно клянется, но и долговременные общенациональные интересы китайского народа.

Другая крупная и перспективная фигура в политическом руководстве КПК и КНР — Ху Яобан, избранный недавно Председателем ЦК КПК. В отличие от Хуа Гофэна, выдвинувшегося в результате «культурной революции», Ху Яобан явился жертвой этой кампании. На долгое время он был отодвинут в сторону и только недавно возвращен к активной деятельности. По утверждениям китайской печати, Ху Яобан отличается «кристально чистой биографией».

В революционное движение Ху Яобан вступил тринадцати лет в качестве активиста коммунистического детского отряда, выполнявшего функции связных. Еще в юношеском возрасте он участвовал в восстании Осеннего урожая в 1927 году, а в 1930 году вступил в Коммунистический союз молодежи. Во время Великого похода в 1934—1935 годах он занимал разные посты, а впоследствии стал слушателем Военно-политической академии. В 1937 году он занял пост заведующего орготделом Главного политического управления Военного совета ЦК КПК. В период гражданской войны был на руководящих постах в разных военных соединениях. Именно здесь обнаруживаются его первые контакты с Дэн Сяопином. С 1952 года Ху Яобан работает в Пекине в Коммунистическом союзе молодежи и вскоре становится первым секретарем Союза. На этом посту он находился до 1964 года. Он принимал участие в заседании Всемирной федерации демократической молодежи в Бухаресте в 1953 году, во Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году в Москве.

В 1956 году на VIII съезде КПК Ху Яобан стал самым молодым членом ЦК КПК — ему был тогда сорок один год. Он стал руководителем партийного комитета провинции Шэньси, откуда его вскоре отозвали в центр, но уже в январе 1967 года его заклеили как «антипартийный элемент» и на пять лет он исчез с политической арены.

Надо отметить также, что Ху Яобан один из первых, кто был частично восстановлен в правах после «культурной революции». С 1972 года он появляется в Пекине и занимает — второстепенные, впрочем, — посты в Академии наук КНР. После смерти Мао Цзэдуна и возвращения к руководству Дэн Сяопина Ху Яобан стал быстро продвигаться по служебной лестнице. В 1977 году на XI съезде избран членом ЦК КПК и одновременно назначен проректором Высшей партийной школы. В 1978 году III пленум избирает его членом Политбюро и назначает руководителем отдела пропаганды. Наконец, V пленум ЦК КПК избирает его членом Постоянного комитета Политбюро и генеральным секретарем ЦК партии, а VI пленум — Председателем КПК.

Какова политическая ориентация Ху Яобана? В беседе с генеральным секретарем Коммунистической партии Испании Сантьяго Каррильо в ноябре 1980 года в Пекине Ху Яобан заявил: «В последний период Мао Цзэдун совершил много ошибок левацкого толка». Он подчеркнул, что, производя переоценку роли Мао Цзэдуна, китайская компартия «будет с уважением относиться к первому периоду его деятельности, направленной на строительство Китая», имея в виду период с 1949 по 1957 год. Мао, по словам Ху Яобана, совершил ошибки, которые «шли вразрез с его собственными идеями». И хотя Мао не является единственным человеком, ответственным за ошибки ультралевого толка, он тем не менее «несет ответственность за большинство из них». Особая вина, по мнению Ху Яобана, лежит на «банде четырех», возглавляемой Цзян Цин. Примечателен и тот факт, что Ху Яобан отрицает заслуги Мао Цзэдуна в развитии марксистско-ленинского учения. Мао Цзэдун, по словам Ху Яобана, только «применил в Китае» марксистские взгляды.

Ху Яобан является сторонником широких реформ в Китае, хотя больше ориентирован не в вопросах экономики, а в идеологии и общей политике. Что касается взглядов Ху Яобана по международным проблемам, то пока еще трудно судить, имеется ли у него какая-то собственная позиция по сравнению с позицией Дэн Сяопина.

Западные комментаторы описывают личные качества шестидесятишестилетнего Ху Яобана, противопоставляя его образ жизни и поведение образу жизни других китайских руководителей. Родившись в бедной крестьянской семье в провинции Хунань, он привык к испытаниям. Впоследствии, в начале «культурной революции», хунвейбины

обрили ему голову и заставили на четвереньках выползть из импровизированного коровника. Он был подвергнут этому публичному унижению перед величественным комплексом государственных учреждений в Чжуннаньхае. После этого, как он сам рассказывал, его отправили в деревню, «чтобы он спал возле коров». Затем он пребывал в школе по перевоспитанию кадров, содержался под домашним арестом в Пекине.

Вероятно, воспоминаниями об этом объясняются более критичные, чем у других деятелей, высказывания Ху Яобана о «культурной революции» и о последнем периоде деятельности Мао. Может ли человек такого склада, как Ху Яобан, мечтать о наследовании царственной тоги Мао Цзэдуна и стать во главе нового термидора? Или ему суждено, как и Дэн Сяопину, сыграть роль деятеля промежуточной поры — эпохи междоусобия? Трудно сказать наперед. Его личные испытания, личная скромность еще ни о чем не говорят. Мао Цзэдун после назначения его Председателем ЦК КПК в 30-х годах также выглядел скромным, неприязненным человеком; сохранились воспоминания о том, как он принимал посетителей в своем жилище в Яньане, которое представляло собой две смежные пещеры, в поношенном даньи (одежда из хлопчатобумажной ткани типа спецовки) и, как простой крестьянин, прихлебывал ханжу — гаоляновый самогон — прямо из кружки, закусывая земляными орехами. Как далеко отстоит эта пещера от императорского дворца, в котором поселился Мао Цзэдун после победы революции!..

Итак, останется ли Ху Яобан бледной тенью Дэн Сяопина, обретет ли он самостоятельную роль реформатора Китая или по воле своей политической группы и при собственном непротивлении начнет вживаться в такую привычную для китайского политического театра роль нового вождя нации, восстанавливая один за другим традиционные аксессуары культа личности и личной власти, — давайте вернемся к этим вопросам лет эдак через пять — семь...

Наконец, следует остановиться еще на одной новой и, как кажется, весьма перспективной фигуре в политическом руководстве Китая — Чжао Цзыяне, избранном, как уже говорилось, на февральском пленуме ЦК КПК в 1980 году членом Постоянного комитета ЦК КПК, а 10 сентября того же года на сессии ВСНП премьером Государственного совета.

Подобно Ху Яобану Чжао Цзыян принадлежит ко второму поколению деятелей китайской революции. Он родился в 1919 году, в 1932-м вступил в Коммунистический союз молодежи, а в 1938-м — в Коммунистическую партию Китая. В период гражданской войны был заместителем секретаря комитета КПК в одном из районов Китая. С 1956 по 1965 год был на руководящей работе в провинции Гуандун. Чжао Цзыян оказался одной из жертв «культурной революции»: в апреле 1967 года он был снят с занимаемых постов и репрессирован. Но уже в 1971 году реабилитирован.

Зарубежная печать особенно отмечает период деятельности Чжао Цзыяна с 1975 года в качестве первого секретаря партийного комитета провинции Сычуань. В Китае распространено мнение, что Чжао Цзыяну принадлежала целая серия реформ в этой провинции. Особое внимание он уделял развитию сельского хозяйства, поощряя приусадебные участки, последовательное использование кооперативных форм, местных промыслов, частной инициативы. За это пресловутая «банда четырех» подвергала его критике и даже приклеила ему ярлык «секретарь по вопросам сельского хозяйства».

После смерти Мао Цзэдуна началось быстрое возвышение Чжао Цзыяна. В августе 1977 года он был на XI съезде КПК переизбран членом ЦК. В сентябре 1979 года был избран членом Политбюро ЦК КПК.

Японская печать сообщает, что, сопровождая в 1978 году Хуа Гофэна в его поездке в Югославию и Румынию, Чжао Цзыян особенно внимательно изучал проблемы экономического развития, организацию планирования, взаимосвязи правительственных органов с предприятиями. По мнению японских, а также западных органов печати, Чжао Цзыян с Ху Яобаном и заместителем премьера Госсовета Яо Илинем представляют собой «три главные опоры» Дэн Сяопина.

В руководящую политическую группировку на V пленуме ЦК КПК вошли, кроме Ху Яобана и Чжао Цзыяна, еще 9 секретарей ЦК КПК. Их биографии во многом напоминают жизненный путь двух упомянутых. Это второе поколение политических деятелей. Их возраст между шестьюдесятью и семьюдесятью годами, большинство из них пострадало в период «культурной революции». Эта группировка руководителей вместе с Дэн Сяопином, по-видимому, имеет решающее влияние в партии и государстве, хотя в Политбюро представлена еще достаточно широко более старая генерация руководи-

телей, к числу которых относится весьма уважаемый в Китае престарелый Е Цзяньин, занимающий пост председателя Постоянного комитета ВСНП.

Итак, можно считать бесспорным, что в руководстве компартии Китая восторжествовала группировка «прагматиков». Они намечают, а частично проводят некоторые реформы в рамках социально-экономической системы Китая. Но прежде чем говорить о характере этих реформ, нужно остановиться на том, в каком положении оказался Китай в период междуцарствия. Политическим руководителям Китая приходится иметь дело с тяжким бременем наследования длительного периода господства режима личной власти Мао Цзэдуна.

Одновременно с персональными переменами шел процесс восстановления всех институтов политической системы Китая — партийных, хозяйственных, государственных, профсоюзных, молодежных и других организаций. Восстановлена деятельность съездов КПК, ЦК КПК, Политбюро и Секретариата ЦК КПК, Всекитайского собрания народных представителей, Постоянного комитета ВСНП, Государственного совета КНР, всех министерств и ведомств; работа всех этих институтов была парализована или прервана в период «культурной революции». Восстановлена деятельность Народного политического консультативного совета Китая, который со времени «культурной революции» существовал только номинально, деятельность органов планирования экономики, профсоюзов, организации коммунистической молодежи, творческих объединений писателей, художников, композиторов. Предприняты некоторые меры по укреплению законности в стране. Пересматривается новая конституция КНР, приняты законы о местных народных собраниях, народных судах, народных прокуратурах, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, закон о лесоводстве и другие.

Ряд важных перемен происходит в области культурной и научной жизни страны. Многие деятели литературы, искусства, науки, которые подвергались преследованиям во время «культурной революции», в чем особенно преуспела Цзян Цин, теперь реабилитированы и возвращаются к творческому труду.

В последние годы была восстановлена деятельность университетов, Академии наук КНР, всех научных и учебных заведений. Сейчас предпринимаются меры для некоторого увеличения числа учащихся в школах и высших учебных заведениях, пересматриваются программы обучения с учетом достижений естественных и общественных наук.

Возврат на четверть века назад, к системе, которая была в Китае в период VIII съезда КПК, однако, чрезвычайно осложнен глубокой деформацией всей политической и общественной жизни, нравов и человеческих отношений, социальной психологии в условиях режима личной власти Мао Цзэдуна.

ФЕОДАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Когда говорят о последствиях социального и политического произвола маоистского режима в Китае, в первую очередь принято упоминать об ущербе, нанесенном развитию производительных сил. Действительно, это период не только прямого разрушения национальной экономики, но и в особенности — время утраченных возможностей. Помимо прямого ущерба, связанного с постоянным снижением темпов развития промышленности, с отставанием сельского хозяйства даже от демографического роста, имеется огромный косвенный ущерб — то, что недополучено, недоиспользовано страной, располагающей огромными трудовыми и естественными ресурсами.

Однако мне хотелось бы начать свои размышления о тяжком бремени наследования, которое досталось новым китайским руководителям, не с экономических проблем. Я хотел бы вернуться к традиции, которая была столь ярко выражена в творчестве, скажем, таких мыслителей, как Конфуций в Китае или Геродот и Тацит в античном мире. Они говорили в первую очередь о падении или порче нравов как о самом драматическом последствии длительного господства тиранической власти. Речь идет об общественном сознании, о самом широком распространении в обществе безнравственности, бесчеловечности, неправды и непорядочности. Иными словами — о крушении социально-психологических основ, на которых держится все общественное здание. В Китае эта порча нравов касалась всех сторон общественной жизни — морали и семейных отношений, быта и массовой психологии, законности и форм распределения материальных благ.

Перед нами еще один закон междоусобия: уходящий диктатор оставляет после себя общество, охваченное внутренней эрозией, которая превращает его в нечто противоположное тем исходным принципам, на которых оно строилось.

Сами китайские руководители все чаще используют одно и то же понятие для характеристики порядков, нравов, психологии, укоренившихся в результате господства диктаторской власти,— феодальные традиции. Феодальные традиции в механизме наследования власти; феодальные традиции в распределении постов и методах выдвижения кадров; феодальные традиции в образе жизни политической верхушки; феодальные методы внутрипартийной борьбы; наконец, феодальная структура политических отношений в целом.

Что собой представляет сейчас компартия Китая в социальном отношении? По некоторым авторитетным сообщениям, из 39 миллионов коммунистов промышленных рабочих не более 10 процентов, крестьян и сельских кадровых работников — около 40, управленческого аппарата, ИТР промышленных предприятий — 5—8, работников вузов и НИИ — менее 5 процентов. Отсюда следует, что около двух пятых членов КПК составляют кадровые работники центрального и местного партийно-государственного аппарата, а также командный состав армии. Если учесть к тому же, что из числа остальных членов партии подавляющее большинство имеет общественные должности в профсоюзах, кооперативах и т. д., то очевидно, что партия практически совпадает с управляющим слоем — ганьбу. Именно в руках этого слоя находятся власть и политическое влияние во всей стране.

Какие же нравы характерны для этого слоя?

Нравственная порча прежде всего затронула политическую систему в Китае, партийный и государственный аппарат, и прежде всего его верхушку, которая подверглась особенно тяжелым испытаниям не только во времена «культурной революции», но и задолго до нее. Режим личной власти подобно спруту охватил гигантскими щупальцами политическую систему сверху донизу, не оставив без своего влияния ни одного даже самого мелкого руководителя. 11 крупных политических кампаний (по подсчетам Хуа Гофэна на последнем съезде КПК), которые следовали одна за другой, сотрясали политическое дерево сильнее, чем высоковольтная цепь трясет прикоснувшегося к ней человека.

Разложение нравов среди партийного и государственного аппарата достигло такого уровня, что V пленум ЦК (февраль 1980) принял специальный документ «Нормы партийной жизни», разработанный Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины во главе с Чэнь Юнем. В этом документе запрещается создавать культ личности, а также осуждаются партийные руководители, которые «навязывают массам свою волю, угнетают народ, нарушают постановления, запускают руку в государственный карман и т. п.».

В документе с удивительной методичностью дается перечень порочных явлений среди членов партии, которые, став чиновниками: 1) превращаются в господа, пекутся лишь о собственной выгоде; 2) ведут дела как бог на душу положит, не занимаясь обследованием и изучением вопроса; 3) самодурствуют, издеваются над людьми; 4) двуличествуют, лгут и обманывают; 5) преследуют и мстят за их критику; 6) занимаются делячеством, фракционностью, мешающей проведению партийной политической линии; 7) не выступают против и не докладывают о людях и делах, связанных с подстрекательской, подрывной контрреволюционной деятельностью; 8) подхалимничают, укрывают политических врагов, беспринципно потворствуют им; 9) совершая ошибки, не признают их, а замазывают; 10) беспринципны, плывут по течению; 11) разглашают секреты; 12) гонятся за привилегиями для достижения своих корыстных целей; 13) разводят семейственность, произвольно относятся к партийным решениям.

«Жэньминь жибао» писала (21 сентября 1980 года), что бюрократизм и семейственность «стали фактором возможного перерождения». В печати постоянно появляются статьи против сектантства, фракционности внутри партии и других антипартийных нравов.

Конечно, все эти филиппики против разложения, идущие сверху, имеют двойственный смысл. Напомним, что «культурная революция» вначале тоже прикрывалась лозунгом борьбы с бюрократизмом. Подобная критика может служить удобной плаattformой для новой чистки, направленной на этот раз против выдвиженцев «культурной революции». Но несомненно и другое: все это отражает подлинные нравы, господствующие среди миллионов ганьбу, то есть того затвердевшего социального слоя, который,

по словам самой китайской печати, во многом напоминает господство мандаринов и бюрократов в старом Китае.

Самая страшная болезнь, которая распространилась во всей политической системе страны и проникла во все поры китайского общества, это ложь и фальшь как норма политической жизни, норма отношений между партией, государством и человеком. Речь идет не просто о разрыве между политическими декларациями и практикой, а о неистребимой фальши самих деклараций, целиком или, во всяком случае, частично замешанных на очевидной лжи, которая стала неизбежным ритуалом политического поведения и руководителей и руководимых, проникла в основы официальной и социальной психологии масс.

В китайской печати приводят поговорку: ложь в сообщении — все равно что крысиный помет в прозрачном супе. В июне 1980 года агентство Синьхуа признало, что «в последние десять лет нашу партию захлестнуло море лжи, народ ежедневно слышал ложь». В Китае, продолжает агентство, рассматривают правду как такой товар, который можно доверить только немногим. Что касается средств массовой информации, то для них «правда» — это очередное указание, исходящее от группировки, господствующей в данный момент.

Сами основы политической системы Китая, деформированной вакханалией последних двадцати лет, фальшивы — это все больше осознают многие китайцы. В конституции КНР, принятой в 1954 году, декларировались выборность депутатов, многопартийность, законность. Однако после принятия конституции в Китае стал складываться режим личной власти Мао Цзэдуна. В период «культурной революции» он превратился в военно-бюрократическую диктатуру. Этот режим начисто отверг всякую выборность, которую Мао Цзэдун называл простой благопристойностью, и другие принципы демократии. Народный характер власти был истолкован как бесконтрольное господство «выходцев из народа», оторвавшихся от всей массы трудящихся. Законность была заменена полнейшим произволом: любой гражданин на всех уровнях социальной лестницы мог быть по желанию Мао Цзэдуна и его окружения подвергнут любым гонениям, любым истязаниям. Иными словами, конституция была превращена в клочок бумаги.

Любопытно отметить, что принятая в конце «культурной революции» (в 1975 году) конституция КНР представляла собой попытку — хотя и весьма своеобразную — несколько приблизить конституционные декларации к жизни. Она отменила статью прежней конституции, которые трактовали принципы выборности, законности, и откровенно декларировала единоличное идеологическое и политическое руководство партией и государством со стороны Мао Цзэдуна. От этого она, конечно, не стала менее фальшивой, поскольку даже те ублюдочные нормы, которые в ней были зафиксированы, не были законом, к чему-то обязывающим политическое руководство страны. Более чем прежде оно располагало возможностью поступать согласно своей воле, не оглядываясь ни на какие нормы партийной или государственной жизни.

Безмерной фальшью и ложью были пронизаны все следовавшие одна за другой политические кампании и проработки. Предлагалось верить, что вчерашний глава китайского государства Лю Шаоци вовсе не политический деятель, стоявший у истоков создания компартии Китая, а какой-то бандит с большой дороги, который давно задумал вернуть Китай на путь капиталистического развития. Еще вчера Линь Бяо был верным соратником и даже наследником Мао Цзэдуна, а сегодня народу внушали, что это давнишний заговорщик, враг Мао и агент «советского ревизионизма». Тысячи, сотни тысяч, миллионы больших, малых и крошечных кампаний на всех политических уровнях, во всех городах и поселках страны, во всех учреждениях, школах, детских садах были построены на гнусном издевательствах над правдой и элементарным здравым смыслом. Это была какая-то вакханалия сатанинского зла и сатанинской фальши, когда одна ложь нагромождалась на другую, достигая бледных вершин Тянь-Шаня, равнодушно взиравшего на это гигантское море бумажной, эфирной и изушной пакости.

Отнюдь не святой ложью и фальшью был пронизан весь так называемый коммунизм в китайской деревне. 500 миллионов китайских крестьян были согнаны в то, что бесстыдно объявлялось народными коммунами, где людей принуждали к труду под страхом смерти, а взамен им выдавали синие полотняные штаны, белую майку, резиновые тапочки и щепотку риса. И эту государственную барщину предлагали называть священным словом «коммунизм», обществом справедливости, равенства, благосостояния, свободы личности!..

Но правда, хотя и робко, как зеленая травка сквозь железобетонную мостовую,

все же пробивается в современной жизни Китая. Для многих официальных политических документов и печати характерен критический дух в отношении прошлого, в отношении ошибок, злоупотребления властью и произвола.

Конечно, критика партийных нравов направлена в привычное русло — критикуют поверженных деятелей. В Китае появилось сенсационное сообщение о Ван Дунсине. В последние годы жизни Мао Цзэдуна он возглавлял его личную канцелярию, а также специальную воинскую часть № 8341, на которую возлагалась охрана Мао Цзэдуна и всего района Чжуннаньхай, где проживает китайское руководство. Одним словом, он занимал пост, сходный с тем, что занимал некогда при Иосифе Грозном Малюта Скуратов. Так вот этот самый Ван, как выяснилось, израсходовал миллионы на строительство своей собственной резиденции на территории Чжуннаньхай. Его особняк занимал площадь 389 квадратных метров, имел 17 квартир, где жила вся его родня, а также кинозал, гимнастический зал.

Китайская и зарубежная печать сообщает, что в последнее время в связи с выходом Китая на международную арену огромное распространение получило взяточничество. Должностные лица получают в подарок от иностранных дельцов автомобили, телевизоры, холодильники, электроприборы. Взятка стала нормой повседневных отношений и на производстве в самом Китае. Многие руководители делают подарки друг другу, чтобы получать субподряды и дефицитное сырье для предприятия — нефть, сталь, газ...

Еще одна болезнь среди кадровых работников — злоупотребление властью. В китайских журналах был опубликован сценарий «В архивах общества», в котором рассказывается о том, как кадровые работники занимаются физическим и моральным растлением своих молодых и красивых подчиненных — женщин. Как сообщает японский журнал «Обсервер», в одном из строительно-промышленных комплексов страны работали 96 девушек. Директор приказал им являться к нему по очереди по субботам под предлогом проверки их идеологического и политического уровня. После этого он похвалялся: «У императоров было 72 наложницы, а у меня 96». В конечном счете, правда, этот человек был разоблачен, но это произошло через несколько лет.

Провозглашенный Дэн Сяопином лозунг «раскрепостить мышление!» находит самый незначительный отклик в широкой массе партийных работников. Напуганные всеми перепадами политической линии в предыдущие годы, они, по словам китайской печати, высказывают сомнения в правильности последних решений и оказывают им противодействие. «Некоторые все еще не перестают злобно скрежетать зубами», — отмечает газета.

Что же происходит? А происходит то, что партийный и государственный аппарат не заинтересован в том, чтобы вернуться к социалистическим принципам, что связано с осуществлением экономических и политических реформ. Кроме того, его представители не могут быть уверенными в стабильности нынешнего курса: из их памяти не так легко вычеркнуть все перепады политики в предыдущие десятилетия.

Каждая политическая система имеет две заложенные в ней тенденции: одна — к самосохранению, другая — к развитию. Китайская политическая система ориентирована на самосохранение. Ее элита заинтересована только в том, как бы усидеть на своих местах или продвинуться чуть выше. Она давно убедилась на горьком опыте, что ориентация на общественное развитие опасна и даже смерти подобна. Поэтому преодоление последствий длительной деформации, а тем более осуществление экономических и даже политических реформ неизбежно должно столкнуться с сопротивлением — тайным или явным — многочисленного слоя ганьбу.

Никколо Макиавелли, этому блистательному политическому писателю, который как никто другой понимал природу тиранической власти и ее влияние на самого государя, на его приближенных, на весь народ, принадлежит одно из самых глубоких суждений, касающихся наиболее драматического последствия длительного господства тирании. Он писал, что результатом такого господства является развращенное общество. Это общество людей с истерзанными душами, откуда капля за каплей выдавливались понятия чести и достоинства, справедливости и добра. Именно в этом видел он наиболее трудную проблему смутного времени, наступающего после смерти тирана. Такое общество, полагал Макиавелли, нелегко направить к демократии, поскольку нравы в нем предельно испорчены предшествующими годами рабской покорности, угодливости, взаимными доносами, примирением с несправедливостью и нескончаемым произволом.

О развращенном обществе ныне откровенно говорят и пишут сами представители правящих групп Китая. С еще большей страстью и болью об этом говорят те, кто стал жертвой подобных порядков,— простые китайцы.

Разложение нравов затронуло все китайское общество. Однако в это общество входит ныне еще новый элемент. Предпринятые в Китае первые экономические преобразования направлены на развитие кооперативного сектора и рынка, порождают конкурирующий с чиновниками привилегированный слой, который накапливает значительные средства и пользуется немалыми возможностями. «Люди получают большие деньги от бизнеса, понемногу подрабатывают на стороне, пытаются создать себе привилегированный и обеспеченный уровень жизни»,— свидетельствует один иностранец. Контрабандная торговля и мелкая коррупция, порожденные оживившимся частным предпринимательством, все более выходят из-под контроля. По ночам джонки, нагруженные контрабандными часами и кассетными магнитофонами, движутся из Гонконга по Жемчужной реке к Кантону. «Никто больше не заботится о государстве,— указывает один зарубежный специалист по Китаю,— все работают на свою семью».

Одна из самых острых социальных проблем — это трагедия того поколения молодежи, которое участвовало в «культурной революции». В ту пору во всех городах Китая бродили пятнадцатилетние и шестнадцатилетние юнцы, многие из которых обогрели свои руки кровью. Сейчас тем девочкам и мальчикам примерно двадцать пять — тридцать лет. Они не получили образования, поскольку тогда школы были закрыты. Многие из них были направлены в деревни, в малонаселенные районы на границе с Советским Союзом. Теперь они возвращаются в города и пополняют армию деклассированных элементов.

Многие из этих обездоленных юношей и девушек стали на путь преступности, участвуют в грабежах, убийствах, контрабандной торговле. В 1977 году 69 процентов зарегистрированных уголовных преступлений было совершено молодежью и детьми. В 1978 году процент поднялся до 73. Молодые преступники устраивают драки, совершают налеты и грабежи, оскорбляют женщин. Так пишет обозреватель шанхайской «Цзэфан жибао» в статье под многозначительным заголовком «Вся партия должна уделять первоочередное внимание молодежи». Эта же газета рассказывает о том, что многие молодые люди выдают себя за сыновей крупных партийных работников, чтобы добиваться разного рода поблажек и привилегий. Газета вспоминает один английский фильм, в котором человеку, размахивающему крупным банкнотом, удалось создать о себе высокое мнение, и замечает в этой связи: «...в нашем социалистическом Китае никому не нужны банкноты, чтобы обманывать людей. Скажите только, что вы сын первого секретаря комитета партии или заместителя начальника штаба,— и дело сделано».

Обнищание миллионов людей, преступность, размывание морали, пополнение армии люмпенов, отсутствие идеологической почвы под ногами — все это типичные приметы смутного времени. Времени, когда, пробудившись после длительного господства тиранической власти, страна увидела свои искаженные черты, едва прикрытые маской покорности и долготерпения.

В таких условиях обнажение общественных язв и морального падения приводит к еще большим трудностям и проблемам, если общество утрачивает веру и способность к обновлению.

ПОЛУФЕОДАЛЬНЫЙ «СОЦИАЛИЗМ»

Что собой представляет китайская социально-экономическая и политическая система? Еще задолго до смерти Мао Цзэдуна, а тем более до нынешнего периода самокритики мы характеризовали эту систему как полуфеодальный «социализм». Теперь эту оценку, по сути дела, воспроизводят сами китайские руководители.

Что значит полуфеодальный «социализм»? Чего там больше — феодализма или элементов социализма? Думаем, что это сочетание напоминает известную присказку о полулошади-полурябчике. Говорят, что это прекрасная, но не вполне паритетная помеся. Так и в китайском гибриде: феодальные элементы сильно преобладают над элементами социалистическими. Например, политическая система. Сами руководители КНР признают, что в период «культурной революции» утвердилась феодально-фашистская диктатура. Но что может иметь общего такая система с идеалами социализма и социалистической демократией?

Нужно ясно отдавать себе отчет в тех огромных изменениях, которые произошли в Китае в последние два (из трех) десятилетия руководства страной Мао Цзэдуном.

В первое десятилетие были заложены некоторые основы новой системы, которая обнаружила ряд преимуществ по сравнению с прежде существовавшей, при гоминьдане. Победа государственной и кооперативной собственности — это исторически огромный шаг вперед. Она позволила устранить класс помещиков и капиталистов и эксплуатацию одного класса другим. Эта экономика в лучшие свои периоды, особенно в первые десять лет, содействовала успешному развитию производительных сил и более равномерному распределению материальных благ среди различных слоев и групп населения. Она несла в себе зародыш социалистических производственных отношений.

В то же время деформированная в результате режима личной власти Мао Цзэдуна китайская экономическая система обнаружила ряд органических пороков. Органических, стало быть, таких пороков, которые пережили своего создателя и теперь уже не связаны с деятельностью отдельных лиц, стоящих у руководства.

Первый самый очевидный порок китайской системы — производ в экономической политике, полнейший произвол в планировании развития всего хозяйства. Речь идет прежде всего о той вакханалии экономических решений, которая исходила лично от Мао Цзэдуна, полагавшего себя непревзойденным мыслителем во всех сферах, в том числе и в этой. Но непродуманные, нереалистические планы составлялись и помимо него и после него. Пресловутая четверка или какие-то другие деятели намечали экономические решения в последний период жизни Мао Цзэдуна. И эти планы впоследствии были признаны ошибкой. Совсем недавно Дэн Сяопин наметил грандиозный план развития внутри страны и грандиозный план экономического сотрудничества с внешним миром. Однако и этот план вскоре был стыдливо пересмотрен и положен под сукно.

Выходит, дело не в лицах, которые стоят во главе партии, государства, управления экономикой, хотя, конечно, это имеет немаловажное значение. Дело в самой системе, которая по своей природе податлива произволу или, во всяком случае, не имеет гарантии в себе самой от экономического произвола. Она не может воспротивиться произволу, а быть может, даже сама порождает произвол. Почему? Да хотя бы потому, что оставляет свою судьбу на усмотрение небольшой группы руководителей. А эти последние — или из-за некомпетентности, или в интересах политической борьбы, или в интересах саморекламы — вертят штурвал экономического развития в любую сторону своей души, как говаривал поэт.

Двадцать лет Мао Цзэдун ошибался, наносил огромный ущерб экономике, затевал урегулирование, потом снова наносил удары народному хозяйству — и что же? Он до конца оставался во главе китайской системы. Он положен с почетом в хрустальный гроб, и каждый может любоваться останками человека, которому сходила с рук любая реакционная социальная утопия. Разве это не показатель структурного порока китайской системы, ее полуфеодалного характера?

Неверно, однако, думать, будто единственной проблемой китайской системы является произвол экономической политики. Нет, это просто то, что бросается в глаза. Ошибочность «большого скачка» с его грандиозными планами за семь лет догнать Великобританию по промышленному производству, в короткие сроки догнать и перегнать СССР и США, ошибочность политики «народных коммун», а тем более «культурной революции», когда вообще пренебрегали производством, — все это, очевидно, имело более глубокие корни. В сущности, это преждевременная система, созданная искусственно, до того, как созрели производственные, экономические, интеллектуальные предпосылки. Поэтому она во многом напоминает смирительную рубашку, накинутую на живое тело производства. Она тормозит, деформирует его естественное развитие, придает уродливый характер всем отношениям — на производстве и во всем обществе.

В маоистской системе заметна тенденция к технологической и технической стагнации. Внутри самой системы нет стимулов для постоянного обновления технологии, для внедрения новой техники, для непрерывного внедрения достижений технического прогресса. Построенная по принципу «приказание — исполнение», эта экономика едва справляется с намечаемыми сверху планами экономического развития. У нее нет ни резервов, ни материальных средств, ни, наконец, побуждений для того, чтобы постоянно совершенствовать технику, добиваться более высокой производительности труда.

Какие новинки науки и техники следует внедрять в практику? И как это делать? План, спускаемый сверху, не предусматривает обновление технологии; такое обновление неизбежно нарушает выполнение текущих задач, так как связано с перестройкой

технологии и управления. Единственным средством в этом случае является заглядывание через забор — в другие, более развитые в научно-техническом отношении страны. На протяжении двух десятилетий главные стимулы технического прогресса шли из-за рубежа.

Но в период самоизоляции Китая при Мао Цзэдуэ это был чрезвычайно ненадежный стимул. Все иностранное, даже иностранная техника (кроме ядерной), было предметом осуждения. Закупки современной техники за рубежом занимали ничтожное место. Теперь новые китайские руководители, напротив, ориентируются на постоянное расширение закупок новой техники, технологических процессов в зарубежных странах. Однако это не меняет сути проблемы: внутри самой китайской экономики стимулы для научно-технического прогресса ничтожны. Здесь заложен какой-то ее органический порок, и китайская печать чем дальше, тем больше вынуждена признавать это.

Наконец, еще одна черта маоистской экономической системы — тенденция к самоизоляции. Любая экономика в наше время, если она хочет быть на современном уровне, не может развиваться без теснейших экономических связей с экономикой других стран, без участия в международном экономическом разделении труда. Китайская экономическая система на протяжении последних двадцати лет была практически изолирована не только в силу ошибочных политических решений. Она была изолирована и в силу собственной научной, технической и технологической отсталости, из-за способности выдерживать конкуренцию с более развитыми экономикками. Эти последние причины будут действовать еще длительное время. Хотя Китай начал развивать свои международные связи, но от этого еще далеко до реального участия в международном разделении труда. Китай продает сырье, покупает машины, и только китайский текстиль имеет минимальную конкурентную способность. Что касается другой продукции перерабатывающей промышленности, то она так отстала от мировых стандартов, что может продаваться за рубежом на основе демпинговых цен, то есть в убыток государству, исключительно для получения валюты за рубежом.

Поэтому маоистская экономическая система предпочитает быть закрытой. Она боится непосредственных экономических связей, плохо выдерживает впрыскивание в нее зарубежной передовой технологии и ничего не может предложить взамен другим странам. Поэтому и внешняя торговля для Китая хотя и необходима с точки зрения военного производства и использования новой техники, но чрезвычайно затруднена. В сущности, Китай может предлагать другим странам только сырье, хотя он остро нуждается в нем сам и страдает от недостатка энергоресурсов.

Не случайно нынешние руководители Китая сначала развернули широкую программу торговых отношений с Западом, а потом стали быстро свертывать ее, платя нередко большие штрафы за уже заключенные и односторонне разрываемые контракты. Им нечего предлагать за то, что им жизненно необходимо. То, что они вывозят за границу, им приходится с мясом отрывать от себя. Такова плата за изоляцию экономической системы в условиях современного мира, законом которого стала экономическая интеграция, будь то на капиталистической или социалистической основе.

Какая же из всего этого следует мораль?

Слыша внутри Китая критику и саморазоблачения, некоторые специалисты в Гонконге, Японии, США стараются убедить китайских руководителей в том, что виновата во всем сама социалистическая система, которую Китай позаимствовал у Советского Союза. В Китае даже — прямо или косвенно — иной раз раздаются голоса: а не является ли капиталистическая система более эффективной, чем социалистическая, хотя и менее справедливой? Но этот вопрос возникает в незрелом уме, который отражает незрелые отношения незрелого общества. Дело не в социализме, а в деформации социалистических принципов. И не только в этом. Дело еще в том, что китайские руководители насаждали то, что считали социализмом и коммунизмом, черпая полными пригоршнями формы, методы организации и механизмы не откуда-нибудь, а из старого, феодального Китая.

Кромвель говорил: «Тот человек идет дальше всех, кто не знает, куда он идет». Дальше — верно, но куда: вперед или назад? Это удивительно подходит к Мао Цзэдуэну — он не знал, куда идет страна. Поиск собственно китайского пути к коммунизму, который нашел свое отражение в политике «большого скачка», «народных коммун», «культурной революции», окончился полным провалом.

О том, чтобы вернуться на путь социализма, воплощенного в опыте СССР и других стран социалистического содружества, Мао Цзэдуэ не мог и помыслить. Что же остава-

лось? Оставалось бунтовать, разрушать, заниматься политическими кампаниями, которые отвлекали бы партию и массы от признания очевидного факта: китайская модель «коммунизма» оказалась социальной утопией или откровенной демагогией.

Очевидно поэтому, что сейчас Китай стоит перед труднейшими проблемами своего развития. Это и демографические проблемы. Это и экономические проблемы. Это и культурные проблемы. Это и социальные и политические проблемы. И мыслящие люди в Китае начинают все больше понимать, что решить эти проблемы невозможно, не осуществив структурных реформ в самой маоистской системе.

РЕФОРМЫ: ШАГ ВПЕРЕД, ШАГ НАЗАД

В период смутного времени обязательно находятся энтузиасты — часто наивные и обреченные на заклание, — которые мечтают полностью перечеркнуть прошлое и реформировать основы, на которых зиждился режим личной власти. Мне приходит на память деятельность благородного энтузиаста, китайского партийного журналиста, главного редактора «Жэньминь жибао» Дэн То; накануне «культурной революции» он выступил с серией смелых статей, в которых в достаточно прозрачной форме разоблачался произвол Мао Цзэдуна. Он пал одной из первых жертв этой кампании.

Сейчас на разных уровнях китайского общества тысячи энтузиастов мечтают изменить структуру и обновить страну, вернуть ее на социалистический путь развития. Волны этого новаторства и энтузиазма проникают в печать и отражаются в борьбе различных политических течений среди китайского руководства. Идея структурных реформ, то есть реформ, касающихся самих основ общества, деформированных в период господства Мао, становится тем катализатором, вокруг которого кипят страсти, дискуссии, сталкиваются различные суждения. Официальный Китай пытается ввести эти потоки в какое-то русло, но, не имея ни четкой концепции, ни программы преобразований, сам колеблется, впадая, как и прежде, из крайности в крайность.

Разговор о структурных реформах в управлении и хозяйстве КНР стоит начать с вопроса: что собой представляет современное китайское общество в демографическом отношении? Согласно оценкам специалистов численность сельского населения составляет не 80 процентов, как считали раньше, а 87 от общего населения страны. Что касается городского населения, то оно сконцентрировано главным образом в 20 с лишним городах, численность населения которых далеко перевалила за миллион человек.

Отсюда можно видеть, что Китай остается до сих пор в основном большой деревней. Пожалуй, во всем мире нет другой такой страны, по крайней мере сколько-нибудь крупной, где деревня так преваляровала бы над городом. Отсюда вытекают по меньшей мере две острые демографические проблемы. Первая: перенаселенность деревни, что порождает относительно уменьшение обрабатываемой земли на душу населения. И вторая: прогрессирующее оставание роста производства продуктов питания от демографического роста. Нельзя сказать, что в Китае рождается слишком много, а тем более слишком мало людей. Но несомненно, что там рождается больше людей, чем общество в состоянии прокормить.

Серьезность этих проблем можно видеть из следующих данных. В начале 50-х годов в Китае было 1500 миллионов му обрабатываемой земли, то есть 2,6 му на человека. Спустя двадцать лет было освоено еще 20 миллионов му. Но прирост населения свел на нет это достижение. Сейчас в стране приходится только 1,57 му обрабатываемой земли на душу населения, тогда как в США приходится 14,3 му и даже в такой экономически слабо развитой стране, как Индия, на человека приходится 4 му пахотной земли. По сообщениям китайской печати, рабочая сила сельских районов, которая в 50-х годах составляла 200 миллионов человек, сейчас увеличилась до 300 миллионов человек. Из этого следует, что на каждого трудоспособного крестьянина приходится только 5 му земли, то есть даже меньше, чем в Японии, где на каждого крестьянина приходится 13 му земли.

В целом армия труда в стране пополняется ежегодно 10 миллионами человек. За двадцать девять лет население Китая увеличилось на 400 миллионов человек. Существуют различные данные в Китае о среднегодовом приросте сельскохозяйственной продукции. Наиболее распространенными цифрами являются: прирост зерна в среднем на 2 процента в год, а прирост населения был примерно на том же уровне. Таким образом, в демографическом росте заложена острейшая проблема экономического развития

Китай. Ему трудно сохранять даже тот нищенский жизненный уровень, который был в начале народной революции.

Как реагировало китайское руководство на эту проблему? Оно металось из крайности в крайность, все более демонстрируя неспособность создать эффективную и сколько-нибудь гуманную программу решения демографического кризиса, который одновременно является и продовольственным кризисом.

На первых порах Мао Цзэдун и его окружение, которые больше всего упражнялись в критике мальтузианства, практически не осуществляли ограничения рождаемости. В годы «большого скачка» Мао стал рассматривать быстрый рост населения едва ли не как фактор прогресса. Особенно он рассчитывал на крестьянское население, которое не приходится кормить. Он видел здесь даровые рабочие руки, с помощью которых можно осуществить не только строительство ирригационных объектов, дорог, но и возводить доменные печи, выплавлять чугун, добывать полезные ископаемые.

Нынешние китайские руководители спохватились, но спохватились довольно поздно, поскольку население за годы народной власти увеличилось почти вдвое. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Чэнь Мухуа возглавила группу по регулированию рождаемости. Сейчас выработана целая система мер правовых и экономических, направленных на радикальное ограничение рождаемости. Эта деятельница заявила, что к 1985 году следует сократить нынешний уровень рождаемости с 12 человек на тысячу до 5 человек, а к 2000 году свести ее к нулю. Однако серьезные профессиональные демографы в Китае считают это совершенно нереальным и рекомендуют найти какой-то оптимальный уровень, что также нелегко.

Бурный рост населения в Китае неблагоприятно сказался не только на обеспечении продовольствием, но и на положении с жильем. Здесь стало хуже, а не лучше. В первые годы после народной революции в городах на человека в среднем приходилось 4,5 квадратного метра жилой площади, а в 1977-м эта цифра уменьшилась до 3,6 квадратного метра.

Демографическая проблема, которая тесно переплелась с активным походом против культуры, особенно в период «культурной революции», создала острейшие проблемы с образованием в Китае. Китайская печать приводит любопытные данные об уровне образования в Китае в сравнении с другими странами. В 1978 году на 10 тысяч человек в Китае приходилось 9 студентов, а в США — 524 студента, в Японии — 205, в Югославии — 185. «Наш уровень еще ниже, чем в Индии, мы занимаем 113-е место из 141 страны мира», «У нас 100 миллионов неграмотных, причем многие из них стали неграмотными в последнее десятилетие» («Гуанмин жибао», 22 февраля 1980 года). По другим подсчетам около 400 миллионов человек, главным образом крестьян, либо совершенно неграмотны, либо полуграмотны. Их образ жизни, их сознание и психология мало чем отличаются от образа жизни и психологии помещичьих крестьян до революции в Китае.

Среди 141 государства Китай занимает десятое место с конца по затратам на душу населения на цели образования. Япония затрачивает на образование 39 процентов национального дохода. Китай (с 1950 по 1965 год) затрачивал 1,7; с 1966 по 1976 год — 1,1. После крушения пресловутой четверки было затрачено чуть больше — 1,12 процента.

Особую тревогу у руководителей страны вызывает чрезвычайно низкая профессиональная подготовка специалистов в области экономики. В сфере промышленности согласно обследованию в некоторых отраслях технические знания имеют только около 4 процентов работников. Неутешительны данные и в отношении руководителей предприятий. Только 22,4 процента руководителей в промышленности и на транспорте — директоров и секретарей парткомов — имеют технические знания. В связи с этим «Жэньминь жибао» отмечает, что, для того чтобы дать среднее образование кадрам, потребуется 11—12 лет, высшее образование — 14—15 лет. По словам газеты, «те, кто учится в начальной школе, завершат свое образование в 90-х годах и только в конце века смогут внести свой вклад в работу».

Проблема демографии, а также развитие образования и культуры тесно переплетаются с коренными проблемами экономики.

Передо мной материалы зарубежной печати по поводу поворота в экономической политике Китая в последние годы. Уже сами названия статей говорят о многом: «КНР. Руководство промышленностью. Планы структурных изменений», «Медленный поворот Китая к системе свободного рынка», «Разрушение нового Китая», «Прощайте, комму-

ны», «Китай. Цена модернизации», «КНР. Инфляция». Для этих и многих других статей, опубликованных в гонконгской, японской, американской, западноевропейской печати, характерно одно: признание того, что в Китае начинается осуществление далеко идущих экономических реформ, которые могут сказаться на всей структуре общества.

Что же это за реформы и каково их направление?

Прежде всего надо отметить, что за всеми происходящими изменениями не чувствуется никакого четкого плана, никакой четкой программы, рассчитанной на длительную перспективу. Нет и какого бы то ни было основополагающего документа, в котором излагались бы замысел, концепция осуществляемых изменений. На уровне высшего политического эшелона постоянно идут споры не только между еще оставшимися «леваками» и «прагматиками», но и внутри самой «прагматической» группы.

О чем же спорят в Китае?

В «Жэньминь жибао» (от 25 сентября 1979 года) отмечалось, что в Китае имеются три школы по вопросам управления экономикой. Одна школа по-прежнему защищает систему, существовавшую в 50-е годы. Другая школа считает, что решить проблему может предоставление провинциям большей свободы действий, «не понимая, что это оставляет без изменений бюрократический характер системы и приведет к разрыву сотрудничества между провинциями». «Посмотрите на Соединенные Штаты, Японию или Западную Европу,— говорит автор,— экономическая активность предприятий США или Японии не ограничена какими-либо административными рамками, а «Общий рынок» в Европе ломает даже национальные границы». Третья школа, которая представляет новое течение и которую поддерживает газета, призывает к отказу от административных рамок. Предприятие должно платить налоги там, где оно находится. Региональные власти должны снабжать его электроэнергией и другими ресурсами. Центральное правительство будет указывать лишь направление, в котором должно развиваться предприятие, но не должно отдавать безапелляционных приказов.

В этом отношении характерна статья одного из ученых-экономистов, Цзян Тяньиня, которая была опубликована вначале в научном журнале, а затем в «Жэньминь жибао». В ней говорится о необходимости реформы всей экономической системы. В статье затрагиваются вопросы системы управления экономикой в условиях социализма. Автор статьи отмечает, что преимуществом социализма является упразднение частной собственности и эксплуатации, устранение хаоса, который господствовал при капитализме. Однако это не означает, что вся страна должна стать единым предприятием. «Это утопическая точка зрения,— отмечает автор,— наша нынешняя система действует по этой утопической схеме. Средства производства принадлежат всему народу. Поэтому кое-кто думает, что все предприятия — это государственные предприятия и все должно решаться государством. При таком подходе вся экономика похожа на одно огромное предприятие, принадлежащее кабинету министров и действующее по плану, разработанному государственными органами». Но экономика, по мнению автора, это не здание, построенное из кирпичей. Это живой организм, состоящий из живых клеток, из многих самостоятельных организаций под общим централизованным руководством.

На этом основании автор предлагает так строить хозяйство, чтобы оно управлялось с помощью экономических, а не административных мер, и перечисляет некоторые из таких мер. Государство должно формулировать экономическую политику и разрабатывать план, который должен, однако, не навязываться сверху, а разрабатываться на низшей ступени. К тому же план должен быть эластичным и учитывать возможности различной конъюнктуры. Контроль следует, по мнению автора, осуществлять при помощи налогов, займов, учетных ставок, цен, премий и санкций. Автор не скрывает, откуда он почерпнул эти рецепты: он ссылается на практикуемую в Югославии систему, хотя очевидно, что сам весьма неясно представляет себе опыт этой страны.

В печати обсуждается другой принципиальный вопрос — о характере собственности при социализме. При этом одни ставят знак равенства между общественной и государственной собственностью, а другие тяготеют к коллективной собственности предприятий. Тем не менее большинство участников дискуссии высказываются против превращения государственной собственности предприятий в кооперативную. «Если возложить на предприятия (имеются в виду государственные предприятия.— Ф. Б.) ответственность за прибыли и потери и если предоставлять им независимо решать финансовые вопросы, то фактически получается коллективная собственность» («Жэньминь жибао», 21 сентября 1979 года).

Как относятся к этим дискуссиям официальные власти?

На III сессии Всекитайского собрания народных представителей (август — сентябрь 1980 года) основным докладчиком выступил Хуа Гофэн. Он говорил о перспективном планировании экономики, о реформе системы экономического управления, о демократии и социалистической законности, о борьбе с бюрократизмом, о повышении квалификации управляющих.

Экономический комитет подверг серьезной критике работу министерств и заявил, что многие отрасли промышленности до сих пор не достигли уровня, предшествовавшего «культурной революции», что решающий голос на предприятии должен принадлежать партийной организации, директору и что начальники цехов должны избираться на собраниях представителями рабочих и служащих. Говорилось о задаче в трехлетний срок реорганизовать промышленность. На одном из многочисленных совещаний по экономическим вопросам были выдвинуты следующие принципы проведения экономической реформы: 1) отныне средства, выделяемые на амортизацию, будут находиться в распоряжении предприятий; 2) предприятия получат право на самоопределение, на увеличение и сохранение части своих прибылей; 3) половина оборотных средств должна сдаваться в банк и половина остается в распоряжении предприятия в качестве займа, который должен быть израсходован на улучшение производства; 4) оборудование, которое не используется, может быть продано. В следующие два года следует принять меры, чтобы повысить эффективность промышленных предприятий, включая железные дороги, порты, а также уличный транспорт.

Правительственные органы осуществляют некоторые меры по наведению элементарного порядка в экономике, а также нововведения, направленные на то, чтобы оживить экономику, повысить заинтересованность тружеников промышленности и сельского хозяйства, снять барьеры на пути технического прогресса. Эти нововведения носят во многом экспериментальный прагматический характер. Они производятся на ощупь, главным образом по контрасту с прежними волюнтаристскими установками, и неизменно с оглядкой на консервативно настроенный аппарат управления, особенно в среднем и низшем звеньях, где, как правило, не понимают и боятся нововведений.

В чем они состоят, эти нововведения, и какова их направленность?

В июле 1979 года Госсовет КНР принял ряд документов относительно реформ руководства экономикой, права промышленных предприятий на самоопределение. Другие решения касаются поощрения кооперативных предприятий, местных промыслов и небольших частных предприятий. Эти меры имели специальной целью не только увеличение производства товаров широкого потребления, оживление сферы услуг, но и ликвидацию более чем 20-миллионной армии безработных в основных городах Китая. Теперь безработные больше не ссылаются в деревню, а привлекаются к труду в городах, на кооперативных предприятиях, в кустарных промыслах, которые раньше были запрещены. Разрешено существование самодельных мастеровых, торговля вразнос. Разрешены кооперативные и частные мастерские по пошиву одежды, ремонту велосипедов и машин, другой техники, а также кустарные ремесла.

Проблема прибыльности и рентабельности становится центральной в деятельности предприятий. Государство преобразовало, а частью закрыло в 1979 году 3600 промышленных объектов, поскольку они были убыточными и дорогостоящими. Беспокойство у китайских руководителей вызывает огромное отставание Китая от современного технического уровня в развитых странах. На большинстве предприятий возраст оборудования составляет от десяти до сорока лет.

В поисках стимулирования технического прогресса правительство предоставило ряду предприятий и объединений в порядке эксперимента возможность сохранять часть своей прибыли и использовать ее для закупки нового оборудования, а также для расширения программ социального обеспечения рабочих, для их премирования. Например, в угольной промышленности, где прибыль незначительна, предприятие может оставлять на свои нужды до 20 процентов прибыли, а в химической промышленности, которая отличается высокой прибыльностью, эта доля составляет 2—3 процента. При этом часть предприятий и компаний — примерно полторы тысячи — получила разрешение продавать свою продукцию не только государству, но и непосредственно на рынке.

Следующее важное решение, которому в самом Китае придается большое значение, это разрешение некоторым предприятиям и объединениям организовывать совместную экономическую деятельность с иностранными компаниями. Это разрешение дается немногим предприятиям и осуществляется с большой осторожностью.

Китай получил согласие на предоставление ему около 30 миллиардов долларов в виде иностранных кредитов. Однако использует он всего несколько миллиардов долларов. Проблема более широкого использования иностранных инвестиций связана с тем, что китайцам приходится тратить значительные средства, чтобы подготовиться к установке иностранного оборудования, и, кроме того, вкладывать дополнительные средства в создание инфраструктуры.

Одно из самых важных преобразований касается «коммун». Как известно, эта форма организации сельского хозяйства была введена в 1958 году. С той поры она, сохраняя свое название, претерпела серьезные изменения. Одно из них состояло в том, что основной единицей «коммун» стала производственная бригада — хозрасчетное объединение, которое, как правило, распространяется на всю деревню.

Инициатором новой аграрной реформы, судя по всему, выступил нынешний премьер-министр Чжао Цзяян. Как уже отмечалось, он, еще будучи первым секретарем комитета КПК провинции Сычуань, предпринял ряд изменений в деревне, в частности широкое использование приусадебных участков. При этом он не погнушался употребить фразу из четырех иероглифов, которую использовали имперские династии, когда добивались поддержки народа, — «сю ян шэн си», что означает «дать передышку для восстановления благосостояния». Крестьяне сдавали государству в определяемых заранее количествах зерно, растительное масло и другую продукцию, а все остальное оставалось на усмотрение хозрасчетной бригады. В провинции Сычуань было разрешено создавать более мелкие бригады, хотя в то время еще не разрешалось закреплять участки за отдельными крестьянскими дворами.

Теперь эта система распространяется на всю страну. Осуществляются и более глубокие перемены. Сейчас маленькие производственные бригады становятся все меньшими, им поручают проведение определенных работ. Этим последним, в частности в горных районах, раздается бросовая земля. Распространяется принцип, что всякая форма хозяйничания на земле за исключением дележа земли хороша и приемлема, если будет приводить к росту производства продукции.

Какие результаты дают осуществляемые нововведения? Кое-что улучшилось в экономике, но возникли и новые проблемы. Улучшилось, в частности, снабжение населения продовольственными товарами — и через государственную систему и через свободный рынок. В то же время Китай столкнулся с новыми острыми проблемами уже на первых порах осуществления экономических преобразований.

Первая проблема — инфляция. Растут цены, установленные правительством, и безудержно растут рыночные цены. Пришлось для сохранения существующего чрезвычайно низкого уровня потребления пойти на некоторое повышение заработной платы. В 1979 году 40 процентов занятых в промышленности получили прибавки, которые, однако, не компенсировали инфляции.

В последнее время экономические преобразования были приостановлены. Усиление диспропорций, рост инфляции, а также задолженности иностранным государствам и фирмам, усиление социальной дифференциации внутри страны — все это явилось следствием непродуманных и частичных преобразований. Поэтому была объявлена политика урегулирования, а заодно отвергнуты многие проекты, намеченные совместно с японскими и другими зарубежными фирмами. Сессия ВСНП (ноябрь — декабрь 1981) подтвердила этот курс и продлила его еще на пять лет.

Английская газета «Файнэншл таймс» (от 12 марта 1981 года), выдавая беспокойство деловых кругов этой страны и других капиталистических стран, пишет о «загадочном повороте в экономической политике Китая». Резкая инфляция, рост безработицы были использованы противниками экономической реформы, чтобы в целом отвергнуть ее необходимость. Газета ссылается также на волнения на многих предприятиях Китая, стимулирующие обострение политической борьбы в среде китайского руководства.

В последнее время в зарубежной печати промелькнуло сообщение о том, будто Дэн Сяопин собирается уйти «на вторую линию и не будет заниматься текущими делами». Верно ли это? Означает ли это конец «времен Дэн Сяопина»? Или это демонстрация, рассчитанная на то, чтобы стимулировать уход других престарелых руководителей, а самому еще больше укрепиться хотя бы через своих ставленников? Посмотрим...

О чем свидетельствуют все эти данные, характеризующие нынешнюю экономическую политику КНР?

Они несомненно являются показателем поиска более реалистического подхода к острым проблемам, с которыми столкнулась страна. Критический дух результатов экономической деятельности предыдущих двадцати лет выплеснул на поверхность подлинные проблемы экономического, социального и культурного прогресса Китая, демографического развития. С другой стороны, невозможно увидеть сколько-нибудь продуманную концепцию, а тем более программу проводимых экономических изменений и реформ. Они носят довольно хаотичный характер и скорее отвечают на злобу дня, направлены на решение самых неотложных проблем. Китайские руководители не имеют концепции ни по поводу того, на каком этапе находится экономика и вся страна в целом, ни по поводу наиболее эффективных моделей промышленного развития, управления, ни по поводу принципов замышляемых структурных реформ, ни по поводу характера экономических взаимоотношений с внешним миром.

Не только недостаточная компетентность кадров в некоторых областях, но и сохраняющиеся политические предрассудки создают барьеры для осуществления целесообразных решений. Главное — это отторженность от опыта реального социализма. Изучение опыта СССР и большинства социалистических стран Восточной Европы остается табу для китайских кадров. Не случайно в их дискуссиях мелькали одно время почти исключительно примеры экономической реформы Югославии. Это определялось отнюдь не сходством экономических структур и реальных проблем КНР и СФРЮ, а политическими причинами — установлением контактов по партийной и государственной линиям между странами и партиями. Но нет сомнения, что Китай нуждается в глубоком анализе опыта всех других социалистических стран, в том числе опыта Китая в СССР, а также осуществления экономических реформ в Венгрии и Болгарии. Разумеется, я далек от мысли, что китайские экономисты могли бы почерпнуть готовые рецепты из этого опыта. Но, несомненно, это поставило бы их поиски решений на более прочную основу, поскольку многое из того, что сейчас осуществляется или рекомендуется теми или иными специалистами в Китае, уже испытано и получило оценку практикой, показало свои позитивные стороны и издержки.

Другая причина трудностей в осуществлении экономических преобразований связана с переориентацией Китая почти исключительно на сотрудничество со странами Запада. При таком подходе Китай сталкивается по меньшей мере с двумя проблемами. С одной стороны, Китаю трудно использовать западную технику, которая представляет собой разительный контраст с имеющимся сейчас в Китае оборудованием и производственной культурой. С другой стороны, растет угроза экономической зависимости Китая, в том числе зависимости от экономической конъюнктуры мирового капиталистического рынка с его перепадами в ценах, ножницами между ценами на вывозимое из Китая сырье и ввозимое промышленное оборудование, валютными кризисами. Все это чем дальше, тем больше будет сказываться на экономике Китая, не приспособленной к гибкому реагированию на подобные явления.

Наконец, главная проблема — это преодоление наследия периода длительной экономической вакханалии Мао Цзэдуна и его окружения. Эта вакханалия еще многие десятилетия будет тяжелой тенью висеть над Китаем. Придать экономике сколько-нибудь гармоничный и современный характер, стабилизировать политическую систему, сделать ее эффективной с точки зрения принимаемых решений, оживить культурную жизнь и придать образу жизни людей цивилизованный характер, очеловечить отношения и восстановить элементарные нравственные устои — все это потребует гигантских усилий и составит целую историческую эпоху.

В период смутного времени выплескивается наружу критический дух, который был загнан внутрь в период предыдущего царствования. В условиях еще не устоявшейся новой власти, борьбы между отдельными соперничающими группировками, неизбежно ослабления правительственных ограничений приоткрывается форточка гласности, в которую устремляется все недовольство предыдущим режимом. Но этот критицизм весьма специфичен. Он адресован исключительно прошлому и редко содержит в себе конструктивную программу деятельности. Жан-Жак Руссо, великий политический философ, писал: «...общее для всех министров и почти для всех королей заключается в том, чтобы во всяком деле поступать прямо противоположно своему предшественнику».

Важное завоевание последних нескольких лет состоит в обнажении многих проблем, оставшихся от тяжелого периода господства Мао Цзэдуна. Становится все более очевидно, что проблемы, с которыми лицом к лицу столкнулся Китай после его смерти,

выходят далеко за рамки политической борьбы и экономики; они затрагивают коренные нравственные, этические, духовные и социальные идеалы и ценности, на которых зиждется общественное здание страны.

Основная трудность современного Китая состоит в отсутствии ясной, конструктивной программы назревших структурных реформ. Эта трудность возникает не только из-за недостаточной компетентности правящих сил и лиц. Ее причины куда глубже. Они кроются в сохранении основ идеологии, национальных и социальных целей, которые были заявлены Мао Цзэдуном. Эти цели — достигнуть любой ценой национального величия, понимаемого как создание мощной военно-промышленной державы. Прозрачная, как вода, цель социализма — благосостояние и культура трудящегося люда — по-прежнему игнорируется или отодвигается на задний план как второстепенная, недостаточная, несущественная. Это деформирует все программы намеченных преобразований и сводит критику предыдущей эпохи к простой смене вех и обожествляемых лиц. В этом кроется главная проблема будущего развития Китая.

Есть серьезные основания опасаться, что китайское руководство спасует перед теми сложнейшими проблемами, с которыми столкнулось после смерти Мао Цзэдуна. Не находя решения этих проблем и все более запутываясь в противоречивых шагах в условиях непрекращающейся политической борьбы и неурядиц, опасаясь потерять контроль и власть в обществе, какие-то китайские деятели на каком-то этапе могут увидеть выход в возврате к единоличному руководству.

Такое руководство, вероятно, не повторит всех жестокостей периода «культурной революции». Слишком глубоко запали в сознание и функционеров, и рядовых коммунистов, и широкой массы разоблачения последствий режима личной власти Мао Цзэдуна. Но тем не менее оно может покончить с элементами борьбы против тяжелых последствий режима личной власти, которые наметились в последние годы. И тогда занавес снова будет опущен. Реальные проблемы снова будут загнаны внутрь, как джинн в бутылку, о них перестанут вслух говорить, поскольку нет средства их решить, во всяком случае в короткие сроки. И Китай снова упустит возможность более эффективно преодолевать экономическую отсталость, восстанавливать и развивать социалистические программы развития.

Консервативный режим внутри страны будет отводить душу во внешнеполитической экспансии. Тем более что Китаю удастся опереться на более или менее мощный термоядерный потенциал и более современную армию. Куда будет обращен этот экспансионизм, невозможно предсказать. Но несомненно, что он создаст угрозу прежде всего для всех соседей Китая.

Конечно, не хочется верить в неизбежность подобной альтернативы, но ее нельзя и сбрасывать со счетов. Смутное время, время междуцарствия, больше тяготеет к возвращению на круги своя, чем к демократическому развитию. Поэтому, надеясь на лучшее, будем также принимать во внимание возможность худших перспектив.

Что касается нас, то мы хотели бы надеяться на иное развитие Китая, на постепенный возврат на позиции VIII съезда КПК (1956), на постепенное преодоление деформаций последующего периода, на укрепление социалистических начал и социального динамизма. Мы всей душой стоим за такое развитие Китая, которое раньше или позже привело бы к его сближению со странами социализма, нормализации отношений с СССР и развитию сотрудничества. Мы убеждены, что такое развитие отвечает интересам и китайского и советского народов, как и других народов мира.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ

★

«НИГИЛИЗМ» И НИГИЛИЗМ

О некоторых новомодных трактовках творческого наследия Писарева

1

Любое обращение к прошлому, как известно, всегда служит современности, решению тех или иных задач сегодняшнего и завтрашнего дня. Те споры, которые завязываются ныне вокруг наследия русской революционно-демократической критики, также имеют сугубо современное, остроактуальное и не только отечественное, но подчас глобальное, мировое значение.

Именно такой характер, как будет показано ниже, носит спор о Писареве, а если говорить точнее и шире — о русском «нигилизме», начавшийся еще в XIX веке и продолжающийся со все возрастающей не только эстетической, но и политической остротой в наши дни.

Сразу скажем: Д. И. Писареву и его товарищам по журналу «Русское слово», органически входившим в революционно-демократическую традицию 60-х годов XIX века, хотя и занимавшим свое, особое, самостоятельное место в ней, не повезло в большей степени, чем всем остальным нашим революционным демократам: отношение к ним, даже в современной советской науке, до сих пор не установилось, не отстоялось. Может быть, поэтому к ним с такой подчас безответственной легкостью применяются те или иные приемы остракизма, сочетаемые с полнейшей безапелляционностью уничижительных, а порой и уничтожающих высказываний. Как в XIX веке, так и сейчас — в силу противоречивости и уязвимости некоторых их эстетических и философских позиций — именно через Писарева и его коллег по «Русскому слову» в работах некоторых литературоведов с полнейшей безнаказанностью «сводятся счеты» с русской революционной демократией вообще.

Даже в учебниках и энциклопедиях Писарева и журнал «Русское слово» в целом не перестают отлучать от революционно-демократической мысли, представляя их то некими «реформистами», что не имеет никакого отношения к действительности, то «буржуазными радикалами», то злокозненными «нигилистами» — ярлык, прилепленный им идейными противниками еще в XIX веке и вновь совершенно неожиданно получивший самое широкое хождение, как это будет показано ниже, сейчас.

Но ведь сегодня мы с предельной бережностью относимся даже к наследию тех критиков и публицистов, которые были идейными противниками русской революционной демократии! Зачем же нам обкрадывать себя, не замечая всего реального богатства и многообразия творческого наследия русской революционной демократии? Пристальное и бережное наше внимание должно распространяться на все реальные гуманистические ценности отечественной истории — при последовательном конкретно-историческом, социально-классовом к ним подходе. А это значит: чем глубже и шире мы исследуем сложнейший общественно-литературный процесс XIX века, тем с большей пристальностью мы обязаны всматриваться в опорные веки этого процесса, поставленные великой русской революционно-демократической критикой. Иначе мы рискуем не только обеднить себя, обеднить идейный, литературно-общественный процесс прошлого века, но и внести антинаучные, антиисторические aberrации и искажения в реалии этого процесса. Наша обязанность — с особым вниманием вглядываться в творческое наследие критиков и публицистов XIX века, кто так или иначе помог выстрадать ту революционную идею, которая в итоге и привела Россию к Великой Октябрьской со-

циалистической революции. На одном из первых мест в этом славном ряду, вслед за Белинским и Герценом, Чернышевским и Добролюбовым, стоит, конечно же, Писарев, понять и оценить которого вне идейно-творческой атмосферы журнала «Русское слово» 1860-х годов, где он сформировался как литературный критик, практически невозможно.

2

Встречающееся еще предвзятое отношение к деятельности Писарева и других сотрудников журнала «Русское слово» определяется или недостатком осведомленности об истинных позициях этого журнала, или же влиянием стереотипов, еще в XIX веке утвердившихся в отношении его. Как сказано, один из самых давних и наиболее привычных стереотипов в отношении журнала «Русское слово» связан с обвинениями Писарева и других сотрудников этого журнала в «нигилизме», то есть огульном отрицании всех и всяческих ценностей и норм, в провозглашении «разрушительных» теорий и доктрин. Обвинения эти, выдвигавшиеся в свое время идейными противниками журнала, равно как и русской революционной демократии в целом, на протяжении XIX и начала XX веков в разных вариациях звучали в консервативной, официальной науке и реакционной публицистике. Лишь марксистская научная мысль дала этим бездоказательным обвинениям справедливую и точную оценку, выработала научную концепцию в истолковании наследия русских революционных демократов вообще, наследия Писарева и его товарищей по журналу «Русское слово» в частности.

Тем неожиданнее встретить в книгах современных литературоведов, историков и философов этот, казалось бы, давно отвергнутый в науке взгляд на «Русское слово» как орган русского нигилизма, причем нигилизма, так сказать, без кавычек, в доподлинном значении этого слова. Именно так трактует, к примеру, Писарева и его товарищей по журналу «Русское слово» Юрий Лоциц в книге «Гончаров» (издательство «Молодая гвардия», серия «ЖЗЛ»), с рядом положений которой мне уже доводилось спорить¹. Как бы солидаризируясь с И. А. Гончаровым, Ю. Лоциц так рассказывает о цензурской деятельности писателя:

«В нигилизме Гончаров видит прежде

всего силу абсолютного разрушения, силу слепую, самонадеянную, циничную и завистливую, существующую лишь постольку, поскольку есть что разрушать, от чего отказываться. Кто-нибудь,— продолжает Ю. Лоциц,— пожалуй, скажет, что это у него старческое брюзжание. Но разве он один из писателей возмущен и оскорблен? А более молодые? Тот же Писемский, тот же Лесков? Про них ведь не скажешь, что они науськаны против нигилизма правительством,— люди самостоятельные... А Тургенев, наконец? Ведь его Базарова симпатичной личностью никак не назовешь, недаром и в печати такой шум вокруг „Отцов и детей“».

В этом повествовании как бы сплавлены воедино точка зрения Гончарова, о котором ведется рассказ, и точка зрения автора. Сплавлены своеобразно: точка зрения Гончарова на «нигилизм» видна отчетливо, точка же зрения автора почти неуловима, предельно расплывчата, а она для точности оценок явления, именуемого «нигилизмом», в книге, предназначенной для массового читателя, крайне важна. В самом деле, как же современному-то читателю относиться к той борьбе, которую вел царский цензор Гончаров с так называемым нигилизмом, а в действительности с революционной демократией? Становится в этой борьбе на точку зрения Гончарова, прекрасного русского писателя, однако вполне реакционного политика, или же на точку зрения современной науки, объективно рассматривающей истоки и ход этой борьбы с точки зрения социальной и классовой, под углом марксистско-ленинской методологии?

Вчитаемся в последующее движение мысли автора книги о И. А. Гончарове:

«Особенно раздражают Гончарова — и как цензора, и как литератора — критик Писарев и печатающий его журнал «Русское слово». Что за безответственность в высказываниях о Пушкине, вообще о русской литературе недавних десятилетий! И какая заносчивость по прочтении всего нескольких заграничных книжек... В конце концов именно он, Гончаров, становится инициатором запрещения этого журнала, находящегося под его цензорским надзором. Вывод, сформулированный им в письме Валуеву, неумолим: «Направление журнала «Русское слово» вредно и безнравственно с самого начала его издания»...».

«Пусть рассудит его с Писаревым сама история,— подводит итог своим размышлениям Ю. Лоциц.— Но пусть не забудут

¹ См. Феликс Кузнецов, «Истина истории» («Москва», 1981, № 1).

строгие судьбы: он защищал Пушкина, защищал святая святых родной культуры».

Итак, голос автора, точка зрения автора прорезались: под флером объективизма (пусть рассудит его, то есть Гоячарова, с Писаревым сама история) явственно слышна мысль об исторической правоте Гончарова, выступившего инициатором закрытия журнала «Русское слово». Чтобы у читателя не оставалось и тени сомнения или неясности в отношении Гончарова — цензора и критика журнала «Русское слово», его решения о закрытии этого журнала, «вредного и безнравственного с самого начала его издания», Ю. Лощиц сопровождает эти слова Гончарова из письма Валуеву следующим примечанием: «Тон и тенденция «Русского слова» раздражали даже такого независимого от официальных мнений писателя, как М. Е. Салтыков-Щедрин. В своей характерной сатирической манере он называет этот журнал «невинным, но разухабистым органом невинной нигилистической ерунды», а критика «Русского слова» Варфоломея Зайцева — «одним из знаменитейших наших ерундистов». Писарева Салтыков-Щедрин поминает под ироническим псевдонимом «Бенескриптов»...».

Чего же боле? Журнал, проповедующий «нигилизм» как «силу абсолютного разрушения, силу слепую, самонадеянную, циничную и завистливую», «вредный и безнравственный с самого начала его издания» (эти определения «Русского слова», приводимые в книге о Гончарове, не опровергаются ее автором), орган «нигилизма», подвергавшийся беспощадному нравственному суду не только Писемским или Лесковым, А. К. Толстым или Тургеневым, но даже и таким «независимым от официальных мнений писателем», как М. Е. Салтыков-Щедрин, журнал, главным и, судя по Ю. Лощицу, исчерпывающим итогом деятельности которого было перечеркивание Пушкина, вообще «русской литературы недавних десятилетий», поношение «святая святых родной культуры», — конечно же, такой журнал, каким он встает со страниц книги Ю. Лощица, вполне заслуживал гнева И. А. Гончарова и власть предержащих, своей печальной судьбы.

Вы скажете: такова, видимо, точка зрения Гончарова, а не Лощица, который лишь воспроизвел ее в книге. Да, конечно, это точка зрения прежде всего Гончарова, но — еще раз подчеркну — воспроизведена она Ю. Лощицем таким образом, что не возникает и тени сомнения в ее истинности. Более того, по объективному смыслу приведенных выше слов в книге Ю. Лощица

этот журнал заслуживает и нашего гнева, нашей самой резкой оценки, за которой должна последовать полная переориентация в толковании наследия Писарева и его товарищей по журналу «Русское слово»!..

В увлечении своим героем, и в самом деле огромным русским писателем И. А. Гончаровым, о котором Ю. Лощиц написал в целом талантливо и интересно, критик не смог отделить зерно от плевел, с достаточной зоркостью и глубиной увидеть ограниченность политических позиций Гончарова. Более того, он некритически воспринял иные политические воззрения писателя, и в частности не только его писательский, но цензорский взгляд на журнал «Русское слово», являвшийся в свое время прямым идейным и политическим противником Гончарова. Этот глубоко субъективный взгляд современника, принимавшего активное участие в идейно-политических битвах своего времени, сегодняшнему исследователю следовало выверить самостоятельным, собственным прочтением журнала под углом зрения марксистско-ленинской научной методологии. В таком случае автору книги о Гончарове невозможно было бы абстрагироваться от коренного вопроса: интересы каких социальных слоев и общественных сил представляли и выражали в этой идейной борьбе Писарев и Гончаров?

Мы отнюдь не собираемся перечеркивать того огромного гуманистического содержания творчества Гончарова, которое наследуем, равно как не собираемся обелять Писарева, а тем более Зайцева и, в частности, закрывать глаза на те упрощения и ошибки прямолинейно-утилитарного свойства, которые появились в их эстетике и литературной критике. Однако сама постановка такого вопроса и методологически точный, научный ответ на него предостерегли бы от ошибок противоположного свойства — когда игнорируется огромное гуманистическое, революционно-демократическое содержание творчества Писарева и журнала «Русское слово» в целом, когда, с другой стороны, спрямляются социально-политические позиции того же Гончарова, который в своих воззрениях был убежденным сторонником самодержавия и столь же убежденным врагом революции и социализма. Именно их-то, то есть революцию и социализм, а не просто «отрицание Пушкина», консервативная традиция того времени именовала «нигилизмом». Как же можно не считать сегодня с реальной, конкретно-исторической расстановкой политических, классовых

вых сил в ту сложную, предреволюционную эпоху, именуемую 60-ми годами XIX века?!

3

Вопрос о термине «нигилизм», «нигилисты» применительно к Писареву и «Русскому слову» заслуживает специального рассмотрения. Вопрос этот имеет свою — и немалую — историю. Существует целая литература, посвященная самому слову «нигилизм», тому конкретно-историческому смыслу, который в него вкладывался на разных этапах идейной борьбы.

Исследователями (М. П. Алексеевым, Б. П. Козьминым) установлено, что слово это, получившее во второй половине прошлого века особую, по сути дела, международную известность, первоначально было лишено той специфической смысловой окраски, которую оно обрело в пору 60-х годов. Слово это, указывал в статье «К истории слова „нигилизм“» М. П. Алексеев, «употреблялось и в критических и полемических статьях, но его настоящая история начинается только с того момента, когда Тургенев применил его к типической психологии шестидесятника: внезапно, с чудодейственной быстротой, оно приобрело новый смысл и силу влияния».

Согласившись с этим суждением в принципе, Б. П. Козьмин в статье «Два слова о слове „нигилизм“» сделал некоторые уточнения. Одно касалось термина «шестидесятник» как термина в данном случае неточного, поскольку шестидесятники, справедливо замечает Б. П. Козьмин, «бывали разные». «В Базарове, — уточнял Б. П. Козьмин, — Тургенев подчеркивал прежде всего и больше всего его отрицательное отношение к окружающему обществу, к принятым в нем взглядам и обычаям, к традиционной идеологии господствующего класса — словом, ко всему феодально-крепостническому укладу жизни. «Нигилисты» — это представители новой интеллигенции, народившейся в то время в России, начинавшей чувствовать себя все более крепко и уверенно и отгеснявшей на задний план старую, дворянскую интеллигенцию. Этих-то людей, составлявших лагерь революционной демократии того времени, Тургенев и намеревался изобразить в своем романе».

Итак, по свидетельству такого авторитетного знатока истории русского освободительного движения, как Б. П. Козьмин, слово «нигилизм», введенное в широкий общественный обиход автором романа «От-

цы и дети» И. С. Тургеневым, обозначало прежде всего революционных демократов 60-х годов, и в первую очередь деятелей журналов «Современник» и «Русское слово».

Критик «Современника» М. А. Антонович, говоря об освободительном движении 60-х годов, писал: «Уже Тургенев окрестил это движение презрительной кличкой „нигилизма“»².

В официальных правительственных документах того времени слово «нигилизм» используется опять-таки для обозначения демократического движения 60-х годов в целом. «Находясь во главе современных русских талантов и пользуясь симпатией образованного общества, Тургенев этим сочинением (романом «Отцы и дети». — Ф. К.), неожиданно для молодого поколения, недавно ему рукоплескавшего, заклеил наших недорослей-революционеров едким именем «нигилистов» и поколебал учение материализма и его представителей», — читаем мы в цензурных документах того времени.

Таким образом, уже в 60-х годах прошлого века для современников как революционного, так и противостоявшего ему реакционного направления было очевидно, что слово «нигилизм» было прежде всего оружием в той идейной борьбе, которую вели против революционной демократии силы либерализма и реакции. Не ожидавший столь широкого успеха этого «едкого слова» среди самой черносотенной публики, явно защищаясь от упреков со стороны демократических кругов русского общества, И. С. Тургенев писал по этому поводу: «Выпущенным мною словом «нигилист» воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово; но как точное и уместное выражение проявившегося — исторического — факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения — почти в клеймо позора»³.

Впрочем, таковым оно было изначально, если иметь в виду тот факт, что, как убедительно доказал Б. П. Козьмин, подлинным изобретателем слова «нигилизм» применительно к русской революционной де-

² М. А. Антонович и Г. З. Елисе-ев. Шестидесятые годы. Воспоминания. М.—Л. «Academia». 1933, стр. 111.

³ И. С. Тургенев. Собрание сочинений в двенадцати томах. М. Гослитиздат. 1956, т. 10, стр. 353.

мократии был самый ярый ненавистник революционной демократии редактор-издатель журнала «Русский вестник», в котором печатались «Отцы и дети», М. Н. Катков.

Еще в 40-е годы, в пору своего умеренного либерализма, Катков пользовался словом «нигилизм» в значении «материализм». В 60-х годах, по мере того как он совершал поворот от консервативного либерализма к обскурантизму и реакции, Катков избрал в качестве главных своих врагов «Современник» и «Русское слово», клеветнически обвиняя органы революционной демократии в голом отрицании, разрушении ради разрушения, отсутствии положительной программы действий, то есть в «нигилизме». «...наши прогрессисты, герои наших кружков, борзописцы наших журналов,— писал Катков,— не представляют никаких задатков будущего; все это одна гниль разложения. Пусть начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой», а пока что «в действительности... ничего нет, и весь этот прогресс, все эти движения, все эти смены доктрин, все эти фазы развития не более как мыльные пузыри». Словом, идеи русской революционной демократии — это «теории, создаваемые из ничего». Так писал Катков в статье «Элегическая заметка» в августовской книжке «Русского вестника» за 1861 год, отвечая на «Полемические красоты» Н. Г. Чернышевского.

Два месяца спустя — и за четыре месяца до появления «Отцов и детей» — Катков продолжил ту же тему, обрушившись на людей, которые «гордятся и любят себя своим нигилизмом, и в то же время выдают себя, и хотят, чтобы все признавали их за людей прогресса».

На этот первоисточник в употреблении понятия «нигилизм» для обозначения революционной демократии указывал А. И. Герцен: «Московским доктринерам надоело называть своих противников материалистами, и они изобрели термин нигилист, как бы желая подчеркнуть появление отягочающих вину обстоятельств, высшую степень материализма. Этот термин в применении к молодым людям, страстно преданным своему делу, т. е. науке, был лишен всякого смысла. Мы допускаем еще, что можно говорить в известных пределах о трагическом нигилизме Шопенгауэра, этого философа смерти, или об эпикурейском нигилизме бессердечных созерцателей людских страданий, этих праздных свидетелей кровавой борьбы, державшихся в стороне и не принимающих никакого участия в горестях и стра-

стях своих современников. Но говорить о нигилизме молодых людей, пламенных и преданных, лишь прикидывающихся отчаявшимися скептиками,— это грубая ошибка»⁴.

И далее он убедительно показывает, что «нигилизм» в том смысле, какой вкладывался в этот термин реакцией 1860-х годов, есть не что иное, как отрицание крепостничества, борьба за освобождение народа от экономических, социально-политических и духовно-нравственных пут. «Нигилизм, как понимает его реакция,— пишет Герцен,— появился не со вчерашнего дня: Белинский был нигилистом в 1838 г.— он имел на это все права... «Для этого человека нет ничего святого, ничего достойного уважения!» — кричали литературные авторитеты. Это нигилист, сказали бы на реакционном жаргоне нашего времени».

Герцен справедливо считал, что истинным «изобретателем» термина «нигилизм» как «клейма позора» для революционных демократов был Катков. «Однако нет сомнения в том,— справедливо замечал Б. П. Козьмин,— что, если бы Тургенев не заимствовал у него этого термина, слово «нигилизм» никогда не приобрело бы того громадного распространения как в России, так и за границей, какое оно имело в 60-х годах и позднее».

Сам Тургенев, говоря в письме Случевскому о трагическом лице Базарова, о его честности, правдивости, демократизме до конца ногтей, утверждал: «...если он называется нигилистом, то надо читать: революционером».

Как же реагировали на этот термин, придуманный и широко используемый их идейными противниками как «клеймо позора», сами революционные демократы? Наивно было бы думать, будто они не понимали всей необъективности этого термина, придуманного реакцией прежде всего и главным образом ради идейной и моральной компрометации революционного движения. Нельзя не отдать должное этому «изобретению»: для поверхностного восприятия оно било в точку, ибо русские революционные демократы и в самом деле выступали как отрицатели, но отрицатели отжившего, и прежде всего — крепостничества и всех его порождений. Их отрицание никогда не было отрицанием ради отрицания, но всегда отрицанием ради утверждения. Как известно, в условиях 60-х годов прошлого века именно они

⁴ А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах. М. Издательство АН СССР. 1959, т. XVIII, стр. 216.

были партией будущего, обладавшей широкой и цельной системой гражданских убеждений и общественных идеалов, обширной и перспективной программой положительных преобразований русского общества, улучшения жизни родной страны. Эти великие сыны России, бесстрашно выступавшие против проклятия крепостничества, оскорблявшего, гнувшего, угнетавшего русский народ, были убежденными и страстными патриотами, желавшими блага родной стране и ее народу.

Коварство же катковского «изобретения» заключалось в подмене понятий, в стремлении представить дело так, будто русские революционные демократы отрицали не отжившие или отживающие формы общественной жизни своего времени ради утверждения иных, более высоких форм общественной жизни, но все человеческие ценности, занимались отрицанием ради отрицания, будто за душой у них не было ничего. Этим термином Катков и катковствующие пытались перечеркнуть все великое положительное содержание идеологии русской революционной демократии 60-х годов, их будущие последователи с помощью того же термина «нигилизм» перечеркивали положительное содержание революции и социализма в принципе.

Естественной реакцией демократов на подмену такого рода была прежде всего едкая, саркастическая ирония, ибо они не считали возможным в данном случае опуститься до серьезного спора с противником — настолько нелепым было обвинение русской революционной демократии в «нигилизме».

Уже в ноябрьской книжке «Современника» за 1861 год, в разделе, посвященном похоронам Добролюбова, содержался ответ Каткову, ответ глубоко саркастический.

«...мы,— писал здесь Панаев, как бы надевая на себя личину противников «Современника»,— или, что все равно, некоторые из нас, решили, что новое поколение, несмотря на свой действительно замечательный ум и сведения, поколение сухое, холодное, черствое, бессердечное, все отрицающее, вдавнеее в ужасную доктрину — в н и г и л и з м!.. Нигилисты! Если мы не решились заклеить этим страшным именем все поколение, то по крайней мере уверили себя, что Добролюбов принадлежал к нигилистам из нигилистов».

Ирония эта понятна. Вспомните свидетельство Степняка-Кравчинского: «слово нигилизм получило право гражданства как бранная кличка», а уже потом, в порядке

вызова, как «гордо принятый ярлык» революционной демократии.

Разумеется, революционные демократы никак не могли принять всерьез этот термин, навязываемый им в качестве клейма реакционной партией, и если сами и употребляли его, то крайне редко и чаще всего с ироническим вызовом. Ответом на явную провокацию Каткова была попытка Писарева ввести в общественное сознание качественно другой термин для обозначения передового общественного движения 60-х годов: реалисты. Писарев, принимая в принципе Базарова и роман «Отцы и дети», тем не менее полагал, что термин «нигилизм» ни в малой степени не выявляет действительного содержания взглядов того же Базарова, не говоря уж о действительных, реальных деятелях освободительного движения 60-х годов. Писарев упорно из статьи в статью внедрял в сознание читателей термины «реализм», «реалисты», неоднократно возвращаясь к их разъяснению. Эти термины полемичны по отношению к понятию «нигилизм», ибо акцент здесь делается как раз на положительном содержании деятельности демократов.

Вот почему вызывают удивление и самое решительное возражение попытки и сегодня представлять демократов-шестидесятников вообще, Писарева и деятелей журнала «Русское слово» в частности, как нигилистов без всяких кавычек. Если «нигилистами» представляли революционных демократов их противники, то это еще не означает, будто они и на самом деле были нигилистами. Длительным нигилистом своего времени был Катков, отрицавший будущее, а не русские революционные демократы, отрицавшие феодально-крепостнический строй в его социальных и духовных проявлениях.

Впрочем, применительно к Чернышевскому, Добролюбову, Герцену эта истина сегодня уже очевидна для всех; во всяком случае, мало кто, если не считать прямых наших недругов, ныне рискнет представить их в непритязательной роли «нигилистов», а уж тем более нигилистов без кавычек. Иная традиция сложилась в отношении Писарева и других публицистов «Русского слова». Как мы убедились на примере молодого критика и литературоведа Ю. Лоцица, и сегодня можно еще встретить толкование творчества Писарева, содержания журнала «Русское слово», включающее то и другое в рамки пресловутого «нигилизма».

Это связано и с тем, что хотя термин «нигилизм» был «изобретен» Катковым и

Тургеневым как ругательная кличка революционной демократии 60-х годов вообще, он вошел в общественное сознание вместе с образом Базарова, которого Писарев перетолковал на свой лад, приняв как характер, в каких-то основных чертах верно воплощающий передовые тенденции общественного движения 60-х годов. И характер самого Базарова и понятие «нигилизм» уже в ту пору больше соотносились с «Русским словом», чем с «Современником». Об этом писал, в частности, Шелгунов. «Употребляя для характеристики его (то есть «Русского слова». — Ф. К.) не совсем точное... выражение, — указывал Шелгунов, — пришлось бы назвать его органом нигилистическим. Цвет ему давало крайне отрицательное направление, во главе которого выступили Писарев и Зайцев»⁵. Шелгунов имел в данном случае в виду яростность отрицания Писаревым и другими сотрудниками «Русского слова» социальных и духовных основ крепостнического общества, то настроение, которое с особой ярственностью прозвучало, к примеру, в следующих писаревских словах: «...да падут во имя разума дряхлый деспотизм, дряхлая религия, дряхлые стропила современной официальной нравственности».

Как известно, с этим яростным настроением, выражаемым подчас с юношеской размахистостью, Писарев входил в литературную критику. Вспомним, его «Сколастику XIX века»: «...вот ultimum нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно разбивать, что выдержит удар, то годится, что разлетится вдребезги, то хлам». Эта яростность отрицания, но отрицания отнюдь не нигилистического, отрицания всего отжившего во имя высоких гуманистических идеалов, равно как и ошибки, допущенные журналом в увлечении этой борьбой, проистекавшие от просветительской ограниченности его положительных позиций, скажем отрицания Писаревым Пушкина, многие крайности Варфоломея Зайцева привели к тому, что придуманный Катковым и пущенный в обиход Тургеневым термин «нигилисты» особенно плотно и в какой-то степени привычно пристал к Писареву и журналу «Русское слово». И еще один немаловажный момент, объясняющий, почему под «нигилистами» в первую очередь и до сих пор разумеют сотрудников журнала «Русское слово»: проявления «детской болезни „левизны“» свойственны этому журналу в куда большей степени,

чем «Современнику». Следует подчеркнуть, что расцвет деятельности «Русского слова» пал на годы, когда пик крестьянской революционности уже миновал, настала пора реакции второй половины 1860-х годов. И журнал «Русское слово» дает нам первый наиболее очевидный пример постепенного отхода от классических образцов русской революционно-демократической мысли в направлении либерализма (эволюция Благосветлова) или же, напротив, анархизма (эволюция Соколова) и бланкизма (эволюция Зайцева и Ткачева). Ультрар-революционность, особенно если она проявляет себя в форме анархизма, как показывает опыт истории, и в самом деле может обернуться нигилизмом без всяких кавычек.

В какой-то степени с таким размахистым, анархическим и в этом смысле нигилистическим отрицанием мы встречаемся позже и на страницах журнала «Русское слово» в иных высказываниях того же Н. Соколова или В. Зайцева. Но эти ошибки ни в коей мере не перечеркивают положительного содержания журнала. Деятели «Русского слова», как и деятели «Современника», в своих основополагающих позициях никогда не были нигилистами.

Раскрыв недоброжелательный умысел «московских мыслителей», придумавших термин «нигилизм», выражающий неприемлемые для них понятия материализма и революции, Герцен чуть позже писал: «Идет это название к делу или нет, это все равно. К нему привыкли, оно принято друзьями и врагами». Тем самым он подчеркивал условность, крайнюю относительность и даже ложность этого жупела для русской революционной демократии, навязанного общественному мнению лагерем обскурантизма и реакции. И хотя к этому термину привыкли как друзья, так и враги, Герцен не устал снова и снова доказывать, что если понимать нигилизм как «превращение фактов и мыслей в ничего, в бесплодный скептицизм... в отчаяние, ведущее к бездействию, тогда настоящие нигилисты (то есть те, кого обозначили Катков и Тургенев этим названием. — Ф. К.) всего меньше подойдут под это определение, и один из величайших нигилистов будет И. Тургенев, бросивший в них первый камень, и, пожалуй, его любимый философ Шопенгауэр».

4

Итак, при всей распространенности термина «нигилизм» вряд ли правильно с точки зрения научной методологии считать его

⁵ Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М. — Пг. Государственное издательство. 1923, стр. 171.

хоть сколько-нибудь точно выражающим суть мировоззрения, социально-философских, общественно-политических и эстетических позиций Д. И. Писарева и его сподвижников, не говоря уж о русской революционной демократии в целом.

Между тем иные современные исследователи настаивают на некой единой типологической категории «нигилизм», обнимающей самые различные, часто несоединимые явления человеческой мысли, возросшие в разное время на совершенно различной социальной почве, выражающие полярные классовые, социальные интересы.

Подобная концепция как бы по новой моде перелицовывает старые, катковской поры наветы на журнал «Русское слово» как главного оракула нигилизма на Руси. Если Ю. Лощиц повторяет давнюю ложную оценку в ее ветхозаветных формах, то некоторые новейшие исследователи пытаются облечь ее в ультрасовременные философские одеяния.

Эту концепцию легко проследить не только в исследованиях (скажем, в книге А. И. Новикова «Нигилизм и нигилисты» — Лениздат. 1972), но и в энциклопедиях (скажем, в статье «Нигилизм» в томе 9 Краткой литературной энциклопедии). Авторы соединяют здесь несоединимое — к примеру, Писарева и Шопенгауэра — в некий единый мировой феномен «нигилизма». Величайший парадокс и нелепость: русская революционная демократия под именем «нигилизм» отождествляется с теми самыми тенденциями, с которыми боролась не на жизнь, а на смерть, которые прозорливо оценивала как реакционные!

Как не подивиться в этой связи прозорливости Герцена, который в противовес так называемому нигилизму русских шестидесятников объявила во второй половине 60-х годов прошлого века настоящим нигилистом «философа смерти» Шопенгауэра! Ибо именно из Шопенгауэра в значительной степени и вырос тот, говоря словами Герцена, «настоящий нигилизм», который бурно развился в конце XIX и особенно в XX веке и к которому по недоразумению или по злому умыслу пытаются пристегнуть сегодня русских шестидесятников... У истоков этого «настоящего нигилизма» вслед за Шопенгауэром стоит в качестве основоположника и идейного столпа такая фундаментальная фигура в истории буржуазной философии и идеологии, как Ницше, а следом такие реакционные мыслители так называемого западного мира, как Шпенглер, Хайдеггер, Л. Шестов...

Мне скажут: значит, типология нигилиз-

ма возможна? Отвечу: да, если брать нигилизм без кавычек, как философию отрицания смысла жизни, да и самой жизни на земле. И в таком понимании корни его еще в учениях гностицизма и манихейства, в ереси катаров и альбигойцев, в учении блаженного Августина, в этическом негативизме и релятивизме, которые через Ницше и Шпенглера выводят нас к негативистским течениям современного экзистенциализма. Вот только русским революционным демократам с их пафосом революционного утверждения, с их болью за народ, с их апофеозой будущего в этом ряду делать нечего!

Между тем, игнорируя эту позицию, в конечном счете — позицию Герцена, противопоставившего нигилизм подлинный, шопенгауэровский условному «нигилизму» шестидесятников, смазывая столь принципиальное различие между двумя полярными направлениями развития мысли, отдельные теоретики и сегодня упорно пытаются рассматривать абстрактный феномен «нигилизма» в некоем чисто внешнем его единстве, объединяя несоединимое — Ницше и Писарева.

«...нигилизм, — читаем мы в одном из коллективных сборников, не так давно у нас вышедшем, — является насущной жизненно-философской проблемой, вот уже более столетия не сходящей со сцены европейской культурной истории и поочередно сосредоточивающей на себе умственные взоры мыслителей и художников как на Западе, так и в России, а иногда даже берущей их в плен. Начиная с середины XIX века нигилизм — эта мировоззренческая установка на отрицание духовных основ бытия, или, в более факультативном смысле, на отказ признать реальность и ценность за теми или иными сторонами космического, социального и духовного мира — захватывает значительные пласты умственной и культурно-общественной жизни. Причем он развивается в двух главных вариантах: в России оформляется радикальная, общественно окрашенная разновидность нигилизма, долучившая здесь и своих выразителей и своих критиков; в западноевропейской мысли утверждается и концептуализируется разновидность «метафизического» нигилизма (А. Шопенгауэр, Э. Гартман, Ф. Ницше, С. Кьеркегор, О. Шпенглер, К. Ясперс и, наконец, М. Хайдеггер)».

Исходя из подобной же концептуальной установки, Краткая литературная энциклопедия в статье Р. Гальцевой и И. Роднянской так определяет суть «нигилизма»: «НИГИ-

ЛИЗМ (от лат. nihil — ничто) — умонастроение, связанное с установкой на отрицание духовных основ бытия (личности, общества, культуры) и сопровождающееся пафосом негативизма... Начиная со 2-й половины 19 в. нигилизм формируется в двух его разнородных версиях: радикальный социально окрашенный нигилизм в России и «метафизический» нигилизм, идущий от А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, в Европе — и захватывает значительные пласты умственной, культурно-общественной и литературно-эстетической жизни).

И далее обширная статья «Нигилизм» нацелена не столько на то, чтобы проакцентировать принципиальное различие этих двух «версий» нигилизма, из которых одна, если брать точное значение этого слова, вовсе и не являлась нигилизмом, сколько на прямо противоположное: установление их единства и родства часто в ущерб фактам и принципу конкретного историзма.

По утверждению авторов статьи, нигилизм «на европейской почве шел под знаком отталкивания от лицемерной и прозаичной буржуазно-мещанской цивилизации, в то время как в России он оказался формой общественно-идеологического протеста и атакой на патриархально-религиозные основы общезития». Как видите, и там протест и тут протест, в одном случае антибуржуазный, в другом антикрепостнический, а суть вроде бы все равно одна: отрицание духовных основ бытия!

Тенденция именно такова: вывести в итоге некую среднеарифметическую равнодействующую в оценке этого усредненного, но в целом малопривлекательного явления, характерного для Европы и России XIX—XX веков, именуемого нигилизмом.

Но характеристика «западного» нигилизма, данная в статье Р. Гальцевой и И. Роднянской, не раскрывает главного: его человеконенавистническую суть. Нет здесь и хотя бы краткого упоминания того неопровержимого исторического факта, что идеология так называемого западного нигилизма впрямую выводила мир к фашизму, к негативизму фашистского толка, — не случаен культ Ницше в фашистской Германии, симпатии к фашизму со стороны таких идеологов западного нигилизма, как Хайдеггер или Шпенглер.

Что же касается характеристики «русского нигилизма», то мы не найдем здесь другого, опять-таки основополагающе важного — хоть сколько-нибудь глубокой социальной характеристики революционно-демократической сути позиций Писарева и его товарищей по журналу «Русское сло-

во». Вместо этого расплывчатые рассуждения о том, что слово «нигилизм» служило «обозначением материалистически-атеистического «отрицательного направления» разnochинцев-шестидесятников», звучало как «дерзкое самонаименование молодых радикалов, рассчитанное на открытый разрыв с обществом „отцов“», и было превращено ими ради этого из «оскорбительного имени в наступательный девиз».

Протест революционных демократов-шестидесятников сведен здесь лишь к сфере надстройки, к сфере религии и морали при полном замалчивании позиций демократов-шестидесятников, группировавшихся вокруг «Русского слова», в таких кардинальнейших социальных вопросах своего времени, как вопрос о крепостном праве, реформах 1860-х годов, крестьянской революции и утопическом социализме. Этот наиважнейший для так называемого русского нигилизма комплекс вопросов полностью проигнорирован в статье, зато непропорционально большое — практически почти все — внимание уделено действительным и придуманным ошибкам шестидесятников. Для доказательства этой своей мысли сошлюсь на характеристику журнала «Русское слово» в статье, выявляющую крайнюю ограниченность и приблизительность представлений авторов статьи «Нигилизм» об этом журнале.

Представлений эти приблизительно настолько, что авторы в своем негативизме по отношению к «нигилистам» 1860-х годов рискнули поставить фактически на одну доску два таких принципиально различных документа, как прокламацию «Молодая Россия», которую они почему-то называют «прокламацией П. Г. Зайчневского», хотя общеизвестно, что это труд коллективный, и листовку Нечаева «Начало революции», «содержащих, — говорится в статье, — апологию „чистого разрушения“». Далее они возвращаются к Нечаеву в статье еще раз — уже в связи и в сопоставлении с Ницше: «Ницше породил упаднический нигилизм: вместо намеренного разрушения как социальной сверхзадачи (нечаевский тип) здесь под предлогом дионисийского экстазма происходит крушение культурно и нравственно оформленной человечности. В ситуации утраты жизненного смыслового центра (обозначенной Ницше как «смерть Бога») усталый европейский нигилизм «конца века» и идущий ему вслед русский декаданс начала 20 в. оборачиваются культом наслаждения (Санин у М. Арцыбашева), циничным эстетизмом (отдельные мотивы О. Уайльда), загни-

нотизированностью «судьбой» (Л. Андреев), призывами в духе Э. Гартмана к освободительному самоубийству (роман Арцыбашева «У последней черты»), знаменуя устремление к «бездне» и духовное поражение.

И далее в статье разбирается литература модернизма как следствие «апофеоза беспочвенности» (Л. Шестов), свойственной нигилизму (имморализм Л. Селина и А. Жида, «метафизический роман» экзистенциалистов, параболы Кафки, комедия абсурда Э. Ионеску и Э. Олби, стиль «черного юмора» С. Беккета), нигилистический анархизм «новых левых», инспирированный маркузянским «Великим отрицанием».

Объективно по ходу мысли авторов статьи «Нигилизм» получается, будто весь нигилизм — от Шопенгауэра и Ницше до Ионеску и Маркузе, включая «беспочвенность» Л. Шестова и арцыбашевщину, — непосредственно связан с наследием Писарева и Зайцева! И более того, можно подумать, что именно Писарев, Зайцев, Зайцевский несут генетическую ответственность за «разрушительный порыв» современных гошистов, за этот «новый прилив агрессивной мобильности, направленный на ломку дисциплинирующих нравственно-культурных и эстетических скреп человеческого существования!» Правда, авторы статьи пытаются толковать и о различии между русским «нигилизмом» XIX века и сегодняшними западными «леваками», чей «разрушительный порыв», как известно, далеко не ограничивается разрушением «нравственно-культурных и эстетических скреп человеческого существования во имя неестественного будто бы творческого акта и раскованности жизненных сил», но выливается и в открыто политическую, причем провокационную террористическую деятельность. В чем же, по мнению авторов статьи «Нигилизм», это различие? «Анархический нигилизм леворадикального авангарда... — утверждают авторы статьи, — вдохновлен, по сравнению с русским молодежным нигилизмом 19 в., не культом научного разума (!), а жадной раскрепощения инстинктов... не коллективным пафосом «общего дела», но индивидуальной задачей самораскрепощения. Однако, — подводят итог авторы статьи, — при всем различии идейного арсенала оба направления сходятся в пренебрежении к накопленному человечеством гуманистическому капиталу, в обеднении и вульгаризации человеческого мира». Как видите, различие весьма относительно, зато антигуманистическое сходство, так сказать, абсолютно!

И ход мысли и конечный вывод авторов статьи «Нигилизм» грешат антиисторизмом. Отход от принципа историзма проявляется здесь не только в сравнительно мелких неточностях, когда Л. Андреев оказывается поставленным в один ряд с Арцыбашевым в качестве представителя «усталого европейского нигилизма «конца века» и идущего ему вслед русского декаданта начала 20 в.». Неверна сама принципиальная установка статьи, пытающейся объединить лед и пламень, точнее пламень и лед, представить тенденции, глубоко враждебные друг другу, полярные, взаимоисключающие (глубочайший исторический оптимизм революционных демократов и черный, как ночь, исторический пессимизм и в самом деле устарелого европейского нигилизма «конца века» и идущего ему вслед декаданта XX века) тенденциями внутренне чуть ли не родственными, органически взаимосвязанными, растущими друг из друга и переходящими друг в друга. Этот научный, а одновременно, с точки зрения этики исследования, и нравственный релятивизм достигается, как уже подчеркивалось выше, путем перетолкования самого понятия «нигилизм» в применении к традиции русской революционной демократии, игнорированием того исторического факта, что на самом деле Писарев и его товарищи по журналу «Русское слово», не говоря уж о Чернышевском и Добролюбом, Белинском и Герцене, «нигилистами» в точном, истинном значении этого слова никогда не были.

Зашифровка этого основополагающего факта достигается различными путями, и в частности попыткой ввести в историю русской общественной мысли и освободительного движения фигуру Нечаева как якобы вполне органическую, выражающую нравственную суть этого движения часть. Мне уже приходилось в связи с этим вести в свое время спор с Л. Аннинским⁶, который вот так же походя, небрежно пытался представить Нечаева закономерным порождением и проявлением «интеллигентской» морали XIX века. «Интеллигентская» мораль в контексте высказываний Л. Аннинского означала, если принимать в расчет известную традицию русской философской мысли начала века, «демократическую мораль», то есть мораль русской революционной демократии. Основы этой морали, утверждает Л. Аннинский, вырабатывались «в эпоху Нечаева и Клепачникова, когда, с одной

⁶ См. Феликс Кузнецов. За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе и методология критики. М. «Советский писатель». 1978, стр. 309—312.

стороны, копилась презрение и гнев непризнанных героев, а с другой — тупая и черная ненависть «непросвещенной массы»... Нынешний интеллигент, — продолжает Л. Аннинский, — представший нашей литературе сегодня, век спустя после того, как Нечаев убил презренного Иванова, а Прыжов пошел отбывать каторгу, а Клеточников служить в Третье отделение, — нынешний интеллигент, во всяком случае, достоин принципиально нового подхода, и мораль его — какая угодно, только не „интеллигентская“.

Оставляя в данном случае в стороне вопрос, какой «морали» достоин «нынешний интеллигент», скажу одно: обязательным качеством этой морали в любом случае должно быть стремление к истине фактов и выводов, в особенности когда обращаешься к столь животрепещущим фактам отечественной истории. В наш век разгула провокационного терроризма и человеконенавистничества на Западе слишком часто мы сталкиваемся с попытками наших идеологических противников представить дело так, будто весь современный западноевропейский нигилизм и терроризм растут чуть ли не из русской демократической традиции, — и именно зловещая и страшная фигура Нечаева, принципиальный аморализм и действительный нигилизм которого были полярно противоположны традициям и принципам революционной демократии, русского освободительного движения, особенно широко и часто используется в борьбе с нами для доказательства этой абсурдной и противостественной мысли.

Вот почему я и оспорил данное крайне неточное по фактам, выводам, самой логике рассуждение Л. Аннинского, взявшего «героического нечаевца» Прыжова, а также «террориста» Клеточникова в одни скобки с Нечаевым. Прыжова и Клеточникова, их историю, их судьбу мало кто знает, а вот что такое нечаевщина, да еще в сочетании с «терроризмом», знают все. И стоит только сказать, как это делает Л. Аннинский, что концепции «интеллигентской» морали выработаны в эпоху Нечаева и Клеточникова», когда, с одной стороны, «копились презрение и гнев непризнанных героев», а с другой — тупая и черная ненависть «непросвещенной массы», чтобы для широкого читателя стал очевиден ее полный аморализм...

Нельзя связывать с нечаевщиной ту русскую демократическую традицию и мораль, которые к Нечаеву как раз никакого отношения не имели, которые формировались под воздействием проповеди «Колокола», «Современника», «Русского слова» и «Оте-

чественных записок». И не Нечаев, даже не Клеточников, но освободительное движение демократов и разночинцев сформировало «концепцию интеллигенции» того времени, равно как и так называемую интеллигентскую мораль, на самом деле мораль революционно-демократическую. И формировалась эта мораль как раз в неприятии отталкивании от Нечаева и нечаевщины — аморализм и нравственно-этический нигилизм Нечаева, как известно, заставили народников с особой щепетильностью и тщательностью относиться к этике революции.

На страницах Краткой литературной энциклопедии деятельность Нечаева объединяется на этот раз с деятельностью известного революционера-шестидесятника П. Г. Зайчневского, поставлен знак равенства между действительно нигилистически-разрушительной прокламацией Нечаева «Начало революции» и известной революционной прокламацией 1860-х годов «Молодая Россия», принадлежащей кружку Зайчневского, к которому, по всей вероятности, примыкал и В. Зайцев. Обе эти прокламации будто бы в равной степени содержали апологию «чистого разрушения».

Однако П. Г. Зайчневский и прокламация «Молодая Россия» при всей незрелости революционно-демократических позиций, выраженных в этой прокламации, и деятельности кружка П. Г. Зайчневского, и в частности при очевидном влиянии бланкистских идей, явной чрезмерности «ультрареволюционной» фразеологии, как известно, никакого отношения к аморализму Нечаева и нечаевщины не имели. В умонастроениях Зайчневского и его кружка, типичных, кстати сказать, для революционной молодежи 60-х годов, апологии «чистого разрушения», призывов к разрушению ради разрушения в отличие от Нечаева не было.

Еще большей, я бы сказал — вопиющей натяжкой является здесь уравнивание современного гошизма, и в самом деле отмеченного агрессивным разрушительным порывом, с неким «русским молодежным нигилизмом XIX века», уравнивание, которое приводит авторов статьи «Нигилизм» к абсурдному выводу, будто «оба направления сходятся в пренебрежении к накопленному человечеством гуманистическому капиталу; в обеднении и вульгаризации человеческого мира».

Что касается гошизма, то это бесспорно. Однако в том-то и заключается принципиальная противоположность между нигилизмом подлинным и мнимым, то есть условным «нигилизмом» наших шестидесятников, что

нигилизм, выросший из Шопенгауэра и утвердившийся в трудах Ницше и его последователей, и в самом деле перечеркивал все высшие гуманистические ценности, накопленные человечеством, тогда как так называемый русский нигилизм 60-х годов был подчинен высочайшей гуманистической задаче «решения вопроса о голодных и раздетых людях».

5

Критический пафос «нигилиста» Писарева имел совершенно определенный и точный адрес: социальное и духовное крепостничество. «...мы живем и развиваемся под влиянием искусственной системы нравственности; эта система давит нас с колыбели, и потому мы совершенно привыкаем к этому давлению; мы разделяем этот гнет системы со всем образованным миром и потому, не видя пределов своей клетки, считаем себя нравственно свободными. Но оставаясь для нас незаметным, это умственное и нравственное рабство медленным ядом отравляет нашу жизнь...» — писал он в «Схоластике XIX века», одной из самых яростных и «разрушительных» своих статей. Однако цель этих призывов к «разрушению» однозначна, она в «необходимости подвергнуть тщательному и смелому пересмотру существующие формы, освященные веками и потому подернувшиеся вековой плесенью», чтобы помочь тем «молодым и свежим» людям, которые способны «принять истину и отрешиться от отцовских заблуждений», «разбить... предрассудки» и «выработать себе разумное мирозерцание». То есть цель глубоко жизнеутверждающая, гуманная и вечная. Она продиктована искренней и истинной любовью к ближнему: «Возле меня человек работает и страдает, терпит голод, холод и оскорбления, а я, сидя на мягком диване, после сытного обеда боюсь даже пошевелить своею мыслью и подумать о его положении, — возмущенно восклицает Писарев, — вздохнув *ex officio*⁷ о несовершенствах жизни, я отворачиваюсь от некрасивого зрелища, отгоняю прочь серенькие впечатления и начинаю строить воздушные замки или рассуждать о парламентской реформе в Англии». Такая мещанская позиция не для Писарева. Для него характерна позиция активного, действительного гуманизма, пронизанного историческим оптимизмом и одновременно трезвым, подчас горьким пониманием всех трудностей, которые стоят перед челове-

ством и перед родной страной на пути в будущее.

Вчитаемся под этим углом еще раз в писаревское истолкование «нигилиста» Базарова. Критик пишет: «Такие люди, как Базаров, не определяются вполне одним эпизодом, выхваченным из их жизни. Такого рода эпизод (смерть Базарова.— Ф. К.) дает нам только смутное понятие о том, что в этих людях таятся колоссальные силы... Не имея возможности показать нам, как живет и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он умирает. Этого на первый раз довольно, чтобы составить себе понятие о силах Базарова, о тех силах, которых полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбою, действиями и результатами».

Какая сила жизнеутверждения за этими строками, какая вера в будущее, искусно выраженная в подцензурной статье! Вера эта определяется убежденностью Писарева в гигантском человеческом, гуманистическом потенциале революционера Базарова, который раскроется как «великий исторический деятель» в условиях революционной ситуации. Ситуации этой не было, к величайшему сожалению Писарева, в 1860—1861 годы; только поэтому Базаров вынужден пока что возиться с микроскопом и резать лягушек.

Каковы же конкретные, практические общественные идеалы этого «великого исторического деятеля» в истолковании Писарева? Каковы идеалы самого Писарева? Имели ли они отношение к нигилизму в истинном смысле этого слова?

Статьи Писарева полны веры в «необозримую и беспредельную даль» в развитии человечества, в то, что «наша порода вечно могла бы с каждым поколением становиться могущественнее, богаче, умнее и счастливее, если бы только не мешали этому развитию бесконечные и разнообразные междоусобные распри, поглощающие и истощающие лучшую и значительнейшую часть великих и прекрасных способностей человеческого тела и человеческого ума». Особенно яростно нападал Писарев в этой связи на эксплуатацию и войну. «Войны, порабощение труда и разные видоизменения административного произвола составляют главные причины таких печальных явлений», — утверждал он.

Однако Писарев никогда, ни на минуту не теряет глубокой, убежденной веры в лучшее будущее человечества, ибо «нет тех препятствий, которых не победила бы, рано или поздно, энергия мысли и сила честного убеждения; нет тех испытаний, которые бы испугали людей, сознающих в себе естест-

⁷ По обязанности (лат.).

венных депутатов и защитников своей породы,— и потому славное будущее человечества не может погибнуть».

Будучи убежденным просветителем и социалистом-утопистом, свою веру в «славное будущее человечества» Писарев связывает прежде всего с работой человеческой мысли, с силой знания, против которой не устоят «самые окаменелые заблуждения», с деятельностью «сознательной любви к людям», свойственной революционерам, с конечной победой социалистического принципа «общечеловеческой солидарности», который придет на смену эксплуататорскому принципу «людоедства». Эти подлинно человеческие, гуманистические принципы социализма, на его взгляд, «со временем обнаружат свое влияние на практическую жизнь, со временем убедят людей в том, что людоедство не только безнравственно, но и невыгодно. Со временем многое переменится,— но мы с вами, читатель, до этого не доживем, и потому нам приходится убажывать себя тем высоко бесплодным сознанием, что мы до некоторой степени понимаем нелепости существующего.

„— И это называется нигилизмом?

— И это называется нигилизмом! — повторил опять Базаров, на этот раз с особенно дерзостью”.

Ирония Писарева прозрачна и ясна: процитировав роман «Отцы и дети» вслед за своими открытыми публицистическими рассуждениями о настоящем и будущем, о неприятии «нелепостей существующего», он наглядно показал своим читателям, каково действительное содержание того общественного явления, которое его противники поименовали «нигилизмом», что понимает под так называемым нигилизмом он сам.

«Нигилизм» в действительности, по мнению Писарева,— это идеология русского освободительного движения, которая по сути своей нигилистической не является. Истоки этой идеологии Писарев видит в деятельности Белинского: «Та тесная родственная связь, которая несомненно существует между Белинским и теперешними реалистами, доказывает, с одной стороны, умственное величие нашего общего учителя, а с другой стороны, то обстоятельство, что так называемый (разрядка моя.— Ф. К.) нигилизм есть дитя нашего времени, имеющее своих законных и весьма почтенных родителей в прошедшем периоде нашей умственной жизни. Проклиная нигилизм, солидные люди очень охотно вычеркивают из истории русской литературы «Эстетические отношения» и Добролюбова, в которых они видят случайные или болезненные яв-

ления. Теперь я попрошу солидных людей, для радикального уничтожения нигилистов, начать работу вычеркивания с Виссариона Белинского».

Не ясно ли, что «так называемый нигилизм», то есть русская революционная демократия, к действительному нигилизму, по убеждению Писарева, никакого отношения не имеет. Настоящие нигилисты те, кто перечеркивает будущее страны и народа, кто яростно воюет с идеями революции и социализма, то есть силы реакционные и охранительные.

Не случайно на всем протяжении своей литературно-критической и публицистической деятельности, снова и снова возвращаясь к характеру Базарова, а позже Рахметова, то есть к характерам «новых людей», Писарев не устает подчеркивать органическую связь этих характеров с будущим, светлые, гуманные, истинно человеческие основания этого «нового типа» людей на земле, сочетание в них специфического скептицизма и «романтического стремления вдаль, вдаль, но не прочь от земли, а вперед, в манящую, ласкающую, глубокую синеву необозримого лучезарного будущего». Он вновь и вновь подчеркивает, что во «взгляде на будущее» Базарова «широко и обаятельно развигивались светлое могущество его мысли и неудержимая страстность его сознательной любви к людям». В страстной борьбе за это гуманное и подлинно человеческое будущее всех трудящихся людей на земле для людей типа Базарова и заключен «внутренний смысл его существования».

«Нигилизм» Писарева видят в отрицании искусства и отрицании Пушкина. Однако и в этих очевидных ошибках Писарева, отнюдь не оправдывая их, следует тем не менее разобраться. Ошибки эти — производное не нигилизма, но просветительской, рационалистической ограниченности миросозерцания Писарева, с одной стороны, его революционного «нетерпения», революционной прямолинейности — с другой.

Прежде всего Писарев не отрицал ни искусства, ни поэзию Пушкина в принципе — он ставил под сомнение их полезность для безотлагательного решения «вопроса о голодных и раздетых людях», причем в данный исторический момент и в тех именно формах и на тех путях решения этого вопроса, которые виделся Писареву. Путь решения вопроса о «голодных и раздетых людях» Писарев видел в воспитании «реалистов», то есть критически мыслящих по отношению к окружающей их социальной действительности людей, которые путем распространения знаний в массах будут

готовить народ к революционным преобразованиям несправедливого общественного строя. Именно этот критерий — практической полезности в наиболее результативном решении данной задачи — Писарев, как известно, и положил в основу своего принципа «экономии сил» и оценки тех или иных явлений литературы и искусства. Принцип наивный, упрощенный, доведенный до риторизма, не принимающий в расчет специфику искусства.

Вместе с тем подчеркнем, что исходил Писарев в этом своем упрощенно-революционном ригоризме не из антигуманистического, но обостренно человеколюбивого стремления: поставить литературу и искусство на службу гуманности и заботы о судьбах миллионов обездоленных, униженных и оскорбленных.

Поглощенный изматывающей его душу заботой о безотлагательном решении самого главного для человечества, поистине проклятого вопроса о «голодных и раздетых людях», открывший для себя пути решения этого вопроса через воспитание «реалистов», то есть критически, революционно мыслящих людей, Писарев отвергает все, что не работает на это непосредственное социальное задание с прямой, непосредственной результативностью.

Исходя из этого, Писарев устанавливает своего рода иерархию не только тем, но и жанров и даже видов искусства, приветствуя в литературе и искусстве только то, что прямо работает на решение вот этой непосредственной и первоочередной социальной задачи: «...облегчение нашего общественного горя, то есть... постепенное обуздание голода, холода, суеверия, невежества и самодурства».

Поэтому он столь несправедливо суров в отношении музыки и изобразительных искусств: во-первых, «опера, балет, концерты, картины, статуи — все это стоит денег, а деньги, как известно всем и каждому, изображают собою видоизмененный продукт тяжелого народного труда»; во-вторых, «когда в обществе есть не только голодные люди, но даже голодные классы, то обществу рано, нелепо, отвратительно, неприлично и вредно заботиться об удовлетворении других потребностей второстепенной важности, развившихся у крошечного меньшинства сытых и разжиревших людей».

Писаревское «отрицание искусства», проистекающее из чисто утилитарной узости и революционного ригоризма, не есть отрицание искусства в прямом и чистом виде; суть его в мысли о несвоевременности занятий искусством в тех социальных ус-

ловиях, когда трудящиеся массы в абсолютном большинстве своем не в состоянии приобщиться к искусству, поскольку в обществе царят горе, голод и невежество. Мысль, перекликающаяся со столь же ригористическим отношением к искусству Льва Толстого в один из периодов его жизни.

Вспомним в этой связи вопрос Л. Н. Толстого из его работы «Так что же нам делать?»: «Каким образом может человек... не лишенный совершенно рассудка и совести, жить так, чтобы, не принимая участия в борьбе за жизнь всего человечества, только поглощать труды борющихся за жизнь людей и своими требованиями увеличивать труд борющихся и число гибнущих в этой борьбе?»

В таком случае необходимо предельно сократить эти требования! Отрицание искусства у того же Толстого не следствие его нравственной или эстетической глухоты, некой гуманистической недостаточности, но причудливый результат и следствие все той же большой русской общественной совести.

И точно так же не антигуманистическое перечеркивание искусства как духовной и эстетической ценности, но пуританский призыв к временному самоограничению общества, пока оно не решило свой коренной и самый трагический вопрос — о голодных и раздетых людях, — вот что значило на деле писаревское «отрицание искусства». При всей наивности и ошибочности такого подхода к искусству никак нельзя на этом основании объявлять Писарева нигилистом в буквальном значении данного слова.

Правда, отрицание искусства Писаревым и особенно В. Зайцевым, помимо соображений социального порядка, подкреплялось еще и вульгарно-материалистическими аргументами наподобие того, что «эстетическое наслаждение» не имеет оснований в «природе человека», а потому главный принцип в подходе к явлениям литературы и искусства — принцип не эстетического наслаждения, но общественной пользы.

До какой степени рассуждения эти были далеки от истины и являлись чем-то внешним, рассудочным, ригористичным для самого же Зайцева, можно судить по его реакции на архитектуру и музеи Рима, где он оказался в начале 70-х годов. «Бессмертные боги! — пишет он из Рима жене. — Как это сотворилось такое чудо? Клянусь Кастором и Поллуксом... ничего подобного я и вообразить не мог». «Сгубили меня искусства!.. — жалуется он в другом письме. — Тут что ни шаг, то можно целый день стоять на месте и смотреть». «Умереть мало было после

святого, великого, несравненного, божественного Кампидолио», — пишет он после посещения Капитолия.

Но это в 70-е годы, а в 60-е Писарев и Зайцев отрицают объективную природу чувства прекрасного и сводят литературу к пропаганде «полезных» идей. А так как, к примеру, Пушкин полезных для «реализма» идей, с точки зрения конкретно революционных задач 1860-х годов, не проповедовал, этим и определялось их отношение к Пушкину. Понимая, видимо, всю меру несправедливости этого отношения, Писарев специально предупреждает читателя, что совершенно устраняет «в вопросе о Пушкине историческую точку зрения» и рассматривает творчество поэта только под одним-единственным углом зрения: реальная польза, которую может принести творчество поэта на путях борьбы, которую ведут так называемые реалисты-шестидесятники за решение вопроса о голодных и раздетых людях. «...если вы мне скажете, что Тургенев — второстепенный поэт, а Пушкин — первоклассный гений, я с вами даже и спорить не буду, потому что этот вопрос меня нисколько не интересует. Я вам скажу только, что Тургеневу посчастливилось поднять в нашей умственной жизни такой вопрос, какого никогда не поднимал и не мог поднять Пушкин... В том и другом случае я имею в виду только то количество пользы, которое могут доставить данному обществу в данную минуту те или другие идеи».

Творчество Пушкина Писарев близоруко считает не приносящим пользы в решении коренной, кардинальной социальной задачи данного исторического момента — воспитания революционно, критически мыслящих молодых людей, устремленных к социалистическому преобразованию самодержавно-крепостнической действительности, — в силу недостатка в произведениях поэта мотивов социального протеста и прямой, открытой критики крепостничества. «Весь «Евгений Онегин», — утверждает Писарев, — не что иное, как яркая и блестящая апофеоза самого безотрадного и самого бессмысленного status quo⁸».

Критика Пушкина Писаревым ведется с позиции своеобразной революционной экзальтированности, социального нетерпения и неизбежно сопряженных с этим вульгаризации, социологической узости, примитивизации роли литературы в жизни общества. При этом Писарев и не скрывает намеренной узости такого рода подхода, за которым стремление поставить литературу

на службу политическому моменту. «Я очень хорошо знаю, — пишет он, — что «Евгений Онегин» гораздо лучше «Фелицы» Державина и что «Капитанская дочка» стоит во всех отношениях выше «Бедной Лизы» Карамзина. Я нисколько не обвиняю Пушкина в том, что он не был проникнут теми идеями, которые в его время не существовали или не могли быть ему доступны. Я задам себе и решу только один вопрос: следует ли нам читать Пушкина в настоящую минуту?..»

Ошибочность отрицания Пушкина Писаревым — если даже и не для всей отечественной культуры и истории, но для того исторического момента, который переживала Россия в 60-е годы XIX века, — очевидна. Об отрицании Пушкина на страницах «Русского слова» написаны десятки статей; все это давно стало притчей во языцех и наряду с отрицанием искусства явилось, пожалуй, наиболее ярким аргументом в пользу «нигилизма» Писарева.

Не собираясь, естественно, защищать в этом Писарева, напомним тем не менее, что вульгаризаторские ошибки эти явились следствием доведения до крайности, до абсурда следующей идеи: «...По моему мнению, истинный поэт, принимаясь за перо, отдает себе строгий и ясный отчет в том, к какой общей цели будет направлено его новое создание, какое впечатление оно должно будет произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажет им своими яркими картинами, какое вредное заблуждение оно подроеет под самый корень».

Для Писарева всегда существовало и было свято предельно четкое противостояние сил добра и зла в жизни, истины и заблуждения в искусстве, он с предельной открытостью занимал страстную, осознанную позицию в современной ему общественной борьбе с социальным злом, общественным заблуждением, позицию сторонника добра и истины в этой борьбе; из этого убеждения он исходил и в своей проповеди общественно значимой, высокогражданской литературы — и тем не менее прослыл «нигилистом» и, более того, чуть ли не основателем европейского «нигилизма».

Но для того чтобы до конца понять так называемый нигилизм Писарева, так называемый русский нигилизм 1860-х годов, взгляды пристальней в нигилизм подлинный, возникший на переломе XIX века в Европе и выросший — вспомним Герцена — из Шопенгауэра. А заодно отдадим должное еще раз исторической проницательности великого русского публициста, пророчески предугадавшего возникновение из «трагического ниги-

⁸ Существующее положение (лат.).

лизма Шопенгауэра, этого философа смерти», «нигилизма настоящего» — в отличие от так называемого русского нигилизма, «нигилизма молодых людей, пламенных и преданных, лишь прикидывающихся отчаявшимися скептиками».

6

Само слово «нигилизм» в философском его значении употреблялось в Европе применительно к еретикам, неверующим и людям, безразличным к вере, давно, уже начиная с Августина. Особенно часто оно употреблялось в годы, предшествующие Великой французской революции, и в пору самой революции. Точно так же как и в России XIX века, слово это употреблялось тогда прежде всего противниками революционных материалистических идей, а иногда и самими революционерами для условного обозначения тех же самых идей.

Однако во второй половине XIX века, начиная главным образом с Ницше, развивавшего определенные стороны учения Шопенгауэра, в Европе нигилизм утвердился как определенная философская система, как принцип отношения к жизни. При этом ни Шопенгауэр, ни Ницше ни в коей мере не исходили в своих принципиальных философских установках из традиции революционной мысли в Европе ли, в России, напротив — они утверждали свои концепции нигилизма, яростно отгалкиваясь от тех концепций и идей, которые несли в себе заряд исторического оптимизма. Предшественниками Шопенгауэра и Ницше в их концепциях нигилизма явились отнюдь не французские просветители и не русские демократы, но такие реакционнейшие, доходящие до полного солипсизма фигуры, как, к примеру, Макс Штирнер, опубликовавший в 1845 году труд «Едиственный и его собственность», в котором анархически перенеркивалось все, кроме воинствующего, полностью исчерпывающего мир эгоизма и индивидуализма личности, утверждался агрессивный анархический принцип вседозволенности. «Мне, эгоисту, благо этого «человеческого сообщества» от души безразлично... — утверждал он. — Я лишь использую его». Философия прямо противоположная «разумному эгоизму» Писарева с его болезненно острым чувством ответственности за общее благо, за благо народа.

Выражая социальный и духовный кризис буржуазного общества, осознавая его как кризис всех человеческих идеалов и гуманистических ценностей, Ницше вопрошал: «Что обозначает нигилизм?» И давал сле-

дующий ответ: «То, что высшие ценности теряют свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос «зачем?»...»

«Бог умер!» — заявлял он в своей книге «Так говорил Заратустра», имея при этом в виду не только смерть бога на небесах, но и отсутствие «бога», то есть морали, в душе как нормы человеческого существования. А раз так, то «христианство, революция, отмена рабства, равенство прав, филантропия, миролюбие, справедливость, истина — все эти великие слова имеют цену лишь в борьбе, как знамена, не как реальности, а как пышные наименования для чего-то совсем иного (даже противоположного!)».

Приняв шопенгауэровскую позицию «обесмысленности» мира, Ницше утверждает философский и этический нигилизм как средство «переоценки всех ценностей», а в действительности — отрицания всех гуманистических, общечеловеческих ценностей, средство отмены принципиальной границы между добром и злом. На этой нигилистической основе и вырастает культ сверхчеловека в философии Ницше, равно как и культ войны.

Европейский нигилизм второй половины XIX века формируется как «мировоззренческая установка на отрицание духовных основ бытия». В литературе он и в самом деле выражается через декаданс конца XIX — начала XX века; в основе декаданса как раз и лежит отрицание границы между добром и злом.

Небезынтересна оценка нигилизма Ницше одним из столпов экзистенциализма — Хайдеггером, которому реакция Ницше на «обезбоженность» мира оказалась крайне близка. Ницше понимал и переживал нигилизм, по мнению Хайдеггера, «как обесценение мира вообще, считая самой исчерпывающей характеристикой всевропейского нигилизма «смерть Бога». «Согласно его убеждению, Бог европейской истории, а именно христианский, утратил свою значимость для человеческой воли, и вместе с ним пали его исторические «производные» — идеалы, нормы, принципы, цели и ценности». В итоге «смысл сущего в целом теперь принципиально отсутствует»; для классического нигилизма важно «вытравить ради безграничной свободы человека память о прежних лжеценностях и отменить предыдущую историю путем обличения обмана и самообмана, таящихся в полагании „вечных ценностей“».

На нигилизме, то есть на идее бессмысленности мира, и возрастает, по Ницше, сверхчеловек. «Новый порядок, — пишет в связи с этим Хайдеггер, — должен заклю-

чатся соответственно в безусловном господстве чистой силы над всей землей, и это господство должен осуществить человек — не всякий человек и уж, разумеется, не прежний, живущий среди прежних ценностей, человек. Тогда какой же человек?» А такой, отвечает Ницше, и к нему присоединяется и Хайдеггер, сущность которого составляет «воля к власти», который взял на себя дело переоценки всех ценностей, и прежде всего отмены добра и зла, с единственной перспективой возрастания своей власти и настроившийся на абсолютное владение землей.

Как видите, нигилизм в истинном смысле слова ведет к обесценению всех верховных ценностей. Он отказывает во всяком смысле человеческой жизни, в чем бы поиски этого смысла ни заключались: «...усматривается ли этот смысл в торжестве нравственных законов, в приращении любви и гармонии, в движении к общему счастью или вообще в движении к чему бы то ни было, пускай даже к последнему концу, к ничто, — потому что этого смысла не существует» (так Хайдеггер перелагает Ницше).

Что общего у этой философии жизни с позицией Писарева, деятельностью журнала «Русское слово», с подвижничеством русских революционных демократов в принципе? Более того — подобного рода философия чужда движению нашей отечественной мысли в принципе. Одним из немногих авторов, всерьез воспринявших и далее развивавших философию нигилизма в истории русской философии, был белоэмигрант, человеконенавистник Лев Шестов, который в своем труде «Апофеоз беспочвенности», написанном в начале века, справедливо связав нигилизм с беспочвенностью, объявил вслед за своим вдохновителем Ницше об алогизме и бессмысленности самой почвы человеческого существования.

Черные, человеконенавистнические, глубоко пессимистические идеи эти возникали на совершенно определенной классово-социальной почве, принципиально отличной от почвы, взрастившей идею русской революционной демократии. Не случайно идеи эти вошли в историю европейской философии под названием «нигилизм предзакатной эпохи» — формулу эту дала печально знаменитая книга еще одного европейского нигилиста, Шпенглера («Закат Европы»). Объединять, а тем более отождествлять русских революционных демократов и Шопенгауэра, Ницше, Шпенглера в одном, едином будто бы явлении, именуемом «нигилизмом», — исторический нонсенс. Если русская революционная демократия в своем

возникновении несла глубинные заряды исторического оптимизма и выявляла немалые потенциалы близившейся антифеодальной, крестьянской, демократической революции, то идеи Ницше Шпенглера, Шестова возникали на волне страха перед близящейся революцией, в условиях глубочайшего духовного, идейного кризиса капитализма. Антинаучно говорить, как это сделано в статье «Нигилизм» в Краткой литературной энциклопедии, о неких «общих, родовых чертах нигилизма как мирового феномена». Антинаучно связывать декаданс с Писаревым, не принимавшим даже намека на декаданс, тогда как действительные гносеологические корни декаданса общеизвестны: они в том самом «нигилизме предзакатной эпохи», который был реакционным предчувствием близящейся революции.

О принципиальной разнице этих двух нигилизмов, нигилизма подлинного и мнимого, не являющегося на самом деле нигилизмом, об органической связи «нигилизма предзакатной эпохи» с декадансом, с арцибашевщиной, с полной определенностью сказал в начале века в статье «Базаров и Санин. Два нигилизма» марксистский критик В. Воровский.

Если же проследживать родословную европейского нигилизма дальше, то никуда не уйдешь от того факта, что философия нигилизма в лице таких ее представителей, как Ницше, Шпенглер, Хайдеггер и другие, оказалась соотносительной с фашизмом — высшей фазой в развитии нигилистических идей.

Общеизвестны симпатии Хайдеггера или Шпенглера (в конце его жизни) к фашизму. И хотя тот же Шпенглер, как известно, отклонил прямое предложение национал-социалистов о сотрудничестве, вся его консервативно-националистическая деятельность в период Веймарской республики была близка фашизму. Хайдеггер в 1933 году в своей речи прямо приветствовал фашизм, хотя после 1936 года и отошел от прямого сотрудничества с национал-социалистами.

В свою очередь теоретики национал-социализма старательно использовали те или иные положения Ницше, Шпенглера, Хайдеггера в своих целях, пытались положить их философию в основание своей человеконенавистнической идеологии, искажая, впрочем, учения и этих реакционных философов. Как указывают современные исследователи, именно Ницше, Шопенгауэр и Шпенглер «во всех монографиях о фашизме именуются предтечами гитлеровской „философии“», именно на них «беспрепятственно ссы-

лались все нацисты»⁹. Процесс эксплуатации идей этих теоретиков нигилизма немецким фашизмом Д. Мельников и Л. Черная рисуют так: «К тому времени, когда Гитлер появился на политической арене, реакционных теоретиков, так сказать, растаскали на клочки. Каждый обыватель уже слышал что-то о «расе господ», о «закате Европы», о «белокурой бестии» — сверхчеловеке Ницше, о том, что сильному все дозволено, о войне как о движущей силе общества. Эти обрывки мыслей, почерпнутых из различных политических, социальных и философских реакционных систем, стали мелкой разменной монетой западного мещанина. И этимито разменными монетами воспользовался Гитлер, собрав их в одной «мощне» и дополнив собственными рассуждениями на злобу дня... Больше всего отдельных положений заимствовали гитлеровцы у Ницше, Шпенглера и Шпенггауэра. Гитлер возвел Ницше в ранг величайшего ученого, предтечи национал-социалистского мировоззрения»¹⁰.

Наконец, философия нигилизма, полного нравственного релятивизма и духовного отчаяния явилась своего рода теоретическим обоснованием того тотального аморализма, который охватила сегодня капиталистическое общество и проявляет себя в эпидемии насилия и преступности, наркомании и порнографии, пароксизмах бездуховной «массовой культуры», давно перешагнувшей все рубежи дозволенного литературой и искусством так называемого декаданса. Логическим завершением развития нигилистической идеи в современном мире явилась угроза уничтожения человечества в термоядерной войне, исходящая от наиболее реакционных, человеконенавистнических кругов современного империализма, питающая, в свою очередь, самые разрушительные, античеловеческие, антигуманистические химеры и фантазии современного буржуазного мира.

К числу таких самых злобещих химер относится волна терроризма, как «левого», так и «правого», который захлестнул современный Запад. Иные нечистоплотные идеологи очень хотели бы связать этот терроризм с русской революционной традицией, пытаясь уравнивать эту традицию с нечаевщиной, с «бесами» Достоевского, выразившими, как известно, самую суть нечаевщины, и на этом явно фальшивом основании представить русскую революционную демократию, или, как они говорят, русский

«нигилизм», чуть ли не идейной предтечей современного западного гошизма и мелкобуржуазного терроризма. Однако подмена эта очевидна, поскольку социальные, классовые и логические истоки этих антисоциальных явлений качественно иные. Истоки здесь и в самом деле нигилистические, только это нигилизм подлинный, антигуманистический, нигилизм, порожденный обреченным на смерть буржуазным, капиталистическим миром.

Как же не учитывать эти различия не только в генезисе, но и в последующей политической судьбе двух нигилизмов — так называемого русского нигилизма 60-х годов XIX века и подлинного, классического европейского нигилизма в лице таких его представителей, как Ницше, Шпенглер, Шпенггауэр, Хайдеггер, в особенности когда мы рассуждаем о некоем мировом нигилистическом феномене? Вводить в границы этого единого феномена Базарова с Саниным, русских революционных демократов с Ницше и Шпенггауэром (и более того — современными «Красными бригадами») — очевидная ошибка.

Ошибка эта, суть которой в определении позиций Писарева и его товарищей как позиций якобы подлинно нигилистических, не сегодняшняя. Однако она уже давно была преодолена нашей наукой. Преодоление этой ошибки было зафиксировано и в энциклопедиях. Так, в томе 4 Философской энциклопедии, вышедшем в 1967 году, в статье «Писарев», написанной А. Володиным, великий русский критик в полном соответствии с исторической истиной предстает не неким «нигилистом», но убежденным революционным демократом и утопическим социалистом, непримиримым борцом с самодержавием и крепостничеством. Вместе с тем несомненная парадоксальность идей и творчества Писарева, «своеобразие его позиции внутри демократического лагеря», пишет А. Володин, «обусловили судьбу его идейного наследия в последующей идеологической борьбе. Характерная черта этой судьбы состояла в том, что Писарев был зачислен в родоначальники так называемого русского нигилизма, под которым понималось бездумное отрицание каких бы то ни было общественных ценностей (семьи, нравственности, красоты, искусства, философии, идеалов и т. п.).

Оценка Писарева как отца русского нигилизма стала почти господствующей в русском литературоведении и историографии вплоть до конца 19 в. Первый серьезный отпор этого рода взглядам с марксистских позиций был дан В. И. Засулич («Пи-

⁹ Д. Мельников, Л. Черная. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. М. Издательство АПН. 1981, стр. 75.

¹⁰ Там же, стр. 75—76.

сарев и Добролюбов»), которая, с одной стороны, показала необходимость определенных различий внутри демократической идеологии 60-х гг., а с другой, — охарактеризовав взгляды Писарева как дальнейшее развитие идей Добролюбова, подчеркнула те идейные нити, которые связывали творчество Писарева с русской социал-демократией. В. И. Ленин назвал статью Засулич о Писареве превосходной».

Так зачем же возвращаться вспять, к отвергнутым наукой заблуждениям, да еще печатать эти вариации на старые темы в Краткой литературной энциклопедии? Впрочем, не только в ней. Попытка вновь представить Писарева в качестве «отца русского нигилизма», понимаемого как «бездумное отрицание» каких бы то ни было общественных ценностей, была подготовлена, как уже говорилось выше, в иных монографиях и исследованиях, в частности в книге А. И. Новикова «Нигилизм и нигилисты».

7

В книге А. И. Новикова опять-таки в общем «нигилистическом» ряду рассматриваются Писарев и Ницше, В. Зайцев и Л. Шестов, Шпенглер и Мережковский, В. В. Розанов и К. Леонтьев... Продолжая этот ряд в современность, А. И. Новиков ведет речь о нигилизме «новых левых» и Маркузе, хиппи и гошистов, о маоистском нигилизме в вопросах культуры и т. д. При этом объективно получается, что чуть ли не основоположником всех этих разнообразнейших течений и проявлений нигилизма был Д. И. Писарев.

Игнорируя принцип конкретно-исторического и социально-классового подхода, А. И. Новиков пытается уложить все эти разнообразнейшие социально-философские и историко-культурные явления в прокрустово ложе все той же единой абстрактной дефиниции — «нигилизм», не считаясь с тем, что в истории идей существует нигилизм реальный, действительный, подлинный и «нигилизм» как полемический ярлык. А. И. Новикову это различие будто бы неизвестно. Он утверждает: «При всех подчас весьма существенных различиях между конкретными разновидностями нигилизма, например между нигилизмом Ницше и Шестова, с одной стороны, и нигилизмом Писарева — с другой (о них пойдет речь дальше), должно же быть нечто общее, что дает право объединять их, обозначать одним и тем же словом». И далее: «Не умаляя значительной роли личного момента в образовании той или иной специфической формы нигилизма

(Прудон, Ницше, Писарев), следует все же признать, что если исследователь ограничится в объяснении только личным моментом, он лишится объективных основ познания».

А. И. Новиков ищет общее, объективное, что объединяет столь поразительно различных людей, как Прудон, Ницше и Писарев, в единую систему «нигилизма» (различия между этими людьми никак не «сводятся лишь к личному моменту»), исходя из очевидно ложной посылки. Ложность этой посылки в чрезвычайно зыбком определении понятия «нигилизм», которое он дает в своей книге. «Слово «нигилизм», — пишет Новиков, — образовано из латинского nihil (ничто). В общем и довольно абстрактном смысле нигилизм — это отрицание, негативное отношение к определенным, а то и ко всем сторонам общественной жизни».

Если исходить из такого понимания нигилизма — «негативное отношение к определенным... сторонам общественной жизни», — то не только Писарева или русских революционных демократов в целом, но практически любое течение общественной мысли можно записать в «нигилизм», ибо негативное отношение к определенным сторонам общественной жизни свойственно практически любому как революционному, так и реакционному взгляду на жизнь. Разница будет лишь в том, к каким именно сторонам общественной жизни проявляется это негативное отношение.

В своей конкретизации понятия «нигилизм» автор выделяет четыре черты нигилистического сознания, объективно присутствующие, на взгляд А. И. Новикова, и Ницше, и Льву Шестову, и современному маоизму, и Прудону, и Писареву. Что это за черты?

Во-первых, «гипертрофированное сомнение и отрицание различных духовных и социальных феноменов», утверждает А. И. Новиков, акцентируя в данном случае количественную сторону, «степень отрицания». При этом игнорируется самое главное: что же отрицается и подвергается сомнению? То, что отрицается и подвергается сомнению развитием самой жизни, движением человеческой истории, как это имело место у Писарева и публицистов «Русского слова», и что к доподлинному нигилизму никакого отношения не имеет, или же «гипертрофированно отрицаются» позитивные, исторически здоровые, утверждающие себя в объективном развитии начала действительности? А между тем второе и есть «нигилизм» в истинном смысле этого слова.

Вторая особенность нигилизма по А. И. Новикову — «абсолютизация субъективного, точнее индивидуального, начала, оценка дей-

ствительности с позиций атомизированного индивида, отвергающего объективные закономерности, логику истории, коллективные интересы социальных общностей людей». Но в таком случае эта черта опять-таки присуща в первую очередь тем «отрицателям», которые находятся в противоречии с объективным ходом и развитием человеческой истории, отвечают на вызов истории негативизмом своеволия и индивидуализма. Внимательное прочтение текстов журнала «Русское слово» никак не подтверждает таких заявлений.

Третья черта: «...нигилисты используют в борьбе против тех или иных действительно устаревших (?) социальных и культурных форм наихудшие способы действия, порождаемые отрицаемым ими обществом (аморализм, граничащий с преступностью, разрушение подлинных культурных ценностей, отрицание общечеловеческих норм общежития)». Это утверждение при некоторых неточностях тем не менее всего ближе подходит к выявлению истинной сущности нигилизма. Суть нигилизма, как уже подчеркивалось выше, отнюдь не в сомнении и отрицании; суть нигилизма в духовном и нравственном, социально-философском релятивизме, внутреннем аморализме, в принципиальном отрицании ценности общечеловеческой культуры и нравственности, в сознательном стирании границ между добром и злом. Нигилизм борется не против «устаревших социальных и культурных форм» (против них ведет борьбу история, революционное общественное сознание, которое лишь его враги, защитники этих устаревших форм жизни, выдают за «нигилизм») — он отвергает человека и его ценности в принципе. Но разве такого рода позиция свойственна Писареву и журналу «Русское слово» с их обостренным этическим пафосом, полной поглощенностью заботой о «голодных и раздетых людях»?

В-четвертых, пишет А. И. Новиков, «существенной особенностью различных форм нигилизма является крайняя слабость и аморфность позитивной программы, занимающей в структуре форм нигилистического сознания совершенно ничтожное место». Но это опять-таки к Писареву и журналу «Русское слово» отношения не имеет: утверждение позитивной программы, поиски путей преобразования российской действительности составляли важнейшее, главное направление деятельности Писарева и публицистов «Русского слова».

Таким образом, ни общее, исходное определение «нигилизма», ни выделенные Новиковым характерные черты его не дают

основания объявлять Писарева и его товарищей по журналу нигилистами. Этот термин в применении к ним может употребляться лишь в условной, привычно-полемиической форме, в какой он употреблялся когда-то современниками, прекрасно понимавшими особую «модальность» этого термина. Когда, к примеру, Б. П. Козьмин писал известную работу «Раскол в „нигилистах"», он не случайно ставил это слово в кавычки, подчеркивая тем самым назывную условность этого термина. Строгая же терминология, которая употребляется в советской науке для обозначения мировоззренческих позиций Писарева, лежит совсем в другом ряду: просветитель, революционный демократ...

Вот почему столь странна теоретическая новация в книге А. И. Новикова, заключающаяся в том, чтобы наряду с категориями «просветительство», «народничество», «революционная демократия», подробно обоснованными в трудах В. И. Ленина и нашей историографии, внести в научный оборот новую дефиницию — «революционный нигилизм», представить Писарева в отличие от революционных демократов Чернышевского, Добролюбова, Герцена неким «революционным нигилистом».

Понимая, что у него не сходятся концы с концами в некоей единой теории «нигилизма», объединяющей, скажем, Писарева и Ницше, А. И. Новиков, наметив четыре черты некоего единого «нигилизма», далее подразделил его на «революционный» и, так сказать, «реакционный» нигилизм, опираясь на вырванное из контекста выражение В. И. Ленина «революционный нигилизм».

В работе «Попытное направление в русской социал-демократии», характеризуя современный ему оппортунизм, занимающийся и проповедью попятного движения и пропагандой разрушения социализма, Ленин писал: «Вот это именно нигилизм, но только не революционный, а оппортунистический нигилизм, который проявляют либо анархисты, либо буржуазные либералы!»¹¹.

Из данного контекста следует, что если анархисты и буржуазные либералы проявляют «оппортунистический нигилизм», то возможен и другой — «революционный нигилизм», который бывает свойствен иным социальным силам, скажем революционным демократам или народникам. Под «оппортунистическим нигилизмом» Ленин понимает здесь «разрушение социализма» в противовес «разрушению» основ старого об-

¹¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 282.

щества, что есть, по его мнению, «нигилизм революционный».

А. И. Новиков на основании этого высказывания В. И. Ленина пытается сконструировать целую теорию о некоем социальном явлении, именуемом «революционным нигилизмом», ставя его в ряд, к примеру, с анархизмом, революционной демократией и т. д. Он утверждает, к примеру, что «в работах Ленина «Гонители земства и Аннибалы либерализма», «Из прошлого рабочей печати в России», «„Крестьянская реформа” и пролетарски-крестьянская революция», «Роль сословий и классов в освободительном движении» подробно охарактеризован главный носитель идеологии и психологии нигилизма — разночинец. Принципиально важные оценки рассматриваемого явления (нигилизма.— Ф. К.) мы находим в ленинском конспекте—плане лекций по аграрному вопросу. Характеризуя целую полосу общественной мысли, «целое миросозерцание, начиная от Герцена и кончая Н.-оном», Ленин отмечает, что ее историческое значение — в идеализации борьбы с крепостничеством. Эта характеристика в полной мере относится и к нигилизму...»¹².

Но это умозаключение основано в лучшем случае на недоразумении. Достаточно открыть перечисленные автором работы Ленина, чтобы убедиться: ни в одной из них даже понятие «нигилизм» не встречается. В них и в самом деле подробнейшим образом охарактеризован разночинец, но как ведущая фигура народнического движения, главный носитель революционно-демократической идеологии. Что же касается ленинского конспекта—плана лекций по аграрному вопросу, равно как и приведенной выше ленинской цитаты, где характеризуется «целая полоса общественной мысли», «целое миросозерцание», то у Ленина прямо говорится, что речь в данном случае идет о народничестве. Как же можно эти важнейшие ленинские положения, характеризующие суть народничества, механически и произвольно перебрасывать на нигилизм, пытаясь столь странным, явно антинаучным способом убедить читателя, будто Лениным разработана якобы широкая и всесторонняя теория «революционного нигилизма»!

В действительности такой теории не существует, а есть одно-единственное высказывание, из которого следует, что, по общепринятой традиции прошлого — начала нынешнего века, Ленин условно употребил слово «нигилизм» в применении к револю-

ционной традиции, понимая под «революционным» нигилизмом ниспровержение, разрушение основ существовавшего в ту пору эксплуататорского общества. В таком значении это слово применимо и к Чернышевскому и к Писареву, к революционерам вообще. Однако вряд ли случайно, что, возвращаясь постоянно в этой и других статьях к опыту русских революционных демократов, В. И. Ленин нигде и никогда «нигилистами» никого из них не называет.

Из этого высказывания В. И. Ленина А. И. Новиков делает чрезвычайно далеко идущие выводы. «Русский «революционный нигилизм» получал всестороннюю характеристику в работах Герцена, Писарева, в статьях «Русского слова»...» — заявляет он, утверждая, будто имя «нигилистов» «с гордостью носили авторы демократического журнала «Русское слово» и группировавшаяся вокруг него молодежь». Когда и где публицисты «Русского слова» с гордостью называли себя «нигилистами»? Откуда все это взято? Где, в каких статьях Герцена, Писарева, «Русского слова» вообще давалась «всесторонняя характеристика» «революционного нигилизма»?! Где, в каких работах Писарев выступал «историком и теоретиком нигилизма», «его талантливейшим представителем»? На каком основании исследователь считает, будто то «широкое общественное движение», к которому принадлежал Писарев, «по праву именовалось нигилистическим»? Как уже подчеркивалось выше, в противовес понятию «нигилизм» Писарев ввел в русскую общественную мысль понятие «реализм», считая себя историком, теоретиком, представителем именно «реализма», но уж никак не нигилизма, а если и использовал этот термин, то именно так, как писал о том Герцен, то есть условно, фигурально, часто иронически.

Наконец, почему, к примеру, М. А. Антоновича А. И. Новиков считает «выдающимся деятелем революционно-демократического лагеря», а Д. И. Писарева — пусть и талантливым, но всего лишь «нигилистом»? Где грань между «революционной демократией», куда А. И. Новиков относит целый ряд деятелей 60-х годов, включая, как вы видите, Антоновича, и «революционным нигилизмом», куда он помещает Писарева и других публицистов и критиков «Русского слова»?

Грань, по мнению А. И. Новикова, заключается в следующем: «Если революционная демократия выступала как определенное общественное движение со своей философской и социально-политической программой, то этого никак нельзя сказать о нигилизме...

¹² А. И. Новиков. Нигилизм и нигилисты (Опыт критической характеристики). Л. Лениздат. 1972, стр. 37—38.

Революционный нигилизм выступал не как цельное мировоззрение, а как аморфное, с расплывчатыми границами умонастроение и мироощущение, объединенное неприятием существующей действительности, ее радикальным отрицанием.

Но разве применимо к программе «Русского слова», к позициям Писарева, Благосветлова, Зайцева, Шелгунова, Соколова такого рода определение? При всей спорности, подчас просветительской ограниченности позиций Писарева и его сподвижников по журналу или же проявлениях «детской болезни „левизны“», вне всякого сомнения, мы имеем дело с революционно-демократическим мировоззрением, но на новом в сравнении с Чернышевским и Добролюбовым этапе.

Видимо, осознавая всю неточность сведения творческого наследия и общественной деятельности Писарева к нигилизму, А. И. Новиков, противореча своим же собственным утверждениям, вынужден признать, что «концепция нигилизма» Писарева «последствия (?) стала элементом более общей теории реализма как особого типа мировоззрения, как одной из форм революционно-демократической идеологии», подчеркнув, что под «концепцией нигилизма» Писарева он понимает «черты резко критического взгляда на мир, решительного и бескомпромиссного отрицания устаревших форм жизни». Но зачем же нам-то, как бы продолжая традицию Каткова и других противников революционной и социалистической идеологии, именовать «резко критический» взгляд на самодержавно-крепостническую действительность, «решительное и бескомпромиссное отрицание устаревших форм жизни» «нигилизмом»?

Наиболее последовательный представитель русского ницшеанства, философ и литературный критик Лев Шестов, примыкавший к группе «Вехи», ненавидевшей русскую революционную демократию, писал в своей работе «Достоевский и Ницше»: «Сократ, Платон, добро, гуманизм, идеи — весь сонм прежних ангелов и святых, оберегавших невинную человеческую душу от... скептицизма и пессимизма, бесследно исчез в пространстве, и человек испытывает страх одиночества». Пытаясь представить Достоевского единомышленником Ницше, уравнивая с «подпольным человеком», Шестов подводит следующий итог душевных исканий Достоевского, а в конечном счете и всего человечества. «Что имел он взамен прежних убеждений?» — задает вопрос Шестов. И отвечает: «Ничего».

Нигилист Шестов, нигилист без кавычек, отвергает практически все духовные и нравственные ценности, выработанные человечеством: гражданские убеждения, веру в разум, разграничение добра и зла, науку и просвещение. «Неужели и теперь, когда все так ясно осознали бессилье разума, имеет смысл считаться с его потребностями?» — вопрошает он. Философский, гносеологический нигилизм сочетается у Шестова с нигилизмом этическим. Он утверждает нравственный релятивизм как норму. «С наукой невозможно бороться, — утверждает он, — пока не будет свалена ее вечная союзница — мораль».

Отрицание моральных ценностей, ценностей науки, мировоззрения, человеческих идеалов приводит Шестова к своеобразному интеллектуальному «демонизму», когда, перефразируя известные строки Пушкина, он патетически восклицает: «Да скроется солнце, да здравствует тьма!» Это и есть подлинное кредо нигилизма в работе «Апофеоз беспочвенности», развернутое Шестовым в целую теоретическую программу. «Пусть с ужасом отвернутся от нас будущие поколения, — глаголет здесь Шестов, — пусть история заклемит наши имена как изменников общечеловеческому делу — все-таки мы будем слагать гимны уродству, разрушению, безобразию, хаосу, тьме. А там хоть трава не расти». Вот он, нигилизм, в доподлинном, сатанинском своем обличье, выявивший до конца истинную свою суть, заключающуюся как раз в циническом, извращенном отрицании «общечеловеческого дела», общечеловеческих ценностей. Духовный нигилизм и сегодня составляет теоретическую основу процессов дегуманизации жизни и искусства, которые столь бурно прогрессируют на Западе, в форме ли культа насилия, в аморализме, порнографии, различного рода человеконенавистничестве.

Нигилизм сегодня проявляет себя в различных формах тотального негативизма — к окружающей нас социалистической действительности, к традициям и заветам человеколюбия и гуманизма, в стирании границ между добром и злом, между прекрасным и безобразным, между истиной и ложью, в вандализме по отношению к природе, культуре, всему человечеству. Апофеозом нигилизма современности стала политика тех черных сил империализма, которые из ненависти к идее коммунизма готовы уничтожить мир в испепеляющем огне термоядерной войны.

Но противно всякому смыслу связывать эти человеконенавистнические тенденции современности с нашими «святыми» (Чехов) 60-ми годами XIX века, с наследием русских демократов-шестидесятников. Никак нельзя — не получается! — выстраивать некую абстрактную схему единого «нигилизма» с какими-то общими объективными типологическими его чертами, искусственно подгоняя сюда то явление, которое А. И. Новиков называет революционным нигилизмом, имея в виду при этом Писарева и его сподвижников, выстраивая в один ряд, к примеру, Писарева и Шестова, являющихся антиподами, непримиримыми идейными врагами.

Объявлять русских демократов «нигилистами» — это ведь катковская традиция, и она умело используется нашими идеологическими противниками в сегодняшней борьбе. Вот как, к примеру, характеризует русский «нигилизм» известный американский советолог, яростный враг нашей страны Ричард Пайпс: «Нигилист — это человек новой породы, это западный позитивист, преувеличенный до гротеска. Нигилист ставит под сомнение существующие институты — семейные, государственные, церковные, этические нормы, нравы и готов отбросить или разрушить их, если они не совпадают с его утилитарными и материалистическими критериями. Поскольку нигилист не ограничивается словами и готов перейти к делу, он становится навязчивой идеей консерваторов. Для русских консерваторов 1860—1870-х годов нигилист не был фигурой переходящей — он олицетворял все зло западной культуры вообще и русского западничества в особенности. Нигилист становится предзнаменованием ужасных событий. В самом общем смысле, русский консерватизм после 1860 г. представляет собой теорию антинигилизма, попытку создать альтернативу страшному призраку «нового человека» Чернышевского, представшему перед русским обществом».

Здесь сплошные неточности, сплошные искажения и абберации. И прежде всего попытка представить Чернышевского и его единомышленников явлением, чуждым России, искусственно перенесенным с почвы западной культуры, явлением утилитаризма и западного позитивизма, преувеличенным до гротеска.

Однако даже и столь необъективный и недоброжелательный к нашей стране историк, как Ричард Пайпс, не в силах исказить главное: так называемый нигилизм, возникший в России на переломе 60-х го-

дов, на самом деле есть не что иное, как революционный противник государства и церкви, феодально-крепостнических нравов и норм.

8

Не будем забывать, кто именно обвинял русских революционных демократов в их прозападной ориентации, чрезмерно критическом отношении к миру, к окружавшей их самодержавно-крепостнической действительности, в чрезмерном рационализме и утилитаризме, в «нигилизме» и прочих смертных грехах. На такие обвинения были щедры главным образом консерваторы, охранители самодержавно-крепостнических устоев, то есть идейные противники Чернышевского и Писарева. Борьба с русской революционной демократией на протяжении всей второй половины XIX века велась не на жизнь, а на смерть, и здесь Ричард Пайпс прав: весь русский консерватизм XIX столетия так или иначе являет собой «теорию антинигилизма», ответ правящих классов царской России на вызов, брошенный революционными демократами. Это наложило своеобразную печать на все теоретические искания русского консерватизма второй половины XIX века, на творчество ведущих представителей русской консервативной мысли — Ивана Аксакова, Аполлона Григорьева, Страхова, Самарина, Каткова, а позже Данилевского, К. Леонтьева, Победоносцева и других.

Обратимся еще раз к свидетельству нашего сегодняшнего идейного противника. Ричард Пайпс в своем докладе «Русский консерватизм во второй половине XIX века» так характеризует «антинигилистические» искания консерваторов: «Причины нигилизма консерваторы обычно видят в расхождении теории и практики. Они питают отвращение к «абстракциям». Они согласились бы с Гёте, что жизнь соответствует теории так же, как человеческое тело соответствует распытию. Консерваторы встают на позиции номинализма, они превозносят жизнь. Консерваторы пытаются создать терминологию, используя язык биологии, точно так же как радикалы используют для этой цели язык механики... Осуждение «абстракции» можно найти в произведениях Самарина, Аксакова и большинства других консервативных писателей».

Отношение Р. Пайпса к русскому консерватизму двойственно. С одной стороны, Пайпсу явно по душе его отвращение к

«абстракция», под каковыми и русские консерваторы и советолог Пайпс разумеют революционные и социалистические теории. В своей ненависти к революции и социализму Пайпс готов вместе с консерваторами на крайнее: он готов даже ругать Запад, коль скоро, на взгляд консерваторов, революционные и социалистические идеи — западного происхождения; он готов принять атаки консерваторов «на абстракцию и индивидуализм», хотя они и носят, оговаривается Р. Пайпс, «чисто русский характер». Но до конца даже русский консерватизм в силу своей очевидной русофобии, особенно ярко выраженной в его книге «Россия при старом режиме» (Нью-Йорк, 1980), Пайпс принять, естественно, не может. Его ограничивает здесь прежде всего то, что даже этот «новый консерватизм», как он пишет, в лице ряда его представителей был опять-таки демократическим, ориентировался на народ! На почву!

«Абстракции» потому и завладели умами молодежи, что западничество с легкой руки Петра разделило образованные классы и народ. «Вне народной почвы нет основы, вне народного нет ничего реального, жизненного, и всякая мысль блягая, всякое учреждение, не связавшееся корнями с исторической почвой народной или не выросшее из нее органически, не дает плода и обращается в ветошь», — утверждал, к примеру, И. Аксаков, для которого качество народности было ключевым в не меньшей, если не в большей степени, как ему казалось, чем для революционных демократов.

Русская консервативная мысль обращалась к народу не только в силу социального сочувствия к нему (хотя у ранних славянофилов присутствовали и эти моменты), сколько потому, что в «простом», не «испорченном» западной цивилизацией и образованием народе они видели нетронутый резервуар, незамутненный источник национального духа. Их концепции народа и народности коренным образом отличались от понимания народа русскими революционными демократами.

К сожалению, это коренное различие в понимании народа, в толковании качества народности, свойственное двум линиям русской общественной мысли прошлого века, не всегда осознается в нашей критике даже сегодня.

Культ народа в концепциях ранних славянофилов, в идеологии русского консерватизма вообще при недостатке конкретно-исторического подхода к самому понятию «народ», при отсутствии системного

анализа данной категории и сравнительного ее места, роли и значения в мировоззрении, скажем, революционных демократов и славянофилов может приводить современного исследователя к неожиданным историческим абберациям. И, в частности, к эклектической ориентации в своей методологии как на тех, так и на других, коль скоро и те и другие выступали за народ, утверждали в жизни и литературе народность. И более того — эта историческая абберация может приводить некоторых методологически незрелых исследователей даже к переориентации в отношении к традиции, когда в качестве желанных предшественников по целому ряду признаков начинают выступать не русские революционные демократы, но ранние славянофилы, а то и русская консервативная мысль второй половины XIX века в лице К. Леонтьева, Вл. Соловьева или даже В. В. Розанова. Тогда и возникают парадоксы вроде рассматриваемого в данной статье, когда исследователи, направляющие свои стопы, казалось бы, в разные, противоположные стороны, сходятся в одной точке — в необъективной оценке наследия русских революционных демократов.

Нет спору, и у ранних славянофилов, и у поздних консерваторов, людей, как правило, ярких, талантливых, убежденных, можно найти немало интересного и даже небесполезного для понимания всех сложностей историко-литературного и общественного движения XIX века. Но в увлечении полемикой с современным «рационализмом», в не критическом восприятии «органической» методологии и терминологии того же Аполлона Григорьева нельзя забывать, думается, об идейных и политических позициях консерваторов, убежденных борцов с идеями революции и социализма, борцов с нашими предтечами, нельзя забывать о нашем идейном первоисточнике, которое заключается в традициях русской революции, русского освободительного движения, в традициях крестьянской, а потом пролетарской демократии. Нельзя забывать, что в истории русской общественной мысли именно революционные демократы были крестьянскими демократами. Ведь именно они, демократы-разночинцы, а не московские баре — славянофилы, игравшие, по сути дела, в народ и народность, были доподлинными выразителями души и надежд русского крестьянства и составлявшего в XIX веке в основном и главным образом русский народ. Именно они в первую очередь с

риском для жизни взяли на свои плечи великую и трудную историческую долю борьбы с самым главным и ненавистным врагом русского народа — крепостничеством. Вот почему особенно странно, что симптомы некоторого отделения от революционно-демократической традиции, внутренней, далеко не всегда обоснованной полемики с ней в пользу и защиту традиции иной, противоположной, представленной такими именами, как тот же Аполлон Григорьев или Страхов, мы наблюдаем у некоторых наших критиков и литературоведов, исповедующих верность принципу народности.

Прямая обязанность советского литературоведения — утверждать и развивать наше великое духовное наследие, традиции русской революционно-демократической критики. Историческая реальность такова, что практически все успехи великой русской литературы XIX века так или иначе, прямо или опосредованно связаны с русским освободительным движением — вначале с декабризмом, потом с революционной демократией. Вспомним в этой связи ленинскую оценку колоссального по своим масштабам творчества А. Н. Толстого — «зеркало русской революции».

За последние годы, выявляя растущий гуманистический потенциал социализма, в отношении к наследству мы обнаруживаем мудрость и широту, стремясь включить в культурный оборот все гуманистически ценное в духовной жизни минувших эпох. Советской наукой осмыслены и освоены как принадлежащие социализму ценность и наследие Достоевского — при всей глубине и разительности его противоречий, — наследие Тютчева и Фета, многих других. Стал более широким взгляд на ранних славянофилов, на того же Аполлона Григорьева, более глубоко и диалектично наша наука рассматривает творчество даже таких критиков, как почвенник Страхов или либерал Дружинин.

Все эти перемены благотворны. Но они не должны идти за счет ущемления наших принципов, и прежде всего принципа историзма, за счет исторической истины, за счет утраты наших социально-классовых позиций. С точки зрения исторической истины неправильно пытаться возвышать, к примеру, Аполлона Григорьева за счет Добролюбова или Писарева. Ибо истори-

ческая роль и значение для отечественной литературы, для русской общественной мысли, скажем, Аполлона Григорьева, Дружинина или Страхова одна, а Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева — другая, несоразмерная, несоизмеримая с ролью первых. И мы отказались бы как от исторической правды, так и от своего революционного, социалистического первородства, если бы забыли об этом.

Слово Белинского и Герцена, Чернышевского и Добролюбова, Щедрина и Писарева, их сподвижников оказало решающее воздействие не только на судьбы литературы, но и на формирование общественного самосознания, того самосознания, которое явилось предтечей ленинизма и в конечном счете привело Россию к Великой Октябрьской социалистической революции.

Будучи, помимо всего прочего, и глубоко патриотическим, гражданственным самосознанием, самосознанием угнетенного русского крестьянства, глубоко народной идеологией, наследие русских революционных демократов являет собой наше уникальное достояние, нашу национальную гордость и одновременно — вечно живое наследие, наше сегодняшнее боевое оружие. Ибо в своих исходных, принципиальных позициях, во взгляде революционных демократов на непростые литературные явления прошлого века и сегодня куда больше не опровергнутой временем исторической истины, конкретного историзма, доказательности, аргументированности, чем в некоторых коррективах наших новейших критиков. Как тут не вспомнить вещи слова Чернышевского:

«...надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в них? По крайней мере, не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми?.. Источник не иссякает оттого, что, лишившись людей, хранивших его в чистоте, мы по небрежности, по легкомыслию допустили завалить его хламом пустословия. Отбросим этот хлам, — и мы увидим, что в источнике еще живым ключом бьет струя правды, могущая, хотя отчасти, утолить нашу жажду».

Эти слова великого критика в полной мере относятся и к наследию Д. И. Писарева, к его боевым соратникам по журналу «Русское слово».

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Косолапов. Наша многонациональная литература.— Александр Борцаговский. Длинно в жизнь.— Г. Петрова. Постпроизводственные приключения инженера Холина.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Амиантов. Новое о российско-финляндских революционных связях.— Эрнст Генри. Тон эпохи.

Литература и искусство

НАША МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Вместе с партией, вместе с народом. Летопись литературно-творческой деятельности Союза писателей СССР между VI и VII съездами. М. «Советский писатель». 1981. 431 стр.

Содружество литературы и труда. Материалы всесоюзных творческих конференций писателей и критиков 1978—1980 гг. М. «Советский писатель». 1981. 472 стр.

Людей, любящих литературу, умеющих ценить ее живое, правдивое слово, в нашей стране десятки миллионов. И нет ничего удивительного, что многие читатели проявляют большой интерес к тому, как строит свою работу Союз писателей, объединяющий тех, кто создает литературу, какую творческую помощь оказывает он литераторам, живущим не только в Москве, но и вдалеке от нее.

У Союза писателей СССР почти полувековая история. В апреле 1932 года в постановлении «О перестройке литературно-художественных организаций» Центральный Комитет партии признал необходимым «объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем». В августе 1934 года был созван I Всесоюзный съезд писателей, проходивший, как и подготовка к нему, под руководством А. М. Горького. Съезд провозгласил создание Союза писателей СССР, принял его устав, избрал руководящие органы.

В атмосфере постоянной заботы партии, год от года укрепляя связь литературы с жизнью, Союз писателей стал высокоавторитетной творческой организацией, активно участвующей в борьбе за построение коммунизма, за социальный прогресс, за мир и дружбу между народами. Успехи

Союза писателей СССР в развитии советской литературы были отмечены в 1967 году орденом Ленина.

О сегодняшней жизни Союза писателей, об основных направлениях в его работе обстоятельно рассказывает выпущенный в прошлом году к VII съезду писателей СССР сборник «Вместе с партией, вместе с народом». В него вошли очерки, репортажи, обзоры, многочисленные фотодокументы, повествующие о деятельности Союза писателей за последние пять лет.

Открывается сборник отчетом о вручении Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР Леониду Ильичу Брежневу Ленинской премии за книги «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», за неустанную борьбу за мир. Выразив глубокую благодарность Комитету по Ленинским премиям, Леонид Ильич в своей речи напомнил ленинские слова о задачах партийной публицистики — писать о современности так, чтобы пером своим приносить посильную помощь практическому делу партии и народа. «Это ведь и теперь,— сказал он,— главная задача нашей публицистики, нашей массовой пропаганды, всей идейно-воспитательной работы партии. А в более широком плане — и нашей художественной литературы и искусства вообще».

Выход в свет «Малой земли», «Возрождения», «Целины» стал крупным событием

в литературно-общественной жизни страны. Как подчеркнул в докладе на VII съезде писателей СССР Георгий Марков, трилогия Л. И. Брежнева дала писателям добрые уроки служения народу, оказала огромное влияние на все виды и жанры литературы.

На страницах рецензируемого сборника читатель найдет хронику наиболее важных литературно-творческих дел, направленных на углубление и упрочение связей литературы с жизнью. Это и Дни советской литературы в республиках, краях и областях, и посвященные актуальным проблемам всесоюзные творческие конференции, и содружество писательских организаций и литературно-художественных журналов с крупнейшими стройками, предприятиями, колхозами, и широкая деятельность Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы.

Как известно, советская литература создается сегодня на 77 языках народов СССР. В нее входят и литературы многовековых письменных традиций, давно завоевавшие мировое признание, и достигшие ныне также высокого уровня развития литературы народов, которые до Октябрьской революции обладали лишь зачатками письменности или вовсе ее не имели. Для того чтобы писатели братских литератур могли учиться друг у друга, обмениваться творческим опытом, для обобщения этого опыта в Союзе писателей созданы общественные советы по литературам народов СССР. Координирует их деятельность бюро советов по национальным литературам.

В сборнике рассказывается, как Союз писателей выполняет постановление ЦК КПСС «О работе с творческой молодежью». Речь идет и о деятельности общественного совета по работе с молодыми, и о проведенном совместно с ЦК ВЛКСМ VII Всесоюзном совещании молодых писателей, о творческих семинарах и издании книг молодых авторов. Здесь же публикуется репортаж из Литературного института имени А. М. Горького.

Своим священным долгом, кровным своим делом советские писатели считают борьбу за мир, за укрепление дружбы и мирного сотрудничества между народами. Страницы сборника отражают ту большую и плодотворную работу по установлению творческих контактов с зарубежными деятелями литературы и искусства, которую ведут Союз писателей СССР, его общественный совет по международным писательским связям, иностранная комиссия, Советский комитет по связям с писателя-

ми стран Азии и Африки. Союз писателей СССР участвует в работе международных писательских организаций, поддерживает и развивает контакты с деятелями культуры более чем ста стран мира.

В минувшем пятилетии одной из весьма эффективных форм связи литературы с жизнью стали всесоюзные творческие конференции, в которых наряду с писателями и критиками участвуют новаторы производства, ученые, партийные работники, хозяйственники. Такие конференции дают широкую возможность соотносить дела литературные с делами общеполитическими, общенародными. О значении этих конференций для писателей, для развития нашей литературы говорил Георгий Марков, выступая на XXVI съезде КПСС. Он отметил, что они «привносят в художественное мышление писателей современный уровень партийного понимания задач коммунистического строительства, его конкретных проблем и перспектив, помогают художнику выверять свои творческие решения правдой жизни».

Материалы всесоюзных творческих конференций 1978—1980 годов составили сборник «Содружество литературы и труда». Он как бы продолжает и дополняет рассказ о деятельности Союза писателей, начатый на страницах книги «Вместе с партией, вместе с народом».

Подготовленный советом по критике и литературоведению и редакцией журнала «Вопросы литературы», сборник «Содружество литературы и труда» со стенографической полнотой передает содержание творческого обсуждения таких огромной важности для писателей проблем, как «Герои великих строек нашего времени и советская литература» (Тюмень, 1978), «Осуществление аграрной политики КПСС и задачи современной литературы в изображении тружеников советского села» (Алма-Ата, 1979), «С Лениным, по ленинскому пути» (Шушенское, 1979), «Ведущая сила в строительстве коммунизма. Рабочий класс общества развитого социализма, научно-технический прогресс и задачи советской литературы» (Харьков, 1980), «Дружба народов — дружба литератур. Слово писателя — активная сила в интернациональном и патриотическом воспитании советского человека» (Баку, 1980). Союз писателей СССР готовил и проводил эти конференции вместе с Центральными Комитетами компартий Казахстана и Азербайджана, с Красноярским крайкомом КПСС, Тюменским и Харьковским обкомами. К участникам творческой конференции в Баку обра-

тился с приветствием Леонид Ильич Брежнев.

«Развитие многонациональной советской литературы,— говорилось в приветствии,— неотделимо от борьбы трудящихся нашей страны за торжество коммунизма. Служение великим идеалам, которые всегда вдохновляли советских людей на доблестный труд и ратный подвиг, является душой нашей художественной культуры, источником ее патриотического и интернационального содержания.

Уверен, что дела и заботы страны и впредь останутся в центре внимания литераторов всех союзных республик, а ваши произведения и дальше будут укреплять в читателях чувство деятельной гражданственности».

Как уже говорилось, в творческих конференциях участвуют не только писатели и критики. В Тюмени, например, зачином большого, содержательного разговора стало выступление первого секретаря Тюменского обкома КПСС Г. Богомякова. Оно ввело участников конференции в самую сердцевину социально-экономических и нравственных проблем, возникающих на стройках Западной Сибири. Наряду с писателями на конференции выступили буровой мастер из Нижневартовска Б. Давыдов, начальник управления Тюменстройпуть Герой Социалистического Труда Д. Коротчаев, член-корреспондент Академии наук СССР лауреат Ленинской премии И. Нестеров и другие.

Одна из важных особенностей творческих конференций состоит в том, что литераторы широко знакомятся с жизнью той республики, края, области, где конференция проводится. Участники тюменской встречи побывали у нефтяников и газовиков, у геологов и строителей. После первых двух дней конференции в Алма-Ате писатели разъехались по областям Казахстана, а затем, полные впечатлений от встреч с трудящимися республики, продолжили конференцию. Норильск и Игарка, Дудинка

и Канск, Ачинск и Абакан — таков неполный перечень мест, где участники шушенской встречи выступали перед читателями. Так же было и на Украине и в Азербайджане.

Опыт проведения творческих конференций вызвал огромный интерес у Союзов писателей социалистических стран, у прогрессивных писателей многих стран мира. Так, в работе конференции в Баку приняли участие писатели из Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Кубы, Монголии, Польши, Чехословакии, а также из Афганистана, Египта, Индии, Йемена, Палестины, Чили.

Надо ли говорить о том, какую ценность представляют материалы творческих конференций, органично сочетающие теоретическое рассмотрение литературных проблем и потребностей реальной жизни, для литературной науки, для нашей литературной критики. «Критики и литературоведы,— пишет во вступительной к сборнику статье секретарь правления Союза писателей СССР Ю. Верченко,— прошли за эти годы большую школу, ведя вместе с писателями, людьми труда общественно значимый разговор о жизни и о литературе... Теперь не менее важно обобщить все материалы обсуждений, сделать их достоянием литературной общественности, что позволит судить о литературном процессе с высоты новых критериев, с учетом опыта творческого содружества писателей с народом».

Страницы сборников «Вместе с партией, вместе с народом» и «Содружество литературы и труда» пронизывает одна, центральная мысль, точно выраженная в самих названиях этих книг: сегодняшние и будущие успехи нашей многонациональной литературы неразрывно связаны с тем, что советские писатели всегда вместе с партией, вместе с народом, живут одной жизнью с ним, пером своим и общественной деятельностью участвуют в его созидательных делах.

В. КОСОЛАПОВ.



ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Юозас Балтушис. Сказание о Юозасе. Перевод с литовского В. Чапайтиса. М. «Советский писатель». 1981. 240 стр.

Кажется, искусный и опытный автор лукавил, поспешил сам дать толкование своему роману «Сказание о Юозасе». В авторском предисловии — оно было напечатано в «Литве литературной» — Юозас Балтушис вспоминает о реальном человеке, как бы прототипе своего героя Юозаса, который жил

«особняком от всех в глухом лесу, совершенно замкнутой жизнью», справедливо замечая, что нет на земле такого места, куда можно убежать от себя и от людей, и признается, что вся его книга — прощание со старой, уходящей литовской деревней.

В этих словах скромность писателя сое-

дняется с осторожностью, с опаской быть неправильно истолкованным, здесь и неловкость, возникающая всякий раз, когда полноту жизни пытаются выразить однозначно, подменить зеленое буйное древо жизни с химой теории. Будь перед нами книга без глубин, без тайны, когда на жесткий каркас замысла наращивается только та малость плоти, которая необходима для внешнего подобия жизни, можно было бы удовлетвориться авторецензией Ю. Балтущиса и с легким сердцем отнести весь этот урок только к прошлому, к прощанию с уходящим. Хотя на первый взгляд прощание — не слишком деятельное проявление жизни, скорее итоговое, чем творящее, литература уже не раз (от «Дон Кихота» или «Вишневого сада» и до современного «Прощания с Матёрой») напоминала нам, какая могучая жизнедеятельная сила заключена в нем.

Все, что сказал о своей книге Ю. Балтущис, справедливо, но так общо, что его герою Юзасу в этих рамках не то чтобы тесно, ему в них не втиснуться, не сломать и не разорвав их.

Позади у Юзаса детство, отрочество и юность, школа крестьянской собственнической жизни, школа и обособления от других и неизбежной мирской, деревенской общности. О многом передумал как мог Юзас к той бедственной для него поре, когда любимшаяся ему Винцоне, отвергнув Юзаса, позвала его к себе на свадьбу со Стонкусом, сыном богача из далекой деревни Пуожас. К этому времени характер Юзаса сложился: крутой и непеременимый, упорный, страстный в своей одержимости, страстный за маской бесстрастия, за угрюмым бирючеством, за тугой и медлительной мыслью и скупой речью. В ошеломляющей прямоте Юзаса, в его редкостном постоянстве, в нежелании и, кажется, неспособности гнуться, приспособляться есть что-то от грубых и прямодушных героев скандинавских саг, словно вырубленных из гранита или из ствола чернотуба, годы пролежавшего под водой.

Невольно возникает соблазн спрямленного понимания Юзаса, болотного сидельца, которому ничем все печали мира, которому одиночество не в наказание, а в радость, который, подобно зверю, животному, превосходит окружающих людей здоровьем, острыми инстинктами, но в высшем смысле словно и не дорос до людей, до духовности их сообщества. Если закрыть глаза на многое и многое упростить, можно остаться с Юзасом, который не разбудит в нас сочувствия, тревожных мыслей, сострадания, жи-

вого трепета гордости, пусть и не без горечи. Сама возможность спора вокруг Юзаса не должна нас смущать: мир легко сходится в характеристике фигур схематичных и однозначных, все истинно значительное служит предметом непрекращающихся споров. Один и тот же герой Шекспира объявлялся мудрыми людьми разных эпох то воплощением рефлексии, безволия, то идеалом личности действенной, решительной и в мыслях и в поступках.

Свое ошеломившее близких решение переселиться на Кайрабале, на одичалый бугор посреди болот и гибельных топей, решение отделяется от младшего брата Адомаса и сестры Уршуле, взять себе и худший кусок земли, и худшую лошадь, и последнюю коровенку Юзас принимает в ночь великой потери: Винцоне стала женой другого. Нет ее, и утратили вес все другие земные блага; обида и великая печаль толкают Юзаса на некое пустынное место. Он уйдет от всех, он изнурит себя трудом, но уйдет не ради подвига веры, уйдет, чтобы не завязнуть на миру, чтобы в болотном одиночестве не терять своей Винцоне, чтобы совершить невозможное на взгляд односельчан: превратить болотный ад в мужицкий рай, где все родит изобильно и сам человек живет в ладу — не Юзас, мы сказали бы, — в гармонии с землей и лесом, с птицей и зверем, с травами и пчелами, даже с бездонными омутами трясин.

Прославленный американец Торо, поселившись некогда в доме на берегу Уолденского пруда в Конкорде, чтобы добывать пропитание исключительно трудом своих рук, прожил там чуть больше двух лет, но отправился он в этакую страшную глушь, за целую... милю от людского жилья, от соседей, томимый печалью мира, его несправедливым устройством, поисками истин социальных и философских. Он нашел истине красивую, так впечатлявшую в середине XIX века романтическую рамку, восходящую декорацию для своего благородного и мудрого представления, небезразличного человечеству.

А терзался ли литовский мужик Юзас какими-либо возвышенными мыслями, потребностями духа, когда в великой обиде на судьбу сказал брату Адомасу: «Отдашь мне тот кусок, что на Кайрабале»? Соблазнительно ответить: нет, не терзался и нет до него дела человечеству. Вели его горечь, обида, опустошение, пробудившаяся жажда одиночества, он так и говорит обдуманно, веско: «И люди мне не нужны, и мне от людей не нужно ничего».

Очень легко сложить образ нелюдима,

угрюмого бирюка, навсегда повернувшегося к людям спиной; кажется, его тяготят даже приходы близких. Его отчуждение от мира так решительно и упрямо, что вскоре он захочет порвать и некоторые неперенные для общественного человека связи, отринет законом определенные обязанности, откажется платить налоги, искренне убежденный, что не должен вносить и гроша за землю, которую он трудом и потом своим превратил из пустоши в поле. Отказ Юзаса от налоговой повинности навсегда сохранит и привкус тайны: что это — притворство, мужицкая хитрость или искреннейшее недоумение естественного, как бы еще отдельного от законов человека, который и сам не одолжался у казны и себя должником не считает? Ведь и отец, и дед Йокубас, и прадед платили казне налоги, и не только за поле, но и за... дым! Отказ Юзаса неповторим и прекрасен, он из тех поступков, которые мощно лепят характер.

Соблазнительно, отказав Юзасу в духовности — кроме любви к Винцюне, но ведь и зверь по-своему любит! — оставив ему не развитые чувства, а животные инстинкты, прочесть «Сказание о Юзасе» как некую притчу о неминуемом крушении индивидуализма, этакий умышленный, прагматический эпос. Не случаен, мол, и авторский притчевый рефрен: «Вот так теперь жил-поживал Юзас».

Но тот, кто откажет Юзасу в высоких достоинствах духа, обречет себя на примитивное, узкосюжетное прочтение превосходного романа Ю. Балтушиса.

Вспомним, что тайны непроходимых трясин дед Юзаса Йокубас открыл одному ему, предчувствуя в мальчике, и только в нем, будущее родство с путающим всех болотным краем, предчувствуя в нем способность слиться с миром природы, стать его гармонической частицей. И всем движением сюжета, всей жизнью самого Юзаса утверждается эта близость: плодоносящее Кайрабале — вот ответ на праведные труды Юзаса.

Вспомним, что именно Юзаса тревожат требования от колыбели внушенной ему веры и нравственности — именно он не жалеет ни усилий, ни времени на то, чтобы поставить на могиле Йокубаса массивный и долговечный крест и в вырезанную в нем нишу поместить им же вырезанное распятие. Делает он это без тени кликушества или показного святошества, в нем говорит полное достоинства, спокойное исполнение нравственного, родственного и человеческого долга. Это — требования духа, памяти,

религиозна только форма, но Юзас не знает другой.

Вспомним, что, наткнувшись в земле Кайрабале на останки солдат первой мировой войны — русского и немца, — Юзас печалится о вражде, о несовершенстве мира и не жалеет сил на то, чтобы сколотить для них гроб и устроить для солдат достойную могилу, этот странный и непредвиденный символ запоздалого и все же фронтного братания солдат первой империалистической войны. Юзас часто возвращается к этой могиле тревожной и возвышенной мыслью, но простой в выражении, как все в нем. И это для него не исполнение каких-то отвлеченных поступков, свершения не страха ради, а действительная потребность души, ответ голосу собственной совести.

Вспомним несуетность, скромность Юзаса, своеобразное его спартанство, рожденное не скупостью, не расчетом — ведь мы не раз могли убедиться и в широте и в щедрости этой натуры. Вспомним и то, как здравый смысл Юзаса, нравственное его здоровье с порога, без колебаний отвергают все уродливое и злое, все противоестественное во взаимоотношениях людей. Его здоровой, но слишком оторванной от действительности и социальных катаклизмов натуры сразу даже и не постичь звериного обличья фашизма, его человеконенавистнической практики, убийства людей по при знаку крови и многого другого, с чем пришлось столкнуться в годы войны болотному затворнику. Не по неведению ли прячет он у себя скобяного торговца Конеля, его жену Голду и трех их дочерей? Нет, Юзас знает, что может полатиться жизнью, он и прячет семью Конеля так, чтобы их невозможно было обнаружить, но прячет по закону доброты, человечности, справедливости. Иначе он поступить не может.

Можно припомнить и многое другое: то, как Юзас встает за правду в споре с братом, упрекая его в том, что тот ругает сына Адомелиса именно за правду, — за все другое изволь, а «за правду зря»; то, как лично ощущает он чужую смерть, прозревая тайно и некую всеобщность человеческого существования на земле, загадочную связь людей: «Кто бы ни умер, — размышляет Юзас, — перед каждым ты виноват». В мысли этой тем большая высота, совесть, что в Юзасе нет ничего притворного, неистинного, а тем более ханжеского; все в нем подлинно, подтверждено жизнью, куплено ее ценой. Ведь и несчастную Карусе, полюбившую его так же истово, как он Винцюне, Карусе, которая жизнью заплатила за сжигавшую ее страсть, хоронит втай-

не ото всех, с поразительным и трагическим спокойствием все тот же Юзас, предает ее земле нежно, как суженую, и сажает у ее могилы расцветающую веснами вишню.

В Юзасе привлекает многое: его неспособность ко лжи, притворству, нечистой игре, его простодушие и прямота, его врожденная враждебность к злу, его инстинктивное убеждение в предназначенности человека свободе, наконец, его жажда жизни чистой и праведной перед лицом не святых даже, а людей и самой природы, так чтимой Юзасом. Отец Карусе предпочел бы, чтобы Юзас, которого она так одержимо домогалась, о б и д е л его дочь, по-мужски причинил ей некое «зло», взял бы ее, как брали другие, — он так и говорит: «С девками всегда лучше по-мужски». Однако и это — близость без любви — оказалось для Юзаса невозможным, он верен далекой Винционе.

Есть две главные, звучащие трубно, пронизывающие весь роман темы, две мощнейшие струи в потоке времен Юзаса. В них одухотворенность Юзаса и значительность его натуры поднимаются до масштабов общечеловеческих, перешагивая и сюжетные и временные рамки. Это преобразование Юзасом земли, его родство с природой и его неубывающая, вечная любовь к Винционе.

Долгая жизнь Юзаса до последнего часа проходит на Кайрабале, она и прошла бы вся в добровольном затворничестве, если б в его двери, не знающие до поры запоров, не стучались бы и не ломались бы чужая беда, нужда, крайность, злоба и злоумышление. Вместе с людьми безоружными и с оружием врывается к нему сама история, ее обжигающие огненные ветры. Пока Юзас творил свой хуторской рай на Кайрабале, преображал землю, богател, откладывал в тайники золотые монеты, пока он хранил любовь к Винционе, не поддаваясь соблазнам Карусе, вершились самые драматические и великие десятилетия века. И то, что было крепостью Юзаса, его защитным валом, обернулось противоположностью — теперь именно уединенное Кайрабале влечет многих людей. Где как не на болотах Юзаса искать убежище сыну Винционе, молодому Стонкусу, волчонку, который с приходом гитлеровцев превратится в матерого волка, в палача? Где еще можно спрятаться племяннику Юзаса Адомелису, его Аделе, их боевым друзьям — партизанам? Куда податься обреченному Конелю и его семье, как не к покладистому, живущему на отшибе Юзасу?

Кайрабале — болотная глухомань, юдоль

уединения — превращается в горящую землю, в точку пересечения непримиримых страстей и кровавой борьбы. Ю. Балтушис с редкостным терпением и выдержкой ведет — точнее, не ведет, а наблюдает — Юзаса во всех этих сложных испытаниях, Юзаса, поднятого на дыбу истории, радуясь втайне тому, что он и «в крайности» остается нравственным человеком. Характер Юзаса до конца сохраняет поражающую цельность и словно бы независимость от автора или нашего читательского нетерпения. Он остается самим собой часто во вред себе. Он и теперь не вполне зряч, обескураживающе нерасчетлив, его честные, мужественные поступки без громких слов, подвиги, не вполне осмысленные им самим, потому и производят на нас столь глубокое впечатление. Поэтическая сага о Юзасе убеждает в том, что совестливый, нравственно здоровый человек приходит к людям с добром, что он способен разделить их трудную судьбу, судьбу своего народа.

Юзас доказал это своей жизнью, своим характером, очевидным и загадочно-сложным одновременно. В основе нашего интереса и уважения к нему лежит рабочая, творческая мощь Юзаса, его способность и стремление жить в гармонии с природой, постигать ее и трезвым разумом хозяина и почти вдохновенно, поэтически. Преображение Кайрабале, которому отдано множество страниц книги, захватывает наше воображение, оно так же просто, естественно, без тирад и авторских комментариев, как прост во всех своих жизненных проявлениях и Юзас. Книга Ю. Балтушиса прежде всего естественна, так естественна, что, кажется, родилась давно и пребудет очень долго, как древо с могучими проникающими корнями.

Книгу эту будут читать и как трагическую повесть о любви — слепой, «неправой», если любовь может быть неправой, но любви единственной, длиной в жизнь. Можно немало сказать об этой одержимости Юзаса: что в ней сколько же любви, сколько упрямства; что она неразумна и крайне нерасчетлива; что только маньяк, монашескую в своей страсти, способен всю жизнь довольствоваться призраком, далеким отзвуком чего-то позабытого; что только бесчувственный чурбан может оставаться глухим к мольбам и зову юной Карусе. Но как ни жесток урок этой любви, могучесть чувства Юзаса несомненна, и трудно сказать об этом сильнее, чем сказал Ю. Балтушис.

Строго говоря, Юзас и не терял Винционе. Что с того, что она рассмеялась, услышав о его притязаниях, что ее после свадьбы увезли в Пуюжас, что его Винционе рождает

детей Стонкусу и пребывает в барской роскоши,— она живет несомненно в его сердце и памяти, будто само ее имя и запечатлевшийся облик обладают материальной силой, действительностью; ее, Винцюне, так же много у Юзаса, как и неба над головой, земли, птиц или белизны снегов. Невозможно потерять то, с чем ты не расстался и на миг, чего не выпускал не только из памяти, но, кажется, и из любящих рук, что было и есть твоей жизнью. Ведь даже и гать, проезжую гать через болото Юзас одержимо клал год за годом, чтобы однажды по ней пришла его Винцюне, чтобы та, которую увезли от него в Пуожас, слилась с той, что не покидала его ни на день.

И в последний час его жизни по гати на Кайрабале пришла Винцюне. Явилась женщина, чуждая ему сословно и душой, чужая ему каждым прожитым со Стонкусом днем, потерявшая все и готовая ненавидеть Юзаса — убийцу ее сына, фашистского палача и наймита. Старая Винцюне явилась, чтобы узнать истину, удостовериться в смерти сына и проклясть хозяина Кайрабале, назвав его убийцей литовцев. Но к этой поре мы уже знаем настоящую цену Юзаса, знаем, что убийцей литовцев и нелитовцев был сын Винцюне, младший Стонкус, а Юзас, пройдя горнило испытаний, слился со своим народом и сделал для него много добра.

Что же теперь с любовью Юзаса? Ведь перед ним криво усмехающаяся старуха с металлическим тусклым литьем зубов, с седыми прядями из-под шапки, и, прокляв Юзаса, она белой лунной ночью навсегда покидает его дом. Неужто и это выдержит его пожизненная любовь?

Да, и в эту минуту Юзас не изменил своей любви. Пришествие реальной Винцюне стало для него и пришествием смерти: недаром перед ее появлением так предупреждающе кольнуло в сердце. Но дух Юзаса и его любовь не побеждены. Просто ему довелось встретиться уже не с той Винцюне, которую он полюбил и продолжал любить всю жизнь. Теперь от него ушла не она, ушла слепая от злобы старуха, а «за окнами брезжило утро, а в избе стоял запах Винцюне. Тот,

запомнившийся, когда он танцевал с ней, а вокруг шелестели березы. Спелой земляничкой пахла тогда Винцюне. И волчьим лыком на залитой солнцем просеке смолистого сосняка. И землей, когда та дымится ранним вешним утром. Даже звенела изба — полным-полна она была той Винцюне».

Вот как умер Юзас. Силой любви он победил уже не разлуку длиною в жизнь, а реальный образ возвратившейся в родные места Винцюне.

Читая книгу Ю. Балгушиса, радуешься новой осуществившейся силе таланта. Событийно назвать его молодым — по звучности красок, по сочному, без тени усталости письму, по действительной силе страстей. Но нет, в нем, в этом таланте, сегодня особая зрелость плодоносящей осени, и тот опыт жизни, который едва ли приходит в молодости, и то особое терпение, которое тоже присуще преклонным годам, я бы сказал, терпение летописца. Надо было создать многое из того, что писал, публиковал и ставил на сцене Юзас Балгушис (и прежде всего его двухтомный автобиографический роман «Проданные годы», оставивший приметный след в нашей литературе), чтобы прийти к чеканным, совершенным формам «Сказания о Юзасе», к этому завершеному, реалистическому выражению народной жизни.

И должно говорить не только о врожденной терпеливости Юзаса, но и о мудром терпении автора, о его решимости идти шаг в шаг со своим героем, не потакая нашему нетерпению, желанию что-то ускорить, облегчить в судьбе Юзаса, подтолкнуть вперед добро, помочь хозяину Кайрабале поскорее усвоить истины, которые так понятны и близки нам.

Автор хотел, чтобы сама книга стала трудной дорогой к этим истинам, а не писалась как приложение к давно известному. Только так и родится настоящее, а если оно родится в преклонные годы художника, то и цена этому особая и печать на всем особая. И особая наша читательская благодарность.

Александр БОРЩАГОВСКИЙ.

★

ПОСТПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРА ХОЛИНА

Евгений Дубровин. Курортное приключение. Повесть. М. «Советский писатель». 1980. 239 стр.

Евгений Дубровин. Мама № 236 в бочонке с яблоками. Юмористические рассказы и фельетоны. М. «Правда». 1981. 48 стр.

Помню, когда лет пятнадцать назад мне впервые попала в руки повесть Е. Дубровина «В ожидании козы», она по-

разила меня органическим сочетанием истинного трагизма и полного жизнелюбия юмора. Запомнилась, все не уходила из

памяти история вернувшегося с войны отца, вынужденного всерьез сражаться уже с собственными подростками и совсем отбившимися от рук сыновьями. Тяжкая беда этих мальчишек — симпатичных, жизнерадостных, с характером — в том, что нравственные понятия о добре и зле, долге и свободе, скуке и романтике пришли к ним в чудовищно перевернутом виде. Такой след оставила на подростках война...

Верно, очень точно, по-моему, писал о книге А. Адамович, хлебнувший военного лиха почти в том же возрасте: «Самые что ни есть подлинные страсти и проблемы в этой повести. Ни умения, ни времени у их отца-матери не хватало, чтобы справиться с дикой и часто злой фантазией своих сыновей, которую распалила война и безотцовщина, живут они не в удобно-придуманном мире, как часто бывает в «воспитательной литературе», а в самом что ни есть реальном, со всеми трудностями и искажениями, уродствами тех лет... Но и временем всего не объяснишь: кое-какие ответы еще глубже. Впрочем, не ответы у Дубровина, а вопросы: автор совсем не претендует все истолковать и объяснить»¹.

«Курортное приключение» — вещь, близкая повести «В ожидании козы». В ней та же напряженность конфликта, лаконичная выразительность и достоверность характеров, затейливая раскованность сюжета и, конечно же, вопросы, вопросы, вопросы...

Действие новой повести развивается как бы в двух параллельных планах — реалистическом, бытовом и ирреальном, фантастическом. По внешней фабуле перед нами производственная повесть. Курортные приключения начинаются в жизни героя после завершения довольно банального конфликта служебного, даже по причине его.

Николай Егорович Холин слыл на своем заводе порядочным человеком и толковым инженером. По крайней мере цех, который он возглавлял долгие годы, «был отлаженный, как хороший часовой механизм». И Холину собственная жизнь казалась полноценной, благополучной, надежной. Роковые для героя перемены начались с того, что на заводе появился некто Лукашов. Поначалу Лукашов удивил сослуживцев истовым соблюдением различных рабочих инструкций. Даже тех, которые давно устарели или настолько откровенно расходились со здравым смыслом, что никому и в

голову не приходило их применять. Однако он твердо вел свою линию. И скоро за Лукашовым закрепилась репутация человека, застрахованного от ошибок, потому что каждое свое действие он мог в любой момент подкрепить соответствующим положением должностного устава. С ним перестали спорить, ибо кому же это надо — входить в конфликт с инструкциями?

Нерасположения к порядочному и всеми уважаемому Холину Лукашов ничем не обнаружил. В чем, однако, он был абсолютно уверен, так это в том, что «любой огонек гаснет, если на него очень долго поплевать». Наступление на Холина Лукашов начал с не очень серьезных на первый взгляд замечаний. Но оказалось, что если эти факты приводить на каждом совещании, то сам собой в конце концов напросится вывод, что это именно из-за него, Холина, на заводе «хромеет дисциплина, процветают либерализм, всепрощение». А раз так, то следует ли удивляться, что на очередном рабочем совещании директор передал новый многошпиндельный полуавтомат (с трудом выбитый в Москве Холиным для своего цеха) цеху Лукашова. А невеста Холина, дочка директора Вера, вышла замуж не за Холина, а за Лукашова.

Конфликт разворачивался тихо, интеллигентно. Когда у Холина случился тяжелейший инфаркт, руководство завода без проволочек достало ему дефицитную путевку в «наркомовский санаторий», а Лукашов, возглавивший к тому времени в профкоме бытовой сектор, даже пришел с группой товарищей на вокзал, чтобы проводить больного и пожелать ему скорейшего выздоровления.

Сценой проводов Холина и начинается повесть. Во внешнем — бытовом — сюжете Холин, похоже, более всего боится показаться человеком несчастным и больным. В санатории он не только ни на что не жалуется и ни о чем вроде бы не жалеет — он то и дело легкомысленно нарушает режим: пьет коньяк, ухаживает напрапоалу за женщинами, гуляет по ночам, поднимается в горы, пронизывает над окружающими и самим собой. Боюсь даже, что курортная одиссея веселящегося инфарктника, выразительные, запоминающиеся аксессуары застолий теснят временами план трагедийный.

Линия ирреальная полна мучительно правдоподобных сновидений и кошмаров. Не бутафорских, а действительно тяжелых и страшных, имеющих, правда, вполне материалистическое, можно сказать, медицинское обоснование. Но именно эта линия

¹ А. Адамович. О современной военной прозе. М. «Советский писатель». 1981, стр. 225.

корректирует читательское восприятие всего происходящего, позволяя догадаться об иллюзорности изображаемого героем благополучия, помогая проникнуть в тайный, глубинный конфликт между Холиным и Лукашовым.

Во внешнем сюжете события двигаются на читателя лавиной. Всевозможные истории из прошлого героя весьма затейливо чередуются с происшествиями реальными. Мы знакомимся со множеством людей — сослуживцами, соседями по купе и палате, медицинским персоналом, продавцами, рыбаками, шоферами. Авторские характеристики густо насыщены деталями, описания полны запахов и красок. Иронично-шутливые комментарии автора неожиданны и остроумны. Вот как, например, выглядят сослуживцы Холина, явившиеся проводить его на вокзал:

«Толпа маялась, постукивая заколевшими ботинками в такт мелодии, несущейся из ресторанной форточкы, и напоминала американский балет на льду или грушу гангстеров, встречающих почтовый вагон, потому что все были одеты одинаково странно: в зеленые куртки на чрезмерном количестве «молний» и пуговиц, гнутые шляпы и длинные мотоциклетные перчатки. Горпромторг не успел подготовиться к осенне-зимней кампании и только к концу февраля смог пригнать в город откуда-то огромную партию зеленых курток, гнутых шляп и мотоциклетных перчаток... Не хватало, правда, для полноты впечатлений огромных колтвов, но в жизни всегда чего-нибудь не хватает».

Юмор вообще щедро пронизывает прозу Е. Дубровина. Особенно любит писатель создать забавную, смешную ситуацию, найдя неожиданный ракурс для какого-нибудь хорошо знакомого, привычного явления, спроецировать фантастический сюжет на реальную житейскую ситуацию, как это происходит, скажем, в рассказах «Бессонники», «Четверть тополя на Плющихе» или «Столик с видом на трамвай» из новой книжки «Мама № 236 в бочонке с яблоками». Демагогия и подозрительность, косное, стереотипное мышление, эгоизм, стяжательство и лень то и дело входят у героев книжки в конфликт с нашей нынешней жизнью, не поддающейся казенной регламентации, богатой на события, щедрой на сюрпризы и неожиданности.

Но вернемся, однако, к нашему герою. Итак, он отправляется на курорт и вместо того, чтобы лечиться, тщательно выполняя предписания врача, ударяется во все тяжкие. Что же происходит? Днем Холин жест-

ко контролирует свое сознание и настроение. Он не позволяет себе ничего вспоминать. Он знакомится. Общается. Развлекается. Иронизирует. Но снами человек распорядиться не властен. И вот на смену дневным развлечениям являются ночные кошмары. Тяжелые удушья и боли, приходящие к сердечникам ночами, безысходная горечь событий последних месяцев — все это обрушивается на Холина во сне. Медленно поворачивающиеся дверные ручки, старик, подбирающийся к горлу с черной рогаткой, Лукашов, неспешно оборачивающий полотенцем руку с ножом.

Есть у тяжелых холинских снов одна особенность. Они настолько логичны, последовательны и правдоподобны, в продолжение их герой столько раз как бы укладывается спать и просыпается, что понять, где сон, где явь, он зачастую уже не в силах. Мы, читатели, тоже. Но именно сны позволяют нам понять, что происходит в жизни героя на самом деле, реально и справедливо оценить поступки Холина. Сны Холина, словно рентген, просвечивают не сразу проницаемый для «бытового зрения» пласт примелькавшихся, ординарных событий: прогулки, разговоры, знакомства, служебные интриги, лечебные осмотры. Не случайно главными персонажами ночных ужасов становятся приличнейший, не ошибающийся демагог и карьерист Лукашов и пошлый **Натуральный доцент**.

Конфликт между Холиным и Лукашовым — не состязание за новый станок, за положение на заводе и дочку директора. Это беспощадная и бескомпромиссная борьба принципов, борьба между порядочностью и подлостью, совестью и бесстыдством, человечеством и холодной своекорыстной расчетливостью. Осознав во сне смертельную ненависть к Лукашову, Холин наяву ощущает свою неподготовленность к борьбе с ним, к борьбе с изощренной подлостью. Лукашов это знает (подлость почему-то всегда прекрасно разбирается в ситуации!). И не боится Холина. Он с улыбкой отбирает у него все что хочет. Обычно лукашовых ничуть не интересуют ценности нетленные: совесть, высокие идеалы, доброта, честность... Это пусть остается Холиным. Так лукашовым даже удобнее. Себе они берут только тленное: должности, квартиры, высокие оклады, дачи, машины... Или вот если дочка директора попадется. Не упускать же!

Бессильная ненависть саморазрушительна. Да, Холин в течение всей повести занимается саможжением. Но в этом его бунт против Лукашова, а может быть, и

против собственного неумения противопоставить его жизненной тактике что-то реальное. Понимая безнадежность своего положения, он не хочет быть «разумным». Слишком уж преуспели в этом лукашovy и натуральные доценты. Бунт Холина против них, против их готовности жить «применительно к подлости» выразился в том, что, уже будучи «сбитым с ног», он не сдался, не утратил чувства достоинства, не цеплялся за оставшееся. До самого своего конца он живет так, как сам считает нужным, сохранив благородство, бесстрашие, душевную щедрость, веру в людей.

Холин умирает. Но повесть не оставляет впечатления безнадежности. И холинская смерть ничуть не усиливает торжество позиции Лукашова. Почему? Да потому, конечно, что победа Лукашова остается в «бытовой линии» повести. Нет, не всякий огонек можно погасить, полелевая. Лукашов просчитался. Во внутреннем же, глубинном пласте повести, где сталкиваются не начальники цехов, а нравственные жизненные принципы, он терпит полное и неизбежное поражение. Об этом как раз вся повесть Евгения Дубровина.

Г. ПЕТРОВА.



Политика и наука

НОВОЕ О РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКИХ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СВЯЗЯХ

Ю. Ф. Дашков. В. И. Ленин и финляндский путь «Искры». Л. Лениздат. 1981. 181 стр.
Ю. Ф. Дашков. У истоков добрососедства. Из истории российско-финляндских революционных связей. М. «Мысль». 1980. 211 стр.

Перед нами новые книги, посвященные революционным связям В. И. Ленина, большевистской партии с финляндским рабочим и национально-освободительным движением. Это документальные очерки историка и опытного журналиста Ю. Дашкова, первая книга которого «По ленинским местам Скандинавии» вышла в свет десять лет назад и была с интересом встречена специалистами и широким читателем. Среди литературы, рассматривающей проблемы российско-финляндских революционных связей, работы Ю. Дашкова выделяются обилием нового материала. В них приводятся многие ранее неизвестные документы и факты.

В качестве корреспондента газеты «Сельская жизнь», а затем ТАСС Ю. Дашков долгие годы работал в Скандинавских странах. Изучая и постоянно освещая в печати вопросы советско-финляндских отношений, являющихся примером плодотворного применения на практике ленинских принципов мирного сосуществования, журналист все чаще испытывал потребность обращаться к событиям прошлого, когда были заложены основы современного дружественного добрососедства народов двух стран, государственной независимости Финляндии. Так начались его многолетние кропотливые изыскания в библиотеках и архивах зарубежных стран и СССР. «...«архивная лихорадка» захватила меня,— пишет Ю. Дашков.— Много часов и дней просидел я в архивах Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, не замечая, как летит

время. Из архивных папок передо мной вставали образы уже умерших людей. Для меня они жили и действовали. Нет-нет да и попадался документ, прямо или косвенно связанный с Лениным. Это было подарком для меня. Я полюбил работу в архивах».

Поддержка, консультации сотрудников Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС дали новый стимул его поискам. В Архиве рабочего движения Швеции, в Государственном архиве Финляндии, в Королевской библиотеке в Стокгольме Ю. Дашков обнаружил документы, действительно представляющие большую ценность. Среди них письмо В. И. Ленина корреспонденту «Искры» В. М. Смирнову от 1 октября 1903 года, ныне опубликованное в XXXIX Ленинском сборнике, телеграммы В. И. Ленина одному из деятелей освободительного движения Финляндии, А. Тернгрёну, в 1905 году, статья в газете левых шведских социал-демократов «Стурмкюлан» от 5 мая 1917 года, где излагаются ответы В. И. Ленина на вопросы О. Гримлунда во время их беседы в ночь с 12 на 13 апреля в вагоне поезда Мальме — Стокгольм на пути в революционную Россию, дневник финляндского социал-демократа Карла Вийка, позволяющий установить и уточнить некоторые даты и обстоятельства пребывания В. И. Ленина в последнем подполье в Финляндии.

Ю. Дашковым найдены, изучены и введены в научный оборот десятки неизвестных ранее писем, записок, воспоминаний,

дневников Е. Д. Стасовой, Н. Е. Буренина, В. М. Смирнова, А. М. Коллонтай и других известных большевиков, шведских социал-демократов Х. Бергерена, К. Чилбума, А. Вейделя, представителей финляндского буржуазного освободительного движения А. Неовиуса, К. Зиллакуса, А. Тернгрена и других. Много нового почерпнул исследователь в прессе Скандинавских стран, выходящей в те дни, и в более поздних изданиях, в беседах с участниками событий. Он устанавливал документально места пребывания В. И. Ленина (дома, квартиры, гостиницы, вокзалы), определял с возможной точностью время приезда и отъезда В. И. Ленина.

Ю. Дашков тщательно изучал ленинские труды и переписку, многочисленные источники, литературу, изданную в нашей стране, работал в советских архивах.

Как же использован им накопленный материал? Одна из рецензируемых работ целиком посвящена истории нелегальной транспортировки «Искры» через Швецию и Финляндию в Петербург в 1901—1903 годах, которая в значительной степени обеспечивалась шведскими социал-демократами и финляндскими буржуазными демократами, возглавлявшими течение так называемого пассивного сопротивления царизму. Будучи представителями умеренной буржуазии, «пассивисты» тем не менее видели именно в российской революции главного союзника в борьбе с царизмом и оказывали большевикам существенную помощь.

По северному пути более двух лет осуществлялось трудно достижимое в подпольных условиях регулярное снабжение столичной партийной организации и некоторых других крупных центров «Искрой» и искровской литературой. Финляндский транспортный путь оказался не только самым надежным сравнительно с другими, но и, как показал Ю. Дашков, самым дешевым, что было также весьма важно для партии.

Сопоставляя и анализируя сведения из многих источников, автору удалось прощупать глубже, чем это можно было сделать раньше, те звенья транспортного механизма, которые обеспечивались шведскими и финляндскими союзниками «Искры», выявить новые данные о роли Ленина, Крупской, агентов «Искры» в России в организации перевозки литературы. Агент «Искры» Л. Н. Радченко вспоминала впоследствии, что в конспиративных письмах посылались «целые трактаты... кого куда направлять, кого к какому делу привлечь и т. д. Бывало, поджариваешь на лампе не-

мецкую книжку... и все вышльвают и вышльвают строчки мелкого бисерного почерка».

Автор находит и представляет читателю новые сведения о связях Ленина, искровцев со шведскими и финляндскими союзниками на почве организации транспортировки литературы, увлеченно расследует и распутывает загадки, которые преподносят ему документы. Одной из них является наличие в записной книжке Арвида Неовиуса лондонского адреса В. И. Ленина и фамилии Рихтер, под которой он там жил. Исследованию этого факта посвящена специальная глава книги.

Транспортное дело партии показано Ю. Дашковым во всей его сложности и опасности. Искровцы использовали все возможные средства перевозки.

В один из июльских дней 1903 года по трапу стокгольмского парохода, только что прибывшего в Турку, быстро спускалась счастливая, улыбающаяся женщина — певица Айно Актэ. Ее горячо приветствовали — еще бы, такой успех в Париже! И, конечно, никакого досмотра. Но в Гельсингфорс в адрес А. Неовиуса, служившего связующим звеном с представителями РСДРП, уже пришла из Стокгольма предупредительная телеграмма от К. Зиллакуса: «Айно А. Р. везет кое-что для Паульсона». Это значило, что Паульсон (В. М. Смирнов) должен быть готов к получению нелегальной посылки из Лондона. В багаже певицы — свежие номера «Искры». Из Гельсингфорса в Петербург их увозил в почтовом вагоне курьерского поезда один из почтовых служащих. В Петербурге они передавались служащему Финляндского вокзала Отто Мальму. Он же или железнодорожник В. Парикка выносили свертки из помещения вокзала и передавали посланцам Петербургского комитета РСДРП.

Автор называет десятки других имен финнов и шведов, самоотверженно помогавших русским революционерам — моряков на линиях, связывавших Стокгольм с Финляндией, железнодорожников, таможенников, почтовых служащих и даже полицейских, — подчеркивая тем самым общенародный характер этой помощи, выраставшей на волне ненависти финского народа к царизму и сочувствия к русскому революционному движению.

Для крупных партий литературы самый тяжелый этап эстафеты начинался перед границей Финляндии и России. Организация складов литературы, перепаковка багажа мелкими партиями, перевоз через границу и доставка в Петербург лежали

на плечах Е. Д. Стасовой, Н. Е. Буренина и их товарищей по технической группе Петербургского комитета. В книге приводятся многочисленные факты находчивости, самоотверженности и смелости транспортеров. Неизбежны были и потери людей и литературы в этой борьбе. Но транспортный путь работал, превращаясь в крупное, четко отлаженное предприятие. «Пиво варится», — удовлетворенно сообщала Крупская в конспиративных письмах в Россию.

«У истоков добрососедства» по своей структуре сродни первой книге Ю. Дашкова — «По ленинским местам Скандинавии». Это серия очерков, охватывающая важнейшие исторические события и факты, в которых прослеживаются революционные связи Ленина, большевиков с рабочим и освободительным движением Финляндии и Швеции: транспортировка литературы, организация линий конспиративной связи, закупка и перевозка оружия в 1905 году, проведение съездов и конференций РСДРП, обеспечение нелегального пребывания В. И. Ленина в Финляндии в разные годы, признание Советским правительством государственной независимости Финляндии в 1917 году и другие. В то же время эти книги по их жанру существенно различаются. «По ленинским местам Скандинавии» — хорошо иллюстрированный, увлекательный рассказ о журналистском поиске, о волнующих поездках ленинскими маршрутами, о встречах с участниками событий, о находках новых документов. «У истоков добрососедства» — исследование более академичное по форме и содержанию. В каждой главе его автор прежде всего фиксирует то, что уже известно в литературе, а затем приводит новые факты и документы, которые ему удалось обнаружить. Сделано это умело, без ущерба для целостности изложения. Однако все же Ю. Дашков заслуживает известного упрека за излишнюю перегруженность текста ссылками на документы, за некоторое однообразие подачи и комментирования новых материалов, которые, правда, скрадываются благодаря его литературному опыту.

Иногда разделы той и другой книги тематически совпадают, и в этом случае отчетливо видно, насколько продвинулся автор в собирании материалов за истекшие десять лет. В первой своей книге Ю. Дашков мог сказать сравнительно немного нового о пребывании В. И. Ленина в Стокгольме в ноябре 1905 года. «У истоков добрососедства» содержит новые докумен-

тальные объяснения сравнительно длительной задержки В. И. Ленина в Стокгольме на пути в Россию, целую переписку представителей финляндского освободительного движения, касающуюся пребывания В. И. Ленина в шведской столице. Здесь автор делает интересную попытку обосновать принадлежность В. И. Ленину двух телеграмм, подписанных псевдонимами Стасовой и Буренина (обоих в Стокгольме в это время не было). В результате архивного поиска проясняются одиннадцать дней пребывания Ленина в Стокгольме с их активной творческой деятельностью, встречами и переговорами, хотя целый ряд вопросов, поставленных автором в книге «По ленинским местам Скандинавии», еще ждет своего ответа.

Каждая глава книги «У истоков добрососедства» достойна внимания специалистов и широкого читателя. Одна из них целиком посвящена письму В. И. Ленина В. М. Смирнову от 1 октября 1903 года. Письмо это не было доставлено адресату и пролежало в бумагах А. Неовисуса семьдесят два года. Но высказанные в письме идеи, критические замечания против проявлений сектантства по отношению к буржуазно-демократическому национальному движению актуальны и сегодня. Попутно Ю. Дашков рассказывает и о самом Смирнове, сыгравшем важную роль в организации транспорта нелегальной литературы и линии связи через границу, в поддержании контактов В. И. Ленина, большевистского руководства с лидерами финляндского и шведского социал-демократического и национально-освободительного движения. В. М. Смирнов постоянно информировал В. И. Ленина о положении в Финляндии, много писал по этим вопросам в газетах, выходящих под редакцией В. И. Ленина. Рассказ об этом человеке может быть развернут в отдельную книгу, так много новых материалов о нем собрал Ю. Дашков.

В главе «Оружие для революции» речь идет о помощи большевикам в закупке и перевозке оружия в 1905 году со стороны известного «пассивиста» А. Тернгрена, об обмене телеграммами Ленина с Тернгреном. Телеграммы действительно посылались, но утверждение автора, что это было непосредственно связано с закупкой оружия, пока еще аргументировано недостаточно.

Большое внимание в книге уделено последнему подполью В. И. Ленина. Опираясь на факты, зафиксированные в четвертом томе Биографической хроники В. И. Лени-

на, на исследования советских историков последних лет, Ю. Дашков продолжает изучение источников по этому вопросу — произведений и писем В. И. Ленина, мемуаров, дневников и других записей К. Вийка.

Дневник К. Вийка, финляндского социал-демократа, знакомого с В. И. Лениным и непосредственно помогавшего ему в последнем подполье, ныне признан ценным источником сведений о В. И. Ленине. Он был найден Ю. Дашковым в Архиве рабочего движения Швеции и им же впервые введен в научный оборот.

В новой книге Ю. Дашков использует не только дневник, но и сохранившиеся записи К. Вийка о выдаче книг из библиотеки социал-демократической партии Финляндии (Вийк был архивариусом и библиотекарем партии). Согласно этим записям В. И. Ленин, видимо, получал через Вийка некоторые книги, необходимые ему для работы над рукописью «Государства и революции» и текущими статьями, — «Революцию и контрреволюцию в Германии», «Анти-Дюринг» Энгельса и другие. Ю. Дашков пытается уточнить время написания отдельных глав гениального труда В. И. Ленина, время и место работы В. И. Ленина над источниками, использованны-

ми в рукописи. Устанавливаются также более точные даты получения и отправки В. И. Лениным отдельных писем. Сейчас, когда деятельность В. И. Ленина в пред-октябрьские и октябрьские дни 1917 года изучается весьма детально и измеряется не только сутками, но и часами, каждое новое точно документированное свидетельство о деятельности вождя революции приобретает особую ценность. Следует иметь в виду при этом большую трудность обнаружения новых достоверных источников о пребывании В. И. Ленина в последнем подполье.

Для Ю. Дашкова характерно желание обсудить с читателем свои предположения, варианты толкования документа, еще недостаточно отстоявшиеся выводы. Эта творческая манера сказывается на композиции и стиле его очерков. В них легко увидеть, что именно считается еще недостаточно полно обоснованным. Целый ряд выдвинутых им соображений и предположений требует дополнительной исследовательской и поисковой работы. Вышедшие книги закрепляют определенный этап изысканий Ю. Дашкова и являются свидетельством творческих планов автора на будущее.

Ю. АМИАНТОВ.



ТОН ЭПОХИ

Михаил Озеров. От Гринвича до экватора. Очерки. М. «Советский писатель». 1981. 352 стр.

Не надо рассматривать эту книгу только как сборник путевых заметок. Разъезжая по свету, автору хотелось не только собрать местные впечатления, но и как бы услышать в самых различных уголках мира, на разных языках, в разных вариациях тон нашей эпохи. «...смотрю, не отрываясь, на узкую металлическую ленту, бегущую по земле, — пишет он, стоя у нулевого меридиана в Гриниче. — Стараюсь разобраться в том, что увидел, понять наиболее важное для сегодняшнего дня нашей планеты... Восток и Запад — не только географические понятия, ими подчас обозначают две системы: социалистическую и капиталистическую. Как они сосуществуют? И как та, другая система сражается за умы людей, пытаясь остановить ход Истории?.. Перед глазами проходят события, очевидцем которых довелось быть».

М. Озеров смотрит и внимательно слушает. Движение эпохи осуществляется по своему влосу: в Англии и Индии, в ФРГ и

Шри Ланке, во Вьетнаме и Кампучии, в ГДР, Югославии, Мальдивской республике. Мотивы слышатся как будто разные, люди и события каждый раз другие, и все же явственно преобладает один тон. «Мир движется в правильном направлении», — замечает автор, хотя хорошо знает о бушующих в нем штормах, о непрекращающихся столкновениях сторон. И завершает книгу словами: «Желание лучше знать и понимать друг друга, подняться наконец «на Олимп», растет, несмотря ни на что, повсюду в мире — от Гринвича до экватора».

Лучше знать и понимать друг друга, несмотря ни на что. Таков основной итог впечатлений автора, пишущего через тридцать шесть лет после второй мировой войны, в дни, когда международная обстановка вновь обострилась и стала угрожающей. М. Озеров остается оптимистом.

Мы ему верим. Очень важно, чтобы люди на обоих полушариях, на всех континентах и островах в эти критические 80-е

годы не падали духом, не поддавались страху, раздуваемому инициаторами новой «холодной войны», сознавали, что в силах защитить мир. Именно это твердое убеждение в непоколебимом могуществе человеческого разума и доброй воли, осязаемое во всей книге, больше всего и привлекает в ней.

Другое ее качество, на мой взгляд, — живописность. Автор все время в движении, в постоянных поисках нового. Это едва ли дает ему возможность углубиться в подробный анализ социально-экономического и политического положения той или иной страны, зато, оставляя время для множества личных встреч и наблюдений, позволяет рисовать яркую картину увиденного.

Читать книгу действительно интересно. Нет излишних длиннот и отступлений. Смотришь как будто любопытный телефильм с быстро меняющимися кадрами. Перед глазами мелькают города, села и даже леса в Европе и Азии. Возникает своеобразная панорама.

Вот встреча с веддами, древним племенем, живущим в джунглях на острове Шри Ланка и, по мнению некоторых ученых, некогда заселившим территорию всей Азии и даже Африку. Осталось веддов меньше тысячи. Многие из них охотятся с помощью лука, их лакомство — мед диких пчел. Часть их укрывается в пещерах, у входа в которые, отпугивая зверей, горят костры. Стены пещер разукрашены рисунками людей, слонов и собак. При помощи шаманов ведды вызывают духов умерших. Перед автором нечто доисторическое. Но, как считает английский писатель Г. Уильямс, «при хорошем сборе меда и удачной охоте женщины у веддов живут лучше, чем женщины в английских трущобах». Слова «господин» у них нет, есть только слово «друг».

Автор движется дальше. Йоги в Дели объясняют ему, что болезни тесно связаны с настроениями: отрицательные эмоции приводят даже к раку. «Главное — спокойствие души», — говорят они, находясь в охваченном бурями мире. Контраст между психикой и обстановкой? Может быть, но, думается, в чем-то они правы.

Беседа с двадцатисемилетним буддийским монахом, сообщающим, что его жизнь определяется 253 запретами. Согласно составленному почти две тысячи лет назад своду буддийских правил избежать страданий можно, лишь отказавшись от земных страстей. Так ли? По секрету буддист сообщает, что некоторые из их монастырей очень бо-

гаты: владеют огромными земельными угодьями. Это ли не страсть?

Таково дыхание старой Азии. Но вот сцена ближе к нам, уже не в лесных, а в политических джунглях. Разговор в гамбургской пивной с неонацистским вожаком Куртом Матуше. На вопрос, кто состоит в его организациях, он отвечает:

— У нас в основном молодежь.

— Проститутки тоже есть?

— Девочки нам помогают. наших ребят веселят. И подходящих клиентов к нам приводят. Мы в долгу не остаемся. И накормим девочек, и напоим, и пару сотен марок подбросим. А когда надо, с властями договоримся, чтобы не обижали...

Тут, в пивной, они собирают вокруг себя отчаявшуюся безработную молодежь, подкармливая и ее пивом. Но где-то поблизости, на задворках, чуть ли не на глазах безучастной полиции, муштруются отряды неонацистских террористов, готовящихся убивать коммунистов. Тот же Курт говорит автору: «Раз уж разговор пошел начистоту, вот что я вам еще скажу. Мы вскоре выйдем на международную арену. Объясню, каким образом: начнем взрывать итальянские и голландские поезда».

Это современная Западная Германия, те ее уголки, что в тени. А в другой раз встреча автора с субъектами из иного, якобы диаметрально противоположного политического лагеря.

Кампучия. Идет допрос Иенга Бюна, взятого в плен командира полпотовской «специальной бригады». Он говорит: «Я делал вот что. Пробивал живот (пленного вьетнамца. — Э. Г.) деревянным колом. Потом сбрасывал сапоги и босыми ногами вставал на пленного. Медленно-медленно переступал по нему. Когда он умирал, шел к следующему». «На его лице появляется улыбка», — добавляет автор. Бюн один из последователей Мао Цзэдуна. Выясняется, маоисты учили солдат полпотовской армии: «Каждый вьетнамец — враг, даже тот, что в утробе матери».

Крайне «правые» и крайне «левые» — где демаркационная линия? Политику в путевых заметках М. Озеров никогда не обходит, в том или ином виде она, хочешь не хочешь, ощущается на каждой странице.

Мы приводили отдельные характерные штрихи из нарисованной автором панорамы. Но больше всего М. Озеров пишет об Англии, где провел два года. Он ставит старый вопрос: «Какое ты, Альбион?» Из его наблюдений можно, мне кажется, сделать один главный вывод. Эта страна, когда-то первая, самая могущественная в капиталистическом

мире, переживает исторический упадок. Гордый Альбион уже не так горд, хотя и не смиряется со своей судьбой.

Премьер-министр Тэтчер, которую в ее стране называют железной дамой и леди-ястребом, заявляет: «Англия должна быть страной, где у людей есть „право на равенство“». Она же выступает за кастовость в образовании, «спит и видит Британию», — пишет автор, — в частюколе ядерных ракет, нацеленных на социалистические государства, без устали призывает вооружаться другие страны НАТО», стремится во что бы то ни стало «надеть смирительную рубашку на рабочих». Это в 80-х годах прославленная осторожность господствующего класса Англии? Историкун нелегко поверить. И если левеющие лейбористы на следующих выборах придут к власти, то смогут ли они приостановить упадок Альбиона? Решатся ли они освободиться от американской опеки, грозящей теперь превратить страну Шекспира и Байрона в театр ядерных военных действий? Хватит ли у них смелости и дальновидности? Это, несомненно, один из важнейших вопросов современной политики. М. Озеров не беретс я уже сейчас ответить на него. Тем не менее он отмечает, например, что миллиардер Ротшильд не видит ничего недозволенного для себя в том, чтобы вступить в лейбористскую партию, а эта партия — в том, чтобы его принять. Странное впечатление производят на автора и сохранившиеся с прошлых веков английские парламентские нравы. Консервативные и лейбористские депутаты по-прежнему называют друг дру-

га «достопочтенный джентльмен» и тут же всячески честят друг друга.

Присутствующий на заседании палаты общин М. Озеров записывает реплику одного из депутатов по адресу другого: «Вы мелкий, грязный человек, сэр!» «Невозмутимый спикер, — пишет автор, — призывает спорящих к порядку, и конфликт выдыхается. Кое-кто дремал. Другие тихо переговаривались о своих делах». Это еще, по крайней мере снаружи, Англия Диккенса. Она как будто еще дышит. Но в стране уже 3 миллиона безработных, производство неуклонно сокращается, труд-юнионы волнуются, молодежь, цветная и белая, возбуждена до крайности. Какова будет Англия завтра? Рецензент, долгое время проживавший в этой стране, не исключает, что М. Озеров во время своей следующей командировки увидит новую, неожиданную Англию. Даже «железные дамы» не вечны.

Такие книги, как эта работа, читателю нужны. В ней не найти поверхностных общих рассуждений, нет и дешевых, не очень точных репортажей, написанных после нескольких дней пребывания в стране. Кому не доводилось читать такое! И уж во всяком случае скучать над этой книгой действительно не приходится. Основной тон эпохи советским журналистом услышан. Можно только согласиться с М. Озеровым, что история, несмотря на поставленные на ее пути барьеры, идет правильным, хотя и нелегким путем: вперед, а не назад.

Эрнст ГЕНРИ.

КОРОТКО О КНИГАХ



ЮРИЙ ЛОБАНЦЕВ. Дальний свет. Стихи и поэмы. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1981. 79 стр.

Читая книгу стихов и поэм Юрия Лобанцева «Дальний свет», вспоминаешь «Точку отсчета» — первый сборник поэта, который открывался разделом «Я славаю мысль». В новой книге именно мысль организует мир каждого стихотворения, делает его напряженным, как сжатая пружина. Рациональность не уничтожает авторских эмоций, но они как бы обретают новое измерение. Не остается места ни пустячному поводу для сочинительства, ни бездумной прихоти настроения. Гармония повернется алгеброй. И тогда возникают такие искренние строки:

Когда стихи легко даются —
не верь беспечному перу:
как дождь ночной,
они прольются,
чтоб испариться поутру.

Когда стихи даются трудно —
молись,
чтоб выпала судьба
им быть как день —
сырой и нудный,
но оживляющий хлеба.

По мере вчитывания возникает уверенность: нет, эмоции ему не чужды, напротив, они изнутри высвечивают мысль.

Вертикали заводских труб Свердловска и горизонталь Сибирского тракта, взлет бетона и стекла (держание конструктивистов) и четкий ритм блюминга Уралмаша — вот что гранило строки его стихов и поэм. У автора сложившийся характер, его многому научила работа инженером-социологом на заводе. В его стихах чувствуется гражданская ответственность за будущее, вырастающее из повседневных дел и забот.

В стихотворении «Часовня и тополя, или Случай с философом Кантом» Ю. Лобанцев воссоздает образную картину борьбы духа с чувственной стихией природы. Противоборству обыденного и философического сознания, где полем боя является человеческая душа, ищущая свою меру, то есть правду, посвящены «Исетские поэмы»: «Дума Татищева», «Дворец кушча Расторгуева», «Сибирский тракт», «Торговая площадь», «Возмездие», «Возрождение (Красная Суббота)». Эти поэмы, на мой взгляд, составляют лучшую половину книги. Читая поэмы, чувствуешь масштабность мышления, верность логике событий, точность психологического изображения людей, творящих мир, где залогом человеческого счастья станут «руки — в союзе с наукой, разум — в согласии с добром».

Конечно, творчество такого признанного мастера, как Борис Ручьев, не могло не дать импульс «Исетским поэмам» Ю. Лобанцева, но в историческом плане и в худо-

жественной фабуле он проявил самостоятельность — оттого так верны штрихи, так афористичны строки, так достоверны образы и убедительна общая оптимистическая тональность его драматических поэм.

Владимир Дагуров.



ЮРИЙ МОЧАЛОВ. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. М. «Просвещение». 1981. 239 стр.

Сегодня пишущий об искусстве должен помнить, что его сочинение возьмет в руки не только специалист, но и широкий читатель, зритель, слушатель. Потому всякая книга по искусству должна быть и произведением литературы.

Именно такова книга Юрия Мочалова «Композиция сценического пространства», получившая уже немало откликов в печати и представленная на второй международной книжной ярмарке в Москве. Проблемы сценической композиции автор помещает в перспективу всего процесса работы режиссера над спектаклем. Подчеркивая, что основа всякой сценической композиции есть жизнь, автор в то же время отмечает оправдание мизансцены как любого естественного расположения фигур в пространстве: «...жизненность мизансцены состоит не в попытке имитировать подсмотренное в натуре, а в повествовании о нем средствами живой пластики».

В балетном искусстве существует четкое деление режиссуры на работу хореографа и балетмейстера. Балетмейстер тоже может быть режиссером-постановщиком, но он обязан указать, в чьей хореографии осуществляется данный опус. В драматическом же театре наряду с оригинальными режиссерскими сочинениями мы встречаем порой и заимствования без ссылки на первоисточник. Эту проблему Ю. Мочалов освещает в главе «Вопрос об авторстве». В главе «Мизансцены толпы» Ю. Мочалов утверждает, что в основе режиссерской техники должны лежать принцип добровольного самоограничения, поясняя свою мысль интересными высказываниями Мейерхольда, Вилара, Товстоногова.

В книге исследуется природа рождения пластической ткани, начиная с первого знакомства с пьесой и вплоть до выпуска спектакля. Ю. Мочалов сознательно не расчленяет своих советов для режиссеров разной квалификации, он за единую высокие критерии. Только такой подход, на мой взгляд, может быть целесообразен в воспитании мастера. На сложные этические вопросы о взаимоотношениях режиссера с актером на репетиции, о режиссер-

ском вторжении в творческую кухню актера и, наоборот, об актерском вмешательстве в режиссерскую компетенцию автор стремится ответить, не оглябая острых углов, не облегчая себе задачи.

В «Поэтике мизансцены» даны упражнения по мизансценированию, это первый опыт такого рода. Актерские и режиссерские упражнения тесно переплетены между собой, будущему режиссеру предлагается постичь законы сцены и через физику собственного тела.

Думается, что и у самых строгих критиков вызовет уважение этот многолетний труд и настойчивость, с которыми всматривается автор в еще не освещенные проблемы театра. Несомненно, что за полемичностью некоторых страниц стоит верность школе Станиславского и предельная уважительность к опыту классиков советской режиссуры — Немировича-Данченко, Вахтангова, Мейерхольда, Попова, Симонова, Варпаховского, Товстоногова, Кнебель. Книга написана не как опыт самоутверждения. Автор не впадает в теоретизирование, не щеголяет эрудицией. «У хороших соавторов нет проблемы самолюбия, есть только соображения дела», — замечает Юрий Мочалов. Именно соображениями дела дела продиктованы все авторские положения, потому они и представляют интерес для настоящих и будущих практиков творческого труда и удовлетворяют любознательность заинтересованного нашим искусством широкого читателя.

Б. Львов-Анохин.



Ю. П. ШАРАПОВ. *Рукою Владимира Ильича. О ленинских пометках на книгах, журналах и газетах.* М. Политиздат. 1981. 78 стр.

«В. И. Ленин и книга. Тема необъятная, сложная, ответственная. Советская Лениниана лишь на подступах к ней», — писал Ю. Шарапов в послесловии к своей предыдущей книге «Ленин как читатель». Возвращаясь теперь к той же теме, автор рассматривает один, но очень важный и интересный аспект — ленинские маргиналии, то есть пометки на полях книг и периодических изданий.

16 тысяч книг, брошюр, периодических изданий, документов использовал Ленин при подготовке своих трудов. И не только на русском — на 20 различных языках. Работая с источниками, лично ему принадлежавшими, Владимир Ильич оставил на полях сотни маргиналий. Каков их характер? Ю. Шарапов классифицирует их так: словесные пометки, в которых даются оценки, выражается согласие или несогласие (нередко и негодование); подчеркивания, отчеркивания текста, обводка некоторых слов и предложений; знак нотабене; восклицательные и вопросительные знаки. Далее он рассматривает две категории ленинских пометок — нашедшие продолжение в ленинских трудах и не нашедшие такого продолжения. Пометки Владимира Ильича на книгах, журналах, газетах, подчеркивает автор, являются весьма важной частью его литературного наследия, ибо отражают мысль Ленина и во многих слу-

чаях представляют собой источниковедческую и историографическую базу ленинских трудов.

Характерная особенность ленинских словесных пометок — их эмоциональность. На многих страницах книг из библиотеки Ленина — следы его непосредственной эмоциональной реакции: «Экий вздор!», «Верно», «Ха-ха», «Гвоздь» и другие. Очень любил Ленин знак NB. Как правило, он отмечал им верное наблюдение автора, некоторые цифры и факты и нередко приводил их затем в своих работах, цитировал отмеченные места.

Рассказывая о маргиналиях Владимира Ильича, Ю. Шарапов вводит читателя в творческую лабораторию ленинской мысли. Мы видим, например, как пометка, сделанная Лениным на странице 62 книги Александра Тодорского «Год — с винтовкой и плутом» (1918), становится отправным пунктом для актуальнейшей статьи «Маленькая картинка для выяснения больших вопросов».

Важное продолжение имели также пометки в нескольких местах сборника «Утренники» (1922), где была напечатана заинтересовавшая Ленина речь Питирима Сорокина на праздновании 103-й годовщины Петроградского университета; они нашли отражение в ряде ленинских документов о постановке издательского дела в стране, о контроле социалистического государства над частными предприятиями.

Встречается немало и таких маргиналий Владимира Ильича, которые не получили выхода в его трудах, но тем не менее имеют большое самостоятельное значение. В подтверждение этой мысли автор приводит характерную пометку Ленина, о которой напомнил Л. И. Брежнев на встрече с избирателями 2 марта 1979 года. В обзоре деятельности Моссовета, в том месте, где говорится, что за три с половиной месяца 1920 года исполком обсудил 46 организационных вопросов и только 8 экономических, Владимир Ильич подчеркнул цифры и сбоку написал: «Должно быть наоборот».

Просматривая в личной библиотеке В. И. Ленина иностранные книги, Ю. Шарапов обратил внимание на то, что в объемистом произведении американского сенатора Р. Ф. Петтигрю «Торжествующая плутократия» (изданном на английском языке) один-единственный абзац подчеркнут кем-то и дважды отчеркнут на полях синим карандашом. Заинтересовавшись этим, автор начал поиск и установил, что пометка принадлежит Ленину. Именно его рукой отмечен абзац, где, рассуждая о республиканцах и демократах, Петтигрю писал: «...между ними нет никакого реального различия. Исторически обе партии представляют собой лишь две разные точки зрения на способ лучшего ограбления рабочих».

В последние годы наше представление о ленинских маргиналиях значительно расширилось фундаментальным изданием «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника» (завершающий — двенадцатый — том издания вскоре выйдет в свет). Историки продолжают изучение ленинских пометок на книгах, журналах, газетах.

Б. Исаев.



Е. Н. ГОРОДЕЦКИЙ. Советская историография Великого Октября. 1917 — середина 30-х годов. Очерки. М. «Наука». 1981. 367 стр.

На первый взгляд может показаться, что труд этот посвящен специальным вопросам, интересным только узкому кругу профессионалов. На самом деле он имеет несравненно большее общественное значение. Это книга о тех, кто в первые два десятилетия советской власти создавал новую отрасль исторической науки — историю нашей революции. Здесь мы встречаем имена видных деятелей партии и первых историков Октября М. С. Ольминского, И. И. Скворцова-Степанова, В. В. Адоратского, Е. М. Ярославского, ученых второго поколения, которых представляют И. И. Минц, А. М. Панкратова, Э. Б. Генкина, А. Л. Сидоров и другие, а также молодых в ту пору исследователей, пришедших в науку главным образом из аспирантуры высшей школы конца 20-х — начала 30-х годов и воспринявших боевые традиции и целеустремленность своих старших товарищей.

Первая часть книги посвящена ленинской концепции истории Октября. Она является отправной позицией и методологической опорой всего исследования. Доктор исторических наук Е. Городецкий уже известен трудами в этой области. В данной работе прослеживается развитие ленинской мысли в оценке революции в целом, отдельных ее сторон и периодов. Автор не случайно избрал очерковую форму для своего исследования. Это позволило ему, не сбиваясь на библиографические перечисления, чем подчас грешат историографические труды, сосредоточить внимание на узловых, важнейших пунктах и проблемах исследуемого периода.

Очерки далеко выходят за пределы, так сказать, чисто историографические. Автор отказался от традиционного в литературе обозначения историографических проблем от источниковедческих и тем более науковедческих. Первоначально может зародиться сомнение в правомерности столь смелого вторжения в области, казалось бы прямого отношения к историографии не имеющие. Однако при чтении книги эти сомнения полностью рассеиваются. Задавшись необычайно трудной целью — дать общую картину движения исторической мысли, Е. Городецкий показал и доказал, что без рассмотрения источниковедческих сюжетов, без анализа становления и развития организационной структуры науки, формирования ее центров, кадров и т. д. невозможен полноценный историографический анализ литературы об Октябре. Вот почему источниковедческая глава, посвященная десятилетней документальной публикации по истории Октября, органически вписывается в ткань исследования. Публикаторская работа рассматривается автором как историографический факт, характеризующий уровень науки тех времен. Так же органичны главы, посвященные М. Н. Покровскому, историку Октября и крупному

организатору науки, или партийной дискуссии 1924 года и ее влиянию на историческую науку. Таким образом, сам подход к решению поставленных задач является новаторским и выводит историографический анализ на новую исследовательскую высоту.

В краткой рецензии нет возможности проследить в деталях осуществление авторского замысла. Остановимся на главном. Е. Городецкий исходит из основной идеи: при всей сложности и неоднозначности процесса становления и развития науки об Октябре в исследуемые годы путь ее движения в целом представляется как поступательный. Автор решительно восстает против нигилистического отношения к литературе 20-х годов, нет-нет да и проскальзывающего в некоторых работах. Он пишет: «Историографу не к лицу становиться в позу судьи, оценивающего труды историков первых лет революции с позиции состояния теперешнего, современного ему уровня науки, состояния источниковой базы, современного опыта и методов исследования. Мы должны судить об историках по тому, что они дали науке в сравнении со своими предшественниками, какой вклад внесли в борьбу с буржуазной идеологией и в разработку марксистско-ленинской историографии в условиях своего времени. У первых советских историков Октябрьской революции не было предшественников. Но у них были яростные и упорные враги, в боях с которыми оттачивалось оружие советской исторической науки». Обращенный как будто только к литературе 20-х годов, этот тезис на самом деле лежит в основе авторского анализа и в других случаях, служит Е. Городецкому ориентиром при оценке той или иной работы, того или иного направления. Вообще же следует заметить, что многие наблюдения и выводы его книги, основанные на изучении литературы об Октябре, на самом деле имеют более широкое значение и могут быть отнесены к историографии других областей исторической науки.

Историографический анализ позволил автору определить два кульминационных пункта в исследованиях историков Октября, проведенных к середине 30-х годов. Первая кульминация — «Очерки по истории Октябрьской революции» под редакцией М. Н. Покровского (1927) и четвертый том «Истории ВКП(б)» под редакцией Е. М. Ярославского (1930); вторая — два тома «Истории гражданской войны в СССР» (1935 и 1942). Заметим для ясности, что второй том был готов тоже в 1935 году, но увидел свет позже — к 25-й годовщине Октября. Это были важные вехи в процессе овладения ленинской концепцией истории Октябрьской революции и, соответственно, в источниковедческой и археографической работе по проблеме.

Хочется надеяться, что Е. Городецкий продолжит исследование, посвятив его теперь уже современным проблемам историографии и источниковедения Великого Октября.

А. Грунт,

доктор исторических наук.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Шаг вперед, два шага назад. 222 стр. Цена 35 к.

Л. И. Брежнев. О Ленине и ленинизме. 336 стр. Цена 1 р. 90 к.

Л. И. Брежнев. Воспоминания. 110 стр. Цена 40 к.

Леонид Ильич Брежнев. Краткий биографический очерк. Изд. 3-е, дополненное. 385 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Загладин. Историческая миссия социалистического общества. 160 стр. Цена 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ф. Абрамов. Вавилей. Рассказы. Повести. 359 стр. Цена 1 р. 30 к.

Воспоминания о Константине Федине. Составитель Н. К. Федина. 527 стр. Цена 2 р. 50 к.

Т. Глушкова. Разлуки нет. Стихи 151 стр. Цена 40 к.

В. Дементьев. Мой лейтенант. Книга о Сергее Орлове. 208 стр. Цена 60 к.

В. Санин. Трудно отпускает Антарктида. Повести. 592 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Цыбин. Думы дальние. Стихи. 151 стр. Цена 55 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Австралийская новелла XX века. Перевод с немецкого. 519 стр. Цена 2 р. 80 к.

Л. Леонов. Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 1. Повести и рассказы. 502 стр. Цена 2 р.

Э. Штрिटтматтер. Погонщик волков. Роман. Перевод с немецкого. 335 стр. Цена 2 р. 30 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Л. Думберс. Календарь Артура Спурсы. Роман. Перевод с латышского. 223 стр. Цена 70 к.

Д. Кешеля. Зеленый дождь. Рассказы и повесть в новеллах. Перевод с украинского. 176 стр. Цена 50 к.

В. Кубанев, С. Чекмарев. Стихи, дневники, письма. 366 стр. Цена 1 р. 20 к.

Молодые о молодых. Сборник литературно-критических статей. 255 стр. Цена 30 к.

Л. Сальников. Испытания. Повести, рассказы. 142 стр. Цена 40 к.

Н. Тангрыкулиев. Золотая чаша. Повести. Перевод с туркменского. 192 стр. Цена 25 к.

Фантастика-81. 352 стр. Цена 1 р. 60 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Г.-Б. Багандов. Кунак. Стихи и поэмы. Перевод с даргинского. 208 стр. Цена 95 к.

С. Максимов. Избранное. Подготовка текста, составление, вступительная статья С. И. Плеханова. 560 стр. Цена 2 р. 80 к.

В. Пименов. Свет лампы. («Писатели о творчестве») 111 стр. Цена 15 к.

Е. Шевелева. Принцессы, русалки, дороги... Повести, рассказы, новеллы. 225 стр. Цена 1 р. 10 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Низами. Лирина. Прозаический перевод, вступительная статья Р. Алиева. Баку. «Язычы». 171 стр. Цена 90 к.

С. Преображенский. Недопетая песня. О романе А. А. Фадеева «Черная металлургия». Челябинск. Южно-Уральское книжное издательство. 296 стр. Цена 1 р. 40 к.

П. Севак. Путь. Стихи. Перевод с армянского под редакцией Д. Самойлова. Ереван. «Советакан грох». 295 стр. Цена 2 р.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. Н. Бубнов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора),
Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. А. Косолапов, В. М. Литвинов,
М. Д. Львов (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь),
А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 21.01.82 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 16.03.82 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
А 06233. Тираж 350.000 экз. Зак. 291.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна»,
Киев-47. Ерест Литовский проспект, 94. Зак. 0902

Цена 1 руб. 20 коп.

70636